ISSN 0130-6545

8.1993

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ЛАДИСЛАВ ФУКС
Крематор

КАРЛ КРОЛОВ
Стихи

ГАРРИСОН СОЛСБЕРИ
Новые императоры

МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Л. А. ЖМЫРЕВ — коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ,
Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

8 август 1993

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАДИСЛАВ ФУКС — Крематор *(Повесть. Перевод с чешского И. Безруковой)* 5

КАРЛ КРОЛОВ — Стихи *(Перевод с немецкого и вступление Сергея Морейно)* 76

ДЖОН ФАУЛЗ — Волхв *(Роман. Продолжение. Перевод с английского Бориса Кузьминского)* 80

ЦАНЬ СЮЭ — Рассказы *(Перевод с китайского и вступление С. Торопцева)* 190

Документальная проза

ГАРРИСОН СОЛСБЕРИ — Новые императоры *(Главы из книги. Перевод с английского О. Басинской, И. Прохоровой, Г. Чхартишвили)* . 197

Публицистика

ВЛАДИМИР ЗОТОВ — Уроки «китайской модели»: фантазии о дэнсяопинизации России 243

У книжной витрины 251

Курьер «ИЛ» 253

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1993

В следующем номере «ИЛ»

Рассказ венгерского писателя АДАМА БОДОРА **«Музей природных редкостей, округ Синистра».**

Стихотворения в прозе и верлибры польской поэтессы ЮЛИИ ХАРТВИГ.

Литературный гид **«Индия: связь времен и миров».**

Представляем новую рубрику **«Западная литература: взгляд изнутри».**

Цветные иллюстрации номера — экспонаты выставки «Искусство и сновидения: открытие подлинной реальности» (Москва, апрель, 1993 г. ГМИИ имени А. С. Пушкина):
на 1-й стр. обложки: МЕГРЕ, СЮЗАННА МЮЗАР, ЖОРЖ САДУЛЬ «Изысканный труп» (1929);
на 2-й стр. обложки: АНДРЕ БРЕТОН, ВАЛЕНТИНА ГЮГО, НЮШ ЭЛЮАР, ПОЛЬ ЭЛЮАР «Изысканный труп» (1932—1934);
на 4-й стр. обложки: ЖАН-ЖАК ЛЕБЕЛЬ «Призрак Франсуазы Элие, являющийся во сне» (1981).

По всем вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**

Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 05.05.93. Подписано в печать 09.07.93. Формат 70x108¹/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,45. Заказ № 3733.

Тираж 56 500 экз. Цена по подписке 95 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ЛАДИСЛАВ ФУКС

Крематор

ПОВЕСТЬ

Перевод с чешского И. БЕЗРУКОВОЙ

«Крематор» Ладислава Фукса появился в 1967 году. А уже в следующем году вышел одноименный фильм, и фигура пана Копферкингеля, прилежного служащего пражского крематория, в ярком исполнении Рудольфа Грушинского стала явлением чешской культуры. Видимо, очень перекликалось это произведение с бурными событиями «пражской весны» и августа 1968 года, хотя действие его и относится к тревожной осени 1938 года. Захват гитлеровским рейхом Судетской области Чехословакии стал тогда толчком к страшным потрясениям в мире, и неудивительно, что тема Судет часто «звучит» в книгах Фукса.

Но, конечно, не только исторические аналогии, а скорее четко выраженная антитоталитарная направленность повести и иронический стиль, заставляющий вспомнить Чапека, обеспечили ей прочное признание в стране и, благодаря переводам на многие языки, европейскую известность.

Сегодня «Крематор» Л. Фукса напоминает нам о временах общественного безумия, пережитого и нашей страной,— безумия ненависти к чужакам по крови или по духу.

«Величайшее коварство дьявола в том,
что он внушает нам, будто его нет».

Джованни Папини

1

Нежная моя,— сказал пан Карел Копферкингель своей черноволосой красавице жене на пороге павильона хищников, и легкий весенний ветерок пошевелил его волосы,— вот мы и снова здесь. Здесь, в этом дорогом нам, благословенном месте, где мы с тобой семнадцать лет назад познакомились. А помнишь ли ты, Лакме, возле кого это было? — Лакме кивнула, и он нежно улыбнулся темным глубинам павильона и сказал: — Да, возле вон того леопарда. Пойдем посмотрим на него.

И когда они, переступив порог павильона, зашагали сквозь тяжелую духоту зверинца к леопарду, пан Копферкингель сказал:

— Мне кажется, Лакме, что здесь ничего не изменилось за эти семнадцать лет. Взгляни, вот и змея свернулась в углу точно так же, как тогда,— показал он на змею, уставившуюся на молоденькую розовощекую девушку в черном платье.— Я еще семнадцать лет назад удивлялся, зачем это они змею поместили в павильон хищников, ведь для змей существует

© Ladislav Fuks, 1967

специальное отделение. Смотри-ка, и загородка та же...— и он дотронулся до загородки перед леопардом, к которому они как раз подошли.

— Все как тогда, семнадцать лет назад,— сказал пан Копферкингель,— кроме разве что леопарда. Тот, наверное, уже умер. Милосердная природа освободила его от звериных оков. Видишь ли, дорогая,— сказал он, наблюдая за леопардом, жмурившимся за решеткой,— мы все время рассуждаем о милосердной природе, благосклонной судьбе, добром Боге... мы судим о других и в чем только их не виним... в подозрительности, злословии, зависти и Бог весть в чем еще... А мы сами? Разве мы милосердны, снисходительны, добры?.. Мне постоянно кажется, что я делаю для вас страшно мало. Эта статья в сегодняшней газете об отце семейства, который сбежал от жены и детей, это же просто ужас! Что теперь станут делать бедняжка жена и дети? Надеюсь, есть какой-то закон, который защитит их. Ведь законы и существуют как раз для того, чтобы защищать людей.

— Наверняка есть такой закон, Роман,— тихо сказала Лакме.— Наверняка этой женщине с детьми не дадут умереть с голоду. Ты же сам говоришь, что мы живем в человечном государстве, где царят справедливость и добро... Что же до нас, Роман...— улыбнулась она,— что до нас, так нам живется неплохо... У тебя хорошее жалованье, у нас большая красивая квартира, я забочусь о хозяйстве, о детях...

— Да, неплохо,— сказал пан Копферкингель,— и это целиком твоя заслуга. У тебя было приданое. Нам помогала твоя покойная мать. Нам помогает твоя тетушка, которая, будь она католичкой, была бы после смерти причислена к лику святых. А что я? Квартиру обставил, вот и все. Нет, дорогая моя,— пан Копферкингель покачал головой и вновь поглядел на леопарда.— Зинушке шестнадцать, Миливою — четырнадцать, они сейчас как раз в том возрасте, когда детям нужно особенно много, и я должен заботиться о них, это моя святая обязанность. Я знаю, как поднять доход семьи.— И когда Лакме безмолвно поглядела на него, он повернулся к ней и сказал: — Найму агента за треть комиссионных. Пана Штрауса. Я помогу вам, небесная моя... и ему тоже. Это хороший, порядочный человек, жизнь сильно потрепала его, я еще расскажу тебе об этом; так как же не помочь хорошему человеку? Мы пригласим его в ресторан «У серебряного футляра».

Лакме прильнула к мужу, глаза ее улыбались и смотрели на леопарда, который все еще жмурился за решеткой, подобно большой добродушной собаке, пан Копферкингель тоже смотрел на леопарда, и глаза его улыбались, когда он сказал:

— Вот видишь, нежная моя, как тонко могут чувствовать животные. Какими милыми они могут быть, если правильно подойти к ним и понять их грустные, томящиеся в заключении души! Сколько плохих людей превратилось бы в хороших и добрых, если бы отыскался кто-нибудь, кто понял бы их и обогрел слегка их исстрадавшиеся души... ведь каждый человек нуждается в любви, даже полицейские, которые борются с проституцией, хотят любви, и плохими люди бывают только оттого, что никто и никогда не любил их... Этот леопард не тот, что был тут семнадцать лет назад, но и он, когда придет срок, будет освобожден и прозреет — тогда, когда обрушится окружающая его стена и его ослепит свет, которого он пока не видит. Пила ли наша ненаглядная сегодня молоко? — спросил он, подразумевая кошку, которая жила у них, и когда Лакме молча кивнула, пан Копферкингель в последний раз улыбнулся леопарду, и они неторопливо двинулись сквозь тяжелую духоту зверинца к выходу из этого дорогого им благословенного места.

Пан Копферкингель напоследок оглянулся на змею в углу, которая с ветки все еще внимательно наблюдала за розовощекой девушкой в черном платье, и сказал:

— Странно, что пресмыкающееся присоединили к млекопитающим, может, это только для декорации или как дополнение...— Потом он нежно перевел Лакме через порог павильона, и уже на дорожке, обрамленной кустами, Лакме улыбнулась и сказала:

— Хорошо, Роман, пригласи пана Штрауса на обед. Только не перепутай название ресторана, чтобы он не искал.

И Копферкингель остановился, овеваемый легким весенним ветерком, на дорожке, обрамленной кустами, и ласково кивнул — в душе его царил покой, который знаком людям, только что совершившим обряд перед алтарем. Он поднял глаза к ясному солнечному небу, простирающемуся над его головой, постоял так какое-то время, а потом повел рукой и чуть заметно указал куда-то ввысь, как бы на звезды, которые днем не видны, как бы на чудное видение или явление... В следующее воскресенье в полдень...

В следующее воскресенье в ресторанчике «У серебряного футляра» пан Копферкингель говорил невысокому, плотному, добродушного вида человеку:

— Пан Штраус, надеюсь, вам не пришлось долго искать этот ресторан? — И когда пан Штраус, невысокий, плотный человек, покачал головой, пан Копферкингель облегченно вздохнул, как и его Лакме.— Я рад, что вам не пришлось долго искать... Понимаете, когда скажешь «У удава»...— взгляд пана Копферкингеля скользнул по вывеске ресторана,— когда скажешь «У удава»..., то все наперед ясно: одно название чего стоит, пусть это будет даже прирученный, дрессированный удав. Недавно я читал в газете о дрессированном удаве, умевшем считать и делить на три... Другое дело — серебряный футляр, это загадка. Тут до последнего момента не знаешь, что таится в этом футляре, покуда его не откроешь и не заглянешь внутрь... Так вот, пан Штраус, у меня к вам одно предложеньице.

Пан Штраус, невысокий, плотный человек, застенчиво улыбнулся черноволосой красавице Лакме и Зине, тоже черноволосой и красивой: их красота явно привлекала его, обе сидели за столом изящно, даже нежно, если можно сидеть нежно; улыбнулся он и Миливою, который тоже был черноволос и красив, но пока еще мал и глуп, он сидел, словно напуганный чем-то; а пан Копферкингель, оживившись, подозвал официанта и заказал еще вина и десерт.

Солнце, проникшее сквозь листву, осветило их столик в ресторане «У удава», иначе — «У серебряного футляра», который располагался под открытым небом, там имелась даже площадка для оркестра и место для танцев, и в это воскресное весеннее сияние под кронами деревьев официант внес напитки и десерт. Пану Штраусу и Зине — по рюмке красного вина, Лакме — чай...

— Знаете, пан Штраус,— улыбнулся пан Копферкингель, косясь на ближайшее дерево, где висела табличка: *«Починка гардин и портьер — Йозефа Броучкова. Прага, Глоубетин, Катержинская, 7».*— Знаете, пан Штраус, моя драгоценная, собственно, происходит из немецкой семьи, из Слатинян, и у них дома всегда пили чай, она любит чай...— Мили получил лимонад и пирожное.— Мили, пан Штраус, очень любит сладкое,— улыбнулся пан Копферкингель и снова поглядел на табличку с рекламой Йозефы Броучковой,— особенно эскимо, он у нас лакомка.— А потом он перевел взгляд на свою руку с красивым обручальным кольцом, возле которой стояла маленькая чашечка кофе, и сказал: — Ну, а я непьющий, то есть я совсем не пью — разве что капельку, чисто символически. И сигареты я не люблю. Я не научился курить даже в годы войны, когда мы воевали за Австрию. Я не потребляю ни алкоголя, ни табака, я непьющий и некурящий.

Пан Копферкингель пригубил кофе, посмотрел на подмостки, где на стульях сидели музыканты, задержался взглядом на какой-то пожилой женщине в очках, склонившейся над кружкой пенистого пива за столиком невдалеке от оркестра, а затем сказал:

— Итак, пан Штраус, вы — коммивояжер кондитерской фирмы. Вам приходится иметь дело с продавцами и владельцами кондитерских, и, безусловно, это чрезвычайно приятное занятие. Люди, служащие в кондитерских, должны быть обходительны, любезны, добры; знаете, пан Штраус, мне их даже немного жаль. Что, если вам предлагать этим милым людям, помимо

продукции вашей сладкой фирмы, кое-что еще? Не для коммерции, а для них же самих, для этих обходительных, любезных, добрых людей... Да вы не бойтесь,— улыбнулся пан Копферкингель,— никаких страховок, никаких полисов, это нечто совсем иное. Предложив им сладости, вы еще раз опустите руку в портфель и извлечете контракт на обслуживание в нашем крематории. Пять крон комиссионных за каждого клиента.

Оркестр заиграл польку, взвизгнули кларнеты и скрипки, вступил контрабас, и на площадку вышли три пары. Одну из них составляли пожилой толстяк в белом крахмальном воротничке с красной бабочкой и розовощекая девушка в черном платье. Толстяк ухватил ее за спину и завертелся с ней на одном месте как волчок. За столиком вблизи танцующих сидела с кружкой пенистого пива немолодая женщина в очках и сердито трясла головой. Потом она сдула пену на пол и сделала глоток.

— Видите ли, пан Штраус,— Карел Копферкингель улыбнулся, уставившись на залитый солнцем стол.— Господь Бог мудро распорядился людьми. Пусть некоторым выпадает страдать — что же, ведь животные тоже страдают. У меня дома есть бесценная книга в желтом коленкоре, *это книга о Тибете*, о тибетских монастырях, об их верховном правителе далай-ламе, об их изумительной вере... Этот том подобен Библии. Страдание есть зло, с которым следует бороться или хотя бы смягчать, сокращать его; но зло это творят сами люди, ибо они окружены стеной, из-за которой не видят света. Однако Господь распорядился мудро, указав человеку: помни, что ты прах и в прах же обратишься. Из праха он создал человека и милосердно допустил, чтобы, перенеся все терзания и муки, которыми одарила его жизнь, все разочарования, а также недостаток любви...— он задержал взгляд на немолодой женщине в очках, уткнувшейся в кружку пива,— тот вновь стал прахом. Крематорий, пан Штраус, это, по существу, богоугодное заведение. Ведь оно помогает Господу вернуть человека в прах *быстро*. Вообразим на мгновение, что человек был бы сотворен из какого-нибудь негорючего материала. Тогда...— пан Копферкингель пожал плечами, не сводя глаз с пожилой женщины в очках,— тогда, конечно, пришлось бы предавать его тело только земле; но, по счастью, человек горюч. Знаете, сколько времени пройдет, пока мертвый станет в земле прахом? Лет двадцать — и при этом скелет еще до конца не истлеет! А в крематории сейчас, когда вместо кокса пользуются газом, вся операция — вместе со скелетом — длится семьдесят пять минут. Некоторые, впрочем, возражают, что, мол, Иисуса Христа не сожгли, а похоронили в земле. Но это же, пан Штраус,— улыбнулся Копферкингель,— иное дело! Я всегда отвечаю этим милым людям: Спасителя бальзамировали, обернули плащаницей и погребли в пещерной гробнице. Вас же никто не станет погребать в пещере, обертывать и бальзамировать... Само собой, пан Штраус, тут не годятся ссылки на то, что гроб в земле может треснуть под тяжестью глины и, когда тяжесть эта обрушится покойнику на голову, бывает адски больно... Ведь человек,— пан Копферкингель покачал головой,— уже мертв и ничего больше не чувствует... Но в пользу кремации можно привести другой довод. Посудите сами, пан Штраус, если бы людей не жгли, а только засыпали землей, то зачем тогда все эти печи?

Помолчав немного, пан Копферкингель посмотрел на танцующих и продолжал:

— Мы живем в гуманном государстве, которое строит и оборудует крематории... но зачем? Просто так, чтобы люди заходили поглазеть, будто в музей? Да ведь чем быстрее человек обратится в прах, тем быстрее он освободится, переменится, перевоплотится — это, кстати, относится и к животным; есть страны, пан Штраус, где существует обычай сжигать также и мертвых животных,— к примеру, Тибет. Эта наша желтая книга о Тибете удивительно увлекательна,— пан Копферкингель посмотрел на дерево, на котором висела табличка «Починка гардин и портьер — Йозефа Броучкова. Прага, Глоубетин, Катержинская, 7», и заметил:

— Разве в Глоубетине есть Катержинская? Я знаю только Катержинскую в Праге-2.

Музыка смолкла, затихли кларнеты и скрипки, затих контрабас, и танцующие пары вернулись за свои столики. Ушел и пожилой толстяк в белом крахмальном воротничке с красной бабочкой вместе с розовощекой девушкой в черном платье, а пожилая женщина в очках вновь отпила из кружки. Пан Копферкингель подозвал официанта, расплатился, и все поднялись.

— Вы любите музыку, пан Штраус,— улыбнулся Копферкингель, когда они выходили из ресторана «У удава», иначе — «У серебряного футляра».— Все, кто имеет чувствительную душу, любят музыку. Как несчастны те бедняги, которые умирают, не познав красоты Шуберта или Листа. Вы, кстати, не родственник Иоганна или Рихарда Штрауса, бессмертного автора «Кавалера роз» и «Тиля Уленшпигеля»?

— Увы, нет, пан Копферкингель,— добродушно отозвался пан Штраус, рассматривая ресторанную вывеску, под которой розовощекая девушка в черном платье разговаривала с молодым человеком... а к ним медленно приближалась пожилая женщина в очках...— Я им не родственник, но музыку Штрауса люблю. И дело не в фамилии,— улыбнулся он,— я бы любил ее, даже если бы меня звали, к примеру, Вагнер. Куда теперь вы держите путь?

— Мы тут еще кое-куда заглянем,— улыбнулся в ответ пан Копферкингель,— сегодня воскресенье, начало весны, я бы хотел дать моей семье как следует отдохнуть. *Встряхнуться, рассеяться*... Поведу своих дорогих к мадам Тюссо!

— Ах, к мадам Тюссо,— протянул пан Штраус.

— Конечно,— сказал извиняющимся тоном пан Копферкингель,— это не она, а всего лишь ее жалкое балаганное подобие, но что же делать... Лучше такое скромное балаганное подражание, чем совсем ничего. *Это*,— показал он на кусты и деревья,— это там. Пан Штраус, я счастлив был...

— Милый и остроумный человек,— сказала Лакме, когда пан Штраус откланялся со словами благодарности, а они медленно двинулись по аллее к мадам Тюссо,— и если ты считаешь, что дело стоящее...

— Стоящее, драгоценная моя,— пан Копферкингель улыбнулся,— я получаю за каждого клиента пятнадцать крон, но я не в силах обходить людей, как бродячий торговец, я допоздна — нередко и по вечерам — задерживаюсь на службе, так откуда мне брать тогда время на детей, на тебя... У пана Штрауса значительно больше возможностей; обходя кондитерские, он может убить сразу двух зайцев. Жаль лишь, что я предложил треть своих комиссионных, а не половину. Как бы мне не стать похожим на ученого удава, который делил на три, а вот на два не мог. Чего только не натерпелся бедный пан Штраус! Вы, драгоценные мои, даже представить себе не можете... Вначале один злой человек лишил его места привратника: он уже получал пенсию, но у него больная печень, денег вечно не хватало, вот ему и пришлось пойти в привратники.— И он грустно улыбнулся Зине, которая шла подле них.— Это поистине печально. Потом пан Штраус потерял жену: умерла от *горловой чахотки*,— грустно улыбнулся он Лакме.— Потом сына, который умер от *скарлатины*,— и он улыбнулся Миливою, плетущемуся следом,— так что бедняга хлебнул горя. Удивительно еще, как это он не обезумел. Слава Богу, ему удалось выстоять под ударами судьбы! А его долю я все-таки увеличу,— решительно сказал пан Копферкингель,— за успехи, которых он наверняка добьется.

— Да,— кивнула Лакме,— он, конечно, хороший коммерсант. Ведь он еврей.

— Ты так полагаешь, драгоценная? — усмехнулся пан Копферкингель.— Как знать... По фамилии не скажешь. Штраусы — не евреи. Штраус означает страус.

— Фамилия тут ни при чем,— пожала плечами Лакме.— Ее можно поменять. Ты же сам говоришь «У серебряного футляра» вместо «У удава»; хорошо еще, что пан Штраус не заблудился... меня ты зовешь Лакме, а не Марией, и хочешь, чтобы я звала тебя Романом, а не Карелом.

— Я — романтик и люблю красоту, драгоценная моя,— улыбнулся пан Копферкингель своей темноволосой жене и нежно взял ее под руку, одновременно послав улыбку Зине.

— Я и не думала,— сказала Зина,— что в ресторане можно сидеть на улице, прямо под деревьями, ведь весна только началась. И еще я не знала, что там танцуют в обед. Я думала, танцы бывают только с пяти часов.

— «У серебряного футляра» танцуют и днем, и на улице сидят потому, что уже потеплело,— ответил пан Копферкингель, поглядев на деревья и кусты, оглянулся на Миливоя, все так же плетущегося позади, и сказал с нежной улыбкой:— Что ж, надо дать семье развлечься, встряхнуться, рассеяться... вот мы и у цели.

Они стояли перед шатром, где над деревянным окошечком кассы пестрела вывеска:

ПАНОПТИКУМ МАДАМ ТЮССО
Великий мор, или Черная смерть
в Праге в 1680 году

2

За деревянным окошечком кассы сидел пожилой толстяк в белом крахмальном воротничке с красной бабочкой и продавал билеты. Вход был задернут пурпурной занавесью с бахромой, а перед ним стояла кучка людей, ожидая, когда их впустят. Пан Копферкингель купил в кассе билеты и присоединился вместе со своими драгоценными к этой кучке.

— Там будут показывать страшное? — неуверенно спросил Мили, поглядывая на шатер, размалеванный скелетами, и на вход, задернутый пурпурной занавесью с бахромой. Пан Копферкингель грустно кивнул.

— Страдания,— тихо сказал он,— однако такие, против которых у человека сегодня уже есть средство. Ты ведь не станешь бояться — это же всего только аттракцион!

Из-за занавеси с бахромой высунулась рука, сверкающая массивными перстнями... некоторое время она покоилась на пурпуре, растопыря пальцы и как бы выставляя их на обозрение, а потом отдернула полог — из-за него вышла смуглая пожилая женщина в ярком красно-зелено-синем одеянии с крупными серьгами и бусами, похожая на старую индианку или гречанку.

— Дамы и господа, пожалуйте сюда,— заговорила она, низко кланяясь.— Вы же — ближе, детвора: наш сеанс начать пора,— продолжала она, картавя.

— Это, очевидно, владелица,— сказал пан Копферкингель Лакме, нежно беря ее под локоть.

Вместе с остальными посетителями они очутились в отгороженном помещении, обставленном наподобие аптеки. В слабом желтом свете виднелся цеховой знак с извивающейся змеей, вокруг были нарисованы полки и шкафы с глиняными, оловянными и жестяными сосудами, позолоченными коробочками и пакетиками с порошками; на прилавке лежала огромная книга, стояли весы, кюветы, жаровни, воронки и ситечки. За прилавком застыл бородатый старик с длинными космами в черном плаще с облезлым меховым воротом и в берете: красные, как розы, щеки и васильково-синие глаза, а в полуоткрытом рту — жемчужные зубы; в руках он держал весы с каким-то товаром. У окошка склонилась над ступкой женщина в блузе и фартуке, она как бы искоса следила за посетителями. Перед прилавком стояли двое мужчин средних лет; один из них, богато одетый, в перчатках и шляпе с длинным пером, наблюдал за аптекарем, другой же, в обтрепанном черном капюшоне на голове и в балахоне, зажав в руке монету, уставился на женщину у окна. Сзади между шкафов виднелось что-то вроде ниши, прикрытой полупрозрачной занавеской, за ней маячила какая-то неподвижная тень.

— Дамы и господа, перед вами великая беда,— затараторила хозяйка, картавя,— на дворе 1680 год, и в Праге прознал народ, что близится, словно смерч, свирепый мор — черная смерть, от которой спасения нет: таково расположение планет. Так коварна была природа, и враг наш извечный лжив; но человек покамест жив! Над Прагой нависла грозная туча чумы — и вот в старинной аптеке мы.

И она так же картаво продолжала:

— В шкафах и на полках друг за другом — лекарства и коренья для борьбы со всяким недугом. Тут корица, мускат, шафран и перец черный,— сверкая перстнями, хозяйка показала на плошки, жбаны, горшки,— а тут аир, имбирь, сера и зуб кабана толченый. Вот белый и черный сахар, венецианское мыло и тмин, вон там — каучук, керосин, итальянская корпия и бутыли вин. Здесь сушеные жабы, куриные потроха, волчья печень, кости слона, рачьи глазки, а здесь в ларце — жемчуг, рубины, кораллы, квасцы и чешуя морских чудищ из сказки. Вон в том шкафу,— указала она,— масла, сухие травы, древесная кора, раковины улиток и хлеб святого Яна, а тут амулеты, уксус, камфара и формы для марципана. Там — примочки на волдыри и раны, рядом — мышиные капканы. Там — сердце оленя и когти спрута, тут зеленеют розмарин и рута, а тут...— она указала на женщину возле окна,— аптекарша в фартуке поверх юбки толчет можжевельник в ступке. Здесь собачье, кошачье, заячье, аистиное сало, которое людей от многих хворей спасало, здесь сало медвежье, на что оно годится — не знают только невежи, здесь сало змеиное, детьми любимое, а тут с человечьим жиром три горшка и четвертованного вора сухая рука.

Хозяйка помолчала, очевидно, с намерением передохнуть после этой своей скороговорки, и наконец показала на бородатого старика с длинными космами, румяными щеками, голубыми глазами и белыми зубами:

— Фигура перед вами — провизор с весами, он отвешивает розмарин, руту, алоэ и всякое зелье злое с примесью ароматических смол — чтоб не разил человека мор. А это покупатели,— хозяйка обвела рукой пару перед прилавком,— пришли за лекарством от мора, который косит людей без разбора. Вот этот, в черно-красном бархате, в перчатках, в ботфортах и *шляпе с длинным пером*,— показала она,— сановный вельможа, который мерит взглядом прилавок с весами и аптекаря тоже; он накупит трав, но, веря в грубую силу, еще завернет в цирюльню отворить себе жилу. А рядом стоит живодер, что город чистит от всякой дряни; он верит, что мор одолеет целебная сила бани. Ну, а там кто у нас сидит? — спросила она, показывая на тень в нише за занавеской, и вдруг крикнула: — Свет!

Луч, упавший на занавеску, высветил человечка с длинными соломенными волосами в островерхой зеленой шапочке и красно-желтых штанах. Он держал в одной руке весы, а другую поднимал с воздетым пальцем, очень напоминая собой рекламу кофе. С глубоким поклоном хозяйка сообщила:

— Это наш добрый, славный карлик Карлуша, наши глаза и уши... Итак, над Прагой нависла грозная туча чумы, и из старинной аптеки отправимся дальше мы.

Погас свет, аптека погрузилась во мрак, где-то за декорациями послышался дробный топот... и хозяйка показала на следующий занавес со словами:

— Дамы и господа, пожалуйте сюда!

— Тут и впрямь все как живое,— шепнула одна посетительница *с длинным пером на шляпе* и с ниткой бус на шее.

— Фигуры сделаны из воска,— буркнул в ответ ее спутник, полный человек с палкой и в котелке,— фигуры сделаны из воска, это же видно.

Пан Копферкингель взял Лакме под локоть и повел в следующее помещение.

Они оказались в комнате, набитой книгами и всякими мисками, ванночками, котелками, тиглями, воронками, каганцами и ретортами; на столе подле глобуса лежали перстень и череп; но это была уже не аптека. За столом сидел старый бородатый человек в шелковой блузе и берете с золотым галуном; он выглядел более бледным, чем провизор, изнуренным жизнью и заботами: глаза выцвели, зубы пожелтели... Он держал в руках стеклянную колбу и нож. На стене висела потускневшая от времени картина с двумя треугольниками, звездами, кометами и множеством каких-то знаков. Поодаль стояли вельможа и живодер, раздетые по пояс, тела их были странно скрючены, кожа желтая, глаза выпучены — страх да и только! За затянутым прозрачной тканью окном была видна неясная тень.

— Да-да, дамы и господа,— выкрикнула хозяйка,— это наш сановный вельможа с живодером, настигнутые безжалостным мором. Впрок ни один не пошел им редкостный эликсир — что же теперь придаст им жизненных сил? Они окуривали жилище ладаном, дымом сосны, розмарина, ели толченую слоновую кость, жемчуг, рубины — все зря: торжествует страшная порча, тела их ломая и корча. Они молились, постились так строго, но смерть с косою стоит у порога, и к лекарю пролегла их дорога. Дамы и господа, мы у врача в Старом Городе Пражском, на рынке Влашском...

— Как в театре,— шепнула посетительница с пером на шляпе, трепетно взирая на композицию, но толстяк с палкой и в котелке толкнул ее в бок.

— Это не театр,— произнес он брюзгливо и самоуверенно.— Это паноптикум. Все из воска.

Пан Копферкингель улыбнулся Лакме, Зине и Мили, который оторопело смотрел по сторонам, и спросил:

— Интересно, что бы сказал обо всем этом наш милейший доктор Беттельхайм? Уж он бы тут не спасовал! Кто-кто, но только не он!

— Дамы и господа,— продолжала своей картавой скороговоркой хозяйка,— откуда же была эта беда? Ученые книги тогда писали, что так светила небесные встали, коварные же инородцы отравили колодцы... Но вот медик обоих больных осмотрел и руту с майораном им нюхать велел. Еще совершать омовения тела в бане, разведя розовой воды, камфары и уксусу в лохани. А также и впредь свой окуривать дом и с молитвой поститься — это, мол, всегда сгодится... Вот этим ножом,— сверкая кольцами, хозяйка показала на ланцет, который лекарь держал в руке,— врач, надавив вполсилы, отворяет всем недужным жилы. Ну, а там, как живой... Свет! — крикнула она, и луч осветил голубое окно с полупрозрачной занавеской, а за ней — человечка в шапочке, жилетке и штанах,— наш карлик Карлуша кивает вам головой. Тут как тут он: глядит, следит, проверяя подсчетом точным по часам песочным,— хозяйка, кланяясь, показала на руку карлика, в которой теперь были песочные часы, так что он напоминал рекламу чая,— как долго еще будет чума стучаться к людям в дома. Но куда пойдут двое бедных больных, чтоб обрести облегченье страданий? В бани! Дамы и господа, отправимся же и мы туда,— она хлопнула в ладоши, и в кабинете медика погас свет. Из темноты послышался топоток — кто-то скакал по доскам; посетители остановились у следующего занавеса.

— В бани! — воскликнула дама с пером на шляпе, оглядываясь на остальных.— Интересно, а вода с паром там есть?

— Не будь дурой! — напустился на нее ее спутник-толстяк и толкнул ее локтем.— Знай себе гляди да помалкивай. Это тебе не прачечная, это паноптикум, тут все из воска.

Они нырнули под занавес и очутились в каморке с деревянными лоханями, бадьями, ведерками и корытами. В корытах сидели двое, вельможа и живодер; они таращились на зрителей, нагоняя страх. Из бадьи торчала голова моющейся женщины; она вперилась в потолок, как если бы молилась. Сзади стоял, наклонившись, румяный банщик и щеткой тер женщине голову. У окна стояла толстая баба в блузе, фартуке и чепце с ведром в руке, а за полупрозрачной занавеской была видна тень — должно быть, карлик Карлуша. Расставив ноги и руки, он потешался над сидящими в корытах, напоминая рекламу мыла.

— Баня,— улыбнулся пан Копферкингель Лакме, Зине и Мили,— старинная баня. Но насколько же лучше ванная у нас дома! Наша роскошная, уютная ванная комната, в которой есть зеркало, ванна, вентилятор — и бабочка на стене!

— Продолжение нашего обзора — в банях близ дома пражского живодера,— торопливо картавила хозяйка,— сюда ходили люди мыть свое тело, чтоб оно было чистым и блестело. Вот это,— она показала на малого над бадьей,— банщик, он же мойщик, мыльщик, терщик и парильщик. Его дед лил из воска свечи, потом попал в солдаты и отведал картечи, а отец ножи точил, горшки лепил, и помнят в народе, что был бородат и дороден. А вот

эта в фартуке и юбке — прислуга, для присмотра за платьем, для подтиранья пола, а в лучшие годы клиентам мужского пола по очереди подруга. Там поверх края бадьи видна брадобрея беглая жена, что у позорного столба стояла на виду у всех и в бане теперь отмывает грех. В корытах же все вы живодера и вельможу узнали, которые про свою болезнь у лекаря прознали. А кто там стоит за окном? Свет! — крикнула хозяйка.

Луч высветил человечка за полупрозрачной занавеской, который, расставив ноги, потешался над сидящими в корытах, а хозяйка с глубоким поклоном сказала:

— Это Карлуша, наш милый гном, кивает головой, словно живой. Он бы охотно болезным помог — если бы не был так мал и убог... Вперед, дамы и господа, пожалуйте за мной туда, где вы наяву увидите, как может окончиться жизни бег, ибо былинки слабее на земле человек.— Она хлопнула в ладоши, и декорации, изображающие баню, погрузились во мрак, позади по доскам запрыгало, затопотало... и все потянулись за следующий занавес.

Они очутились в полной темноте, однако ненадолго.

Откуда-то из-под потолка ударил сноп света, одна из женщин вскрикнула, посетительница с пером на шляпе шепнула «ужас!», а пан Копферкингель с грустной улыбкой обнял Лакме, краешком глаза приглядывая за Зиной и Миливоем. Прямо перед зрителями *на крюке раскачивался повешенный живодер*. На нем был черный балахон с капюшоном, руки вытянулись вдоль тела, лицо набрякло, язык вывалился, глаза вылезли из орбит; веревка, на которой висел труп, поворачивалась вместе с телом.

— Да,— возопила хозяйка, сверкая кольцами,— повесился наш несчастный живодер, силы воли не лишил его мор: чем терпеть, страдать и сеять вокруг заразу, решился живодер покончить с жизнью сразу. Вот тело его мертвое висит, и никто на свете его не воскресит.

— Как живой,— затрясла головой возбужденная посетительница с пером на шляпе, и перо затрепетало, а толстяк засопел и сердито буркнул:

— Да мертвый он, слышишь, ты?! Удавленник, тебе говорят! Мы в паноптикуме, здесь все из воска.

— Вынули его из петли,— торопливо картавила хозяйка,— и за чертою города погребли в общей чумной могиле, которую еще и известью залили... Свет! — крикнула она, и луч выхватил из темноты карлика на заднем плане; он стоял в шапочке, блузе и штанах, вполоборота к посетителям, одна нога занесена, как для марша, в руке — крест на древке; его фигура напоминала рекламу обуви или панталон.— Наш карлик хоронит,— с глубоким поклоном сказала хозяйка,— душа его болит и стонет; он хочет беде помочь, да не знает как, ведь он сам такой же бедняк! Дамы и господа, пожалуйте за мной, туда, где смерть вступает с жизнью в бой...— Хозяйка встала перед следующим занавесом, повешенный и карлик исчезли в темноте, сзади запрыгало, затопотало...— и группа гуськом потянулась за хозяйкой, а женщина с пером воскликнула, оглядываясь на остальных:

— Смерть вступает с жизнью в бой! Это, наверное, будет самая жуткая сцена, я вся так и дрожу. А что это за шум слышен всегда, когда гаснет свет, вроде как прыжки? Эй,— сказала она своему толстяку,— у тебя вот-вот свалится шляпа!

— Молчи, ты, балда! — напустился на нее тот.— Тут тебе не камера пыток, какие прыжки?! Это паноптикум, тут все из воска. Марш вперед! — И он послал ее тычком в следующее помещение.

Это оказался то ли коридор, то ли подвал с дверью, задернутой полупрозрачной тканью, и мощенным плитами полом, на котором стояли тяжелые черные столы и сундуки... А между ними... между ними высился мертвенно бледный, скрюченный болезнью вельможа в шляпе с длинным пером и в высоких ботфортах, *в руках он сжимал то ли прут, то ли палку, занеся ее над хрупкой девушкой, которая опустилась на одно колено и в ужасе пыталась защитить голову и лицо*.

— Я так и знала, мертвецкая! — взвизгнула посетительница, и перо на ее шляпе задрожало, а толстяк бешено замотал головой и ткнул ее в бок.

— Черта лысого ты знала! — яростно просипел он.— Ты дура! Это не мертвецкая, это паноптикум, здесь все из воска, говорю тебе в сотый и в последний раз. Гляди себе и не мели языком, не то...— И он погрозил ей палкой.

— Вы узнали вельможу,— торопливо картавила хозяйка, сверкая перстнями, серьгами и ожерельем,— но хоть глазам не верь: стал из него просто зверь! Решил девицу он убить, чтоб ей не дать чуму плодить и козням сатаны служить... Ах, суждено ей погибнуть или остаться жить? Вы, добрые господа, конечно, за то, чтобы безумец не причинил ей вреда...— так приди же, наш карлик, скорее сюда! Свет! — хлопнула она в ладоши, но послышался щелчок выключателя, а свет не зажегся; когда же наконец лампочка вспыхнула, хозяйка отвесила низкий поклон, и за полупрозрачной занавеской показался карлик. Голова наклонена, нога согнута для удара по лежащему внизу детскому мячу, рот до ушей, одна рука грозит вельможе, а другая держит ярко размалеванную миску... Все это напоминало рекламу магазина игрушек.

— Вы увидели, уважаемая публика, великую беду: черную смерть в Праге в 1680 году,— продолжала картавить хозяйка.— А в довершение добрая дива явит вам еще одно диво: в карлика нашего, милого Карлушу, вдохнет жизнь и душу. Наш карлик — бедняжка, у него одна рубашка... он не резвится, не шалит, как ваши детки, а просит у зрителей на бедность монетки. Увидев так близко чуму, пожертвуйте болезным — и вы поможете снять заклятье ему!

Она подошла к Карлуше, простерла над ним руку, унизанную кольцами, и выкрикнула:

— Чары-мары-тарабары, человечек восковой, повернись и стань живой!

Хозяйка паноптикума с глубоким поклоном коснулась пальцем шапочки карлика — и среди посетительниц послышались сдавленные крики. Восковая фигурка заморгала глазами, задвигала губами, дернулась — и ожила. Улыбаясь и кланяясь, Карлуша протянул вперед раскрашенную миску.

— Да это не паноптикум! — заверещала посетительница с пером, обернувшись к своему толстяку.— Что ты нес чушь, будто тут один воск? У самого у тебя из воска мозг! Глянь, у него нога шевельнулась... Господи, я, кажется, свихнулась!

Толстяк захрипел и вскинул палку; его спутница вскрикнула, схватилась одной рукой за бусы, а другой — за шляпу с пером и пустилась наутек.

— Она, верно, и впрямь свихнулась,— извиняясь, сказал толстяк.— Дурная баба. Это она не впервой вытворяет. Хватит, больше никуда ее водить не буду!

Владелица балагана торопливо поблагодарила зрителей за пожертвования, пожелала им счастливого пути и отодвинула занавес, пропуская их в последнее помещение, где на фоне черной бумаги белело несколько жалких человеческих скелетов, а под ногами раскатились рассыпанные бусы и валялось перо.

— А что стало с тетей? — заинтересовался Мили.— Она убежала?

— Убежала,— подтвердил пан Копферкингель, грустно взирая на скелеты,— наверное, не выдержала потрясения.

— А мальчик-карлик тут работает? — спросил Мили.

— Скорее всего, он внук хозяйки,— ответил пан Копферкингель.

— Бедная женщина,— сказал он позже, когда все вышли из шатра на свежий воскресный воздух. Пан Копферкингель полуобернулся назад и поглядел на толстяка с палкой — тот держал в руке шляпу.— Бедная женщина, надеюсь, с ней не произошло ничего серьезного. Это ведь всего лишь паноптикум, балаганный аттракцион; современная медицинская наука поможет ей. Да вот хоть наш добрый, человечный доктор Беттельхайм наверняка бы ее вылечил. Драгоценная моя, тебе приходилось видеть кабинет доктора Беттельхайма? — улыбнулся он Лакме.— Он как-то позвал меня к себе. У него на стене висит прекрасная старинная картина...

Впрочем, это неважно... Страшно подумать, какие несчастья некогда испытывали люди. Перед чумой они были совершенно беззащитны. Средневековье, одно слово.

— Средневековье, Роман,— сказала Лакме, когда они вышли на улицу,— преследует людей и сегодня. Не чума, так что-то другое.

— Это верно,— кивнул пан Копферкингель.— Сегодня людей преследуют голод, нищета, эксплуатация, всяческие бедствия — и новые болезни, которые тогда еще были малоизвестны, к примеру, лепра... Взять хоть пана Штрауса, и не одного его...— Пан Копферкингель потупил глаза.— Чего они только не натерпелись в жизни! Правда, все эти страдания преходящи, в конечном итоге человек освобождается от них, сбрасывает цепи, перевоплощается... И даже те, кто умер тогда от чумы...— пан Копферкингель ненадолго задержал взгляд на витрине попавшейся по пути кондитерской.— Они перестали страдать, они давно мертвы. Ну и что? Это ждет всех — но не сразу, не вдруг. Мы же стремимся сократить страдания сейчас, покуда еще длится наша единственная, неповторимая жизнь. Именно так говорится в нашей замечательной книге о Тибете.

Он помолчал и добавил:

— В средневековье покойников хоронили в общих могилах и засыпали их известью, чтобы предупредить распространение заразы. Между тем было бы умнее сжигать их! И зараза бы не грозила, и истерзанные болезнью тела несчастных обращались бы в прах куда быстрее! Но как я счастлив, дорогая,— улыбнулся пан Копферкингель Лакме,— что способен обеспечить вас лучшим жильем, нежели люди имели в прежние времена. Прихожая, пианино в гостиной, приемник в столовой, ванная... Не Бог весть что, но, может, будет лучше, раз уж у нас есть пан Штраус. При случае я все же увеличу его долю.— Пан Копферкингель ласково улыбнулся Зине, которая шла подле них, и оглянулся на Миливоя, плетущегося далеко позади: он, должно быть, застрял у одной из витрин — скорее всего той кондитерской, мимо которой они только что прошли.

Пан Копферкингель остановился, и Лакме с Зиной остановились, поджидая Мили, а когда он наконец догнал их, пан Копферкингель сказал:

— Ну, Мили, как поживает племянник доктора Беттельхайма Ян? А Войтик Прахарж с четвертого этажа? — И тут же, еще не дав Мили ответить, добавил: — Не отставай, Мили, поторопись!

3

— Я приобрел для тебя, любимая, картины,— сказал как-то пан Копферкингель своей жене в их замечательной столовой, в которой стояли — кроме всего прочего — книжный шкаф, горка, торшер, трельяж и радиоприемник.— По случаю первой крупной выручки. Это чтобы наш дом стал еще краше.

— А ты перечислил проценты пану Штраусу? — спросила Лакме.

— Конечно,— ответил он, тронутый ее щепетильностью,— причем не треть, как обещал в «Серебряном футляре», а сразу половину. Этим я и сам избавился от ощущения, что я его обманываю, и для него приготовил приятный сюрприз. Дети дома?

— Зина на музыке, а Мили с Яном Беттельхаймом.

— Я рад,— улыбнулся пан Копферкингель,— Ян Беттельхайм — хороший, воспитанный мальчик, пусть Мили дружит с ним. Ян никогда не уходит дальше моста. Он успешно учится, любит музыку, его часто водят в оперу... он не пьет, не курит... Да-да, дорогая,— пан Копферкингель встретил улыбкой удивленный взгляд Лакме.— То, что ему только четырнадцать, как и Мили, еще ничего не значит. Возьми, к примеру, Войтика Прахаржа с четвертого этажа. Ему пятнадцать, а его отец... мне жаль его...

Лакме вновь недоуменно поглядела на мужа, и пан Копферкингель не без смущения пояснил:

— Мы, конечно, не вправе критиковать и судить других, у каждого из нас, будь он даже такой же праведный трезвенник, как я, множество своих

недостатков. Но пани Прахаржова пожаловалась мне вчера на лестнице, что ее муж пьет.

Он перевел взгляд на принесенный сверток и закончил:

— Пьет, и чем дальше, тем больше. Если так пойдет, то он станет натуральным алкоголиком. Наш разговор, к несчастью, слышала Зина, это меня очень огорчает, и я жалею пана Прахаржа, но еще больше я жалею пани Прахаржову и их Войтика. Боюсь, что мальчик пойдет по стопам отца. Бывают пороки, которые передаются по наследству. Похоже, что Войтик Прахарж уже курит, и он, как и наш Мили, любит уходить из дому. Бог знает, от кого Мили досталась эта склонность, но только не от меня и не от тебя, мы-то всегда были домоседы... Как вспомню об этой истории с *Суходолом*... Знаю-знаю,— тут же нежно сказал он, заметив укоризну во взгляде Лакме,— спиртным и сигаретами наш Мили, слава Богу, не балуется, он хороший мальчик, и я рад, что он общается с Яном Беттельхаймом. Дальше моста они не уходят.

Потом он сказал:

— Кстати, насчет пана Прахаржа... надо предупредить Зину, чтобы она нигде об этом не болтала, особенно при Войте, подобное известие об отце могло бы потрясти его. Ну, а теперь, дорогая, — пан Копферкингель улыбнулся,— повесим подарки. Позволь, перед тем как развернуть пакет, я расскажу, как я их нашел.

Пан Копферкингель достал ножницы, чтобы перерезать веревки, и сказал:

— Дело было так. По дороге с почты мне пришло в голову купить что-нибудь для дома. Как ни прекрасна наша квартира, мы должны и дальше ее благоустраивать, как сказала бы твоя тетушка из Слатинян, эта добрейшая женщина, почти святая; кроме того, возможно, нам предстоит принимать деловых людей, ведь помимо пана Штрауса я собираюсь нанять и других; впрочем, оставим это. Так вот, по дороге с почты,— продолжал пан Копферкингель, разрезая веревку,— я зашел к багетчику пану Голому, ты его, наверное, не знаешь, я и сам видел его сегодня впервые в жизни... это пожилой одинокий человек, вдовец, жена у него умерла восемь лет назад, и остался он вдвоем с дочерью, которая, когда я вошел в мастерскую, отмеряла за прилавком багет и выглядела очень привлекательно: совсем юная розовощекая девушка в красивом черном платье... У пана Голого были сплошь одни дешевые березки, сирень да маки — короче, ничего стоящего, кроме разве что единственной картины без рамы, для которой его дочь и отмеряла багет. А эти картинки,— пан Копферкингель показал на сверток,— стояли в углу, он даже не предполагал продать их, хотел только вставить в рамку; это две гравюры, за обе он просил всего восемь крон, добрый человек...

И пан Копферкингель с улыбкой извлек гравюры из оберточной бумаги. На первой был изображен город на холме, с замком и собором на фоне гор.

— Я подумал,— опять улыбнулся пан Копферкингель,— что это Зальцбург или Любляна, оба эти города похожи как две капли воды, оба стоят на холме, я бывал в них во время войны; но оказалось, что это Мэриборо, главный город ирландского графства Куинс, получивший свое название в честь королевы Марии. Там сохранились развалины замка 1560 года, старое здание суда и сумасшедший дом. Куда же мы ее повесим?

— Может, в ванную? — предложила Лакме, и он был тронут. Он считал ванную комнату самым красивым местом в их квартире и очень ее любил.

Захватив Мэриборо, они направились в ванную, которая и впрямь впечатляла: там было большое зеркало, умывальник, ванна, а на стене под потолком сверкала белизной изящная вентиляционная решетка со шнуром, закрепленным на железной скобе. Ниже, под решеткой, в черной застекленной рамке висела большая желтая бабочка, насаженная на булавку.

— Знаешь, дорогая,— улыбнулся пан Копферкингель,— я считаю нашу ванную самым красивым местом у нас в квартире и очень люблю ее, но мне

все же кажется, дорогая, что сюда больше подойдет букет цветов или обнаженная натура, чем Мэриборо. Принимая во внимание, что жители Мэриборо занимаются ткачеством, повесим эту картину в переднюю, поближе к вешалке. Над нашим замечательным шкафчиком для обуви... А вот и вторая гравюра,— сказал он, когда они вернулись в столовую.— Это портрет. Идеальный портрет идеального джентльмена. Это Луи Марен, профессор Коллежа общественных наук, позднее министр социального обеспечения в правительстве Пуанкаре...

— Но тут написано другое имя,— склонилась над рамкой Лакме.

— Ну да,— погладил он ее по черным волосам,— это никарагуанский президент Эмилиан Чаморро в 1916 году. Неважно, дорогая. Пусть это будет Луи Марен. Имя мы закроем бумажной полоской. Красивое, экзотическое мужское лицо станет украшением нашей столовой. Когда за обедом видишь благородное лицо, еда кажется вкуснее. Повесим...— пан Копферкингель окинул взглядом стены столовой и закончил: — Повесим его вот здесь, у окна. Рядом с нашей прелестной табличкой. Правда, та картина, для которой отмеряла багет розовощекая дочка пана Голого, подошла бы сюда больше: там изображена *свадебная* процессия. Ну ничего, ведь я всегда могу еще раз зайти к пану Голому и купить ту картину. Тогда мы перевесим Марена в другое место.— И он поправил прелестную табличку, висевшую на черном шнурке у окна.

— Отец, ты купил картины! — ахнула Зина, вернувшись с урока музыки, и пан Копферкингель погладил ее по голове и сказал:

— Я купил картины, золотко мое, так как доходы нашей семьи возросли. Я купил их, чтобы наша квартира стала еще уютнее.— И он грустно улыбнулся Зине и Лакме, а потом спросил: — Ну, как ты сегодня играла?

— Да так...— вздохнула Зина, не сводя глаз с экзотического мужского лица на портрете.— Повторяла до бесконечности этюд, а старуха готова была бить меня линейкой по пальцам.

— Ну, Зинушка, не надо так,— мягко сказал пан Копферкингель,— не называй больше учительницу старухой. Это почтенная пожилая дама. Когда тебе будет столько, сколько ей, и какая-нибудь шестнадцатилетняя девушка назовет тебя старухой, тебе это вряд ли понравится. Женщины очень ранимы, и прежде всего красивые женщины, золотко мое. Мы не вправе никого обижать... даже в мыслях... Зина,— строгим голосом продолжал пан Копферкингель,— прошу тебя, не рассказывай никому о том, что ты слышала о пане Прахарже от его жены. И особенно Войте, это его может очень огорчить, я вообще не понимаю, как это пани Прахаржова решилась вслух пожаловаться...

Зина молча кивнула, и пан Копферкингель опять погладил ее по волосам.

— Драгоценная моя,— обратился он затем к Лакме,— детям надо бы навестить тетю в Слатинянах... отвезти ей цветов,— например, букет белых лилий. Как жаль, Лакме, что нет уже с нами твоей доброй матери, она так хорошо готовила, пекла...

Тут он улыбнулся кошке, лежащей в углу столовой, и пошел посмотреть, есть ли у нее в блюдце молоко: кошка тоже ела в столовой.

— Вчера или когда-то еще,— сказал пан Копферкингель, глядя на кошачье блюдце,— я прочитал, что арестовали одну женщину, которая продавала на рынке освежеванных кроликов, а на самом деле это были кошки. Бедную женщину на это толкнула нужда. Ведь хотя мы живем в справедливом и человечном государстве, нужда кое-где еще дает о себе знать.

Потом Зина стала приводить в порядок волосы перед маленьким зеркалом в столовой, а пан Копферкингель открыл книжный шкаф и любовно провел пальцем по корешку своей замечательной желтой книги о Тибете, после чего обвел взглядом тумбочку, торшер и радио и отправился помогать Лакме готовить бутерброды. Вечером они ожидали супругов Рейнке.

Рейнке были старыми друзьями Копферкингелей, хотя виделись оба семейства в последние годы нечасто. Это была солидная, элегантная

пара. На Вилли ловко сидели серый костюм с голубым галстуком и зеленая тирольская шляпа со шнурком вокруг тульи; аккуратно причесанную головку его жены украшали большие серьги. Лакме разлила вино, все чокнулись, пан Копферкингель и Лакме едва пригубили, а Зина выпила чуть больше, примерно как пани Рейнке. Пан Копферкингель пододвинул гостям бутерброды и соленый миндаль. Пани Рейнке взяла бутерброд и положила его на хрустальную тарелочку, и Вилли тоже взял бутерброд, а другой рукой достал из кармана газету и протянул ее своему другу *первой страницей вверх*.

— Женатые мужчины, согласно статистике,— прочитал пан Копферкингель, *открыв газету*,— живут дольше. Прекрасно, Вилли, мы с тобой должны поблагодарить наших милых дам. Не будь их, мы бы поумирали, не дожив до старости.

Все засмеялись, а пан Копферкингель поискал глазами еще какую-нибудь поучительную информацию, чтобы зачитать ее вслух.

— А вот,— проговорил он, погасив улыбку,— бездомный ютится в свинарнике... Или вот: во рту восьмилетнего мальчика разорвался патрон! Это не худо бы послушать нашему Мили,— вздохнул пан Копферкингель,— правда, ему уже четырнадцать, но он все время где-то бродит. Может быть, вы еще не знаете, ведь вы давно у нас не были...— Пан Копферкингель посмотрел на Вилли и на пани Рейнке.— Как-то он даже не вернулся вечером домой, пришлось обратиться в полицию. Нашли его ночью в поле в окрестностях Сухдола, он вздумал заночевать там в стогу... дело было летом. Вот и сейчас его нет дома. Что, до сих пор гуляет? — с улыбкой спросил он у Лакме.

— Мили с Яном Беттельхаймом, у моста,— сказала Лакме.

— Беттельхайм? — поднял глаза Вилли.— Интересная фамилия. Не тот ли это врач, чья вывеска висит у вашего подъезда?

Пан Копферкингель кивнул. Вилли встал и направился, сопровождаемый слегка смущенным взглядом хозяина, к окну, туда, где висела на черном шнурке табличка с цифрами:

		I	II
1.	8.00—8.30	8.30—9.45	—
2.	8.30—9.00		9.00—10.15
3.	9.00—9.30	9.45—11.00	
4.	9.30—10.00		10.15—11.30
5.	10.00—10.30	11.00—12.15	
6.	10.30—11.00		11.30—12.45
7.	14.00—14.30	14.30—15.45	
8.	14.30—15.00		15.00—16.15
9.	15.00—15.30	15.45—17.00	
10.	15.30—16.00		16.15—17.30

Вилли молча изучал табличку. Потом перевел глаза на экзотический портрет, висящий рядом.

— Карл, кто это? Кто-нибудь из ваших предков?

— Это бывший французский министр Луи Марен,— неуверенно проговорил пан Копферкингель,— я купил это сегодня утром у пана Голого. Пан Голый содержит багетную мастерскую на Неказанке, он пожилой человек, вдовец, его жена умерла восемь лет назад, и он живет с дочерью, красивой розовощекой девушкой в черном платье... В передней висит и другая картина от пана Голого. Мэриборо, это город в Ирландии, названный в честь королевы Марии, она основала его в 1560 году. Но у пана Голого есть одна картина, которая подошла бы сюда больше, свадебная процессия... Ах, Вилли,— сказал пан Копферкингель, когда Вилли вернулся на свое место,— стоит только вспомнить, как нас мобилизовали, как мы пели в Праге на вокзале «Тебе, в венце победы, слава!» и «На родине, на родине», как мы сражались на фронте, как умирали... но война мне чужда, я не люблю ее. Она несет людям куда больше несчастий, чем мирная жизнь: нужду, разлад в семье и разводы, кровь, слезы, боль, смерть... И не только

людям. Как вспомню, к примеру, сколько вынесли в походах несчастные лошади! На свете должны царить мир, счастье и справедливость.

— Но все это с неба не падает,— сказал Вилли,— за это надо бороться! Мечты и слова ничего не стоят, важны дела. А на них способны только полноценные люди. Судьбы Европы должны решать *они*, а не всякие слабаки. Вот, например, Австрия,— он ткнул пальцем в первую страницу газеты.— Ее присоединили к рейху — и это лишь первый шаг. Гитлер — гениальный политик, он избавит стомиллионный народ от страданий, нищеты, безработицы и обеспечит ему подобающее место в мире... вы еще не видели листовок, которые выпустила наша СНП? Она объединяет судетских немцев.

— А я думал,— удивился пан Копферкингель,— что ты член Аграрной партии.

— Верно,— сказал Вилли,— но я немец! В январе мы примкнули к СНП, и я тоже внес в дело объединения свою скромную лепту. В Чехословакии создается единый немецкий фронт. Наш народ после войны стал жертвой беззакония, и мы с этим не можем смириться. В ком течет немецкая кровь, кто сражался с врагами Германии, кто хочет мира, счастья и справедливости — встань под знамена СНП! Еще не поздно, написано в листовке, которая может служить и заявлением... Вступай в СНП! Без Гитлера мы не выживем!

Пан Копферкингель растерянно посмотрел на Вилли и предложил:

— Угощайся миндалем.

Пани Рейнке сурово взглянула на пана Копферкингеля, взяла газету, развернула ее и начала читать заголовки:

— «Бездомный ютится в свинарнике...», «Во рту восьмилетнего мальчика разорвался патрон...» Ну, какие еще есть важные новости? — Она перевернула страницу.— А-а, вот! «Упал в кипяток. В Берегове отмечали серебряную свадьбу...»

Пан Копферкингель перевел глаза на пани Рейнке и мягко сказал:

— Жизнь полна трагедий, пани Эрна. Например, пан Штраус служил привратником, но один злой человек выгнал его, вскоре он потерял семью — жена умерла от горловой чахотки, а сын от скарлатины; теперь он торговый агент по кондитерской части и попутно проводит среди желающих предварительную запись в крематорий... Или возьмем недавний случай с женщиной, которая из-за нужды и голода продавала кошек под видом кроликов; хотя мы живем в человечном государстве, нужда все еще дает о себе знать. А женщины,— продолжал он,— женщины, которые пережили внезапное потрясение! Тут недавно у нас на глазах одна такая... насмотревшись на чуму в паноптикуме... Угощайтесь миндалем,— предложил он пани Рейнке.

— СНП? Но как же...— Лакме смущенно отпила чаю.— Ведь наши дети ходят в чешские школы, дома мы тоже говорим только по-чешски — вот как сейчас...

— Да, мы никогда не говорили в семье по-немецки,— подтвердил пан Копферкингель,— и книги у нас сплошь чешские... Да и сколько там во мне немецкой крови? Капля!

— Капля? — переспросил Вилли с жестким смешком.— Капля... Но тот, у кого есть совесть и сердце, чувствует в себе и каплю. Повторяю: без Гитлера мы не выживем. Нас задушит безработица, мы перемрем от голода, и зароют нас, как собак: *вот* в чем трагедия,— с нажимом сказал Вилли.— Это тебе не один-два доходяги, не баба, которая продавала кошек или сбрендила в паноптикуме, тут целая нация! Тут страдают и бедствуют сто миллионов человек! А ты за деревьями не видишь леса: уткнулся в своего пана Штрауса и упускаешь *главное*!

Вдруг Вилли поглядел на часы и объявил, что у него в восемь встреча в немецком казино с Берманом.

— Берман — руководящий работник СНП, он едет в Берлин на совещание с министром Геббельсом! Эта республика — помеха на пути нашего возрождения... Но это тебе долго объяснять,— Вилли махнул рукой,—

а нам с Эрной пора. Хорошо, что у подъезда нас ждет машина, а то бы мы опоздали.

Супруги Рейнке поднялись — но тут раздался звонок в дверь. Зина побежала открывать, и в столовую несмело вошел Мили. В дверях он обеими руками стащил с головы кепку.

— Где ты был, Мили? — хлопнул его по спине Рейнке.— С Яном Беттельхаймом у моста?

— Нет, перед домом,— выпалил Миливой.— Мы смотрели на машины.

— Мили очень любит машины,— сказала Зина.

— У него есть даже своя теория,— улыбнулась Лакме.— Он делит машины на цветные, зеленые и белые. Цветные машины — это обычные, частные, например, та, на которой ездит доктор Беттельхайм, или ваша. Зеленые — это военные и полицейские. А белые машины...

— А белые — небесные,— смущенно улыбнулся пан Копферкингель.— Для ангелов.

Супруги Рейнке засмеялись, Вилли взял свою зеленую шляпу со шнурком вокруг тульи, они попрощались и ушли.

— Да, Вилли никогда нельзя было назвать слабаком,— сказал пан Копферкингель своей темноволосой жене, стоя у окна под табличкой на черном шнурке и портретом министра социального обеспечения.— Он всегда был полноценным человеком. И вот сейчас у подъезда его ждет машина, и он занимает высокое положение в партии судетских немцев. Как жаль, Мили,— повернулся он к сыну, который таскал со стола соленый миндаль,— как жаль, что тебя не было с нами, интересный получился разговор, интересный и поучительный. Пан инженер Рейнке тоже ходил когда-то в гимназию, но он не шатался Бог знает где, его не искали с полицией — и вот результат. Он встречается с неким Берманом, который едет в Берлин к самому министру Геббельсу, у подъезда его ждет машина — а ты *хромаешь* по немецкому. Правда, мы-то дома говорим по-чешски, и все это политиканство и связи с СНП мне вовсе не по душе, но немецкий, мой мальчик, знать надо, что ни говори, это язык стомиллионного народа. Ян Беттельхайм наверняка хорошо говорит по-немецки... даже Войтик Прахарж берет где-то уроки...

— Но живут же другие без немецкого! — возразил Мили.— Вот хоть тот же Карлуша из паноптикума...

— Ну,— удивленно засмеялся пан Копферкингель,— это совсем другое дело. Ему он ни к чему, ведь этот Карлуша ездит по ярмаркам.

Затем пан Копферкингель сказал:

— Давайте включим радио, там передают замечательный концерт. А как поживает моя красавица? — И он во второй раз за вечер пошел посмотреть на кошкино блюдце в углу.— Зинуша! Нельзя так мучить животное, молока у кошки осталось на донышке... А-а, это «Прелюдия» Листа...

И он нежно погладил кошку.

4

Была пятница, и старуха, заметив пана Копферкингеля издалека, уже кивала ему. Она ждала здесь каждую пятницу утром и каждую субботу вечером, даже когда шел дождь или снег. Но сейчас было лето, старуха стояла без платка, похожая на седую колдунью. Пан Копферкингель подал ей монетку и вошел в привратницкую. Там он просмотрел висящее в рамочке расписание на сегодня: пять мужчин и пять женщин, в их числе и тридцатилетняя пани Струнная. Пан Копферкингель поздоровался с паном Враной, у которого была больная печень и который то и дело заваривал себе в привратницкой чай, и неторопливо двинулся через безлюдный двор к зданию крематория.

«Вот уже пятнадцать лет я прохожу мимо пана Враны и его привратницкой, направляясь в Храм смерти,— думал он про себя, попеременно

глядя то на брусчатку у себя под ногами, то на ясное синее небо над головой,— пятнадцать лет прихожу я сюда, и меня всякий раз охватывает священный трепет. Это как мой брак с Лакме. Уже семнадцать лет мы живем вместе,— он посмотрел на свою руку с обручальным кольцом,— а меня точно так же, как в день нашей первой встречи у клетки с леопардом, переполняет чувство счастья и любви. Мне жаль тех, кто не испытал этого...» Тут он вошел в здание и миновал вторую привратницкую, где сидел пан Фенек — старый чудак с длинным ногтем на мизинце. За привратницкой у него была своя каморка с кушеткой, тумбочкой и стулом. Когда пан Копферкингель проходил мимо, пан Фенек кивнул головой и помахал зажатой в руке газетой. Пан Копферкингель с улыбкой поздоровался, потом свернул в коридор и вошел в раздевалку. Беран и Заиц успели уже натянуть комбинезоны.

— Читал? — спросил Заиц.— Англичане уговаривают нас уступить Судеты. Боюсь, как бы они с Францией не продали нас немцам...

— А мы не дадимся,— отрезал Беран.— В пограничье объявят чрезвычайное положение.

Пан Копферкингель, улыбаясь, достал сверток с едой и книгу о Тибете, которую он читал здесь в свободные минуты.

— Не бойся, Йозеф,— ласково сказал он Заицу.— С чего бы им продавать нас немцам? Все будет в порядке. И это я говорю, несмотря на то, что во мне есть капля немецкой крови, а супруга моя — вообще немка по покойнице матери, но никто не выбирает свое происхождение, и мне это совершенно безразлично. Я политикой не интересуюсь,— повернулся он к Берану,— по мне лишь бы не было нужды, несправедливости и страданий. Жаль, что пока все обстоит не совсем так. А-а, пан Дворжак,— внезапно заметил он молодого человека, который молча стоял в углу у вешалки,— что же вы, пан Дворжак, смелее! Вы, кажется, немного волнуетесь. Ничего, пан Дворжак, я введу вас в курс дела как можно деликатнее. Не хотите ли и вы пойти с нами, пани Лишкова? — и он улыбнулся молоденькой уборщице, которая перед зеркалом повязывала на голову косынку, собираясь домой.— Ведь вы еще, можно сказать, не знаете всей нашей механики и автоматики. Вот пани Подзимкова — та знает.

— Пани Подзимкова работает здесь уже пятнадцать лет, а мне это для уборки коридоров знать ни к чему,— печальным голосом ответила пани Лишкова, не отрываясь от зеркала, и пан Копферкингель засмотрелся на нее, не выпуская из рук сверток с едой и книжку о Тибете, и подумал: «Что это с пани Лишковой? У нее такой печальный голос! Да и на дворе так тепло, а она в косынке. Даже старуха нищенка — и та стоит с непокрытой головой». А потом он подумал: «Я ни разу не был в пекарне, но наши печи странным образом напоминают мне о хлебе насущном...» Когда пани Лишкова ушла, пан Копферкингель переоделся в комбинезон и кивнул пану Дворжаку, который все так же молча стоял в углу у вешалки.

— И что вас сюда потянуло, пан Дворжак,— улыбнулся пан Копферкингель,— ведь вы еще очень молоды, наверное, только что окончили институт? Ну, да все мы, пан Дворжак, когда-то начинали вот и пан Беран, и пан Заиц, так что выше голову и прочь всякие страхи! Страх, наряду с нуждой, завистью и клеветой,— один из главных врагов человечества. Если бы люди избавились от страха, они стали бы куда счастливее. Страх мешает нам почувствовать красоту окружающей природы! Пойдемте.

Они вышли в коридор, и пан Дворжак робко спросил, можно ли здесь закурить.

— Разумеется,— кивнул пан Копферкингель.— Почему же нельзя? Мы не в кино и не в больнице, мы — посреди огня. Так что курите, пан Дворжак, если вам от этого станет легче. Спасибо,— отверг он предложенную сигарету,— я не курю. И не пью. Но если вы считаете, что рюмочка-другая пойдет вам сейчас на пользу, то не стесняйтесь, пан Дворжак, выпейте. Мы, трезвенники,— терпимые и разумные люди.— Пан Копферкингель засмеялся и приступил к объяснениям.— Вот этот репродуктор,— указал он на

тарелку, чернеющую на фоне белого кафеля,— служит для того, чтобы мы слышали церемонию в ритуальном зале. Она сто́ит того, пан Дворжак: прекрасные речи, возвышающая душу музыка. Вы любите музыку, пан Дворжак?

А когда молодой человек, стряхнув в ладонь пепел, кивнул, пан Копферкингель сказал:

— Это очень хорошо, пан Дворжак. Тонкие натуры всегда любят музыку. Остается только пожалеть тех, кто умер, так и не познав красоты Шуберта или Листа. А вы случаем не родня Антонину Дворжаку, автору «Черта и Качи», «Хитрого крестьянина» и «Русалки»?

Пан Дворжак завертел головой, и пан Копферкингель пояснил:

— У нас тут часто исполняют «Ларго» Дворжака, «Поэму» Фибиха, «Свети, солнышко, свети», «Прекрасную мою Чехию»... Итак, это репродуктор... А вот эта кнопка,— пан Копферкингель указал на кнопку посреди белого кафеля,— раздвигает железный занавес ритуального зала, отправляя людей в космические сферы. Впрочем, теперь, при новом директоре, мы пользуемся ею крайне редко. Это за нас делает наверху пан Пеликан. И пан Пеликан, и новый директор — весьма достойные люди, у нас с ними хорошие отношения... а убирает там пани Подзимкова... А теперь взгляните на эту табличку.

И пан Копферкингель подвел Дворжака к стене, где на черном шелковом шнурке висела табличка:

		I	II
1.	8.00—8.30	8.30—9.45	—
2.	8.30—9.00		9.00—10.15
3.	9.00—9.30	9.45—11.00	
4.	9.30—10.00		10.15—11.30
5.	10.00—10.30	11.00—12.15	
6.	10.30—11.00		11.30—12.45
7.	14.00—14.30	14.30—15.45	
8.	14.30—15.00		15.00—16.15
9.	15.00—15.30	15.45—17.00	
10.	15.30—16.00		16.15—17.30

— Вам, наверное, это кажется сложным,— улыбнулся пан Копферкингель,— но это не так. На самом деле все очень просто. Первая церемония,— он ткнул в первый столбик цифр, и на его руке блеснуло обручальное кольцо,— начинается в восемь часов и длится полчаса. Мы располагаем двумя печами, и теперь, когда вместо кокса ввели газ, превращение покойника в пепел происходит за один час пятнадцать минут. Нетрудно высчитать, что первые два гроба попадают в печь сразу же по окончании церемонии, после того, как раздвинется занавес, и вот здесь это видно,— он показал на цифры.— Но третий гроб,— провел он пальцем по третьей строчке,— должен ждать своей очереди пятнадцать минут, а пятый и шестой — целых полчаса... В двенадцать у нас обеденный перерыв; в хорошую погоду, пан Дворжак, можно прогуляться по кладбищу. Если вы обойдете наше здание сзади, то окажетесь на Виноградском кладбище, при этом вам даже не придется проходить через привратницкую. Во второй половине дня сжигают еще четверых, и в шесть вы можете отсюда испариться...

Пан Копферкингель показал на потолок и некоторое время постоял с запрокинутой головой, как бы наблюдая за звездами, а потом улыбнулся Дворжаку, который курил, понуро уставясь на табличку:

— Таблички, пан Дворжак, бояться нечего, это только наш график,— так сказать, расписание поездов смерти. Расписание, которым в отличие от всех прочих расписаний, рано или поздно воспользуются все... разве что кто-то захочет лежать в земле. Там свое расписание, не такое четкое, ведь основано оно не на механике, а на действии подземных вод и живых организмов. А эта штука,— вновь указал он на табличку,— могла бы стать украшением королевских покоев или чертогов властителя Гималаев... Так, а теперь сюда.— Пан Копферкингель подошел к печи.— Перед вами два

термометра. Первый показывает температуру внутри устройства, которое преобразует газовую смесь в раскаленный воздух. Кремация, пан Дворжак, производится с помощью раскаленного воздуха, гроб и тело ни в коем случае не должны соприкоснуться с огнем, это очень важно, есть даже такой закон. Законы, пан Дворжак, существуют для того, чтобы защищать людей... Ну, а второй термометр,— на руке пана Копферкингеля опять блеснуло обручальное кольцо,— регистрирует температуру внутри самой печи. Температура должна быть выше девятисот пятидесяти градусов. Мы поддерживаем ее на уровне тысячи градусов, так за ней легче следить. Допустимый же максимум — тысяча двадцать градусов. Если его превысить, кости превратятся в стекловидную черную массу и праха не будет. А это — беда, пан Дворжак, ведь наша цель — чтобы человек стал прахом, быстро и мирно вернулся туда, откуда он явился. При тысяче градусов кости становятся ослепительно белыми и при наполнении урны рассыпаются прахом, как это и положено. Итак, можно контролировать всю процедуру с помощью термометров — но есть и другой путь. Поднимемся по лестнице,— показал пан Копферкингель,— и заглянем в печь через это вот окошечко. Оно, пан Дворжак, сделано из толстого огнеупорного стекла. Это поистине святое окно, выходящее прямо в кухню смерти, в мастерскую Господа Бога. Через него видно, как душа отделяется от тела и возносится в космические сферы. Однако вам для начала смотреть туда не сто́ит, предоставьте это нам. А еще я расскажу вам, что происходит после кремации.

Пан Копферкингель сделал несколько шагов вперед и продолжал:

— Итак, когда покойник сожжен, его прах насыпают вот в эти металлические цилиндры. Высота их двадцать три сантиметра, диаметр — шестнадцать сантиметров. Но душа туда не попадает,— улыбнулся пан Копферкингель,— не для того она создана, чтобы быть запертой в металле, она сотворена для космоса. Сбросив оковы страданий, освободившись, она подчиняется иным законам, нежели законы металлических цилиндров: переселяется в другое тело... Да, вот еще что. Печь непосредственно сообщается по рельсам с ритуальным залом. Отверстие для гроба, или вход, как мы его называем, имеет размер метр двадцать на метр двадцать. Человек легко может войти туда, стоит только *пригнуться*. А сейчас, пан Дворжак, я проведу вас в наш *зал ожидания*.

Дворжак загасил сигарету, и они двинулись мимо стеллажей с металлическими цилиндрами и печей к дальней двери.

— Это наш зал ожидания, пан Дворжак, здесь убирает пани Лишкова. Комната эта походит на коридор или подвал, пол вымощен плитами, в углу за прозрачной занавеской — ниша... Ну, а тут, на столах, стоят гробы. Как видите, они открыты, пронумерованы и подписаны. Это чтобы не спутать. Сейчас их здесь пять — как раз утренняя партия. Шестой, тот, который попадет в ритуальный зал первым, ровно в восемь, уже наверху, чтобы родные могли проститься. Однако, пан Дворжак, не каждый гроб поступает в ритуальный зал. Некоторые прямо отсюда идут в печь,— например, родные не хотят видеть покойника, либо смерть вызвана заразной болезнью, либо тело находится в таком состоянии, что его нельзя выставлять. *Эти гробы*, пан Дворжак, *сразу заколачиваются наглухо*, вот как сегодня номер три.

Пан Копферкингель показал на закрытый гроб под номером три, снабженный табличкой «Освальд Ржезничек». Потом он обвел глазами помещение, заметил железный прут в углу, хотел было что-то сказать о нем, но тут его взгляд упал на пятый гроб.

— В пятом гробу мы хороним сегодня пани Струнную,— сказал он и поманил пана Дворжака поближе. В гробу лежала поразительной красоты женщина.— Я видел ее еще вчера,— сказал пан Копферкингель, потупившись.

Пан Дворжак, застыв у него за спиной, смотрел, смертельно бледный, внутрь гроба.

— Ее щеки не ввалились, скулы и нос не заострились, как это обычно

бывает у мертвецов. И кожа не имеет воскового цвета и нисколько не напоминает фигуры в паноптикуме.— Пан Копферкингель повел рукой, на которой вновь блеснуло обручальное кольцо.— Наоборот, кожа у пани Струнной розовая, а глаза прикрыты так, словно она спит, но вот-вот проснется и встанет. Вы, верно, подумали: а вдруг она живая? — спросил пан Копферкингель, видя, как пан Дворжак вытаращил глаза.— Гоните такие мысли прочь! Эта женщина зарегистрирована как мертвая, и наш долг — совершив положенный обряд, предать ее кремации. Регистрация смерти — самый ответственный и возвышенный акт, какой совершается на этом свете, он для нас — закон, и мы строго исполняем свои обязанности. Итак, пан Дворжак, вы познакомились со всей нашей механикой и автоматикой и на этом можно пока остановиться.

В десять часов, когда очередь дошла до пани Струнной, пан Копферкингель сказал Дворжаку, который опять нервно курил:

— Смерть этой женщины была зарегистрирована, и для нас это — закон. А законы существуют для того, чтобы служить людям, и мы их обязаны чтить. Мы можем оказать ей еще лишь одну последнюю услугу — дать ей лишних полчаса постоять на запасном пути, ведь она пятая, и я, пан Дворжак, рад этому. А потом за каких-нибудь семьдесят пять минут от нее останется только накалившийся добела скелет, который вскоре рассыплется; за семьдесят пять минут она возвратится в первоначальное свое состояние — в прах. В земле это заняло бы двадцать лет, да и то кости ее остались бы целы. Конечно, если бы пани Струнная оказалась и впрямь живой, ей было бы очень плохо. Еще бы, перед ней — вся жизнь — а тут... Хотя как знать, может, не так и плохо: вдруг в жизни она много страдала? Такие случаи бывают, и довольно часто. А страдания — огромное зло, и мы должны делать все возможное, чтобы их смягчить или *прекратить*... Но не бойтесь, пан Дворжак,— улыбнулся пан Копферкингель,— пани Струнная действительно умерла, таких ошибок сейчас не совершают.

Пан Копферкингель дослушал по репродуктору конец церемонии в ритуальном зале, вторую часть «Неоконченной симфонии» Шуберта (что же еще, ведь красавице не было и тридцати), потом, нажав на кнопку, раздвинул железный занавес и отправил покойную в тупик. Номер третий в первой печи был не готов, ему оставалось еще полчаса. И пан Копферкингель листал книгу о Тибете, далай-ламе, его вере и о переселении душ, поглядывая, чтобы температура внутри печи была не выше тысячи двадцати градусов, а отвлекаясь, вспоминал, что говорил его друг Вилли, когда был вместе с Эрной у них в гостях, и что говорили Беран и Заиц о политической ситуации, слушал доносившиеся из ритуального зала рассуждения о том, что́ есть наша жизнь... а потом в его памяти всплыла дочь пана Голого, красивая, молоденькая, розовощекая девушка в черном платье, как она отмеряла багет для картины, изображающей свадебную процессию... потом молодая пани Лишкова, уборщица, которая выглядела сегодня такой удрученной... Ну, а потом часы показали десять тридцать, и он с грустной улыбкой отправил в первую печь гроб покойной красавицы и стал внимательно следить за термометром, чтобы пепел получился чистым и нежным.

5

Доктор Беттельхайм жил со своей женой, видной пожилой дамой, с племянником Яном и служанкой Анежкой над квартирой Копферкингелей. Над самой их столовой находилась приемная старого доктора, но и квартира рядом тоже принадлежала ему.

«Будь потолки в нашем доме тоньше,— думал пан Копферкингель, сидя раздетым до пояса на круглой белой табуретке в приемной у доктора,— будь они чуть тоньше... Да нет, как бы моя милая Лакме могла через потолок понять, что это шаги — мои? Я пришел после приема, когда здесь не бывает ни души, да и направлялся я не сюда, а в кондитерскую, чтобы купить моей драгоценной что-нибудь сладкое, она это иногда любит, хотя, конечно, не так, как Мили... а кроме того,— рассуждал он,— моя

Лакме никогда не была подозрительной. Она, как и я сам, не сомневается, что у нас идеальный брак и что ни разу за все семнадцать лет его не омрачило ни одно облачко. Наш брак,— подумал пан Копферкингель, посмотрев на свое обручальное кольцо,— безоблачен, как небо над Храмом смерти в те минуты, когда там никого не сжигают».

Доктор Беттельхайм взял пана Копферкингеля за руку, и пока он искал вену и протирал это место ваткой, пан Копферкингель смотрел на его столик, где лежали стетоскоп, шпатель и круглое зеркало на лоб, которые у доктора Беттельхайма имелись, хотя он и не был отоларингологом; потом, покосившись на стоявший в углу стеклянный шкафчик, полный колб, пробирок и лекарств, и на газовую горелку возле него, пан Копферкингель надолго задержался взглядом на огромной потемневшей картине в черной раме, которая уже долгие годы висела в этом кабинете. Бледный молодой человек с пылающим взором, свирепым лицом и аккуратными усиками, одетый в темно-красные бархатные панталоны и темно-коричневый камзол и с золотым кинжалом у пояса, тащил через порог слабо освещенной комнаты куда-то в сумрачный коридор красивую женщину, вернее, не женщину даже — почти ребенка, розовощекую девушку в черном платье. Комната, из которой ее так яростно выволакивали, была, по всей видимости, спальней, так как на заднем плане за полупрозрачной занавеской смутно вырисовывалась старинная кровать. Из глубины коридора на молодого человека собирался наброситься импозантный седобородый господин в черной шапочке с искаженным болью лицом. Пан Копферкингель, приглядываясь в особенности к розовощекой девушке, изо всех сил старался понять, что означает эта сцена. Вот если бы молодой человек тащил девушку в спальню, раздумывал пан Копферкингель, то все было бы ясно, но ведь он тащил ее из спальни — и это не находило объяснения. Он не отрывал взгляда от розовощекой девушки в черном платье, даже когда врач приставил к его руке иглу шприца, надавил, взял кровь и приложил к месту укола ватку. Потом врач прошел в угол, где стоял белый стеклянный шкафчик, впрыснул кровь в пробирку, зажег горелку, подержал пробирку над пламенем — и только тогда пан Копферкингель отвел глаза от картины, потому что услышал:

— Реакция отрицательная, пан Копферкингель, вы здоровы.

Доктор говорил ему эти слова уже много лет, и всякий раз с души у пана Копферкингеля словно сваливался камень. Если бы камни эти свалились все вместе, вообразил пан Копферкингель, то, наверное, рухнул бы потолок в нашей столовой!

— Вы все еще считаете эти анализы необходимыми, пан Копферкингель? — спросил врач, убирая инструменты.

Тот, повернувшись к картине, кивнул. «Ну да,— подумал он, глядя на свое обручальное кольцо,— я заверяю его, что не имею связей с другими женщинами, кроме моей драгоценной, но при этом боюсь заразы... Не выгляжу ли я в глазах этого милого доктора лгуном или неврастеником?» И он в который уже раз объяснил, что опасается подхватить заразу в крематории.

— Но вы же не прикасаетесь к мертвецам,— возразил врач,— да и вообще, так эта зараза не передается!

— Конечно, пан доктор,— отозвался пан Копферкингель,— но такой я человек. Я делаю анализы ради очистки совести. Для меня было бы ужасно узнать, что я, не дай Бог, заразил свою жену. Я не пью, не курю, но наградить ее этим... Я бы тогда застрелился!

Тут пан Копферкингель вспомнил о Прахарже с четвертого этажа, который, к сожалению, пьет, и о его жене, которой он сочувствовал, и об их Войтике — как бы тот не унаследовал увлечение спиртным... Потом он сказал:

— Наш Мили, пан доктор, то и дело уходит из дому. Не понимаю, откуда это в нем, мы с женой такими не были. Боюсь, как бы вскоре нам не пришлось опять искать его с полицией, как в тот раз, когда его занесло в Сухдол и он вздумал заночевать там в стогу. Я очень рад, пан доктор, что

он дружит с вашим Яном. Когда они вместе, то я знаю, что они не дальше чем у моста или перед домом — смотрят на машины. У Мили есть даже такая игра: он делит машины на цветные, зеленые и белые; зеленые — это военные и полицейские, а белые — санитарные, «Красный крест», как я их называю, небесные, для ангелов. А ваша машина синяя, то есть цветная... Я правда рад, что они с Яном дружат. Бродяжничать сейчас опасно. В пограничных областях, насколько я слышал, объявлено чрезвычайное положение, а в Нюрнберге, говорят, был съезд национал-социалистов, на котором выступал Гитлер и угрожал нам... кто знает, что нас ждет! Пан доктор, я боюсь...— сказал Копферкингель, а про себя подумал: «Боюсь, совсем как пан Заиц, все это для многих людей может обернуться адом...»

— Не бойтесь, пан Копферкингель, не стоит,— улыбнулся врач.— Насилия никогда не хватает надолго. На короткое время насилие может победить, но не оно творит историю.

Пан Копферкингель облегченно вздохнул, а врач добавил:

— Люди не вечно будут терпеть насилие. Людей можно запугать, загнать под землю, но надолго ли? Ведь мы живем в цивилизованном мире, в Европе двадцатого века! Насильники, пан Копферкингель, в итоге всегда бывают биты. Взять то же наше пограничье. Чехословацкое правительство объявило чрезвычайное положение — и весь этот немецкий заговор разом рухнул... А-а, вы глядите на картину...

— Я гляжу на нее уже много лет,— спокойно улыбнулся Копферкингель,— но всегда словно впервые... Что на ней, собственно, изображено, пан доктор? Кто эта красивая розовощекая девушка в черном платье... и почему усатый молодой человек тащит ее из спальни?

— Это длинная история, пан Копферкингель,— улыбнулся врач и присел к столу.— Картина передается в нашей семье из поколения в поколение. Родом мы из Венгрии, и предки наши жили в Прешпурке, нынешней Братиславе. По семейной легенде, в восемнадцатом веке один из них — вон тот седобородый старик на картине — женился на поразительно красивой молодой женщине, которую захотел похитить венгерский граф Бетлен. Но муж защитил ее, что тут и изображено. Это похищение. Вот почему женщину тащат из спальни...— улыбнулся врач.

— Муж защитил ее,— повторил пан Копферкингель.— Похищение не удалось.

— Не удалось,— кивнул врач.— Я же говорил вам, насильники всегда бывают биты.

— Это настоящая живопись,— оценил пан Копферкингель.— И кто же тот мастер?

— Он неизвестен,— покачал головой врач,— картина не подписана. Может быть, автор решил скрыть свое имя, ведь у него выступает насильником граф Бетлен, а спасителем — еврей... Мы, Беттельхаймы, евреи, а евреев, пан Копферкингель, преследовали во все времена... Художнику такая трактовка могла грозить неприятностями.

Пока доктор Беттельхайм заполнял карточку, пан Копферкингель не мог отвести глаз от красавицы на картине, теперь-то он понимал смысл этой сцены: неудачное похищение. И вдруг он почувствовал, что запутался и не знает, кого жалеть больше — красивую розовощекую девушку, ее старого мужа-спасителя или знатного похитителя, у которого ничего не вышло. А потом он вспомнил пани Струнную, которую недавно сжигал, и пани Лишкову, уборщицу, которая выглядела в последнее время печальной, вспомнил дочь пана Голого, розовощекую красивую девушку в черном платье... подумал он и о пани Прахаржовой, жене несчастного пана Прахаржа с четвертого этажа, и еще о нескольких знакомых женщинах... и наконец посмотрел на доктора.

— Ну что же, пан Копферкингель,— вставая, сказал тот,— если опять надумаете — заходите. А сын у вас — славный мальчик, и не тревожьтесь вы, что, мол, он бродяжничает. Это возраст. Все мальчишки его возраста любят различные романтические приключения, тут ничего не поделаешь. Я, например, когда мне было пятнадцать, бегал за солдатами, марширова-

вшими мимо нашего дома в Братиславе на стрельбище за городом. Да, а как ваша супруга, пан Копферкингель? Иногда она мне кажется грустной, может, она на что-то жалуется?

Пан Копферкингель оторопел. Лакме кажется грустной? Лакме на что-то жалуется? А он и не заметил!

— Да ничего,— поторопился успокоить его доктор, увидев, как он поражен.— Это было всего лишь мое мимолетное впечатление, но я, конечно, ошибся. Пожалуйста, сюда, пан Копферкингель,— направил он посетителя к двери в жилую комнату,— чтобы вас не видела Анежка, а то она моет пол перед кабинетом.

Но даже когда пан Копферкингель с коробкой шоколадных конфет для Лакме отпирал этажом ниже дверь своей квартиры, он все еще не пришел в себя и мысленно повторял: «Лакме кажется доктору грустной! Боже, что это значит, что с ней — или это действительно было лишь обманчивое впечатление, я-то ничего не замечаю, нужно будет у нее осторожно спросить...— А потом он подумал: — Как хорошо, что у нас в доме живет такой замечательный и человечный врач, который всегда готов принять меня, да еще в неурочное время и строго конфиденциально».

Уже войдя в свою прихожую, он припомнил слова доктора о насилии и насильниках, которые всегда бывают биты, а также о евреях, которых *во все времена* преследовали,— и как-то у него два этих замечания не сходились. Вот и Гитлер в Германии преследует евреев. Почему? За что? Ведь они такие милые и любезные люди!

И с коробкой конфет для Лакме он переступил порог их замечательной столовой.

6

Правительство ушло в отставку, и новое во главе с одноглазым генералом объявило мобилизацию. Жизнь закрутилась дьявольской каруселью, набирала обороты, летела вперед: лишь бы долететь до цели, а там с налета — к оружию! Спустя несколько дней после объявления мобилизации пан Фенек принес в крематорий одну странную вещицу.

— Гляньте, пан Копферкингель,— совал он в привратницкой под нос Копферкингелю какую-то застекленную коробочку,— вы только гляньте! Тут на бумажках булавками пришпилены мухи. Это мухи, дрозофилы, род двукрылых, на них, пан Копферкингель, ставятся опыты по наследственности. Так вот эта,— показал длинным ногтем на мизинце пан Фенек,— называется дрозофила фунебрис. Не приобретете ли коробочку? Отдам дешево. За щепотку,— Фенек понизил голос и заморгал слезящимися глазами,— за одну щепотку морфия.

— Отличный экспонат,— сказал пан Копферкингель серьезно.— Я, пан Фенек, ценю такие вещи. Эти мухи были когда-то живыми, жужжали, летали, на них ставили всякие опыты, а теперь они приколоты к бумажкам. У меня в ванной висит под стеклом бабочка на булавке... Но, пан Фенек, откуда мне взять морфий? Ведь я даже не курю!

— Но у вас есть знакомый химик...— тянул старый чудак.

— Инженера Рейнке нет в Праге,— ответил пан Копферкингель.— Объявлена мобилизация, кругом такая карусель, все полным ходом летит вперед — лишь бы долететь до цели... в общем, сейчас он в отъезде.

— Ну, так рассчитаетесь со мной, когда он вернется,— бормотал Фенек и совал в руки пану Копферкингелю коробочку,— у меня еще кое-что осталось, а это вы возьмите. Возьмите хотя бы из-за дрозофилы фунебрис... берите же, пан Копферкингель! — И Копферкингель, кивнув, поблагодарил и взял коробочку.

В коридорах пахло дезинфекцией, пани Лишкова стояла с косынкой в руке у дверей *зала ожидания*, собираясь уходить. Беран и Заиц еще не появлялись.

— Я сегодня пораньше,— сказал пан Копферкингель пани Лишковой, подходя к ней с коробочкой.— Это чтобы увидеть вас.

— Вам и без меня есть на что посмотреть,— негромко ответила она, повязывая косынку.

— Вы об этих несчастных в печах? Дорогая моя, я нормальный человек, и это зрелище не может не трогать меня. Но вы-то — живая. Неужели весь смысл вашей жизни — убирать здесь каждое утро? Вставать ни свет ни заря, ехать сюда, чтобы только навести блеск — и вернуться домой? Знаете, пани Лишкова, в последние дни я часто о вас вспоминал — даже на приеме у врача...

А потом он сказал:

— Сами знаете, какое сейчас время. Объявлена мобилизация. Вам надо бы поискать человека, который станет вас опекать, нельзя жить одной. Давайте сегодня вечерком поговорим обо всем этом! Немного отдохнем, встряхнемся, рассеемся...— И он, не спуская глаз с ее голой шеи, придвинулся к ней поближе. Женщина вытаращила глаза, вскрикнула и пустилась наутек по коридору, мимо печей к раздевалке. Откуда-то послышался голос пани Подзимковой — что, мол, случилось?

— Смерть в крематории,— объявил пан Копферкингель, все так же держа в руках коробочку с мухами и портфель.— Пани Лишкова меня испугалась.

Пани Подзимкова появилась из-за печей и улыбнулась ему, а он улыбнулся ей в ответ.

— Пан Копферкингель, вам шутки, а у меня мороз по коже. У печей не шутят.

— Вы правы,— опять улыбнулся Копферкингель,— но вы же знаете, пани Подзимкова, у меня и в мыслях не было ничего плохого. Пани Лишкова — красивая одинокая женщина, у нее никого нет, время сейчас тревожное, мобилизация, и я только хотел поговорить с ней, пригласить ее куда-нибудь, хотя бы домой... а бедняжка испугалась. Ну что же, может быть, в другой раз.

— Понимаешь, Йозеф,— спустя несколько минут объяснял он Заицу, войдя в раздевалку, где шел разговор о немцах и о мобилизации и где были все — и Беран, и Дворжак, который, впрочем, молча стоял в углу, застегивая комбинезон,— понимаешь, время сейчас тревожное, мобилизация, но это все политика, а она меня не интересует. Я противник насилия, страданий, нищеты, а главное — войны. Одну я уже пережил, и с меня вполне довольно. Я-то знаю, что тогда вынесли люди! Нужду, разлад в семье и разводы, кровь, боль... даже кони — и те натерпелись. Я против войны, вот и вся моя политика. И это я говорю несмотря на то, что во мне есть капля немецкой крови, а супруга моя — вообще немка по матери, но ведь никто не выбирает свое происхождение... Ну что, вы уже перестали нервничать? — повернулся он к пану Дворжаку.— Курить вы стали меньше, со временем привыкнете, освоитесь — и, надеюсь, вообще бросите курить. У моей Зины,— улыбнулся он, доставая сверток с бутербродами,— скоро день рождения, а я никак не придумаю, что ей подарить. Мы только что узнали о ее дружбе с неким паном Милой, судя по фотографии, это хороший, воспитанный мальчик из приличной семьи. Но будь мы даже знакомы лично, я не мог бы посоветоваться с ним насчет подарка — он бы ей все выболтал. Вот я и мучаюсь, что бы ей купить.— И он взглянул на коробочку с мухами, которую перед тем сунул в угол.— Пан Дворжак, не подскажете ли, что подарить семнадцатилетней девушке? Вам это, наверное, виднее.

— Не знаю,— улыбнулся молодой человек, косясь на мух.— Может, коробку конфет?

— Отрез на платье,— сказал Заиц, глядя туда же.

— На черта ей отрез?! — закричал Беран.— Готовое платье. Чтобы тут же надеть и носить. А мобилизация — это вам не политика. Это оборона! Это бой! — внезапно добавил он.

— Мобилизация — это не политика. Это оборона, это бой,— повторил пан Копферкингель своей Лакме у них в гостиной, взобравшись на стул, чтобы повесить застекленную коробочку с мухами над пианино.— Так

сказал мне сегодня в раздевалке пан Беран. А недавно я повстречал у нашего дома доктора Беттельхайма, и мы с ним немного поболтали. Насилия никогда не хватает надолго, говорил он мне, на короткое время насилие может победить, но не оно творит историю. Людей можно запугать, загнать под землю, но надолго ли, ведь мы живем в цивилизованном мире, в Европе двадцатого века! И в подтверждение он вспомнил о картине, которая висит у него в кабинете, на ней изображено похищение женщины венгерским графом Бетленом. Похищение это не удалось. Но евреев преследовали во все времена, сказал он мне, и это как-то не сочетается с его теорией *кратковременности* насилия.

Пан Копферкингель, все еще стоя на стуле, посмотрел на коробочку с мухами, которую держал в руке, и продолжал:

— Наш немецкий друг Вилли, наверное, был прав, говоря, что за счастье, мир и справедливость приходится бороться. Впрочем, это, кажется, общепризнано, наш пан Беран сказал то же самое. Но Вилли, похоже, прав и в том, что счастья способны добиться только сильные, только полноценные люди. Ведь слабые едва ли одолеют насилие, эксплуатацию, нужду, они, несчастные, обречены страдать. Как подумаю, к примеру, о нашем пане Фенеке... знаешь,— грустно взглянул он на Лакме,— он морфинист. Наркомания — страшная вещь, дорогая моя,— покачал головой пан Копферкингель, прикладывая застекленную коробочку к стене,— это куда страшнее, чем курение и алкоголизм. Бедный пан Фенек, разве он со своим длинным ногтем на мизинце может из крошечной каморки бороться с эксплуатацией или за мир, он же еле ноги таскает и двух слов толком не свяжет... Или бедный пан Прахарж с четвертого этажа, что может он? Кстати, давно я что-то не видел пани Прахаржову, только бы их мальчик не пошел в отца, это ведь может быть наследственным...— Пан Копферкингель окинул взглядом мух.— Наследственность доказана опытами *на мухах*. А еще у нас есть один молодой человек, Дворжак. Когда он только поступил к нам, то почти не выпускал изо рта сигарету, но понемногу успокоился и сейчас, слава Богу, курит куда меньше. Надеюсь, он скоро вообще бросит курить, чего от всей души ему желаю...

Пан Копферкингель слез со стула и, оценивая взглядом, хорошо ли он укрепил коробочку, сказал:

— Пан Штраус очень преуспел с записью в крематорий. Посетители кондитерских — чувствительные, душевные, добрые люди, у которых есть вкус к таким вещам, и я подумываю обзавестись еще несколькими агентами, к примеру, в магазинах игрушек или парфюмерии, а может быть, и в ювелирных. Понимаешь, дорогая моя,— улыбнулся он Лакме, вытирая тряпочкой сиденье стула,— я все же чувствую, что еще недостаточно забочусь о вас. У доктора Беттельхайма из квартиры над нами есть красивая картина и автомобиль, и у Вилли он есть; я, конечно, не завидую и от души желаю им счастья, они хорошие, порядочные и трудолюбивые люди. У нас нет машины, зато есть наш благословенный дом,— он обвел рукой комнату,— и наша любовь. Это куда больше. Скажи, Лакме, ты не бываешь в последнее время грустной? — спросил он неуверенно, вертя в руках молоток, которым только что вбивал в стену гвоздь.— У тебя ничего не болит, не лежит камнем на сердце?

Лакме улыбнулась и положила руку ему на плечо. Он кивнул и погладил ее черные волосы.

— У нашего золотка скоро день рождения, надо подарить ей хороший подарок. Пан Заиц советует отрез, а пан Беран — готовое платье, чтобы сразу надеть и носить. В этом что-то есть. Пройдусь-ка я по магазинам. Мне нужно будет зайти к пану Каднеру на Фруктовую, вот я по дороге и посмотрю платье. Интересно, а этот ее Мила... судя по фотографии, он хороший, воспитанный мальчик, из приличной семьи... любит ли он музыку?

Спустя пять дней утром пани Подзимкова сказала ему в коридоре Храма смерти:

— Мы потеряли работника. Уволилась пани Лишкова. Ей тут было страшно. Да и я что-то тоже иногда побаиваюсь...

— Пани Лишкова уволилась? — удивился Копферкингель.— В такое время? Я только что слышал, что у нас на границах стоит немецкая армия, в Мюнхене собирается какая-то конференция, пахнет войной — а она уволилась? Очень жаль. Теперь уже я никуда не смогу пригласить ее. Бедняжка, она ведь почти девочка. Ну, а вы-то, пани Подзимкова, вы нас не бросите? Вы тут как-никак пятнадцать лет! Кстати, вы не читали сегодня в газетах о женщине, которая потеряла три тысячи? Несчастная мать двоих детей потеряла три тысячи крон и вместо того, чтобы заявить об этом в полицию, прыгнула в Эльбу. — Пан Копферкингель грустно поглядел в направлении печей и повторил: — Она прыгнула в Эльбу, а эти ее три тысячи тем временем преспокойно лежали в полиции, их нашел и отнес туда один честный человек. Ужасно! Двумя несчастными сиротами больше.

В раздевалке Беран и Заиц, склонясь над газетой, говорили о том, что на границах стоит немецкая армия, а в Мюнхене собирается конференция для обсуждения ситуации в пограничье. В углу, у вешалки, стоял пан Дворжак и копался в портфеле.

— Что ты так кипятишься,— улыбнулся Берану Копферкингель,— и чего ты, скажи, испугался? Что нас захватят? Истребят? Но это же насилие...— и он припомнил слова доктора Беттельхайма.— А насилия никогда не хватает надолго. На короткое время насилие может победить, но не оно творит историю. Мы же живем в цивилизованном мире, в Европе двадцатого века! — Тут пан Копферкингель вспомнил о Вилли.— Да ведь этих немцев даже жаль, они так бедствуют! Изо всех сил стараются избавиться от нищеты и безработицы... А что они хотят стать сильными, так это еще ничего не значит. Сила не всегда на стороне зла. Впрочем, это политика,— махнул он рукой, заметив, что привлек всеобщее внимание,— а политика меня не интересует. Вы знаете, что пани Лишкова уволилась? Мне только что сообщила об этом пани Подзимкова. Ей тут было страшно...

Пан Копферкингель взял газету, полистал ее и сказал:

— Читали про утопленницу в Эльбе? Взяла бы себя в руки и пошла не топиться, а в полицию, и все было бы в порядке! А так двое детей без матери. Которая у нас по графику барышня Чарская? — спросил он Дворжака.

— Седьмая.

— Седьмая,— сказал Копферкингель.— Какая трагедия! Это первая кремация после обеда, и ждать в тупике ей не суждено ни минуты. Она отправится в печь прямо из ритуального зала, и нам не удастся уважить ее красоту и подарить ей еще хоть миг ожидания. Бедная барышня Чарская! Вчера я смотрел на нее — кажется, будто она спит, на ней черное шелковое платье, а в руке она держит четки. Попрощаться с ней придут очень многие. Она как раз собиралась замуж...

— У меня иногда бывает такое чувство, что лучше я буду следить за котлами,— сказал упавшим голосом Дворжак.— Или возить катафалки в зале, как пан Пеликан.

— И вы туда же, пан Дворжак? — удивился Копферкингель.— Да что же это такое? Ведь вы было перестали нервничать! Я совсем недавно говорил супруге, что вы освоились, стали меньше курить и, даст Бог, скоро вообще бросите, а вы... Нет, пан Дворжак, котельная не для вас, это означало бы понижение. Уж лучше тогда возить катафалк.

Ровно в четырнадцать часов пан Копферкингель отложил книгу о Тибете, включил репродуктор и стал слушать церемонию прощания с барышней Чарской. Оратор был неплохой.

— Слышите, пан Дворжак, как он говорит? Неплохой оратор. Человеческая жизнь есть не что иное, как ожидание смерти, и именно здесь, в этом месте, мы осознаем это особенно остро. Как верно сказано — должно быть, это кто-то из философов! Да, пан Дворжак, здесь осознаешь многое. Всем живым тварям после недолгой жизни суждено умереть. Из праха мы созданы, прахом остаемся и в прах же обратимся. Тьма перед нами, тьма позади нас, и наша жизнь всего лишь миг меж одной бесконечной тьмой

и другой, точно такой же. Вот, например, люди, жившие сто лет назад, уже давно умерли. То же самое могли сказать они о живших до них, а через сто или двести лет кто-то скажет те же слова о нас с вами. Люди беспрерывно рождаются и умирают, на сей раз уже навечно попадая в царство мертвых. Так во всяком случае кажется нам, живым. Но если дело обстоит именно так, то судьба мыслящих существ поистине плачевна. Тогда человеческая жизнь лишена всякого смысла!

— И все же,— унылым голосом сказал пан Дворжак, впервые осмеливаясь возразить,— жизнь имеет смысл. Уже одно то, что человек пытается сделать что-то для потомков...

— Пан Дворжак,— улыбнулся Копферкингель скорее с грустным сочувствием, чем снисходительно,— пан Дворжак, но ведь эти потомки тоже умрут! Когда-нибудь, пускай даже через миллионы лет, земля наша остынет, и с нею погибнет все живое. Зачем тогда, спрашивается, человеческие труды, муки и жертвы? Где и в чем смысл жизни существ, что населяли миллионы лет тому назад одну из планет? Я, например, люблю свою семью и готов делать для нее все. Но это не смысл моей жизни. Это всего лишь моя обязанность, мой святой долг... Ах, заиграли «Ларго» Дворжака,— Копферкингель кивнул на репродуктор,— слышите вы этот плач со стоном? Еще неделю назад барышня Чарская ходила на службу, писала, считала, готовилась к свадьбе, а сейчас... Видите, у нее не было ни семьи, ни детей, так имела ли ее жизнь смысл? — И пан Копферкингель вновь с грустью подумал, что нет, не сможет он подарить ангельски прекрасной покойнице ни минуты ожидания на запасном пути, он это и вслух сказал, адресуясь к мертвой:

— Увы, уже через час с четвертью ты сгоришь в своем черном шелковом платье и с четками, останется лишь ослепительно белый скелет, да и тот рассыплется в прах, который поместится в металлический цилиндр, а потом в урну... Но не душа,— сказал он наконец,— душа туда не попадет. Она освободится, избавится от своих оков, вознесется в космические сферы — и войдет в иное тело, а не в урну. Она сотворена не для этого! Да, пан Дворжак, человеческая жизнь есть не что иное, как ожидание смерти. Кстати, такова же она и у животных, но те об этом не знают. Однако ожидание смерти — это еще не смысл жизни. Все любят жизнь, и многие боятся смерти, считают, что это зло, конец всего; действительно, безвременная смерть — это хотя и не конец, но, несомненно, зло. Благом она может стать лишь тогда, когда тем самым сокращаются человеческие страдания.

Не исключаю,— подвел итог пан Копферкингель, когда церемония прощания барышни Чарской заканчивалась,— не исключаю, что если бы мы победили природу и побороли смерть, то это для нас была бы беда. Тогда людские страдания длились бы бесконечно. Так что прежде пришлось бы искоренить страдания, но для этого люди должны стать ангелами, ведь страдания причиняем друг другу мы сами. Отсюда ясно, что *на земле* вечная жизнь невозможна — разве только настанет земной рай. По смерти же, напротив, нет вечного ада, которым нам грозят, все это чепуха, есть только вечное небо, нирвана, как говорят в Тибете. Так что смерть на земле — это благо, ибо на земле всегда были, есть и будут люди и их страдания, а не ангелы и рай. Не будь смерти, пан Дворжак,— сказал Копферкингель, насторожившись, так как траурная церемония барышни Чарской закончилась и пан Пеликан раздвинул железный занавес,— не будь смерти, мы не могли бы ни возвращаться в прах, как это положено, ни возрождаться из праха. Не совершались бы погребения, так что наши печи были бы уже ни к чему, и государство, даже самое человечное, не стало бы содержать крематории. Бедная барышня Чарская,— вздохнул Копферкингель,— я как раз везу ее в печь. В первую печь — а ведь она готовилась к свадьбе! Она, конечно, родится заново, да что пользы? Ее смерть была безвременной, а это большое зло. Безвременная смерть,— повторил пан Копферкингель, посмотрев на термометр,— может стать благом только тогда, когда тем самым сокращаются человеческие страдания. Но мне кажется, что смерть барышни Чарской — это не тот случай.

Когда в конце дня Копферкингель миновал привратницкую пана Фенека, старый чудак высунулся из своей каморки спросить насчет морфия.

— Я же сказал вам, что пана инженера нет в Праге,— ответил Копферкингель.— Потерпите. Ему не до морфия, ведь вдоль границ стоит немецкая армия, а в Мюнхене собирается конференция. Тут пахнет войной, пан Фенек, а вы со своим морфием!

Пан Фенек исчез в своей каморке, и Копферкингель смущенно подумал: «Надо же, я лишь чуть-чуть показал ему свою силу, а он испугался».

— Я сейчас к переплетчику, пан Фенек,— крикнул он примирительно привратнику,— а потом пойду поищу платье для дочери, скоро у нее день рождения...

Копферкингель вышел во двор, у ворот кивнул второму вахтеру, пану Вране, у которого была больная печень, сел на трамвай и поехал на Фруктовую к переплетчику Каднеру.

— Пан Каднер,— сказал Копферкингель в переплетной мастерской пожилому толстяку в белом крахмальном воротничке с красной «бабочкой» и извлек из портфеля несколько листков.— Пан Каднер, я просил бы переплести эти листки. Я очень люблю читать их и не один год бережно храню в моем книжном шкафу рядом с желтой книгой о Тибете, которую вы тоже в свое время переплетали. Это *закон о кремации* от 7 декабря 1921 года и служебная инструкция от 9 октября 1923 года. Они тоненькие, несколько страничек, но я бы хотел, чтобы вы одели их в красивый черный переплет с серебряной каемкой и веточкой кипариса. А может быть, вы сумеете пустить те же украшения и по корешку?

— Серебряная полоска на корешке — это просто,— ответил толстяк,— но кипарис и заголовок поместятся только на обложке. Срок — неделя, пан Копферкингель. Объявлена мобилизация, и у нас заказ от Красного Креста. Люция!

На зов вышла пожилая женщина в очках; она вымученно улыбнулась, вытирая тряпкой мокрые руки, а пан Каднер сказал:

— Люция, покажи пану Копферкингелю образец траурного переплета.

Потом Копферкингель двинулся на Рыцарскую и задержался там перед витриной большого магазина готового платья, выбирая, что́ бы подошло для Зины. В витрине было вывешено множество белых кружевных воротничков, а посреди них высилось несколько женских манекенов в красивых, ярких цветастых платьях. В углу стояла фигура розовощекой девушки в черном шелковом платье, и пан Копферкингель решил, что Зина могла бы надеть такое платье и в гости, и в театр, и на свидание со своим Милой, и на семейные прогулки; это платье как будто создано для нее, и завтра Зина придет с ним его примерить. А потом он обратил внимание на белые кружевные воротнички и подумал, не купить ли один такой для Лакме, у которой, правда, не предвидится торжества, но она наверняка обрадуется, если получит в подарок белый кружевной воротничок, он так украсит ее парадное темное платье... И Копферкингель вошел в магазин. «Да,— твердил он довольно, выходя на улицу,— этот воротничок очень украсит ее темное платье, то-то она обрадуется... ну, а что бы еще купить Зине, сладкой моей девочке?» И тут ему вспомнилась картина со свадебной процессией, которую он видел в мастерской багетчика Голого. «Надо зайти туда,— подумал он,— раз уж я оказался поблизости, это будет хороший подарок, ведь девушки любят свадьбы, а висеть она может в столовой у окна, там, где сейчас портрет министра социального обеспечения, который мы перевесим в другое место... надеюсь, пан Голый не продал еще эту свадьбу». И пан Копферкингель направился в багетную мастерскую. За прилавком стояла красивая розовощекая девушка в черном платье.

— Свадебная процессия? Ко дню рождения? — мило улыбнулась она.— Ах, конечно, она где-то здесь. Подождите немного, я позову папу.

— Отличная свадьба, пан Копферкингель,— сказал багетчик, принеся картину.— Я так и вспоминаю о своей свадьбе с покойной женой, это было двадцать лет назад. Господи, как давно... Уже девять лет ее нет, и над ее

могилой выросла березка... Я заверну картину в красивую бумагу, раз это ко дню рождения. Мартичка,— обернулся он к дочери,— принеси мне серебристую бумагу с красными маками.

— Отец, что это за мухи над пианино? — спросила вечером Зина.

— Но, Зинушка, ведь они висят тут уже целую неделю,— улыбнулся Копферкингель.— Ты только сейчас их заметила? Это мне дал один добрый, но несчастный человек. Кажется, золотко, твоя голова чем-то очень занята.— Он имел в виду пана Милу, который был знаком им только по фотографии.— Наверное, у тебя сейчас в мыслях один пан Мила, золотко,— опять улыбнулся он.— Ну что ж, в этом нет ничего плохого. Судя по фотографии, это хороший, воспитанный мальчик из приличной семьи.

А потом он добавил:

— Эти мухи, которые висят над пианино целую неделю, очень интересные. Одна из них, вон та черная, называется дрозофила фунебрис. А остальные — банановые, на них ставят опыты по наследственности... Зинушка,— ласково сказал Копферкингель,— скоро твой день рождения, и я решил купить тебе красивое шелковое платье, чтобы ты могла надевать его в гости, в театр, в кино, на прогулки с нами и с паном Милой... Завтра приглашаю тебя со мной в магазин, для примерки, я присмотрел кое-что на Рыцарской улице. Моей драгоценной,— прибавил он,— я купил в том же магазине изящный белый кружевной воротничок на парадное темное платье.— Тут он послал улыбку сидевшей в углу кошке и, подойдя, погладил ее.— Ах, как чистоплотна наша любимая Розана! И молока у нее сегодня вдоволь.

7

Судеты были оккупированы, а квартира Копферкингелей сияла огнями.

— Как празднично сегодня в нашей прелестной столовой,— говорил пан Копферкингель на кухне своей Лакме, укладывая на большое блюдо бутерброды.— Словно свадьба! Во главе стола сидит наше золотко, рядом,— указал он на один из кухонных стульев,— пан Мила, дальше две школьные подруги нашего золотка, Ленка и Лала, напротив Ян Беттельхайм и Войта, сын бедного пана Прахаржа с четвертого этажа. Знаешь, нежная моя,— сказал он Лакме, которая теперь аккуратно насыпала в тарелочки соленый миндаль,— все это точь-в-точь как на старой картине, написанной хорошим мастером. Этот пан Мила очень кстати догадался захватить фотоаппарат. Если фотографии получатся, это будет память на всю жизнь.— Пан Копферкингель взял другое блюдо и принялся раскладывать пирожные.— А наша Зина настоящая красавица, драгоценная моя, она пошла в тебя и твою покойную мать. И как ей идет новое черное шелковое платье! Она может смело надеть его в гости, в театр, на прогулку с нами... будь у нее не черные, а светлые волосы, такие, как у ее одноклассниц, она была бы вылитый ангел! Если она выйдет за пана Милу, он будет счастлив... Фотография не обманула, он хороший юноша, и из приличной семьи. Его отец, инженер Яначек,— крупный специалист по станкам, и потом, Мила любит нашу Зину, я заметил, как он смотрел на нее за столом. Вот только имя Милослав мне не очень по душе, лучше бы он был Святобор, Милослав — это слишком нежно... Ну да неважно. Имена ничего не значат, ты права, дорогая. Мила интересуется физикой, электричеством, машинами, я тоже охоч до таких вещей, еще надо его спросить, как он относится к музыке...

— Да ведь они дети,— улыбнулась Лакме, поправляя белый кружевной воротничок на темном платье.— Это у них обычная гимназическая любовь... Мало ли что их ждет впереди!

— Конечно,— сказал Копферкингель, любуясь белым кружевным воротничком.— Мало ли что их ждет впереди... Никто не знает, что будет и что чем кончится, единственная неизбежность в нашей жизни — это смерть. Но первую любовь никто не забудет, вот и наше золотко запомнит ее на всю жизнь... Хватит ли двух бутылок вина? — сказал Копферкингель,

доставая чайные ложечки.— Надеюсь, хватит. Я спиртного не пью и буду кофе, для тебя, дорогая, налит чай, наш Мили — сладкоежка, Ян Беттельхайм тоже, им скорее подавай пирожные, ты заметила, вино они едва пригубили, так что, слава Богу, алкоголики из них не получатся... короче говоря, бутылки достанутся девочкам, Ленке и Лале, потом нашей Зине, пану Миле и сыну бедняги Прахаржа. Этот Войта, кстати, выпил немало, как бы он и впрямь не пошел по стопам отца... Впрочем, мы не должны подавать вида, будто о чем-то подозреваем, особенно Зина. Интересно, выйдут ли у пана Милы фотографии? Хорошая у нас осталась бы память о нынешнем дне.

— Я забыла тебе сказать, Роман,— спохватилась Лакме, вынимая блюдца из буфета,— что пришла открытка от Вилли. Вот,— она извлекла из буфета открытку,— принесли сегодня утром. Вилли зовет тебя и Мили на будущей неделе на бокс. Пишет, что хочет вам показать кое-что стоящее.

Пан Копферкингель взял приглашение, прочитал его и вернул Лакме.

— В будущую среду в молодежном клубе... Что ж, раз Вилли приглашает, пожалуй, можно и пойти. Мы ведь не виделись с тех пор, как захватили Судеты. Странно, что он зовет в клуб молодежи, это же чешский клуб. Да еще на бокс! Я и не знал, что он увлекается боксом. То-то удивится Мили! Он ни разу в жизни не был на боксе, так что для него это будет настоящее откровение. Боюсь только, как бы мне не испортить нашего доброго мальчика, лично я считаю этот вид спорта довольно грубым. Позови, нежная моя, Зину...

Лакме отлучилась и вернулась с Зиной, которой очень шло новое черное шелковое платье. Втроем они взяли со стола блюда, тарелки и ложечки и понесли в столовую. В дверях Зина сказала:

— Я не думала, что мы будем подавать бутерброды и сладости только сейчас. Мне казалось, что все должно стоять на столе с самого начала.

— Лучше подносить постепенно,— улыбнулся пан Копферкингель,— когда все выставляют на стол, то не ждешь сюрприза. Это как бабушкин сундук, который раз за разом открываешь — и всегда находишь там что-то новое.

Столовая действительно напоминала живописное полотно с изображением застолья. Все сидели тесным кружком, в котором нашлось место даже кошке. Мили держал ее поперек живота, Ян Беттельхайм водил туда-сюда ее хвостом, а Войтик подсовывал ей к мордочке рюмку вина. Ленка и Лала — обе белокурые, только Ленка худенькая, а Лала пухленькая — смеялись, и Мила тоже смеялся, нетерпеливо поглядывая на фотоаппарат.

— Угощайтесь, дети,— радушно предложил пан Копферкингель.— Все это должно быть съедено. Барышни...— улыбнулся он Ленке и Лале,— пан Яначек, мальчики...— И строго добавил: — Мили, перестань мучить невинное животное. Отпусти кошку. Мы позовем ее, когда будем фотографироваться.

Ах, это один французский министр,— пояснил Копферкингель, заметив, что Мила заинтересовался портретом никарагуанского президента, который висел над дверью, в то время как на его прежнем месте у окна красовалась свадебная процессия.— Его пришлось перевесить сюда от окна, где теперь помещается вот эта свадебная процессия.— Копферкингель подошел и снял ее со стены.— Я купил ее в подарок Зинушке у багетчика пана Голого. Это одинокий пожилой человек, вдовец, он потерял жену уже девять лет назад, но у него есть красивая, розовощекая дочка Марта. Свадьба, дорогие дети,— улыбнулся Копферкингель, не отрываясь от картины,— это великое событие, которое происходит только раз в жизни и определяет всю судьбу человека. Бывает, конечно, что кто-то разводится...— Копферкингель покачал головой и водрузил картину на место.— Разводится и женится снова, случается и такое. Но хорошо ли это? Я по крайней мере против этого. Муж да будет верен своей жене, а жена — мужу. Свадьба есть таинство.— Пан Копферкингель посмотрел на свое обручальное кольцо и вернулся за стол.— А таинство дважды не совершается. Это как регистрация смерти, самый ответственный и возвышенный акт на этом

свете... или как погребение, которое тоже не повторяется... Так вы, пан Яначек, взяли с собой фотоаппарат? А получатся при таком освещении снимки?

— Получатся,— с готовностью отозвался Мила.— Можно начинать?

— Вначале надо поесть,— возразил Копферкингель,— когда человек сыт, он и выглядит лучше, *жизненнее*. А вы еще почти ничего не съели,— показал он на стол,— берите, пан Яначек, видите, сколько здесь всего. Барышни,— обратился он к Ленке и Лале,— вы тоже ничего не едите. Стараетесь сохранить стройную фигуру? Это похвально...— И про себя подумал: «Стройным и дерева потребуется меньше». А вслух сказал: — Но ведь вы еще так молоды!

Потом он стал потчевать Войту и Яна, а Зина налила вино, девочки и Войта выпили и взяли бутерброды, а Ян с Мили — пирожные, и Войта рассеянно уставился на книжный шкаф.

— Тут у меня небольшая библиотечка,— улыбнулся Копферкингель,— где собраны книги, которые можно перечитывать до бесконечности, и при этом они чаруют и захватывают ничуть не меньше, чем когда их открываешь впервые... Зинушка,— попросил он дочь,— включи радио, сейчас должны передавать замечательный концерт, пусть музыка оживит наше застолье.

Потом он сказал:

— В этой моей библиотечке есть две книги, которые особенно мне дороги. Эта вот желтая — о Тибете и далай-ламе, а вторая, рядом с ней, в черном переплете... это даже не книга, а всего лишь несколько листочков, которые даже нелегко было скрепить вместе, однако листки эти очень ценные. Это *законы*... Кстати, мы ведь сегодня еще не открывали газету,— сказал пан Копферкингель под звуки пленительной арии из «Сицилийской вечерни» Верди, полившиеся из радиоприемника.— А время теперь такое бурное, особенно после захвата Судет. Происходят великие события...— и он протянул руку за газетой, развернул ее и начал читать вслух:

— «Несовершеннолетний за рулем... Автомобиль сбил каменщика с тачкой и извозчика, который упал с козел и получил легкие телесные повреждения. Как выяснилось, за рулем был молодой человек семнадцати лет, на отцовской машине катавшийся по Праге». С тобой, Мили, такого не случится,— пан Копферкингель улыбнулся Мили, который жевал пирожное,— у нас машины нет. Ты можешь только делить машины на цветные, зеленые и белые... Скорее такая история вполне могла бы выйти с Яном, у них машина есть.— Копферкингель кивнул на Яна Беттельхайма, который слушал Верди.— Но Ян — хороший, воспитанный мальчик, он любит музыку, любит ходить на оперы и на концерты, так что он не станет брать без спросу дядину машину. Твой дядя,— пан Копферкингель оторвался от газеты и приветливо посмотрел на Яна,— милейший человек. Хороший врач. Замечательный специалист. Вообще профессия врача просто прекрасна. Врач точно ангел среди людей, он помогает несчастным, а что может быть благороднее этого? Врач избавляет людей от боли и сокращает их страдания... А пан доктор Беттельхайм вдобавок тонкий знаток живописи!

И он опять взялся за газету.

— «Антенна убила женщину»,— прочитал он и посмотрел на Лакме, которая поправляла белый кружевной воротничок на платье.— Эти женщины так неосторожны! Так небрежны! А ведь в крематории от нее за час с четвертью останутся всего два килограмма пепла!

Из приемника полился романс Миньон «Знаешь ли чудный край, где так чист небосвод...».

— Мили,— Копферкингель перевел глаза на сына,— на тебя тоже иногда находит, так сохрани тебя Бог, к примеру, попробовать на зуб патрон. Этак можно до конца жизни остаться калекой! И шляться ты любишь,— неодобрительно покачал он головой,— пора бы уже угомониться. Вот Ян,— показал он на молодого Беттельхайма,— если и идет погулять, то не дальше, чем до моста. Ему бы уж наверняка не пришло в голову переночевать в стогу, тем более в такое время. Сейчас не до романтических

прогулок, ты же знаешь, что творится в стране, у нас только что отобрали Судеты, мы живем словно в военном лагере, и полиция не станет поощрять в молодых людях романтику дальних странствий... Это романс Миньон «Знаешь ли чудный край».

Копферкингель кивнул в сторону приемника и вновь склонился над газетой:

— А вот еще кое-что. «Членовредительство во сне. Некто Й. Кашпар спал на кровати у стола, на котором он вечером оставил большой кухонный нож. Ночью ему приснился страшный сон, он схватился за нож и изо всех сил ударил себя в правую руку...» Наверное, левша,— покачал головой Копферкингель,— хорошо еще, что бедняга не попал в сердце или в живот. Видите,— он отложил газету в сторону,— бывает, что и сны несут смерть... Ну же, дети, ешьте, у нас сегодня семейное торжество, а угощение на столе не убывает. Дорогая...— Лакме улыбнулась мужу и стала потчевать гостей.

Все занялись едой, а Зина, Мила, Войта и Ленка с Лалой выпили вина. Потом Мила уставился на табличку возле окна.

— Пан Яначек обратил внимание на нашу табличку,— обрадовался пан Копферкингель, а по радио между тем зазвучали куплеты Мефистофеля из «Фауста» Гуно.— Вы и не догадываетесь, что эта табличка означает! Это, пан Яначек, можно сказать, расписание поездов смерти. Вот вы интересуетесь электричеством, машинами, физикой, за всем этим будущее, миром овладеет автоматика... Я тоже очень люблю всякие автоматы и механизмы, хотя не распространяюсь об этом. Возможно, что и это расписание смерти удастся довести до полного автоматизма,— Копферкингель встал и снял со стены табличку.— Тогда все пойдет еще лучше и *быстреe*. На первый взгляд это кажется сложным, но на самом деле здесь никакой сложности нет. Вот эти цифры означают порядковые номера покойников,— показал он на столбец цифр, и на пальце его тускло блеснуло обручальное кольцо,— это время церемонии прощания, это первая и вторая печь, а вот это — время кремации, включая и ожидание на запасном пути. Будь у нас не две, а три печи, запасной путь был бы не нужен, все отправлялись бы в печь сразу...— И Копферкингель вернул табличку на место.— Кремация, дети, предпочтительнее, чем погребение в земле. Автоматика и механизация помогает быстрее обратить человека в прах. Помогает Богу, а главное — самому человеку. Смерть избавляет людей от боли и страданий, рушит стену, которая окружает нас всю жизнь и сужает наш кругозор... Кремации, дорогие дети, бояться не стоит.— Пан Копферкингель улыбнулся и добавил, показав рукой на радио: — Это кончаются куплеты Мефистофеля из «Фауста» Гуно...

— А бывало, чтобы человек ожил в гробу? — спросил Мила.

Ленка с Лалой и Войтик засмеялись, а Ян Беттельхайм с серьезным видом продолжал слушать радио, откуда сейчас звучал сладчайший дуэт сопрано и тенора из последнего действия «Дона Паскуале» Доницетти. Пан Копферкингель, явно польщенный вниманием юноши, ответил:

— Что вы, пан Яначек, такого в моей практике не случалось. Никто не ожил: ни пани Струнная, которая в гробу казалась спящей, ни барышня Чарская, которой было всего тридцать лет и которая собиралась замуж...

— И все-таки люди иногда оживают,— настаивал Мила.— Я читал!

— И я тоже,— вмешалась толстушка Лала.

— Да, иногда такое бывало,— согласился Копферкингель,— но только когда мертвец на самом деле не умер. За всю историю лишь двое и впрямь воскресли из мертвых: дочь Иаира и Лазарь. Но это было исключение, чудо, да и то оба они ожили не в гробу, дочь Иаира лежала дома, а Лазарь — в пещере, обернутый полотном. И уж никак не ожить тому, кто провел час с четвертью в печи и чей прах был ссыпан в урну.— Пан Копферкингель отпил кофе.— Кремация с гарантией избавляет человека от страха ожить после смерти, если кто-то верит, что это возможно и сегодня. Впрочем, дорогие дети, бояться нечего — теперь мертвые не оживают. Кого зарегистрируют мертвым, тот мертвый и есть. Современная наука не ошибается... Это дуэт из «Дона Паскуале» Доницетти,— улыбнулся Коп-

феркингель Яну Беттельхайму, который все это время, казалось, слушал музыку.

— А может в крематории случиться так, что смешается вместе пепел двух покойников? — спросил невпопад Ян, и Копферкингель, польщенный его вниманием, покачал головой.

— Это исключено,— сказал он.— Совершенно исключено. Такое могло происходить в средневековье, когда совершались массовые сожжения еретиков на кострах. А в крематории каждого сжигают отдельно, причем горячим воздухом: ни тело, ни гроб не должны соприкасаться с открытым огнем... на то есть даже закон... Впрочем, если бы пепел двух покойников и смешался, беды бы не было. Прах человека всегда одинаков, будь это премьер-министр или официант, нищий или хоть директор крематория. И неважно, какое у кого происхождение, есть в тебе, предположим, капля немецкой крови или нет, такие вещи здесь не в счет,— пан Копферкингель улыбнулся.— Все мы произошли из праха и в прах же вернемся.

Тут у стола появилась кошка, и Копферкингель добавил:

— В некоторых странах сжигают и трупы животных. Там закон защищает не только людей, но и зверей. Звери — наши братья, и мы не вправе причинять им боль. Тем, кто поймет их грустные, тоскующие души, не страшны даже самые свирепые хищники... даже леопард...— И Копферкингель посмотрел на Лакме и ее кружевной воротничок, который красиво белел на темном платье.— В нашей замечательной книге о Тибете есть одно замечательное место. Рассказ о юноше, который повстречался в джунглях с леопардом. Вечером, когда было темно, он лег спать в кустах, а утром, проснувшись, увидел в двух шагах от себя леопарда. Посмотрели они друг на друга — и леопард не тронул человека. Позднее этот юноша стал монахом и в конце концов далай-ламой. Главное — иметь чистое сердце, братская душа зверя это чувствует. Ступай, ненаглядная,— погладил он кошку,— мы позовем тебя, когда начнем фотографироваться. Пусть будет запечатлен и твой нынешний облик, который ты после уже не вспомнишь...

Потом Копферкингель сказал:

— Сейчас передают арию из «Нормы» Беллини, поет известная итальянская певица... Посмотрим, что еще мы не читали в газете... наверняка что-то найдется, ведь после Судет мы живем словно в военном лагере.— И он потянулся за газетой.— А-а, вот! «Ученые о сиамских близнецах. У каждой из двух девочек, которые срослись вместе, была своя голова с шеей, свои верхние конечности и своя грудная клетка с соответствующими внутренними органами, но при этом у них был один живот и одна пара ног. Они имели два отдельных позвоночника, а следовательно, две нервных системы, а также два мозга. Психическая жизнь каждой из девочек была самостоятельной. Обе засыпали и просыпались независимо друг от друга. Так это двухголовое существо жило целый год». Подумай, Ян,— Копферкингель обернулся с улыбкой к молодому Беттельхайму,— если это двухголовое существо кремировали, то пепел обеих девочек смешался — и ничего. Да и как тут было делить пепел? Вообрази, Зинушка,— шутливо подмигнул он дочери,— что у тебя было бы две головы и ты могла бы одновременно делать два дела, думать за двоих, чувствовать за двоих... ведь это значит прожить на земле два срока. Воистину благословенная участь! Что ж, дорогие дети, давайте выпьем еще раз по рюмке. Несравненная, налей, пожалуйста, девочкам и мальчикам, Яну и Мили, наверное, не надо — они не пьют, они еще очень молоды... Как красива эта ария из «Нормы»!

Пан Копферкингель отпил кофе, посмотрел на полупустые блюда с бутербродами, пирожными и миндалем и сказал:

— Ну вот, вы немного поели, немного *насытились*... так, может быть, пан Яначек, вы нас сфотографируете?

Все сгрудились вместе, пан Копферкингель взял на колени кошку и сел с Лакме посередине, рядом с ними встали Зина и Мили, остальные выстроились сзади. Мила в шутку погрозил им пальцем, велел всем замереть и под звуки божественной «Нормы» сделал снимок.

— Фотография,— сказал Копферкингель, когда он закончил,— как бы

консервирует настоящее для вечности. У нас в крематории тоже фотографируют, только при этом не говорят «замрите!» — ведь снимают покойников в гробу...

Пан Копферкингель попридержал у себя на коленях кошку, и Мила сделал еще один снимок, на сей раз семейный, с Лакме, Зиной и Миливоем. Но пальцем он больше не грозил и замереть не просил.

— Люди любят помещать в семейных альбомах фотографии похорон, так же как и фотографии свадеб,— сказал Копферкингель после второго снимка.— Это две самые торжественные церемонии в жизни, которые хочется запомнить навсегда.

Потом сын бедняги Прахаржа вызвался сменить Милу у аппарата, чтобы он смог сфотографироваться с остальными. Пан Копферкингель кивнул и опять взял на колени кошку, усадил подле себя Лакме, а молодежь встала сзади.

— Теперь вы вдвоем с Зиной,— улыбнулся Копферкингель Миле,— а я буду снимать, только вы, пан Яначек, подготовьте аппарат.

Мила подготовил аппарат, и пан Копферкингель сделал снимок.

Ария из «Нормы» закончилась, и в столовой наступила тишина.

— Даст Бог, фотографии получатся удачные,— улыбнулся пан Копферкингель,— и будет у нас память на всю жизнь. Спрячьте аппарат, пан Яначек, не то еще сломается!

— Я вот что хотела спросить...— сказала толстушка Лала, смущенно отводя глаза. Пан Копферкингель ласково кивнул ей, и Лала осмелела:— Зачем надо бальзамировать трупы, как, например, было принято в Древнем Египте?

— Это, барышня Лала, долго объяснять.— Копферкингель махнул рукой.— Я-то считаю, что бальзамировать противоестественно. Из-за этого человек не сможет вернуться в прах, из которого он вышел, разве только через тысячелетия. Бальзамировать следует только святых или выдающихся деятелей, которым уже ни к чему возвращаться в прах. В Египте бальзамировали фараонов, позже бальзамировали Спасителя... в наши дни может быть забальзамирован далай-лама в Тибете... но бальзамировать какую-нибудь пани Струнную или барышню Чарскую просто грех.

Копферкингель повернулся к Зине и сказал:

— Ну, а сейчас по случаю своего семнадцатилетия и в честь своих милых гостей ты могла бы сыграть нам на пианино. Барышня Лала наверняка любит музыку, пан Яначек тоже...— Оба кивнули, и Копферкингель заметил: — Тонкие натуры не могут не любить музыку. Это так естественно! Порадуй же нас, золотко. Может быть, ты сыграешь «Песни об умерших детях» Малера?

Все перешли в гостиную, где стояло пианино, Зина заиграла польку, и пан Копферкингель вспомнил, что он и Мили идут в среду вместе с Вилли на бокс.

8

В зале их места оказались почти рядом с рингом. Зрители все прибывали, рассаживались, жевали эскимо, пили пиво из кружек или прямо из бутылок — здесь это было в порядке вещей... Собралось много людей, старых и молодых, мужчин и женщин, причем женщин пришло больше, чем можно было ожидать. Пан Копферкингель заметил в первом ряду пожилую женщину в очках, которая тянула пиво из кружки, а чуть поодаль — розовощекую девушку в черном платье, пришедшую с молодым человеком. Оглянувшись, он заметил у входа жгучую брюнетку, чей профиль и грудь ему показались знакомыми. Смех, манера поводить плечами, ярко накрашенные губы — все в ней выдавало проститутку.

— Видишь тетю? — сказал он Мили и полез в карман.— Не ту черную у дверей, которая дергает плечами, а ту, что в проходе продает эскимо. Беги, купи себе и попроси программку.

Но Вилли опередил друга и первым протянул мальчику деньги — сегодня угощал он.

— У этой чернявой, которая у дверей, профиль и грудь точь-в-точь как у одной моей знакомой,— сказал Копферкингель Вилли, когда Мили пошел за эскимо и программкой.— У проститутки по прозвищу Малышка... Кажется, это она и есть. Знаешь, моя драгоценная едва не забыла отдать мне твое приглашение на бокс. Сунула его в буфет к блюдечкам.

— В буфет к блюдечкам! — засмеялся Вилли, не сводя глаз с ринга.— Нет, вам непременно надо было посмотреть этот спорт настоящих мужчин. Спорт настоящих мужчин того стоит. В конце концов, мы же не кисейные барышни, мы старые солдаты, а время пришло боевое. Погляди, сколько тут народу! И женщин много...

— Некоторые женщины любят бокс,— улыбнулся Копферкингель,— и я рад за них. Если их это развлекает — ради Бога! Это все же лучше, чем пить вино и курить или даже быть морфинистом... Но лично мне бокс всегда казался слишком грубым...— И он с улыбкой покачал головой.

— Грубым? — отозвался Вилли.— Скорее жестким. И это хорошо. Время пришло боевое, оно требует сильных, стопроцентных мужчин. Слабаки не отстоят правду и счастье человечества, это я тебе как-то говорил, и тут ты, надеюсь, спорить не станешь. Да так оно, собственно, было всегда, мы-то с тобой это помним по фронту, где мы защищали честь немецкой нации. Нередко слабость скрывает в себе больше зла, чем сила.— И он вперился взглядом в Мили, который возвращался с эскимо.

— А где программа? — спросил его Копферкингель, а когда в ответ он только ойкнул, сказал: — Беги купи, надо же знать, кто сегодня боксирует.— И Мили опять ушел.— Ему временами приходится повторять дважды,— улыбнулся пан Копферкингель и посмотрел туда, где стояла девица, похожая на проститутку, по прозвищу Малышка. Там наступило непонятное оживление: люди заволновались, повскакивали с мест, но что их взбудоражило, видно не было.— У дверей непонятное оживление,— констатировал Копферкингель,— люди волнуются, даже с мест вскакивают... Так, говоришь, жесткий? Но тогда это тем более не для молодежи! Это может быть спортом для солдат или там полицейских, но не для таких вот мальчишек. Тут ведь, кажется, молодежный клуб?

— Именно молодежь,— сказал Вилли,— и обязана быть сильной. Даже чехи это понимают, видишь? — Он кивнул на переполненный зал и помахал Мили, который наконец принес программку.— Ну вот, программа у тебя есть, можешь садиться: сейчас начнется.

Пан Копферкингель взглянул на пожилую женщину в очках в первом ряду и на розовощекую девушку в черном чуть дальше, потом обернулся к дверям, где все так же стояла живая копия Малышки, а наступившее там оживление постепенно передавалось и зрителям впереди. Причиной его, как теперь стало ясно, были двое, которые никак не могли отыскать свои места.

Раздался удар гонга, ринг залил сноп света, и публика зашумела.

— Смотри в оба, Мили, и ничего не бойся,— сказал Вилли,— бояться стыдно. Страх — злейший враг человечества. Да-да, уверяю тебя...— улыбнулся он Копферкингелю, а вокруг них все головы повернулись к двум опоздавшим, которые наконец нашли свои места — и оказались прямо перед Вилли. Тут на ринг вышли два подростка.

— Бокс — это боевой спорт, der Kampfsport,— тихо сказал Вилли по-немецки — так, чтобы никто не слышал.— И он не только для сильных и ловких, он как раз для тех мальчишек, которым не хватает веры в себя и смелости. Борьба мужчины с мужчиной учит оценивать свои силы и отражать удары врага. Нападение и защита — главное в боксе.

Вдруг мелко задрожали канаты, которыми был опоясан ринг: между ними пролезал толстый коротышка судья в белом крахмальном воротничке с красной «бабочкой», носком ботинка он задел за канат, и зал взорвался хохотом. Пан Копферкингель обратил внимание на пришедших последними и севших перед Вилли мужчину и женщину.

— Так и ногу сломать недолго,— сказала женщина.

Рассерженный карлик-судья выпутался из канатов, поправил крахмальный

воротничок и галстук-бабочку, вышел в центр ринга и резким движением руки подозвал боксеров.

— Сейчас потечет кровь? — заволновался Мили.

— Может быть,— пожал плечами Вилли.— Это боевой спорт, а в бою нередко льется кровь: на войне как на войне. Но вообще в боксе стараются до этого не допускать. Жестокие удары запрещены, во всяком случае, у нас. В гитлерюгенде боксу учат даже детей — и притом только прямым ударам, хуки справа и слева не позволяются...

— Как бы они не выбили друг другу зубы,— сказала женщина, сидящая перед Вилли, когда судья раскинул руки, посылая боксеров в разные углы ринга. Пан Копферкингель пристальнее пригляделся к соседке. В руке она держала программку, на голове у нее была шляпка с пером, а на шее — нитка бус. Ее спутник был низенький и толстый, у него на коленях лежал котелок, а рядом с креслом стояла трость.

Начался поединок. Мили смотрел испуганно.

— Это еще что! — сказал Вилли.— Пока не было ни одного сто́ящего удара.

Тут наконец последовало несколько сто́ящих ударов, но зазвучал гонг. Бой кончился вничью. Толстый судья в крахмальном воротничке с «бабочкой» сердито вскинул руки и затопал ногами.

— Похоже на танец,— сказала женщина с пером.— Сюда бы еще музыку!

— На черта музыку? — буркнул ее сосед-толстяк, ткнув женщину в бок.— Здесь не кабак, здесь бокс!

Раздался гонг, и на ринг вышла следующая пара. Судья топнул ногой, взмахнул рукой, и бой начался. Удары были сильными, резкими, и Мили еще больше перепугался.

— Этому надо учиться,— сказал Вилли,— а иначе ничего не добьешься. Надо освоить правильные удары и научиться держать оборону. Не знаю, как в здешнем молодежном клубе, а в гитлерюгенде принято индивидуальное обучение.— И он тихо повторил эти же слова по-немецки.

Боксеры на ринге обхватили друг друга руками, и толстый судья вклинился между ними, пытаясь развести их в разные стороны.

— Как бы они его не побили,— сказала женщина с пером.

— С чего бы это им его бить? — проворчал толстяк, ткнув ее в бок.— Ты же не в кино, ты на боксе, и здесь не бьют, а боксируют!

Поединок становился все ожесточеннее, подростки обменивались ударами, судья прыгал вокруг них, зал гудел и свистел, пожилая женщина в очках отхлебнула пива, а розовощекая девушка в черном платье обернулась к своему молодому спутнику. Но тут судья вновь начал разгонять боксеров по разным углам.

— Почему у него нет перчаток? — спросила женщина с пером.

— Это же судья,— зашипел толстяк,— он не боксирует. Ты лучше смотри на этих, в трусах.

Потом один из боксеров зажал своего соперника в углу ринга, прозвучал гонг, и бой кончился. Судья подскочил к победителю, вскинул вверх его руку, и зал радостно зашумел.

— Он выиграл потому,— сказал Вилли,— что правильно защищался. Если бы ты тоже научился так защищаться,— обратился он к Мили,— то тебе никто не посмел бы угрожать. И если бы на тебя кто-нибудь напал, ты бы дал отпор.

Судья навалился животом на канаты и принялся махать кому-то,— наверное, следующей паре боксеров.

— Как бы он не упал,— сказала женщина с пером.

— С чего бы это? — обрушился на нее толстяк.— С чего бы это ему падать? Он зовет боксеров, он — судья. И вообще, хватит трепаться!

На ринг вышла третья пара.

Вилли заглянул в программку:

— Вон тот, в красных трусах, работает подручным у мясника.

— Он же мясник,— взвизгнула женщина с пером, тыча пальцем в программку.— Сейчас прольется кровь!

— Заткнись,— ткнул ее в бок толстяк,— с чего это ей проливаться? Ты не на бойне, ты на боксе. Молчи и смотри, а не то...

Прозвучал гонг, судья топнул ногой, и начался третий поединок. Он сразу пошел в быстром темпе, и Мили едва не обезумел от ужаса.

— Не бойся,— смеялся Вилли,— видишь, какой удар, der Stoss,— добавил он по-немецки.— Если бы ты тоже так умел, то был бы непобедимым.

Тут подручный мясника после очередного удара противника повис на канатах. «Это был крюк, der Haken»,— сказал Вилли. Зал загудел и засвистел, пожилая женщина в очках глотнула пива, розовощекая девушка в черном отвернулась от ринга, толстый судья раздраженно притопывал и махал руками, так что его галстук-бабочка подпрыгивал, а толстяк толкал женщину с пером в бок и шипел:

— Ты что, ненормальная?! Ты что делаешь? Ты куда смотришь?

— Почему тот, который с «бабочкой», не дает сдачи? — верещала женщина, нервно вертя головой.— Этак его кондрашка хватит. Он же ловит бабочек, почему у него нет *зеленого сачка*?

— Прекрати,— гневно буркнул толстяк, стукнув тростью об пол,— какие бабочки, какой зеленый сачок, я же тебе сказал, что он судья, а не боксер!

А на ринге события развивались стремительно, все вертелось колесом, с обеих сторон сыпались удары... толстый судья в белом крахмальном воротничке с красной «бабочкой» метался между противниками, подскакивал, пританцовывал, размахивал руками, и вдруг...

...и вдруг один из боксеров пригнулся, напрягся, выбросил вперед перчатку... и судья, *подобно бабочке,* взлетел на метр от пола и во весь рост растянулся на ринге... а боксер опять кинулся вперед, и вот уже подручный мясника тоже лежит на полу... Зал рассмеялся, кое-кто вскочил, а пожилая женщина в очках подбросила вверх опустевшую пивную кружку...

— Он умер,— истошно закричал Мили, трясясь, как овечий хвост.

— Разве? — улыбнулся Вилли.— Что ж, может, и так.

— Зачем же ты врал, что он не боксер? — вопила женщина с пером.— Зачем ты врал, будто он судья?! Ведь он взлетел и упал! Ты же говорил, что тут бокс и крови не будет! — Она толкнула толстяка в спину.— Ты сказал, что мы идем на бокс, почему же тут говорят по-немецки?..

Толстяк схватил ее за плечи и начал трясти, да так, что перо на шляпке заходило ходуном, а бусы громко зазвенели.

— Это нечаянно,— кричал толстяк,— он просто попал под горячую руку, и некому тут говорить по-немецки, ты же не в рейхе, ты в Праге...

— Ерунда,— смеялся Вилли,— ему не повезло, вот и все. Бокс — это красиво, это der Kampfsport,— добавил он по-немецки.— Он закаляет тело и дух и развивает реакцию, внимание и смелость. Недаром фюрер считает бокс лучшим видом спорта.

Тем временем судья поднялся на ноги, подпрыгнул несколько раз, желая показать, что ничего особенного не произошло,— а сам так и кипел от возмущения, грыз ногти, встряхивал головой; подручный мясника тоже было встал, но тут же снова упал. Публика вскочила с мест, некоторые кинулись к рингу, женщина с пером ударила толстяка по спине, воскликнула: «А ты говорил, мы в Праге!» — и побежала к выходу. Толстяк в котелке и с тростью погнался за ней, толкнул в плечо, она вскрикнула, и публика засмеялась, подначивая толстяка, который беспрестанно повторял: «Она сумасшедшая, она впервые на боксе, никуда я с ней больше не пойду, вот всегда она так, в психушке ее место, вот где!»

У дверей образовался людской водоворот, там теснились и пожилая женщина в очках и с пустой кружкой, и красивая розовощекая девушка в черном, и ее молодой сосед, и проститутка Малышка — она поводила плечами, смеялась и размахивала чьими-то разорванными бусами. Пан Копферкингель улыбнулся ей, а она состроила в ответ забавную гримаску. Неподалеку от нее какой-то мужчина раздавал всем желающим листовки; Копферкингель не сумел протолкаться поближе, зато Вилли одну такую

бумажку взял. Ну, а потом они выбрались на вечернюю улицу. Под фонарем в окружении кучки зевак стоял толстяк, его трость была прислонена к стене, и он вытирал носовым платком подкладку котелка.

— Пойдем-ка,— поторопил пан Копферкингель Мили, который явно хотел о чем-то спросить,— у него сбежала жена, наверное, ее что-нибудь встревожило, но врач ей обязательно поможет, а нам уже пора...— И они неторопливо зашагали по тротуару.

— Итак, мы видели мужской спорт,— улыбнулся Вилли своему другу Копферкингелю и его сыну, а потом, взглянув на листовку, добавил: — Гляди-ка, Мили, это приглашение в спортивную секцию молодежного клуба... возьми, тебе это может пригодиться!

Они завернули за угол, и Вилли продолжил:

— Итак, мы видели мужской спорт и замечательную чешскую молодежь. Надеюсь, вы остались довольны... Ну, а что ты думаешь по поводу Судет? — спросил он у Копферкингеля.— Ведь мы с тобой так и не успели толком обсудить последние события. Это была трудная работа, но, к счастью, она увенчалась успехом. Наконец-то Судеты вздохнут свободно.— Он слегка понизил голос, потому что мимо как раз проходила шумная компания.— Там одержали победу арийское право и справедливость. Иначе и быть не могло, потому что Гитлер никогда не проигрывает. Наше будущее — у него в руках, и это залог успеха!

— В жизни все так неопределенно,— покачал головой Копферкингель,— и будущее всегда сокрыто от нас. Неизбежна одна только смерть.

— Не сомневайся,— по-прежнему улыбаясь, отозвался Вилли,— Гитлер обязательно добьется успеха, потому что сражается он ради высокой цели. Цель эта — спасение от голода и нищеты ста миллионов немцев и установление для них справедливых законов, под властью которых люди станут жить как в раю. Страх и муки сгинут навсегда...

— Но это возможно разве что после смерти,— отмахнулся пан Копферкингель.— То есть после обретения человеком вечной жизни. А вечная жизнь доступна лишь фараонам, святым, далай-ламам... Мы же можем только облегчать муки. Люди суть прах — и в прах же обратятся...— Он улыбнулся какой-то женщине.— Слушай, ты заметил в зале красивую розовощекую девушку?

— Но я и говорю о вечной жизни,— резко перебил его Вилли,— о вечной жизни для нашего народа! О немецкой расе, призванной спасти человечество и установить новый порядок. Сегодня решается судьба Европы, а это никого не может оставить равнодушным.— И Вилли обернулся, отыскивая глазами Мили, все еще сжимавшего в кулаке приглашение в клуб.

— Мили,— оглянулся в свою очередь пан Копферкингель, а потом спросил, усмехнувшись: — Значит, мы с тобой тоже решаем судьбы Европы?

— Безусловно,— обиженно отозвался Вилли,— впрочем, за тебя я не ручаюсь. Твоя капля немецкой крови молчит. Ты равнодушен. *Мы* воюем,— подчёркнул он,— а трýсы — нет. Человек легко поддается страху и забывает о своем долге. Погоди,— остановил он Копферкингеля, заметив, что тот собирается возразить.— Я имею в виду другой долг, долг совести. Такому человеку безразличны беды народа... Бросить нищенке раз в неделю мелкую монету — это нетрудно. Сунуть грязному попрошайке какую-нибудь ерунду может каждый, даже уличная девка.— Он покосился на Мили.— Но вот бороться за счастье миллионов — это дело другое! Ликвидировать безработицу и нищету, в пучину которых ввергли твой народ враги рейха, очистить мир от всяческих паразитов, отвоевать для немецкой нации жизненное пространство — вот как я понимаю наш долг, Карл!

— Жизненное пространство,— протянул Копферкингель.— Послушай, Вилли, я расскажу тебе кое-что о гробах. Когда гроб закрывают крышкой, покойнику не должно быть под ней тесно. У хорошего гробовщика крышка ни в коем случае не задевает лицо и грудь мертвеца. Лучшими считаются те гробы, в которых могут поместиться два человека. Гроб должен быть

просторным, и это единственное жизненное пространство, по-настоящему важное для людей.

Они вышли на перекресток, где ездили машины и трамваи, и Вилли оглянулся и подозвал Мили.

— Как бы все это не обернулось адом,— сказал Копферкингель, решивший, что Вильгельм обиделся.— Адом. И виноват будет только твой Гитлер...

— Но ведь он борется за счастье и справедливость стомиллионного народа! — строго заметил Вилли.— За его бессмертие. За новую Европу. Да,— кивнул он,— это может обернуться адом. Адом для тех, кто мешает нам, то есть для наших врагов. Ну, а для законопослушных граждан никакого ада не будет.

Перед ними мчались автомобили и трамваи, причем автомобили были только цветными — ни одного зеленого или ангельски-белого! Рейнке посмотрел на бледного Мили:

— По-моему, бокс не даст тебе сегодня заснуть. Впрочем, ничего удивительного — ведь ты видел его впервые. Скоро ты привыкнешь и даже сможешь стать таким же смелым, как этот подручный мясника... Ну вот вы и дома.

Они остановились перед подъездом, возле которого висела табличка «Доктор медицины Якуб Беттельхайм, кожные и венерические болезни». К тротуару жалось несколько цветных автомашин; одна из них принадлежала доктору Беттельхайму.

— А твоя машина сегодня где? — спросил пан Копферкингель.

— У Эрны,— ответил Вилли,— я поеду домой на такси.

9

— Ах, Рождество, Рождество,— улыбнулся пан Копферкингель Лакме, протиравшей в столовой сиденья стульев, и любовно посмотрел на огромную нарядную елку.— Все у нас с тобой замечательно! Клиенты идут толпами, и каждый мечтает о печи и пепле. Кстати, подарки обоим нашим *солнышкам* (Копферкингель имел в виду детей) я купил на деньги, заработанные паном Штраусом. Он оказался весьма усердным и добросовестным человеком... где-то он проведет нынешний вечер? Ты же знаешь, ему пришлось уйти с прежнего места службы.— Копферкингель посмотрел на стену, где над шкафом висела фотография, запечатлевшая Зинин день рождения.— Жена Штрауса умерла от чахотки, сын — от скарлатины... а я вчера нашел еще одного агента.— И он опять улыбнулся Лакме, которая продолжала протирать стулья.— Ты спрашиваешь, кто он? Хороший честный человек по фамилии Рубинштейн. Он, наверное, еврей, ведь Рубинштейны — это еврейская фамилия. Раньше он торговал постельным бельем в магазине Либы, но недавно тот разорился. Теперь немного охотников покупать постельное белье. Пан Рубинштейн предлагал посетителям простыни и наволочки, а сейчас станет уговаривать людей кремироваться. Здесь есть нечто общее: ведь и в гробу человек лежит не на голых досках. Пан Рубинштейн любит музыку, особенно сочинения Моцарта и Фримля... Однако кое-что меня все же беспокоит...— Копферкингель ласково погладил Лакме по голове.— Пан Рубинштейн разведен. Зря он так. Лучше бы ему быть вдовцом, подобно пану Штраусу или пану Голому... ну да ладно. В конце концов, это его дело, и нам не пристало ни обсуждать, ни осуждать его. Ведь не каждая семья так счастлива, как наша, возлюбленная моя.— Копферкингель вздохнул и подошел к елке.— Как жаль, что мы никогда больше не увидим твоей бедной матери. Ее дух мог бы объявиться здесь нынче вечером, когда я стану зажигать рождественские свечи. Зато в пять часов *появится* Вилли...

— Ты говоришь так, будто он призрак,— засмеялась Лакме.— А Эрна тоже придет?

— Нет,— сказал пан Копферкингель,— Эрна слишком занята. У них сегодня будут гости, немцы из пражского отделения Судетской партии. Так

что Вилли заглянет всего на несколько минут. У него ко мне какой-то разговор. Наверное, хочет сообщить, что я трус и выродок, потому что не слышу зова крови и не выполняю свой долг. А может, сегодня, в Сочельник, он не станет огорчать нас и просто поздравит с праздником. Ну что ж, пускай приходит, в буфете для него припасены печенье и миндаль... Слышишь, дверь открывается? Наверное, дети вернулись.

Действительно, в прихожей торопливо разувались Зина и Мили, а на полу стояла большая хозяйственная сумка, в которой что-то шевелилось.

— Они такие огромные,— воскликнул Мили.— Просто великаны! Но она купила двух маленьких,— и он кивнул на Зину.

— Пани Анежка тоже купила двух маленьких,— сказала Зина,— два маленьких лучше одного большого, глупыш ты этакий...

— Быстрее, дорогие мои, быстрее, надо немедленно напустить полную ванну воды,— сказал Копферкингель, глядя на сумку.— Они открывают рты и глотают воздух... а к вечеру Анежка убьет их.

Дети побежали в ванную; пан Копферкингель извлек из сумки двух карпов, осторожно опустил их на белое дно красивой ванны и повернул кран. Потом он выпрямился и склонил голову, как если бы перед ним был катафалк... а рядом стояли Мили и Зина, наблюдавшие за тем, как вода заполнила ванну и оживила рыб, пустившихся по ней в недалекое плавание.

— Ну вот, мои милые,— Копферкингель поднял голову и посмотрел на вентиляционную решетку с привязанным к ней шнурком и на желтую бабочку на кафеле стены,— с карпами все в порядке. Они уже в своей стихии, и мы можем покинуть нашу любимую ванную комнату.

— А почему их будет убивать Анежка? — спросил Мили и тоже посмотрел на вентилятор.— Разве ты сам не можешь?

— С чего ты взял? — ласково улыбнулся Копферкингель.— Конечно, могу. Но я не люблю этого делать, а у пани Анежки есть опыт, она помогает нам уже много лет. И потом, это прекрасный повод подарить ей что-нибудь на Рождество. У нее такая добрая душа.

Под вечер пришла пани Анежка.

Копферкингель услышал, как она разговаривает в прихожей с Лакме. Он вышел к ним, поздоровался и крикнул в сторону кухни:

— Солнышки мои, проходите в столовую, пани Анежка уже здесь.

А про себя подумал: «Я сообщаю им о приходе палача».

— Побудьте пока в столовой,— сказал он Мили и Зине.— Вам это видеть ни к чему. Тут тебе не бокс,— повернулся он к Мили.— А где наша пушистая Розана?

— В кухне,— ответил Мили.

Пан Копферкингель посмотрел на семейную фотографию. Он сидел в центре, рядом с Лакме, и держал на коленях кошку, а по бокам стояли Зина и Мили. Потом он перевел глаза на торшер, на стул под ним и взялся за газету.

— «Разыскивается девятилетний мальчик, который ушел из дому три дня назад и до сих пор не вернулся. Родители и полиция предпринимают...» — Мили потупился, пан Копферкингель невольно улыбнулся и выглянул в коридор, так как заскрипела кухонная дверь.

— Карпы уже в кухне,— сообщил он детям,— на столе приготовлено место, и пани Анежка сейчас возьмется за молоток и нож...

Из кухни донесся глухой удар.

— Один мертв,— кивнул пан Копферкингель и посмотрел на висевший у окна график смерти,— интересно знать, который? Меньший или больший? Окружавшая его стена пала, и бедная душа оказалась на воле.

И он опять раскрыл газету:

— «Голод толкнул женщину на самоубийство. Сегодня в восемь часов утра полиция обнаружила на вилле доктора С...» — Пан Копферкингель дочитал заметку до конца и бросил быстрый взгляд на Зину, поправлявшую у зеркала прическу.

Тут из кухни опять послышался негромкий удар, и пан Копферкингель кивнул.

— Второй тоже умер,— констатировал он, поглядев на табличку возле окна.— Стена пала, а свободная душа воспарила ввысь. Теперь, Мили, ты получишь обе эти души и станешь весело играть с ними. Впрочем, мы отлично понимаем, что это только рыбьи воздушные пузыри, а истинные души карпов наверняка уже подыскали себе новые тела. Например, вселились в каких-нибудь кошек. Вообще-то рыбы — это наши младшие братья, и мы не должны были бы убивать и есть их, потому что это жестоко. И все же ваша добрая мать вот-вот положит их на сковороду, чтобы зажарить.— Пан Копферкингель взял в руки «Закон о кремации».— В семь часов они украсят собой наш праздничный стол. Так заведено Богом, и, значит, иначе нельзя. Лакомясь в Сочельник вкусными карпами, мы тем самым *приближаем* их новое рождение. Спаситель тоже ел их.— Копферкингель аккуратно поставил на место «Закон о кремации».— Мало того, он ел даже агнцев...

И отец семейства обнял детей за плечи.

— Ну, дорогие мои, пришло время подарить пани Анежке наш замечательный красный фартук.

...Не успела еще закрыться дверь за благодарной пани Анежкой, как в прихожей появился Вилли. Он поздоровался с Лакме и детьми, снял пальто, сдул пылинку с лацкана элегантного пиджака и вошел в столовую. На столе его уже ждала бутылка вина.

— Какая красивая елка,— сказал Вилли,— а карп у вас тоже есть?

— Целых два,— улыбнулся пан Копферкингель,— и они сейчас жарятся на нашей маленькой удобной плите. А вот ее покойная мать,— он подразумевал тещу,— никогда не жарила карпов. Она любила *заливную рыбу* — говорила, что знает какой-то *заграничный* рецепт. Ну, а мы готовим их по-чешски. Ты, наверное, пришел сообщить мне, что я выродок и трус...

— Я никогда не произносил ничего подобного,— Рейнке быстро отошел от елки,— я говорил только, что ты не прислушиваешься к голосу немецкой крови и не борешься вместе с нами за счастье и справедливость. Сила и правда — на нашей стороне,— он засмеялся и плеснул в рюмку немного вина,— и я уже сказал тебе, что борьба за светлое будущее никогда не обернется адом для таких, как мы. Неужели тебе нравится насилие? Неужели ты любишь тех, кто виноват в нашей нищете? Может, ты жалеешь их? Хочешь, чтобы они продолжали грабить нас? Превращали нас в попрошаек? Ты когда-нибудь видел, как *отворяют кровь?* — Он помолчал и продолжил: — Вот здесь, на руке, делается маленький надрез, к которому прикладывают пиявку, в средние века так лечили чуму... Я знаю,— он глотнул вина,— я уверен, что ты не любишь насилие. Ты любишь мир и хочешь всеобщей справедливости. Ладно,— он побарабанил пальцами по столу,— я вынужден, наконец, открыть тебе глаза. Я всегда подозревал, что ты не любишь войну, потому что не позабыл ее ужасов... Ведь тебя трогают даже страдания лошадей... Так вот, нынешняя чешская республика является огромным *гробом повапленным*. Это источник новой мировой войны. Это бастион наших врагов.

— Я с тобой не согласен,— возразил Копферкингель,— это гуманное государство, и в нем действуют хорошие законы...

— Законы о кремации,— перебил его Вилли,— но у нас в Германии тоже есть такие. Они есть в любой стране, за исключением, пожалуй, Ватикана, который вообще не признает кремацию. Но почему же это твое замечательное государство не позволило нам, немцам, создать свою республику? Почему в Судетах было запрещено посылать немецких детей в немецкие школы? Почему чешское государство допустило, чтобы в наших людей в пограничье стреляли? Что? — он взглянул на пытавшегося что-то возразить Копферкингеля.— Ты все еще сомневаешься? А как же быть со здешней нищетой? Ведь ты сам рассказывал мне, что часто встречаешь нищих. Мало того, здесь есть даже женщины, продающие на рынках дохлых кошек под видом кроликов... в рейхе подобное уже невозможно, хотя мы пока выполнили далеко не все наши планы. Голову даю на отсечение, что в Судетах не осталось ни одного нищего, несмотря на то, что фюрер освободил эти области совсем недавно.— Он глотнул вина.— Нет,

Карл, пора расставлять точки над «i». Войны быть не должно. Насилие необходимо ликвидировать, причем ликвидировать повсеместно! Эта республика обречена, Карл. Польша и пальцем не шевельнет ради нее. Бек [1] кое-что выторговал себе у Геринга за ликвидацию республики, а Малая Антанта [2] дышит на ладан. Все кончено.

— Неужто дело и впрямь зашло так далеко? — недоверчиво покрутил головой пан Копферкингель.

— Гораздо дальше, чем ты думаешь,— резко сказал Вилли.— Эта республика — только один из неприятельских оплотов. У нас много врагов, и в свое время фюрер обязательно сочтется с ними. Мы, немцы,— усмехнулся Рейнке,— призваны навести порядок. Мы установили в Европе новый, счастливый и справедливый строй.— Вилли поднялся, прошелся по столовой и остановился у тумбочки.

— Мы — носители сильного, гордого духа,— сказал он, взглянув на семейное фото, в центре которого сидел пан Копферкингель с кошкой на коленях,— в наших жилах струится чистая арийская кровь. Кровь, являющаяся предметом гордости, кровь, которую нельзя получить вместе с образованием или купить за золото, потому что она — дар свыше... да-да,— Вилли многозначительно посмотрел на своего друга Копферкингеля,— дар свыше, который необходимо ценить.

Мы — носители *светлой* культуры,— продолжал он, не спуская глаз с таблички на шелковом шнурке,— и мы знаем, в чем смысл жизни. Мы понимаем в этом больше, чем любая другая нация, так как это понимание тоже ниспослано нам свыше. Оно ниспослано и тебе — ведь в твоих жилах течет немецкая кровь. Неужели ты считаешь, что принадлежность к немецкой нации может быть случайностью? Нет же, нет, это судьба!

Мы боремся за высшую общечеловеческую мораль,— сказал он и направился к елке, усеянной свечками,— за новый мировой порядок. И ты — один из нас. Ты честный, тонко чувствующий, аккуратный, но главное,— Вилли обернулся,— главное — ты сильный и смелый. Истинная германская душа. Этого, mein lieber Karl [3], у тебя никто не отнимет. *Даже ты сам.* Потому что это предопределение. Это — твой дар. Ты избран...— и Вилли указал пальцем на потолок, подразумевая небо.

Пан Копферкингель сидел за столом, на котором стояла бутылка вина и недопитая рюмка, и смотрел на Вилли, стоявшего рядом с рождественской елочкой и еле заметно улыбавшегося. Друзья помолчали. Тут раздался стук в дверь, и вошла Лакме с вазочкой миндаля.

— Вилли сегодня *не хочет* миндаля,— сказал Копферкингель,— благодарю тебя, моя драгоценная. Мы скоро закончим.

Когда Лакме вышла, Вилли подсел к столу и с удовольствием допил свою рюмку. Копферкингель налил ему еще.

— Мне, пожалуй, пора,— вежливо отказался Вилли,— меня ждет Эрна. Мы встречаем Рождество в казино. В немецком казино на Розовой улице. Ты его наверняка знаешь — там еще три ступеньки перед входом и облицовка из белого мрамора. Ожидается довольно много народу. Фабриканты, депутаты парламента, университетские профессора — только *избранные,* разумеется... Я обязательно буду беседовать с герром Берманом, возглавляющим пражскую СНП. Поверь мне, Карл, что в целой Праге ты не отыщешь более роскошного заведения, чем наше казино. Это просто сказка! Какие там ковры, зеркала, картины, не говоря уж об умывальных и ванных комнатах. А какая еда, какая прислуга! У нас прекрасные *официантки; буфетчицы и... девушки.* Изумительные, умопомрачительные, такие, что дух захватывает.— Он улыбнулся.— Немки, конечно. Ведь казино могут посещать только немцы. Наши с тобой братья, Карл. Чехам туда вход заказан. Мы не потерпим в своем доме этих предателей и соглядатаев.

---

[1] Юзеф Бек (1894—1944) — министр иностранных дел Польши *(Здесь и далее — прим. перев.).*

[2] Малая Антанта —созданный в 1920—1921 гг. блок Чехословакии, Румынии и Югославии.

[3] Мой дорогой Карл *(нем.).*

Ну вот, а в январе я поеду в Вену и в Берлин.— Вилли встал.— Там меня уже ждет новая машина. Итак, Карл,— он протянул другу руку,— главное — это видеть цель. И думать о будущем. О лучшем будущем для наших детей. О радостной жизни для всего человечества. Мне кажется, тебя больше занимает Тибет, чем то, что творится под самым носом.— Он засмеялся.— Веселого тебе Рождества и всего наилучшего в наступающем году. Смотри-ка, у вас шторы не в порядке,— и он показал на карниз, откуда свисал вырвавшийся из зажима угол шторы.— Ну, пока. Впрочем, мне еще надо попрощаться с твоим семейством,— добавил он.

Около семи Лакме и Зина накрыли на стол. Обе выглядели очень нарядно: на Зине было черное шелковое платье, которое она получила ко дню рождения, а на Лакме — тоже темное и шелковое, но с белым кружевным воротничком. Пан Копферкингель не спеша зажег елочные свечи и включил радио. Потом все сели за стол.

— Я думала,— сказала Зина,— что мы зажжем свечи только тогда, когда будем дарить друг другу подарки.

— Лучше зажечь их сейчас, в начале ужина,— пояснил Копферкингель,— ведь они горят так редко, всего лишь раз в году. На катафалках и гробах свечи пылают гораздо чаще. Ну вот, теперь у нас самое настоящее Рождество,— он указал на приемник, откуда доносились колядки.— Сейчас нам с вами надо подумать о тех близких, которых нет с нами, а также о тех, с кем мы не можем найти общего языка.— Он улыбнулся кошке, вылизывавшей свое блюдечко.— Ах ты, наша красавица, наша Розана... Вот, например, тетушка из Слатинян, эта добрая душа, которая всегда готова прийти на помощь; будь она католичкой, она непременно стала бы после смерти святой. Нежные мои,— взглянул он на детей,— вам надо как-нибудь навестить ее, захватив с собой букет белоснежных лилий... И твоя покойная мать, дорогая моя Лакме,— улыбнулся он жене.— Ее заливной карп, приготовленный *на чужеземный манер*... может, она видит нас сейчас, может, она даже пришла сюда и стоит теперь у елки, на которой я зажигал свечи... а может, ее душа уже переселилась в другую оболочку. Мы не имеем права надеяться, что она достигла совершенства и никогда больше не перевоплотится, таких людей мало, исключительно мало, это египетские фараоны, святые, далай-ламы...— Копферкингель покосился в сторону книжного шкафа.— Что-то поделывает пан Мила Яначек? — обратился он к Зине.— Наверное, ужинает сейчас дома с родителями и думает о тебе, ведь он подарил тебе такой красивый подарок, да еще прибавил яркую открытку, это приятный юноша из хорошей семьи, он интересуется музыкой, физикой и техникой и достоин всяческого счастья. А еще надо непременно вспомнить о двух белокурых барышнях, Ленке и Лале, твоих, Зинушка, одноклассницах. А у Беттельхаймов,— пан Копферкингель устремил взгляд на Мили,— сегодня тоже праздничный ужин. Они всегда отмечают наше Рождество. Я ни разу не слышал, чтобы они праздновали еврейские праздники, хотя сам доктор происходит из древнего еврейско-венгерского рода. Наш милый старый филантроп! Как-то он пригласил меня в свой кабинет и немного рассказал о себе.— Копферкингель поглядел на свадебную процессию на стене.— Он говорил и о той старинной красивой картине, которая висит у него над столом. Там изображено похищение женщины графом Бетленом...— Копферкингель запрокинул голову и посмотрел на потолок, как будто надеясь увидеть там звездное небо.— А как поживают Прахаржи? — спросил он.— Я давно не встречаю ни самой бедняжки, ни ее сына Войты.

По радио звучала музыка; Копферкингель глядел то на рождественскую елку, то на кошку, тершуюся о его брюки...

— Бесценные мои,— опять заговорил он,— сегодня Сочельник, и Храм смерти закрыт. В нем пусто и голо. Там нет ни пана Дворжака, ни привратника Враны, который всю жизнь мучается печенью, ни даже несчастного Фенека с длинным ногтем на мизинце... он тоже встречает Сочельник дома... Что же касается пани Струнной и барышни Чарской...— он зачем-то прислушался к веселым рождественским колядкам,— если бы

их похоронили в земле, то сегодня эти красавицы выглядели бы омерзительно. К счастью, их кремировали, поэтому прах давно находится в урнах, а души подыскали себе иные тела. В Храме смерти сейчас лежат и терпеливо дожидаются окончания праздников всего лишь двое усопших. Рождество нужно живым, а не мертвым, и печи сегодня не работают.

Между прочим,— улыбнулся он Мили,— по субботам они тоже холодные... Но вот в Сочельник крематорию надо бы работать, ведь это день Рождества, и кремаций в этот день должно быть как можно больше, чтобы больше душ освободилось, вознеслось в космические сферы и обрело новые тела. Вот разве что этим замечательным жареным карпам повезло,— добавил он.

Когда жареные карпы были съедены и тарелки убраны, пан Копферкингель положил перед собой газету — по радио как раз передавали «Пойдем мы вместе в Вифлеем» — и поставил на стол бутылку вина. Все чокнулись и выпили, однако сам отец семейства только слегка смочил губы.

— Символически,— объяснил он,— я ведь трезвенник. Но зато у меня чистая германская душа... Да-да,— подтвердил он, заметив удивленный взгляд Лакме,— так сказал Вилли. Избранный, *отмеченный судьбой* Вилли,— улыбнулся он своей рюмке,— который ужинает сегодня с Эрной в немецком казино на Розовой улице. Там еще дверь с тремя ступеньками перед входом и облицовка из белого мрамора... Вильгельм ужинает в изысканном обществе. Да, чуть не забыл,— обратился он к Лакме, которая слегка погрустнела,— в газете опять пишут о всяческих несчастьях. Например, о женщине, которая покончила с собой.— Он пробежал глазами небольшую заметку и стал читать ее вслух: — «Пятилетнюю девочку покусал цепной пес. Вчера во второй половине дня он сорвался с цепи, выскочил на улицу, где играли дети, и...» Смотри-ка,— удивился вдруг пан Копферкингель,— как же я его не заметил, это объявление? «*Починка гардин и портьер* («Иисус, Господь наш, мы будем качать тебя в колыбельке»,— выводили по радио детские голоса), *Йозефа Броучкова. Прага, Глоубетин, Катержинская, 7*». Да, чтобы не забыть,— и он аккуратно сложил газету,— у нас что-то со шторой. Давай поправим ее, а потом уже займемся подарками. Наша квартира должна выглядеть безупречно.

Лакме встала и подошла к окну. Копферкингель со стулом в руках последовал за ней. Лакме взобралась на стул, приподнялась на цыпочки и поправила шторы и раздвигающий их шнур. («Хорошо»,— одобрил ее действия Копферкингель, подергав за шнур.) Он помог Лакме спуститься, нежно обнял ее и провел рукой по белому кружевному воротничку.

— Ну вот,— сказал он,— а теперь пора приниматься за сладкое и за раздачу подарков. К сожалению, далеко не каждая семья может позволить себе такие дорогие подарки, как у нас,— ведь в нашей стране все еще существует нищета... Между прочим, Вилли уверял меня сегодня, что главное — это видеть цель. Думать о будущем. Думать о лучшей жизни для наших детей и для всех тех, кто придет следом за нами. Думать о счастье целого человечества. По-моему,— пан Копферкингель улыбнулся книжному шкафу,— по-моему, Вилли говорил очень убедительно...

Потом по радио запели «Уже родился наш Господь», и Копферкингель принес подарки, до поры до времени припрятанные в спальне. Лакме получила чулки, какой-то пахучий крем в большой банке с черно-золотой этикеткой и коробку конфет. Зине достались сумочка, коробка конфет и ноты «Траурного марша» Шопена. Мили же стал обладателем корзиночки пирожных, крохотного белого автомобильчика с красным крестом и черной подушечки, украшенной золотыми и серебряными кистями. А еще ему был вручен приключенческий роман «Смерть в джунглях».

10

— В феврале Вилли дал мне этот сверток, а сегодня вот написал, что пора,— объявил в столовой пан Копферкингель своей темноволосой Лакме, Зине и Мили. С Рождества миновало три месяца.— Итак... Я запрусь в моем любимом месте — в ванной комнате — и выйду, уже когда буду

совсем готов. Несравненные мои,— обратился он ко всей семье,— пожалуйста, не стучите в дверь и ничего мне не говорите, я должен сосредоточиться. Держитесь от ванной подальше, а то как бы вам не испугаться моего вида, ведь первое впечатление наверняка будет жуткое!

Все неуверенно кивнули, а пан Копферкингель взял сверток и скрылся в ванной.

— Вот я все, бывало, недоумевал, возвращаясь от нашего доброго доктора Беттельхайма, за что это Гитлер в Германии преследует евреев,— бормотал про себя в ванной комнате пан Копферкингель, обводя взглядом красивую белую ванну, сияющий белый вентилятор и желтую бабочку на стене,— за что он так преследует их, ведь они очень милые, любезные и великодушные люди. А сейчас я понимаю. Вилли мне все объяснил. Их преследуют за то, что они против Гитлера. Против немецкого народа. Это несчастная, заблудшая нация, которая ничего не смыслит...— Пан Копферкингель грустно поник головой и развязал сверток.

Обтрепанные штаны в пятнах; свитер, потемневший от носки, вонючий, дырявый; рубаха у ворота омерзительно грязная.

— Вилли не велел стирать,— улыбнулся пан Копферкингель,— он говорил, что нищие ничего не стирают, а ходят wie eine Schlampe[1].

Серого цвета пальтецо оказалось тесным и залоснившимся, на нем не было ни одной целой и крепко пришитой пуговицы.

— Вилли сказал: не застегиваться! — улыбнулся пан Копферкингель.— Нищие всегда ходят нараспашку, показывая, что́ у них под пальто. Дырявый свитер и грязная рубаха... А на голову Вилли не принес ничего, чтобы был виден парик.

Он взял в руки парик из седых всклокоченных волос с лысиной на макушке и двумя желтоватыми пучками у ушей.

— Причесывать нельзя,— опять улыбнулся Копферкингель,— нищие, говорил Вилли, ходят den ganzen Tag wie sie vormittags aus dem Nest kriechen [2].

Потом он извлек из свертка пару мохнатых бровей и две бледно-желтые полоски гнусной щетины, которые следовало налепить вдоль ушей вниз, к скулам. Они лежали в целлулоидном футляре с надписью «Сделано в Германии». Затем были вынуты три коробочки с гримом...

— А-а, вот это — серо-белый, или грязный, как говорил Вилли, это — розоватый, телесный, а тут — синеватый, или же чахоточно-лихорадочный. Самое сложное — втереть грим в лицо, потом нужно будет его промокнуть и обмахнуться пуховкой, как делают женщины. А вот и очки...

Пан Копферкингель бережно достал два жалких стеклышка по полдиоптрии в кривой проволочной оправе.

— Вилли не рекомендовал фальшивые очки с простыми стеклами... А вот и этот чудо-материал! Eine Wundermaterie. Слегка нагреть... как воск, говорил Вилли, *как воск*...— Пан Копферкингель опять улыбнулся и провел по лбу рукой, на которой что-то блеснуло.— И нарастить на переносице горбинку, она совершенно изменит мой облик. Хорошо, что эта масса имеет серовато-белый или грязно-телесный оттенок, а не лиловый, ведь лиловые носы бывают у пьяниц. Вилли говорил, что нищие-алкоголики вызывают скорее отвращение, чем сострадание, а это мне ни к чему. Да я и в самом деле не пью,— пан Копферкингель расплылся перед зеркалом в улыбке.— Не пью и не курю, не то что бедняга Прахарж с четвертого этажа... А вот еще ботинки со шнурками и отставшей подошвой!

Удостоверившись, что дверь ванной крепко заперта, пан Копферкингель стал не спеша переодеваться и гримироваться. «Ах, куда и зачем я только иду?» — подумал он, смотрясь в зеркало; между тем на нем уже были штаны с пятнами плесени и грязная рубашка. Он вспомнил слова Вилли. «Ничего особенного,— говорил тот, смеясь, когда занес сверток; Лакме и детей дома не было.— Тут маскарадный костюм. Костюм нищего. Шестого марта ты наденешь его и для начала подойдешь к нашему казино

[1] Неряхами *(нем.)*.

[2] Весь день, словно они только что вылезли из берлоги *(нем.)*.

на Розовой улице, знаешь, где три ступеньки и вход отделаны белым мрамором. Там в полпятого мы с тобою встретимся, я *подам тебе монетку* и шепну, похож ли ты на нищего. От казино ты двинешься не торопясь к еврейской ратуше на Майзловой улице и немного там постоишь. Зачем? — Вилли засмеялся.— Да так. Шестого марта в шесть вечера в еврейской ратуше торжество. Ты встанешь у входа, vor dem Ausgang, vor dem Tor [1], кстати, можешь почитать, что́ там у них написано; знаешь, у дверей в ратушу висит такая застекленная доска... а рядом как раз фонарь, так что в шесть вечера ты можешь делать вид, будто читаешь. Ну, а потом ты вернешься домой. Так же осторожно, как перед уходом, откроешь дверь квартиры и преобразишься опять в Карла Копферкингеля, служащего пражского крематория. Вот и все. Это будет своеобразное испытание твоей смелости и выносливости, so eine vortreffliche Exerzierung [2], а заодно ты поможешь этим несчастным, пропащим, заблудшим евреям, которые мешают благу и счастью нашего народа. Как ты им этим поможешь, я тебе объясню потом, когда мы с тобой встретимся шестого марта на Розовой улице у казино... Надеюсь, что ты сам хочешь этого,— добавил еще Вилли,— ты же всегда был против войны и насилия, против эксплуатации, нищеты и лишений, кстати, у тебя даже служат агентами два еврея — пан Штраус и пан Рубинштейн, два приличных, порядочных человека, отчего им не помочь? Разве весь смысл твоей жизни в том, чтобы отправлять в печь гробы?»

Вилли смолк, потом сунул руку в карман и протянул своему другу Карлу какую-то бумажку. «Это заявление о вступлении в СНП, пока не поздно, стань ее членом. Время не терпит! Бог мой...— уже уходя, Вилли поднял глаза на портрет никарагуанского президента над дверью.— Так у тебя и висит этот шут гороховый! Тут бы хорошо смотрелся портрет истинного джентльмена, нашего фюрера и рейхсканцлера, а не этого клоуна...» И Вилли, попрощавшись, ушел.

Тогда стоял февраль, Лакме и детей не было дома, а сегодня, шестого марта, пан Копферкингель заперся в ванной и, надев грязные брюки и рубаху, гримировался... а потом он посмотрелся в зеркало и испугался собственного отражения.

Здесь, в ванной комнате, не было больше пана Карла Копферкингеля, супруга своей ненаглядной Лакме и отца двоих солнышек, здесь стоял совсем другой человек, самый настоящий нищий, eine menschliche Ruine... [3] «Старый побирушка, которого я и знать не знаю,— подумал пан Копферкингель.— Это надо же, как, оказывается, легко можно человека изменить... переменить... и что же? Этот вот нехитрый маскарад от Вилли...» А еще он подумал: «Мои золотые стоят у окна столовой и ждут меня, а ведь когда я открою дверь и выйду... то выйду вовсе и не я, а вот он...— пан Копферкингель ткнул в зеркало,— вот он...» И с опаской: «Как бы они не перепугались насмерть! Не нагнать бы мне на них страху! Не нужно их пугать, нет,— твердил он про себя, стоя перед зеркалом и поглядывая на вентилятор и на желтую бабочку под ним,— они мне так дороги, я не смею их пугать...» Наконец, оторвавшись от зеркала и подняв глаза к вентилятору, как бы моля небо дать силы, он вдруг подумал: «Видел бы меня сейчас наш пан Фенек, бедолага, или пан Дворжак!» После чего подошел к двери, взялся за ручку и лишь в последний момент вспомнил, что Вилли велел еще в довершение маскарада слегка приволакивать левую ногу — den Fuss ein wenig nachschleppen...; а туловище чуть наклонять. И вот он чуть наклонился, приготовился приволакивать ногу — и вышел...

В столовой его ожидала немая сцена: зажатый ладонью полуоткрытый рот Лакме, стоявшей у торшера, остолбеневшая Зина, выпученные глаза Мили... а также кошки. Он постоял недолго, отставив ногу и чуть наклонившись вперед, на пороге столовой под все еще висевшим там портретом никарагуанца, потом сделал два шага к Лакме, Зине, Мили и кошке — и затянул густым басом, протянув руку вверх ладонью:

---

[1] Перед входом, у ворот *(нем.)*.
[2] Превосходный экзамен *(нем.)*.
[3] Человеческая развалина *(нем.)*.

— Люди добрые! Подайте корочку хлеба — я не ел с утра. Смилуйтесь надо мной!

Эффект был потрясающим.

Первой опомнилась Зина и закричала:

— Отец, ты забыл снять кольцо.

И верно, на левой руке пана Копферкингеля сверкало обручальное кольцо.

— Кажется, мелочь, а человека выдает,— улыбнулся пан Копферкингель и выпрямился.— Молодец, Зинушка! Кольцо надо снять. Впервые в жизни, дорогая,— повернулся он к Лакме,— как ты знаешь, за девятнадцать лет нашего супружества я ни разу не снимал его...— И он стащил свое кольцо, направился к встревоженной Лакме, взял ее ладонь и ласково вложил в нее золотую вещицу.— Береги его, дорогая, как зеницу ока, как мое сердце, чтобы, вернувшись с прогулки, я взял назад из твоих чистых рук и вновь надел на палец этот символ нашей верности и любви... Смею ли я, жалкий нищий, поцеловать тебя?

Лакме обняла и попыталась сама поцеловать его, но он вдруг отстранился.

— Символически, дорогая,— улыбнулся он,— чтобы не стерся грим или горбинка на переносице не отвалилась. Вот вернусь — и мы это восполним!

Лакме, все еще встревоженная, отступила от него и спросила:

— Зачем это тебе, Роман, идти в таком виде на улицу, на что это? И вообще, куда ты собрался?

— К немецкому казино, дорогая,— улыбнулся пан Копферкингель ей, а потом Зине, Мили и кошке,— там у входа меня встретит в полпятого Вилли, а оттуда я отправлюсь в Старый Город на Майзлову улицу. К евреям, дорогая,— нежно улыбнулся он,— ты бы, конечно, смогла это понять... но объяснять некогда...

Тут он слегка повел рукой и сказал:

— Видишь ли, им надо как-то помочь. Это несчастные, заблудшие люди, они борются против Гитлера, против немецкого народа, не ведая, что творят... А для меня это своеобразное испытание моей силы и смелости, этакий экзамен, в общем, когда я вернусь, я все тебе расскажу, не бойся... Зинушка,— пан Копферкингель часто заморгал за стеклышками своих жалких очков и машинально пригладил торчащие у висков космы.— Зинушка, у тебя же свидание, а скоро четыре часа. На сколько вы договорились?

— На полчетвертого,— ответила Зина.

— Боже мой, на полчетвертого! — вскричал пан Копферкингель.— Да ведь наш славный пан Мила уже наверняка ушел...— Но Зина покачала головой.

— Какая вера в человека,— пан Копферкингель поморгал и вновь машинально поправил парик.— Золотой юноша, этот твой пан Мила. Ну, беги и передай ему от нас привет. А у меня еще есть пять минут. Молодость, ах, молодость,— вздохнул пан Копферкингель, глядясь в маленькое зеркало в столовой, когда Зина выбежала.— Мы с тобой, Лакме, тоже были такими. Уже девятнадцать лет, как мы познакомились с тобой у клетки леопарда в зоопарке.— Он улыбнулся своему отражению в маленьком зеркале.— Тот леопард давно отошел в мир иной... Ну, я, пожалуй, тоже двинусь, время не ждет, пора подумать и о долге. Нужно будет позаботиться, чтобы никто в доме не видел, как я ухожу. Когда я вернусь, небесная моя, я вознагражу тебя за все, клянусь...

Пан Копферкингель погладил Лакме, все еще встревоженную и растерянную, послал улыбку кошке и Мили, который стоял, выпучив глаза, в углу, затем сгорбился, отставил ногу, поморгал, глядя на портрет никарагуанского президента над притолокой и вышел в прихожую. Тут он опять же поморгал перед видом Мэриборо, что висел над вешалкой, постоял, прислушиваясь, у двери, посмотрел в глазок, обернулся к Мили и Лакме, которые затаили дыхание у него за спиной, сказал им, что никого нет, в доме все спокойно, неслышно отворил дверь и шагнул за порог.

Когда он спускался по лестнице, сгорбившись и держась за перила, у него мелькнула мысль: что, если бы кто-то все-таки заметил, как он выходил из квартиры, ведь люди могли подумать, что пани Копферкингель принимает дома нищих! «Увидел бы меня, к примеру, милейший доктор Беттельхайм, к которому я тайком хожу узнать, не заразился ли я,— думал он, пока спускался по лестнице, все так же горбясь и держась за перила,— вдруг как раз доктор и заметил бы, что такой вот мерзкий бродяга выходит от Копферкингелей. Или его стареющая красавица жена, или их племянник Ян, или их работница Анежка в своем красном фартуке, эта добрая преданная душа...»

Он был уже почти внизу и вдруг с замиранием сердца увидел, как в подъезд вошла пани Прахаржова, которую он очень давно не встречал, да не одна, а с Войтиком. Почтительно поклонившись, он отступил к стене... мать и сын прошли с некоторым недоумением мимо него и, кажется, еще обернулись вслед... а он добрел до двери. «Не узнали,— убедился пан Копферкингель,— впрочем, иначе и быть не могло, мой наряд продуман до мелочей, человек так в нем меняется... так изменяется... Бедная пани Прахаржова, бедный Войта, только бы он не пошел по стопам отца!» Он ступил на тротуар и смешался с прохожими, но прежде все же еще раз огляделся вокруг, и ему почудилось, что на другой стороне улицы стоит Зина и смотрит на него. Чуть поодаль справлял нужду малютка пинчер.

К дверям немецкого казино на Розовой улице, куда, приволакивая ногу и сгорбившись, доковылял пан Копферкингель, вели три ступени; вход был отделан белым мрамором. «Мне по душе беломраморные порталы с тремя ступенями,— думал пан Копферкингель, неторопливо переходя через дорогу.— Это как вход во дворец какого-нибудь богача. Или в роскошный ритуальный зал. Вилли сейчас там,— думал он,— внутри, где я ни разу еще не был, но где мне все знакомо по его рассказам — ковры, зеркала, картины... умывальные, ванные... сливки немецкого общества Праги: депутаты парламента, профессора немецкого университета, правда, не все... пан Берман, который ездит в Берлин совещаться с министрами, первоклассные официантки, буфетчицы и... девушки...» Пан Копферкингель наконец добрался до тротуара и инстинктивно прислонился к стене ближайшего дома, сощурился, глядя сквозь стеклышки своих очков, чуть отставил ногу и наклонил корпус, чтобы Вилли, выйдя из белого подъезда с тремя ступеньками, нашел его принявшим правильное положение. И пока он так стоял у стены, глядя на беломраморный вход в казино, мимо него прошли несколько человек, на которых он не обратил внимания. Впрочем, одну женщину он все же выделил. Стройная, полногрудая красотка, которой он ни разу в жизни не видел, вдруг полезла в сумочку, и не успел пан Копферкингель опомниться, как на его ладонь легла монетка. Ибо совершенно неосознанно он подставил женщине руку ладонью вверх — как дома, когда вышел из ванной! От этого ее дара у него екнуло сердце. «Какая добрая красавица,— подумал он, придя в себя от изумления,— и какой к тому же успех моего костюма!» Но тут он увидел, что от казино к нему энергичным шагом направляется его друг Вилли.

— Фантастика,— засмеялся Вилли, глядя вслед женщине, которая ушла уже далеко,— fantastisch, tadellos [1]. Тебя как подменили! Ты просто второй *Чаплин!* Пройдемся-ка немного,— засмеялся он,— nebeneinander... [2]

Приволакивая ногу и горбясь, пан Копферкингель медленно зашагал бок о бок с Вилли и, покосившись на его элегантное пальто, спросил:

— Это ничего, что ты идешь со мной?

— А что,— ответил Вилли,— разве гражданин этой республики не вправе пройти пару шагов рядом с нищим? Ведь мы живем в свободной демократической стране, верно? Ausgezeichnet,— засмеялся он, опуская глаза к земле,— du schleichst wie echter Bettler [3].— Потом Вилли сунул руки в карманы своего элегантного пальто и негромко сказал:

---

[1] Фантастически, безупречно *(нем.)*.

[2] Рядом, вместе *(нем.)*.

[3] Отлично, ты плетешься как настоящий нищий *(нем.)*.

— Ты выдержишь это испытание твоей чести. Ты рожден для великих дел,— и Вилли оглядел с улыбкой его щетину, патлы и лихорадочные пятна на лице.— Поздравляю, это у тебя вышло просто превосходно. Да, ты не слабак, ты — настоящий мужчина, истинный немец по духу. Сейчас ты еще немного *потаскайся* по улицам, чтобы хорошенько настроиться, а потом — вперед, на Майзлову. Главное, тебе надо *доползти* туда до шести. Потолкайся у входа в ратушу, поглазей по сторонам, можешь и с протянутой рукой постоять. *Поторчи* у объявления перед входом, я говорил тебе, там у ворот такая маленькая застекленная доска, почитай, что на ней написано, рядом как раз фонарь... А еще... постарайся подслушать хоть пару слов. Einige Wörter auffangen [1]. Пару слов, какие всегда говорятся у входа. Nämlich [2],— засмеялся Вилли,— что говорят евреи у входа в еврейскую ратушу шестого марта 1939 года, собираясь на праздничное собрание «Хевра сеуда». Завтра я тебя расспрошу.— И добавил: — Ты же знаешь, это несчастный народ, который ничего не смыслит. Такой древний народ, что страдает склерозом... Но ты можешь им помочь, дознавшись, о чем они говорят, что замышляют. Пусть для тебя это будет такое небольшое испытание, небольшая проверка, как я тебе говорил, когда был у вас. Раз уж ты месяц назад вступил в СНП, придется тебе пройти через этот экзамен. Ведь весь немецкий народ держит сейчас экзамен, причем гораздо более трудный: в военной форме — на полях войны, принося жертвы; молодежь из гитлерюгенда — на боксерских рингах; и рядом со всем этим твое *пресмыкание*...— сказал Вилли, кивая головой на ковыляющего рядом друга,— это твое *пресмыкание* выглядит просто детской забавой. Ну, а вскоре ты придешь к нам в казино...

Лицо пана Копферкингеля озарилось улыбкой — настолько, насколько это возможно для убогого нищего, и он спросил:

— Там, ты говорил, красивые ковры, картины, ванные комнаты и... красивые женщины?

— Красивые женщины? — засмеялся Вилли.— *Фантастические!* Такие, что во всей Праге нет красивее и нежнее их, und doch die Eleganz [3]! Это тебе не какая-нибудь там Малышка из «Мальвазии» или все эти твои барышни Лишковы, Струнные, Чарские и черт знает кто еще... с ними надо покончить. Они тебе не потребуются. Разве ты живешь только для того, чтобы отправлять гробы в печь и измерять там температуру? Ты рожден для великих дел, и общество твое должно быть достойным тебя! Отправляйся на Майзлову улицу к ратуше, где собираются эти заблудшие души, и напряги свой слух. Сегодня ты плетешься туда нищим, но наступит день — и ты подкатишь в «мерседесе». В шикарном *зеленом военном* автомобиле... Ну, иди, завтра я расспрошу тебя. Geh... [4]

Вилли Рейнке отстал, а пан Копферкингель пошел дальше, размышляя.

«Он даже не дал мне для вида монету, это оказалось ни к чему! Все это — как чудо, от которого меня прямо-таки бросает в жар. Куда чудеснее, чем серебряный футляр! Мое превращение почти так же увлекательно и удивительно, как переселение души далай-ламы в моей книге о Тибете, хотя здесь дело другое, ведь на мне всего лишь маскарадный костюм. Видел бы меня сейчас бедняга пан Фенек или пан Дворжак,— мелькнуло у него в голове.— Впрочем, неважно. Мой лоб холоден, как металл, моя рука тверда, а сердце будто отлито из германской стали; это мой экзамен». И с металлической холодностью он двинулся в толпу этих достойных жалости несчастных людей.

Перед зданием еврейской ратуши на Майзловой стояла чья-то голубая «татра», и пан Копферкингель, усиленно хромая, направился к ней. Увидел горящий фонарь, под ним застекленную доску, а там и вход в ратушу. «Ну и подъезд,— подумал он,— мрамора и ступенек нет и в помине, сплошная

---

[1] Уловить несколько слов *(нем.)*.
[2] А именно *(нем.)*.
[3] А что за изящество *(нем.)*.
[4] Ступай *(нем.)*.

серая известка и черные окованные металлом двери; да и как иначе, ведь тут не немецкое казино, а еврейская ратуша...» Он побродил вокруг «татры», дивясь сквозь очки ее голубизне, потерянно огляделся по сторонам. К ратуше шли и шли люди; на него стали обращать внимание.

«Надо подойти к доске»,— решил он и доплелся до входной двери, где поправил очки и, так и не выпрямившись, стал читать:

«ХЕВРА СЕУДА»

Пражская «Хевра кадиша» в день рождения и смерти нашего учителя Моисея, 7-го числа месяца адара, или 6-го марта 1939 года, проводит праздничное собрание «Хевра сеуда». Сеуда состоится в 18 часов после молитвы минха в зале Погребального братства нашей ратуши. Во время собрания произнесет слово раввин, а затем прозвучат религиозные песнопения в исполнении канторов.
Участников сеуды, согласно обычаю, ожидает ужин.

— Ужин,— прошептал пан Копферкингель, отставив назад ногу,— в годовщину рождения и смерти Моисея, *который родился в тот же день, что и умер:* какая фантазия, какой миф! — Улыбнувшись же, он добавил про себя: «Зал Погребального братства. Интересно, что это за Погребальное братство и как выглядит их зал? Ковров, зеркал, картин, ванных комнат, как в казино, там, конечно, нет. Наверное, это что-то наподобие нашего зала ожидания или ритуального зала в крематории — без распятия, разумеется». А потом он подумал, что эти несчастные не признают кремации и хоронят мертвых в земле, где процесс длится двадцать лет, двадцать лет, пока человек станет прахом, из которого мы все вышли. «Здесь они тоже чего-то недопонимают, заблудшие души. Как это говорил Вилли? Народ такой древний, что страдает склерозом...» Тут, слыша, что подходят новые люди, он обернулся, сгорбился еще больше и, просительно глядя поверх очков, протянул руку.

Возле него останавливались, шарили в карманах и сумочках — и в ладонь пана Копферкингеля, который трясся и моргал, опускались монеты, он же произносил дрожащим, блеющим голосом слова благодарности: «Да вознаградит вас Господь...» И вдруг пан Копферкингель видит два знакомых лица, и у него в который уже раз замирает сердце, это пан Штраус и пан Рубинштейн, его агенты, он дает им целых пятьдесят процентов от выручки, два добрых, порядочных, приличных человека, и вот на ладонь пана Копферкингеля ложатся новые монеты. «Бедняги, у них никого нет,— думает пан Копферкингель,— пан Рубинштейн разведен, у пана Штрауса жена умерла от горловой чахотки, а сынок от скарлатины, знали бы они, кому подают...» Но тут перед ним появляется... ну да, у него чуть колени не подогнулись, это он, доктор Беттельхайм, специалист по кожным и венерическим заболеваниям из их дома, этот добрый, благородный филантроп... «Насилия никогда не хватает надолго,— мелькает в голове у Копферкингеля, — историю творит не оно... Людей можно обмануть, запугать, загнать под землю, но надолго ли? Ведь мы живем в цивилизованном мире...» А за доктором Беттельхаймом идет его стареющая красавица жена, и в ладонь пана Копферкингеля опять падают монеты... а вот и их Ян... идет, как будто слушая музыку... он даже не подозревает, этот милый, добрый юноша... так же, как и его дядюшка и тетя; знали бы они... а Анежки с ними нет, Анежка в своем красном фартуке христианка... Явь все это или сон? Но постепенно людей становилось все меньше, а собравшиеся уже были внутри, в ратуше, и пан Копферкингель, очутившись один на один с голубой «татрой», вновь повернулся к доске у входа.

«Погребальное братство, участников ожидает ужин, сегодня родился и умер Моисей. Что, если я тоже войду туда? Я, конечно, не еврей, у меня истинно немецкий дух, но ведь из меня такой великолепный нищий, что мне бы наверняка досталась тарелка. Подобной развалине, как я сам убедился,

евреи подают, хоть я для них и гой...» Пан Копферкингель улыбнулся, пересчитал деньги и выяснил, что заработал шесть крон, а вместе с монеткой, полученной у казино,— шесть двадцать. «Я получил шесть двадцать под видом нищего,— засмеялся Копферкингель,— шесть крон от евреев, пришедших на праздник, и двадцать геллеров — от женщины-арийки. А если бы Вилли тоже подал мне у казино, то у меня было бы шесть сорок...» И он побрел прочь.

На улицах было уже темно, горели фонари. У Индржишской башни он спохватился. «Ведь я так ничего и не услышал у ратуши,— подумал он,— ich habe kein Wort aufgefangen [1], я слушал там только себя самого, собственные изъявления благодарности и свой блеющий голос! Что же я скажу Вилли, когда он меня завтра спросит? Что-то сказать надо. Я всегда четко исполнял свои обязанности, а это был своеобразный экзамен, испытание, я же месяц назад вступил в СНП! Может, сказать ему, что евреи у входа в ратушу говорили: Гитлер — убийца, Геббельс — преступник, а этот пан Берман из Праги, который ездит к берлинским министрам,— изверг, и его надо изничтожить, ликвидировать? — Пан Копферкингель грустно улыбнулся и покачал головой.— Это, правда, вряд ли поможет несчастным заблудшим долгожителям, которые ничего не смыслят. Скорее наоборот. Гитлер станет преследовать их еще яростнее. Нужно будет придумать что-то другое».

Тут он с теплотой вспомнил об обручальном кольце, которое оставил дома в ладони своей несравненной темноволосой Лакме, что выглядела подавленной и встревоженной,— и заторопился. На перекрестке за башней, где грохотали трамваи и автомобили, он столкнулся с молоденькой розовощекой девушкой в черном платье под руку с каким-то юношей. Краем глаза заметив ее, он побежал дальше и увидел пожилую женщину в очках, которая, наверное, жила где-то поблизости, так как несла в кувшине пиво... а сразу за перекрестком ему попался пожилой толстяк с белым крахмальным воротничком и красной «бабочкой», тот в одной руке вертел какие-то билетики, другая его рука была сжата в кулак... Но Копферкингель бежал вперед, и наконец на углу одной из улиц увидел в свете фонаря красотку, он разглядел, что она блондинка, и услышал, как она говорит кому-то, кого было плохо видно: «Одни пьют с содовой, другие со льдом...» Тогда он вспомнил о казино — и побежал так быстро, как только позволяли ему отстающие подошвы.

11

А потом наступило пятнадцатое марта 1939 года и все то, что с ним было связано. Страну оккупировали вооруженные силы рейха, в Прагу приехал фюрер, над Пражским Градом, над домами и крематорием взвился германский флаг... ну, а пан Копферкингель... пан Копферкингель часами бродил по столичным улицам, глазея на войска и немецкие вывески, появившиеся над магазинами. Иногда он заходил и на Фруктовую и читал надписи над переплетной мастерской пана Каднера и багетной лавкой пана Голого... Но больше всего влекла его Розовая улица, где можно было полюбоваться белым, с тремя ступеньками, мраморным подъездом казино, которое казалось ему то виллой богача, то прекрасным ритуальным залом, то загадочным серебряным футляром... А в апреле, незадолго до дня рождения фюрера, он удостоился высокой чести и был приглашен внутрь.

Копферкингель вошел в роскошный зал с коврами, люстрами, зеркалами, картинами и сел рядом со своим другом Вильгельмом Рейнке, занимающим важный пост в пражском управлении СД, его женой Эрной — красиво причесанной и покачивающей большими серьгами — и несколькими незнакомыми офицерами. Их столик окружали вышколенные официантки и улыбчивые белокурые красавицы. Пан Копферкингель был покорен их манерами и услужливостью, сражен всем увиденным и услышанным, изумлен богатым выбором блюд и...

---

[1] Не уловил ни одного слова *(нем.)*.

— Нет, спасибо, пить я все-таки не буду,— улыбнулся он своим соседям.— Видите ли, я — трезвенник. Я даже не курю. Вилли и Эрна давно знают об этом. Мне так жаль пана Прахаржа из нашего дома! Ведь у него есть сын, Войта, который может пойти по стопам отца и тоже сделаться алкоголиком. Такие люди неполноценны, они мешают нам бороться за светлое будущее. Но это, конечно, совсем другое дело,— и он поспешно указал на рюмки на столике,— это вовсе не алкоголизм. Да и вообще, нам не следует обсуждать и осуждать других, мы сами не без греха... Какие тут красивые зеркала и картины! Можно сказать, *райские*. При новом справедливом строе так должен выглядеть весь мир,— и он опять устремил взгляд на красавиц блондинок.

— Все в наших руках,— отозвался Вилли,— надо только неуклонно выполнять свой долг. От кого же, как не от нас, зависит, чтобы навсегда ушли в прошлое войны, нищета, голод и страдания? — Вилли улыбнулся.— Ты по-прежнему полагаешь, будто это возможно только на том свете? Тогда погляди кругом и скажи: разве здесь кто-нибудь страдает? — И Вилли широко раскинул руки и покосился на девушек, которые тут же засмеялись... и пани Эрна тоже.— Вот видишь, все счастливы, и если этого можно добиться здесь, в немецком казино в Праге, то почему должны отставать Варшава, Будапешт, Париж, Брюссель, Лондон, Нью-Йорк?.. Правда, фюреру еще предстоит сражаться за них. Зато потом, после победы, такая жизнь установится повсюду — и тогда даже лошади навсегда избавятся от страданий.— Вилли заговорщицки наклонился к своему другу Копферкингелю: — Тем более, что наша армия не нуждается в лошадях, она полностью *механизирована*... Однако у нас есть враги, mein lieber Karl,— посерьезнел вдруг Вилли. Каждое великое дело наталкивается на противодействие врагов,— продолжал Рейнке,— и это надо учитывать. На земле живут люди, а не ангелы, а люди всегда с готовностью творят зло. Ты сам говорил мне нечто подобное. Фюреру удалось уничтожить один из бастионов войны, и чешской республики больше нет, но это вовсе не означает, что здесь не осталось наших недоброжелателей. Мы не имеем права почивать на лаврах. Нам нельзя закрыть глаза и сладко уснуть: ведь вредители не дремлют. Они могут скрываться под разнообразными личинами, они могут быть учеными, художниками, писателями... а могут — бывшими офицерами чехословацкой армии, полицейскими и священниками... или даже незаметными уборщицами, механиками, кочегарами... или торговцами и директорами... короче говоря, это те, кто натравливает, стравливает, травит... такие люди очень опасны, но только до тех пор, пока мы ничего не знаем о них. Нам надо следить за ними и разоблачать их, иначе они совершат преступление против немецкого народа, а то и против человечества. Надеюсь, ты не забыл, что в своем крематории ты — единственный немец? Там нет других носителей культуры и представителей нового порядка, тем более что ты стал уже членом НСДАП [1], и, следовательно, мы можем полностью положиться на тебя. Ну вот, а теперь расскажи, как там у вас обстоят дела.

— Как у нас обстоят дела? — Копферкингель задумчиво покачал головой и аккуратно отодвинул в сторону рюмку с вином, которую поставил перед ним официант.— Это трагедия, Вилли! Ведь в моем крематории есть люди, совершенно ни в чем не разбирающиеся... А теперь, после пятнадцатого марта, стало еще хуже...

Копферкингель поднял голову, увидел, что все вокруг смотрят только на него, и продолжал:

— Возьмем, к примеру, Заица или Берана. Это враги рейха и нового справедливого строя, в свое время они даже возражали против присоединения к Германии Судет. Или привратник Врана, у которого что-то с печенью. Я, правда, общаюсь с ним крайне редко, но мне, однако, кажется, что с ним тоже не все в порядке... Или вот пани Лишкова, которая когда-то убирала у нас, а потом уволилась. Я, к сожалению, не знаю ее домашнего адреса, но

[1] Национал-социалистическая рабочая партия Германии образована в 1919 г. в Мюнхене. В 1945 г. как преступная организация запрещена Международным судом в Нюрнберге.

его легко можно выяснить... Пан Пеликан, это тот служащий, который открывает железный занавес ритуального зала и выпускает человеческие души в космические сферы... впрочем, у меня к нему претензий нет, пускай работает... но вот директор нашего крематория, директор *моего* Храма смерти,— сказал он, и Вилли и все прочие расхохотались, дав тем самым понять, как вырос он в их глазах после этих слов.— Так вот, директор очень плохо относится к рейху, он сказал мне однажды, что сжег бы всех немцев в наших печах, это было уже после пятнадцатого марта, его фамилия Сернец... по-моему, он не должен оставаться директором...

Копферкингель огляделся по сторонам, все понимающе кивнули, и ему стало ясно, что его замечание принято к сведению, тем более что Вилли сказал:

— Ну конечно, мы не допустим, чтобы он остался на своем посту. Нам нет надобности держать его в крематории, раз там есть ты. Ты и сам во всем прекрасно разбираешься. Карл Копферкингель, господа,— обратился Вилли к окружающим,— работает в крематории целых двадцать лет...

Все восхищенно ахнули, а Копферкингель скромно потупился.

— Что же до твоего ближайшего окружения,— продолжал Вилли,— то там есть даже несколько евреев. Они, конечно, ни в чем не разбираются, потому что принадлежат к вымирающей склеротической нации, но все-таки... двое из них, кажется, работают на тебя, верно?

И Копферкингель закивал и ответил:

— Да-да, верно.— А потом еще дальше отодвинул свою рюмку и сказал:— Пан Штраус, мой агент, вполне приличный и трудолюбивый человек, у него чувствительная душа, он любит музыку и хорошо справляется с обязанностями коммивояжера кондитерской фирмы. Однако, положа руку на сердце, я должен признать: не исключено, что он работает только ради денег. Протекторат, установленный в Чехии, ему явно не по душе... Пан Рубинштейн, второй мой агент, тоже добрый и чувствительный человек, он любит музыку и старательно трудится, но корысть не чужда и ему, раньше он продавал постельное белье, а фюрер и рейх ему совсем не нравятся. Кто-кто? — Копферкингель задумчиво провел рукой по лбу.— Ах, доктор Беттельхайм из нашего дома... он такой добряк... но тоже ни в чем не разбирается. Представьте себе, он как-то уверял меня, что немцы творят насилие, а насилием историю не напишешь. Мол, людей можно заставить замолчать лишь ненадолго, потому что мы живем...— Копферкингель обвел глазами присутствующих,— в цивилизованной Европе двадцатого века... и жена его нас не жалует, и их племянник Ян. Он, конечно, хороший мальчик и очень любит музыку, но он тоже пропитался этим тлетворным духом... наверное. А взять их служанку Анежку, она, конечно, не еврейка, и у нее великодушное сердце, но она тоже вся... пропитана, на Рождество она приходила к нам убивать карпов, я бы,— пан Копферкингель вытер салфеткой руки,— ни за что не смог этого сделать.— И Вилли кивнул в знак согласия, подозвал официанта и заказал себе еще вина и коньяка, а для своего друга Копферкингеля — кофе и миндаль.

— Кстати о евреях,— сказал Вилли Рейнке, поглядев на Эрну и остальных.— Теперь ты понимаешь, за что фюрер их не любит. За то, что они ничего не смыслят, за то, что они против нас и лишь сеют вокруг себя ненависть. Ты же сам говоришь, домработница Анежка — не еврейка, но она тоже пропитана, пропитана — очень верное слово! Да и как иначе? Она же много лет прожила с ними бок о бок... Это несчастный заблудший народ, который никогда не поймет нас; не верь, что их можно перевоспитать, убедить, уговорить, у них для этого не хватит извилин,— Вилли постучал себя по лбу,— они же страдают наследственным склерозом. Даже когда ты под видом нищего стоял в марте у еврейской ратуши, ты все равно был несравненно выше их. Ты, сбросив с себя маскарадный костюм, вновь стал Карлом Копферкингелем, немцем, чистокровным арийцем,— а они, сняв пальто, остались все теми же жалкими, убогими евреями. Это как с музыкой. Есть люди, достойные сострадания, которые умирают, не познав красоты Листа или Шуберта. Так и эти бедняги умирают, не познав силы

и красоты третьего рейха. В прежние времена их преследовали, так что они хлебнули лиха. Ты думаешь, все это понапрасну, ни с того ни с сего? Слышал ли ты когда-нибудь о чуме? — Вилли с улыбкой отпил коньяку.— Об этом грозном биче средневековья, о болезни, унесшей сотни тысяч жизней? А ты знаешь, откуда она взялась? — Вилли вновь улыбнулся, а пан Копферкингель неуверенно обвел глазами окружающих и остановил взгляд на Эрне.— Так вот, это все отравленные колодцы! Евреи сыпали в колодцы отраву, чтобы погубить христиан. Неужели ты этого не знаешь? Ну, да это дело прошлое,— Вилли засмеялся и махнул рукой,— а что было — то сплыло. Ты же сам говоришь, что все мы из праха и в прах же вернемся и что человеческий пепел всегда одинаков... Конечно, ты по этой части специалист, и ты должен стать директором. Разве смысл твоей жизни в том, чтобы отправлять гробы в печь и регулировать температуру?.. Истоки нас не интересуют, нам важны итоги. А они таковы: евреи против фюрера, против нас, против германской империи. Они мешают нашему счастью, угрожают новому европейскому порядку, стоят на пути нашей миссии, нашей — а также и твоей — избранности. Отдельные евреи только кажутся хорошими: взять, к примеру, твоих пана Штрауса и пана Рубинштейна, ты всегда говорил, что они порядочные, приличные люди, однако сейчас тебе ясно, что это не так, что ты в них ошибался. И в докторе Беттельхайме, которого ты всегда так нахваливал, тоже. Наконец-то ты раскусил его, увидел, что он заразил своего племянника, да что племянника, в конце концов, это его родственник, но он заразил даже свою домработницу, которая вовсе не еврейка! В Спарте, дамы и господа,— обратился Вилли к окружающим,— убивали больных детей. Некоторым особо чувствительным натурам это могло показаться жестокостью. Но на самом деле это было благодеянием для таких детей, которым пришлось бы в жизни очень туго... да и для здоровья нации это полезно. Ведь каким здоровым государством была Спарта и какое место она сумела занять в истории! Мы совершили бы преступление против нации и человечества, если бы не избавлялись от нежелательных элементов. Мы в ответе за счастье немецкой нации и всех людей на земле. За успех нашего дела. Всякие же мелочи второстепенны, это всего лишь декорация.

Вилли выдержал паузу, как оратор после яркой политической речи, и все, офицеры и штатские, заулыбались, глядя на пана Копферкингеля с таким видом, словно речь эту произнес не Вилли, а они сами.

Пан Копферкингель попивал кофе и смотрел вокруг — на Эрну, на красавиц блондинок, на ту, что подошла к их столику только что. Она напоминала ангела, она была совсем как кинозвезда... Потом он опять, в который уже раз, оглядел нарядный зал, зеркала, картины... Вилли сказал:

— Человечество спасет сила, и оно станет чистым, здоровым и неиспорченным... на, выпей.— Рейнке подвинул к приятелю рюмку. Тот отказался, и Вилли пришлось пить коньяк в одиночестве.— Слабаки нам не нужны, они ни на что не годятся... Послушай, Карл, общаться с евреями — это значит поступаться честью арийца. Здесь,— он махнул рукой в сторону зеркал,— могут бывать только истинные, полноценные люди. Носители немецкого духа, те, кто способен *пожертвовать* чем-то во имя победы нового строя. Мы не пускаем сюда ни чехов, ни прочих славян... Ты говорил, Карл,— Вилли понизил голос,— что мать твоей Марии, твоей Лакме, готовила рыбу как-то особенно, на иностранный манер. А ты знаешь, кто так готовит рыбу? Евреи! — Копферкингель от неожиданности вздрогнул, а Вилли докончил: — Мать твоей Лакме была *еврейкой*!

Пан Копферкингель совершенно опешил.

— Лакме,— опять заговорил Вилли, глотнув коньяку,— твоя черноволосая Лакме, национальность которой видна невооруженным глазом, убеждала меня, что у вас дома говорят только по-чешски, это было как раз тогда, когда я напомнил тебе о твоей немецкой крови. Твоя черноволосая Лакме всегда теряется и волнуется в моем присутствии, потому что я говорю с тобой о твоем немецком происхождении. Твоя Лакме всегда уверяет,

что фамилии не играют никакой роли... еще бы, ведь ее девичья фамилия — *Штерн*! Твоя милая Лакме собиралась скрыть от тебя мое приглашение на бокс, она засунула его куда-то в буфет, потому что не хотела, чтобы вы с Мили увидели любимый спорт фюрера. Ее совсем не обрадовало твое вступление в СНП в феврале этого года, а ведь ты пришел к нам как раз вовремя: в марте здесь уже был фюрер. В том, что вы всегда говорили между собой по-чешски, виноват не ты, а она, потому что она — еврейка. В том, что ты почти не слышал голоса своей крови, тоже нет твоей вины — она специально заглушала его, потому что она — еврейка. Я не знаю, что именно сказала тебе твоя Лакме, когда ты стал членом НСДАП, но хотел бы я услышать, что́ она скажет, когда ты отправишь своих детей в немецкие школы. Твоя жена отвратительно влияет на Мили. Мальчик слишком мягкотел и изнежен, и странно, что ты этого все еще не заметил. Хотя... представители ее национальности всегда действуют исподтишка... А вот если тебе поручат... извини, Карл! — И Вилли Рейнке торопливо поднялся.— Позволь мне представить тебя...

— Я наслышан о вас, герр Копферкингель,— сказало Значительное Лицо,— у вас есть опыт, вы можете оказать нам множество услуг, и я надеюсь, что вы, чистокровный немец, не можете равнодушно смотреть на... вы знаете, что такое чистота расы? Боюсь, вы не сможете занять приличествующий вам высокий пост до тех пор, пока в вашей собственной семье... как давно вы женаты, герр Копферкингель? — улыбнулось Значительное Лицо, жестом предложив всем садиться.

— Нашему браку девятнадцать лет,— сказал пан Копферкингель.— Мы познакомились в зоопарке возле леопарда, в павильоне хищников. Там еще есть стеклянный ящик со змеей... мне это всегда казалось странным, однако он стоит там и по сей день, это, очевидно, что-то вроде иллюстрации или декорации... в общем, этакое дополнение...

— Герр Копферкингель,— посерьезнело Значительное Лицо,— все мы вынуждены *приносить жертвы* на алтарь нашего общего дела и нашей высокой миссии. На будущей неделе я собираюсь переговорить с шефом пражской Службы безопасности и секретарем имперского протектора гером Берманом... Не исключено, что он станет возражать против... Короче, я весьма сожалею, но боюсь, вы недостойны занимать тот пост, который мы намеревались вам предложить...— И Значительное Лицо улыбнулось Эрне и красавицам-блондинкам, в том числе и той, что походила на ангела и на кинозвезду одновременно. Она нежно коснулась плеча пана Копферкингеля, и тот выдохнул:

— Но я же могу *развестись,* господа!

Беседа закончилась, все поднялись, Вилли, Эрна и Копферкингель подошли к замечательной картине, изображавшей обнаженную женщину, и Вилли, которому лакей как раз протягивал его зеленую шляпу со шнурком вокруг тульи, произнес одобрительно:

— Да, это было бы разумно. Развестись. Ты же можешь жениться вторично. *Еще раз,* правда? — Он поглядел на Эрну, и та кивнула.— Лакме должна осознать: она не имеет никакого права жить с тобой под одной крышей. Это несовместимо с твоей честью. С честью национал-социалиста. Помнишь, как однажды ваш доктор Беттельхайм,— Вилли покосился на картину,— справлялся о ее здоровье? Ты сам рассказывал мне об этом. Теперь-то ты понимаешь, Карл? Это все плоды вырождения их нации. Вырождение — вот что это такое! Они слабы и неполноценны, Карл, и всех их вскоре ждут тяжкие испытания...

Пан Копферкингель вернулся домой только под утро, когда вся семья уже давно спала. В столовой, где над дверью по-прежнему висел портрет никарагуанского президента, а у окна — табличка на черном шнуре, к нему подошла проснувшаяся кошка... он отогнал ее и взглянул на большую фотографию над тумбочкой, а потом достал из шкафа книжку о Тибете и уселся в кресло под торшером. Вскоре его глаза стали слипаться, и ему почудилось, будто со страницы на него кто-то смотрит. Тогда он погасил свет и отправился в спальню.

12

— Вот мы и на месте,— пан Копферкингель глубоко вздохнул, как бы желая очистить легкие,— вот мы и на месте.— Потом он пригладил волосы, которые шевелил легкий ветерок, указал вверх и сказал:

— Какая высота! Поднявшись туда, мы на целых шестьдесят метров приблизимся к небу. Ничего не поделаешь,— он широко улыбнулся Лакме в темном платье с белым кружевным воротничком, Зине в черном шелковом платье и Мили в кепке, жадно лизавшему эскимо,— ничего не поделаешь. Мы живем в великую эпоху, и наш долг — всегда помнить об этом. Экскурсионные полеты отменены, посмотреть на Прагу с борта самолета нам не удастся, поэтому мы просто поднимемся на лифте и увидим город с высоты шестидесяти метров. Лучше так, чем никак. «Впрочем,— добавил он про себя,— можно смотреть на Прагу и *снизу,* из-под земли».

Они вошли в овальный прохладный вестибюль со множеством металлических колонн и направились к кассе. В окошке виднелись пустая пивная бутылка и пожилая женщина в очках, которая, горько усмехаясь, продавала входные билеты. Пан Копферкингель купил у нее четыре штуки и остановился со всем своим семейством возле лифта.

— Значит, мы поедем вот на этом? — неуверенным голосом поинтересовался Мили, приканчивая эскимо, и Копферкингель внимательно посмотрел на сына.

— Да, мы поедем на лифте,— сказал он,— и я надеюсь, что ты не испугаешься. Ведь это совсем не страшно... Помнишь, как ты боялся у мадам Тюссо и на боксе в молодежном клубе? Там все прошло благополучно, так что бояться тебе нечего. Совершенно нечего.

Приехал лифт, и оттуда вышел пожилой толстяк с белым крахмальным воротничком и красной «бабочкой». Он забрал у Копферкингеля билеты, и все погрузились в лифт. В кабине стоял низенький стульчик, а на стене висело маленькое зеркало.

— Как здесь красиво,— улыбнулся пан Копферкингель, когда дверь закрылась.— Какая хорошенькая уютная клетка! Сюда бы еще решетки и леопарда...— Тут лифт остановился, пожилой толстяк с белым крахмальным воротничком и красной «бабочкой» распахнул дверь, и Копферкингели ступили на застекленную круговую галерею. Ее оконца — и матовые, и цветные — были открыты настежь, поэтому всюду гулял легкий сквознячок.— Мы с вами находимся,— начал пан Копферкингель,— в самой высокой точке нашего любимого города. Может даже показаться, что мы стоим на горе и с ее вершины обозреваем расстилающийся у наших ног мир.

Мили и Зина побежали к окошкам — туда, откуда открывалась панорама Праги: Влтава, Старый город, Национальный театр, Виноградy. Пан Копферкингель с Лакме степенно последовали за детьми. Слева от них любовались Малой Страной, Градом и собором Святого Вита красивая розовощекая девушка в черном платье и какой-то молодой человек. Возбужденный шепот доносился и с противоположной стороны галереи, из-за лифта: очевидно, там тоже были посетители.

— Итак, это Прага,— пан Копферкингель с трудом оторвал глаза от розовощекой девушки в черном платье,— отсюда она как на ладони. Как если бы мы стояли на высокой горе и озирали расстилающийся у наших ног мир. Вон Влтава, Карлов мост, Национальный театр, вон две башни Тынского храма и Староместская ратуша, ну, а та приплюснутая башня — это Пороховые ворота... и еще Национальный музей... Посмотри-ка сюда, Мили,— сказал он сыну, указывая на дымчатое желтоватое стекло в одном из окошек галереи.— Такие же стеклышки есть в наших печах. Это святые окна, потому что через них можно заглянуть в кухню Господа Бога и увидеть, как душа прощается с телом и уносится в космические сферы. Ну, и какова же наша Прага? — Он нагнулся к желтому стеклышку, постоял так несколько мгновений и заключил, выпрямившись: — Да уж, ничего не скажешь, Прага и впрямь красива.

Они передвинулись немного левее, туда, откуда были видны Малая Страна, Град, собор Святого Вита и Дейвицы; розовощекая девушка в черном платье и молодой человек отошли чуть западнее и стали смотреть на городской стадион. Те люди, которые находились напротив, в другой части галереи, тоже прошли вперед, и из-за лифта по-прежнему слышался их свистящий шепот.

— Итак, перед нами собор Святого Вита и Градчаны. Там всегда жили чешские короли и президенты. Посмотри вот в это окошечко,— пан Копферкингель легонько подтолкнул Мили к матовому стеклу, и Мили послушно посмотрел, куда было сказано.— А вон то светлое большое здание с колоннами...— видите, сколько там стоит машин?..— это Чернинский дворец, бывшее министерство иностранных дел. Сейчас в нем канцелярия имперского протектора. Будь внимательна, дорогая,— Копферкингель обернулся к Лакме, которая понуро стояла рядом с ним.— Ты видишь, как реет над дворцом имперский флаг? *Наш* флаг? — И он, не дожидаясь ответа, вновь обратился к Мили: — Ну же, погляди в окошечко!

— Там Альпы,— донеслось из-за лифта.— Там Зальцбург...

— Не городи ерунды,— ответил раздраженный мужской голос,— какие там Альпы, какой Зальцбург?! Это не Альпы, это просто утес в Подолье. Это не Зальцбург, это всего лишь Браник! Тут тебе не кино, тут смотровая площадка...

Пан Копферкингель просунул в окошечко руку, помахал ею, сказал: «Снаружи дует приятный свежий ветерок!» — и отыскал глазами башню собора Святого Вита.

— Там Ржип? — спросил Мили, и Копферкингель кивнул.

— Да, там гора Ржип, и на ней, по чешскому преданию, стоял когда-то праотец Чех. Но это только легенда, миф, фантазия. Что-то вроде легенды о Моисее, который родился и умер седьмого марта.— Он улыбнулся Лакме и покосился на ее черные волосы.— А вон там, вдалеке, *рейх*,— объяснил он.

Потом Копферкингели прошли немного левее. Красивая девушка в черном платье и ее молодой человек тоже продвинулись на несколько метров и стали смотреть на Смихов, Браник и Подолье... а из-за лифта все так же долетали чьи-то возбужденные голоса.

— Это стадион имени Масарика,— сказал Карл Копферкингель,— там сейчас тихо и пусто. Так тихо и пусто бывает и во дворе моего Храма смерти — по утрам, пока туда еще никого не привезли. В прошлом году на стадионе было шумно и весело...— отец семейства ненадолго задумался.— Он больше не носит имя Масарика, недавно его переименовали. Ничего не поделаешь, некоторые фамилии не годятся для нашей эпохи, хотя ты и говоришь, что фамилии не играют никакой роли.— И он опять улыбнулся Лакме.— Ну-ка, ну-ка,— Копферкингель подался вперед и вскинул голову... ему послышалась далекая музыка, и он указал в сторону Страгова, где по одной из улиц медленно ползла черная змейка.— Похороны,— сказал крематор,— похоронная процессия. Видите, дети? Видишь, небожительница? — обратился он к Лакме.— Присмотрись-ка получше... ну что, увидела? Покойницу везут на Мальвазинки, там тоже есть кладбище. Бедняжка, ей предстоит лечь в землю...

— А я и не знала,— сказала Зина,— что музыка разносится так далеко.

— В городе сейчас тихо и спокойно,— пан Копферкингель снова повертел рукой в открытом окошке,— а этот легкий теплый ветерок дует как раз в нашу сторону. Вот музыка и слышна. Жаль, что его не очень хорошо видно.— Копферкингель убрал руку из окна и приложил к глазам.— Я про гроб. Можно различить только факельщиков и лошадей с плюмажами...

— Но там совсем как в Сплите,— раздался из-за лифта женский голос,— я даже вижу море!

— Уймись же наконец! — прошипел невидимый мужчина.— Ведь ты ни разу не была в Югославии! Никакой это не Сплит, это Глоубетин. Ты не в паноптикуме, ты на смотровой площадке.

Копферкингели опять продвинулись налево, к тому месту, откуда виднелись Подолье и Смихов; красивая девушка в черном платье и молодой человек тоже прошли подальше, туда, откуда открывалась панорама центральной части города. Что же до спорящей парочки, то ее по-прежнему скрывал лифт. Пан Копферкингель заговорил:

— Перед нами Браник, Подолье и Смихов. А вон то здание с трубой — это смиховская пивоварня. Впрочем, я не пью, вы же знаете. А вон Баррандов,— и он указал на далекую вершину.— Там хранятся разные окаменелости. Всякие древности.— Он усмехнулся.— Прямо-таки *склеротические* древности. Жуки, бабочки, первобытные люди...— он опять усмехнулся и высунул руку в открытое окошко.— Вглядись-ка получше, небожительница, и не бойся. Снаружи такой приятный теплый ветерок,— он помахивал в воздухе рукой с блестевшим на ней обручальным кольцом.

— Я вижу Голгофу,— воскликнул женский голос,— а вон тот зеленый собор с башнями — Иерусалим, ну, а те белые облака — это рай!

— Брось нести чепуху! — вскипел невидимый собеседник.— Какая там Голгофа — ведь это Ржип! Какой там Иерусалим — ведь это пражская психушка! Если ты немедленно не заткнешься, я...

— Ну вот, круг замкнулся,— констатировал пан Копферкингель, когда все его семейство вновь очутилось в том месте, откуда открывался вид на центр Праги, на кусочек Влтавы, на Старый Город, Национальный театр, Виноградy...— И нам опять кажется, будто мы стоим на высокой горе и озираем мир, расстилающийся у наших ног. Да-да, именно у наших ног...— Копферкингель улыбнулся и продолжил: — Перед нами Национальный театр и Национальный музей, а вон то огромное белое здание — это министерство соцобеспечения... видел бы его Марен, наш милый министр из столовой... Вон там, за башнями, лежит Староместская площадь... и *Розовая улица*... а за золочеными куполами, которые так сияют на солнце,— он вытянул руку, и его обручальное кольцо ярко блеснуло,— скрывается... ты не знаешь что? — повернулся он к Лакме.— Неужто не знаешь? Там стоит синагога, самая большая пражская синагога, *ты что, и вправду этого не знаешь*? — Он перевел взгляд на ее черные волосы.— Разве ты никогда не была там? Ну да ладно, оставим это... а неподалеку — мой Храм смерти. Его отсюда, к сожалению, не видно, потому что он за холмом. Мили, посмотри вот в это стекло,— предложил он мальчику.

— Здесь все качается,— взвизгнула женщина за лифтом.— Ну конечно, ведь мы же на качелях!

— Какие еще качели? — прикрикнул на нее мужской голос.— Здесь все из железа. Ты же не на ярмарке, ты на смотровой площадке!

— Подойдите-ка сюда,— сказал пан Копферкингель, делая шаг влево и опять высовывая руку в окошко.

— Шатается,— сказала невидимая женщина.— Я чувствую. Шатается. Мы можем упасть!

— Вот еще! — оборвал ее мужчина.— Упадет, как же, жди! Сто лет стояла, а как ты пришла — так сразу и упадет! Ну уж нет, не будет у меня этакого счастья! — И вдруг рявкнул: — Здесь все из железа, а не из *воска,* мы не на *боксе,* мы на смотровой площадке!

— Ну, а там,— указал Копферкингель,— пробивает себе путь река. Там Глоубетин. И Катержинская улица... хотя ее отсюда не видно. Она, наверное, очень короткая, я на ней ни разу не был. Я знаю только Катержинскую в Праге-два.— И пан Копферкингель сделал шаг влево.— А это опять Градчаны, собор Святого Вита, дворец чешских королей и президентов... а вон то светлое здание с колоннами — это Чернинский дворец, бывшее министерство иностранных дел, теперь там резиденция имперского протектора Чехии и Моравии. Видишь, дорогая,— улыбнулся он Лакме,— над дворцом развевается имперский флаг... посмотри же, не бойся,— он в который уже раз помахал высунутой в окошко рукой,— ветерок такой теплый. То-то птицам раздолье!

— Я не смогу спуститься по лестнице,— громко сказал женский голос,— у меня голова закружится.

— А зачем тебе идти по лестнице? — осведомился мужчина.— Здесь есть лифт.

— Разве? — спросила женщина.— Ерунда какая! Откуда тут лифт, ведь ты не в Нью-Йорке. Ты в *рейхе*!

— Молчать! — сердито крикнул мужчина и ударил чем-то об пол.— Куда же это, по-твоему, подевался лифт? Или ты только что не ехала на нем? Или ты тащилась сюда пешком?

— Похоронная процессия уже скрылась,— сказал пан Копферкингель, отойдя немного западнее; розовощекая девушка с молодым человеком тоже сделали несколько шагов.— Улица опустела, скорбная вереница приближается к кладбищу. Но гроб несут не в Мальвазинки, а в Бржевнов. Бедная женщина,— добавил он.— Неужели это самоубийство?

— Но откуда ты знаешь,— спросила Зина,— что умерла именно женщина?

— Я это чувствую,— улыбнулся пан Копферкингель,— у меня есть *чутье*. Да и траурная музыка была женской...— Он помрачнел.— Страдалица, не скоро же она разложится. Только лет через двадцать. В печи бы ей это удалось за семьдесят пять минут.

— Я подверну ногу, а ты разобьешься,— пискнула женщина.— Лестница-то винтовая! Нахлобучь поглубже шляпу, не дай Бог, потеряешь!

— Что ты заладила?! — разъяренно вскричал мужчина и опять стукнул чем-то об пол.— Говорю же тебе — тут есть лифт! — Новый удар.— Ты поедешь на лифте, ты уже ехала на нем и оказалась здесь! И прекрати болтать,— гаркнул он.— А этот твой Иерусалим!..

Лифт со скрипом поднялся наверх, выпустил новых посетителей, и пожилой толстяк с красной «бабочкой» на белом крахмальном воротничке крикнул:

— Лифт вниз не повезет! Пользуйтесь лестницей номер два!

— Слышал? — закричала женщина.— Слышал? Что ж ты языком-то молол, ведь мы пойдем по лестнице! — И из-за поворота выскочила женщина в шляпе с длинным пером и с ниткой бус на шее и помчалась по галерее, преследуемая низеньким толстяком в котелке и с воздетой вверх тростью. Они дважды, сотрясая пол, обогнули галерею, а потом женщина выбежала на лестницу номер два и с грохотом понеслась вниз. Толстяк снял котелок, вздохнул и сказал окружившим его любопытным:

— Сумасшедшая! Она увидела отсюда Иерусалим и еще какой-то рай, кажется, она решила, что здесь небо. Всегда она так. Никуда с ней больше не пойду.— Толстяк вытер платком лоб.— Ее место в психушке.

— Ничего-ничего,— быстро сказал Копферкингель, заметив, что и Мили, и Зина, и даже Лакме собираются о чем-то спросить.— Наверное, у нее закружилась голова. Это случается, когда человек поднимается слишком высоко. К сожалению, здесь еще не небо, иначе бы тут жили одни ангелы. Ей полегчает,— пообещал он,— полегчает, как только она окажется внизу. *Внизу*...— Копферкингель посмотрел в шестидесятиметровую бездну под ногами и показал куда-то вдаль: — А вон там *Суходол*. — Потом он еще раз взглянул на розовощекую девушку в черном и сказал: — Пожалуй, нам пора, *поднебесные* вы мои.

Они вышли на лестницу номер два и стали потихоньку спускаться. Первой шла Зина в черном шелковом платье, полученном ею в день рождения, потом Мили, который одной рукой вцепился в перила, а другой придерживал на голове кепку и шел поэтому очень медленно; за ним следовала Лакме в темном шелковом платье с белым кружевным воротничком (она тоже крепко держалась за перила), а замыкал шествие сам Копферкингель.

— Стена, что всегда окружает нас и закрывает горизонт... — улыбнулся крематор черным волосам своей Лакме,— рухнула, когда мы оказались на такой высоте. Мы как бы взошли на вершину горы и увидели у своих ног весь мир.— А потом он сказал: — Смерть прекрасна и необходима, но покойники должны быть кремированы. Мне очень жаль ту женщину, которую только что похоронили. Одна лишь кремация избавляет человека от

страха смерти,— он опять улыбнулся в затылок Лакме и посмотрел вниз, в бездну: ведь они все еще находились на самом верху лестницы.— Вот это был бы прыжок,— сказал он.

В прохладном вестибюле пожилая женщина в очках как раз подбирала с полу измятое поломанное перо и рассыпавшиеся бусины.

13

— Я не мог прийти вовремя,— сухо, но все же довольно приветливо сказал пан Копферкингель директору Сернецу. Они беседовали в директорском кабинете спустя несколько дней после визита в казино и посещения смотровой площадки.— Случилось непредвиденное. Я был на совещании.— Директор поглядел на Копферкингеля и не сказал ему ни слова, на его лице не дрогнул ни один мускул, он даже бровью не повел; Копферкингель небрежно поклонился и ушел. «Директор сам не свой,— сказал он себе по дороге в раздевалку.— Может, он чувствует, что над ним сгущаются тучи? Что о нем говорят и что его судьба вот-вот решится? Недолго ему уже тут оставаться. Сернец — неплохой человек, ну и что? Мы не потерпим вредителей на таких важных постах. На таких важных постах никто не потерпел бы вредителей, это же само собой разумеется, это так естественно. Ведь он предлагал сжечь всех немцев в наших печах, просто уму непостижимо...» Копферкингель потряс головой, прикрыл глаза ладонью и ускорил шаг, желая побыстрее добраться до раздевалки. Переодевшись, он поздоровался с Бераном и Заицом, которые молча и с мрачными лицами следили за температурой в печах; из репродуктора доносилась «Моя прекрасная Чехия»; он спросил, где пан Дворжак, и Заиц мотнул головой в сторону зала ожидания.

Дворжак стоял над раскрытым гробом и украшал покойницу цветами. Пан Копферкингель подошел поближе, пригляделся и сказал:

— Какое красивое платье у этой прелестницы, черное, шелковое, с воротничком... оно и понятно, ведь в гроб люди обычно надевают свои лучшие наряды, те, что при жизни пригодились им всего лишь несколько раз. В гробу, пан Дворжак, все хотят быть красивыми.

Помолчав, он добавил:

— Это барышня Вомачкова. Несчастная торговала в буфете вином и другими спиртными напитками. Ей уже пора в ритуальный зал, и пан Пеликан вот-вот повезет ее туда. А этот гроб,— Копферкингель показал на гроб номер семь,— давно заколочен, он отправится прямиком в печь, потому что болезнь была заразной. Вы уже почти не курите, пан Дворжак,— Копферкингель улыбнулся и взглянул на железный прут, лежавший перед занавешенной стенной нишей,— вот видите, вы привыкли...— Потом он еще раз полюбовался усыпанной цветами девушкой, кивнул Пеликану с его тележкой и сказал: — Приступайте. Вомачкова готова.

Выходя из крематория, Копферкингель столкнулся с привратником Фенеком.

— Пан Копферкингель,— Фенек поднял на него слезящиеся добродушные глаза, и его голос дрогнул,— вы не забыли про морфий?

— Послушайте,— решил проявить твердость Копферкингель,— если вы не прекратите преследовать меня, я обращусь в полицию. Вам отлично известно, что морфинизм уголовно наказуем. Это порок, недостойный человека, и если вы не оставите меня в покое, я сдам вас в сумасшедший дом.— Он посмотрел на Фенека, который от страха едва держался на ногах, и тихо добавил: — Вы ничего не добьетесь от меня, пан Фенек, потому что я забочусь о вашем здоровье. Вам, очевидно, недостает ума, но зато он есть у меня. Я честный здоровый человек, непьющий и некурящий, и я вовсе не желаю брать из-за вас грех на душу. Оставьте меня в покое — раз и навсегда.

Пан Фенек, совершенно уничтоженный, скрылся в привратницкой. «А ведь верно,— подумал Копферкингель, очутившись на безлюдном дворе,— а ведь верно! Стоило мне продемонстрировать ему свою силу, как он

перепугался. Вилли прав. Сила и твердость — вот что спасет человечество! Ну, а слабые и неполноценные — это всего лишь обуза, они мешают нашей борьбе за завтрашний день».

Во второй привратницкой сидел пан Врана, у которого была большая печень, и Копферкингелю показалось, что тот не хочет смотреть на него...

Лакме была в столовой. Она стояла у окна под картиной со свадебной процессией и табличкой с расписанием поездов смерти, и муж улыбнулся ее черным волосам, ощутив мимолетный прилив жалости. Потом он заметил Мили, который торопливо прятал что-то за маленькое зеркало в столовой. Копферкингелю удалось разглядеть, что это была фотография, и он сказал себе: «Эге, а жизнь-то идет! Вот уже и Зинушка встречается со своим паном Милой, и даже тихоня Мили... м-да, дети растут, взрослеют...» Он подошел к радиоприемнику и включил его.

— Бедняга Фенек,— сообщил он,— ему опять нужен морфий. Он слабый, мягкотелый, конченый человек... почти сумасшедший. Кстати, хотел бы я знать, как поживает этот пьяница, пан Прахарж... у него еще сын есть, Войта... давненько мы с ними не встречались, почти год...— Из приемника полилась сладчайшая каватина Альмавивы из «Севильского цирюльника», которую граф распевал под балконом Розины... и пан Копферкингель направился к Мили, протягивая ему раскрытую ладонь.— Ну-ка, покажи мне свою любовь, свою первую любовь, мы тоже хотим взглянуть на нее.— Поколебавшись, Мили отдал отцу фотографию. Оказалось, что это была вовсе не девушка, а подручный мясника, боксер из молодежного клуба.

— Это подручный мясника,— Мили заикался и смотрел на кошку,— ну, тот боксер.

Копферкингель удивленно спросил:

— Где ты ее взял? Разве вы знакомы?

— Ты же сам послал меня за программкой, чтобы я знал, кто боксирует...— сказал Мили, а потом неохотно выдавил из себя, что дважды заходил в молодежный клуб и наблюдал за тренировками.— Там было написано,— объяснил Мили,— «приходите к нам»... Ну, на том приглашении, что дал мне пан Рейнке.

— Я рад твоей дружбе с боксером,— чуть помедлив, произнес Копферкингель и подумал про себя, что такая дружба избавит подростка от изнеженности и слабохарактерности.— Ты, Мили, должен быть стойким и смелым, ведь в твоих жилах течет немецкая кровь. *Моя* кровь,— добавил он, сдвинув брови.— После каникул ты отправишься в немецкую гимназию. Да-да,— улыбнулся он опешившей и погрустневшей Лакме и вновь обратился к Мили: — Дружить с боксером — это, конечно, хорошо, бокс — боевой спорт, ein Wettkampf, недаром фюрер считает его одним из лучших видов спорта, но вот что, Мили: хватит тебе бродить невесть где. К мосту, пожалуй, тоже лучше не ходить... А этот твой друг тренируется прилежно? — Он вернул мальчику фотографию и, когда Мили кивнул, спросил: — А что он тебе рассказывает, о чем вы с ним говорите?

И он услышал ответ на свой вопрос. Он узнал, о чем говорят между собой два эти мальчика. Узнал, почему боксер так усиленно тренируется. Почему он так прилежен. Почему его удары должны непременно достигать цели. Потому что немцы вторглись в нашу страну. Потому что они насильники. Потому что они отняли у нас свободу... Говоря все это, Мили дрожал как овечий хвост и упорно смотрел на кошку, и пану Копферкингелю удалось превозмочь себя и промолчать. Он только скорбно покачал головой. «У меня есть еще время, чтобы открыть ему глаза,— думал он, глядя на Мили,— я все объясню ему, я уговорю его, я внушу ему верные мысли». И он направился к приемнику (Альмавива как раз заканчивал свою красивую арию) и легонько отпихнул кошку, метнувшуюся ему под ноги.

Перед самой Троицей гестапо прямо в крематории арестовало Йозефа Заица и Берана, а потом и директора Сернеца. «Действия гестапо,— сказал себе Карл Копферкингель, член НСДАП с душой истинного арийца,—

кажутся довольно-таки жестокими. Но они продиктованы обстоятельствами, ведь речь идет о счастье миллионов. Мы совершили бы преступление против народа,— сказал себе пан Копферкингель,— преступление против человечества, если не стали бы избавляться от вредителей и смирились бы с их подрывной деятельностью...»

Итак, гестапо арестовало прямо в крематории Заица, Берана и директора Сернеца... Мили и Зина, прихватив с собой букет белых лилий, уехали на Троицу к любимой тетушке в Слатиняны, а пан Копферкингель со дня на день ожидал известия о своем повышении.

— Небесная моя,— обратился Копферкингель к Лакме, когда они сидели вдвоем в их замечательной столовой,— дети уехали к тете в Слатиняны, они решили навестить эту добрую женщину, которая вполне достойна называться святой, и мы с тобой остались одни. В моем Храме смерти арестовали Заица, Берана и директора Сернеца... Я не знаю за что, наверное, за их враждебное отношение к рейху, немецкому народу и человечеству... Что с тобой? — улыбнулся он Лакме, которая очень испугалась.— Неужели тебя страшит арест Заица, Берана и директора? Успокойся, с ними ничего не случится, они в полной безопасности, их просто переведут на другую работу...— Помолчав, он продолжил: — Скорее всего, именно я заменю пана Сернеца. Больше некому, я отличный специалист... Послушай, дорогая, а что, если мы с тобой оденемся понаряднее и устроим себе маленький праздничный ужин? Без вина, разумеется, я ведь непьющий... а потом мы выкупаемся в нашей белоснежной ванне, как это делали древние римляне. Не сегодня ли, кстати, годовщина нашей небесной свадьбы? — Он обворожительно улыбнулся.— Или хотя бы годовщина нашего восхитительного знакомства в зоопарке возле леопарда? Не сегодня? Ну, а мы с тобой договоримся, что сегодня... иди же...— И Копферкингель подхватил Лакме под локти и отвел на кухню.

Под вечер, когда ужин был уже готов, пан Копферкингель заставил Лакме надеть темное шелковое праздничное платье с белым кружевным воротничком. Когда она оделась, муж проводил ее в столовую, усадил за стол, принес из кухни бутерброды, миндаль, кофе и чай, включил радио и тоже подсел к столу.

— Слышишь, небесная моя? — нежно улыбнулся он.— Это хор из «Лючии ди Ламмермур» Доницетти. Странно. Такая, можно сказать, идеальная похоронная музыка, а у нас ее почему-то исполняют очень редко. Ведь когда кто-нибудь заказывает «Лючию», то похороны получаются просто замечательные. Но пани Струнной играли «Неоконченную», барышне Чарской — «Ларго» Дворжака, а барышне Вомачковой — «Песнь о последней розе» Фридриха фон Флотова. Обидно, что музыку чаще всего выбирает не сам усопший, а его родственники, которые исходят из собственных вкусов. Они ни за что не закажут то, что нравилось умершим, нет, они остановятся на том, что любят сами!

И он добавил:

— Это ария Лючии из третьего действия. Ее исполняет одна знаменитая итальянка.

...Горка бутербродов потихоньку таяла, а радио все играло и играло, и пан Копферкингель сказал:

— У нас с тобой, *чистейшая,* вся жизнь впереди. Нам, заоблачная моя, открыт весь мир. Нам открыто даже небо,— он взглянул на потолок, как бы желая отыскать на нем звезды,— небо, которое за эти девятнадцать лет не омрачило ни единое облачко, небо, которое простирается иногда и над моим Храмом смерти — тогда, когда там никого не сжигают. Жаль только, что в нашей ванной у вентилятора оторвался шнур, надо завтра же все исправить. Я временно привязал там веревку с петлей на конце, чтобы вентилятором можно было пользоваться. Зато штора вон там, в углу,— он указал на окно,— о которой говорил в Сочельник Вилли, больше не обрывается. Как же они прекрасно поют! — Копферкингель кивнул на радиоприемник.— Абсолютно правы те, кто жалеет людей, не любящих музыку,— они умирают, не познав красоты... но где же наша Розана?

После ужина Копферкингель поцеловал свою *небесную* и предложил ей:

— Пойдем в ванную, Лакме, прежде чем раздеться, надо там все приготовить.

И он взял стул, и они пошли, а кошка внимательно наблюдала за ними.

— Здесь жарко,— сказал Копферкингель и подставил под вентилятор стул,— кажется, я переборщил с отоплением. Открой-ка вентилятор, дорогая.

Когда Лакме встала на стул, пан Копферкингель погладил ее лодыжку, набросил петлю ей на шею и пробормотал, ласково улыбаясь:

— А что, если я повешу тебя, дорогая?

Она улыбнулась мужу, очевидно, не расслышав его слов, а он резко ударил ногой по стулу — и все было кончено.

Натянув в передней пальто, Копферкингель отправился в немецкую уголовную полицию и продиктовал там для протокола:

— Ее толкнуло на это отчаяние. Она была еврейкой и не смогла жить со мной под одной крышей. Возможно, она догадывалась о том, что я собираюсь развестись с ней, потому что этот брак был несовместим с моей честью истинного арийца. И добавил про себя: «Я жалел тебя, дорогая, очень жалел. Ты стала грустной, понурой, и это вполне понятно, но я — немец, и мне пришлось принести тебя в жертву. Я спас тебя от мук, дорогая моя, а они наверняка предстояли тебе. Сколько страданий, небесная, принесла бы нам в новом, счастливом и справедливом мире эта твоя еврейская кровь...»

Лакме была кремирована в Слатинянах... а пан Карл Копферкингель получил пост директора пражского крематория. Он отправил на пенсию пана Врану, у которого было что-то с печенью. «Привратник уже старый,— решил Копферкингель,— он пришел сюда за двадцать лет до моего появления в крематории, пускай отдыхает; пани Подзимкову, уборщицу, я уволил, потому что она побаивалась Храма смерти, но *я избавлю ее от страха...*»— а вот пана Дворжака он оставил. «Вы знаете, пан Дворжак,— сказал он ему,— мне нравится, что вы не курите и не пьете... что вы такой же трезвенник, как и я...» А еще он оставил пана Пеликана и пана Фенека. «Надо спасти его,— думал он иногда в своем директорском кабинете,— он ведь едва держится на ногах». Когда Копферкингель проходил мимо привратницкой, пан Фенек начинал всхлипывать и быстро залезал к себе в будку... как собака.

14

Да, для детей поступок их матери оказался потрясением, однако жизнь учит нас смиренно переносить ее удары.

— Нынче, дражайшие мои,— сказал Копферкингель своим *солнышкам,* стоя с газетой в руках посреди столовой,— нынче жизнь — это борьба, мы с вами живем в великое революционное время и обязаны мужественно переносить все испытания. Милостивая природа освободила нашу незабвенную от оков земного мира и вновь обратила ее во прах; ей открылся космос, и я не исключаю, что у вашей матери теперь иная телесная оболочка — ведь кремация заметно убыстряет процесс... Она была хорошей, доброй женщиной,— добавил пан Копферкингель,— верной, тихой, скромной, ей уже просиял вечный свет, и она навсегда обрела покой.— И Карл Копферкингель раскрыл газету.— В человеческой жизни все очень зыбко,— продолжал он.— Будущее неопределенно, и люди зачастую страшатся его. Определенна и неотвратима одна только смерть. Впрочем, есть еще кое-что: тот новый, счастливый строй, который будет вот-вот установлен в Европе. Итак, новая, цветущая Европа фюрера и — смерть, вот что ожидает человечество... В сегодняшней газете,— он зашуршал газетным листом,— напечатано одно красивое стихотворение, мне даже кажется, что оно было написано в память моей драгоценной Лакме. Я сейчас прочту вам первую строчку: «Сумерки, день спешит обручиться с вечером...»

Потом он отложил газету в сторону, извлек из шкафа книгу о Тибете и вновь обратился к детям:

— Теперь, нежные мои, когда мы с вами лишились матери, я обязан заботиться о вас еще усерднее, чем прежде. Зинушка,— он улыбнулся дочери и опустил глаза на книгу о Тибете, которую по-прежнему сжимал в руке,— ты красива, как твоя мать, ты дружишь с паном Милой, но после каникул тебе придется перейти в немецкую школу. И тебе, Мили, тоже...— Он посмотрел на мальчика долгим испытующим взглядом, а потом опять перевел глаза на книгу о Тибете и слегка наморщил лоб, этот мальчик с тонкой, нежной душой все больше и больше беспокоил его. «Он никогда не походил на меня,— думал он, уставившись на желтую коленкоровую обложку,— никогда... да еще эта подозрительная склонность к бродяжничеству... Как бы он опять не заблудился где-нибудь в ночи и мне не пришлось бы разыскивать его с полицией, как тогда в Сухдоле. А его приятель боксер вместо того, чтобы закалять и укреплять дух Мили, только портит его и сбивает с истинного пути... Не превратиться бы ему в Войту Прахаржа из нашего дома!»

А однажды...

Дело было в казино. Копферкингель в присутствии белокурой красавицы Марии, которая напоминала ангела и кинозвезду одновременно и которую он называл *Марлен,* беседовал о своем сыне с Вилли Рейнке.

— Мили все больше беспокоит меня,— вздохнул он, окинув взором роскошные ковры, картины и хрустальные люстры,— по-моему, он становится слишком мягкотелым и изнеженным, он никогда не походил на меня, а уж эта его подозрительная склонность к бродяжничеству... Боюсь, что ему опять придет фантазия ночевать в стогу сена у Сухдола. Бокс, на котором мы с тобой тогда были,— он посмотрел на стол, где стояли рюмки с коньяком,— к сожалению, не пошел ему впрок. Боксировать он не станет ни в коем случае — хотя это и могло бы ему когда-нибудь пригодиться, ты сам так говорил. Но зато он познакомился с подручным мясника. Этот малый портит Мили и сбивает его с истинного пути вместо того, чтобы закалять и укреплять немецкий дух, который я старался привить ему. Я очень огорчен, потому что с ним может случиться то же,— он опять посмотрел на рюмки с коньяком,— что случилось с Войтиком Прахаржом из нашего дома.

— Его мать была наполовину еврейка,— сказал Вилли, взглянув на белокурую Марлен, прильнувшую к плечу пана Копферкингеля,— и это дает себя знать в сыне. Миливой — метис второй степени. Согласно имперскому закону от 14 ноября 1935 года, параграф второй, он является метисом второй степени, так называемым «евреем на четверть»... Это закон,— сказал он, продолжая глядеть на Марлен,— а законы существуют для того, чтобы служить людям, и мы должны уважать их. Боюсь, Карл, что его не примут ни в нашу гимназию, ни в гитлерюгенд. Ты и впрямь не хочешь коньяку? — Он потянулся было к рюмкам на столе, но пан Копферкингель покачал головой и отодвинул одну из них в сторону.

— Скоро мы будем в Варшаве,— засмеялась красавица Марлен.

В субботу на той неделе, когда над Варшавой взвился флаг со свастикой и имперская военная армада двинулась дальше на восток, пан Копферкингель надел новые высокие черные сапоги и зеленую шляпу со шнурком и перышком, купленную на днях у немецкого шляпника, положил в карман пиджака маленькие симпатичные клещи и повел Мили на экскурсию в крематорий; день был самый подходящий, потому что по субботам умерших сжигали только до обеда. Стояла чудесная погода. Возле подъезда они увидели Яна Беттельхайма и Войтика Прахаржа, которые рассматривали разноцветные машины. Ребята вежливо поздоровались и спросили, куда это Мили направляется. Пан Копферкингель приветливо улыбнулся молодым людям и сказал, что на прогулку. Мили молча смотрел на обоих своих приятелей, те смотрели на него, и все трое будто строили какие-то тайные планы, так что пан Копферкингель решил прервать эту безмолвную беседу:

— Вы бы, мальчики, заходили к нам иногда. Вы так давно у нас не были. И не надо во время своих прогулок забираться слишком уж далеко.

Бродяжничать сейчас опасно.— Потом он указал подбородком на автомобили и засмеялся: — Зеленые — военные и полицейские, а белые — санитарные. Для ангелов. Так, Мили? — И он кивнул своему мальчику, и они пошли по улице...

Спустя несколько минут Копферкингель сказал:

— Я надеюсь, Мили, что мы скоро тоже обзаведемся красивой яркой машиной и ты станешь ездить на ней, как ездил еще недавно на своем автомобиле Ян Беттельхайм. Мы будем устраивать себе по воскресеньям разные экскурсии. Что там твой Сухдол! Можно уехать гораздо дальше,— например, в какой-нибудь за́мок, тебе наверняка понравится. К сожалению, у доктора Беттельхайма нет больше машины.— Тут они подошли к кондитерской, и Мили замер как вкопанный.— Ах ты, сладкоежка,— улыбнулся пан Копферкингель и полез в карман — тот самый, где у него лежали клещи.— Вот, возьми крону и купи себе эскимо.— Потом он опять опустил руку в карман и добавил: — Пожалуй, купи еще и пирожное.

Мили купил себе эскимо и пирожное, и отец с сыном отправились дальше. Неподалеку от кладбищенских ворот висело какое-то объявление, и его внимательно изучал пожилой толстяк. Подойдя поближе, Копферкингель заметил на нем белый крахмальный воротничок с красной «бабочкой» и невольно вздрогнул.

— Как жаль,— сказал он Мили,— как жаль, что твоей любимой матери нет с нами.— И тут его взгляд упал на объявление:

ПОЧИНКА ГАРДИН И ПОРТЬЕР
ЙОЗЕФА БРОУЧКОВА,
Прага, Глоубетин,
Катержинская, 7.

— Мы пойдем через кладбище,— он тронул сына за плечо,— там гораздо красивее, чем во дворе. Когда я еще не был директором, я частенько прогуливался в обед по кладбищенским дорожкам... Жалко, что твоя мать ушла от нас в мир иной.

Прямо у ворот они остановились: из-за ближайших надгробий доносился какой-то странный шум, там топали ногами, подпрыгивали и даже шипели, а потом оттуда выскочила женщина с ниткой бус на шее и в шляпе с пером, она тыкала пальцем себе за спину и пронзительно верещала. За ней по пятам гнался потный низенький толстяк в котелке и с тростью, он кричал:

— Куда же ты несешься, погоди!.. Нет здесь *никаких смотровых площадок,* здесь кладбище, ты же была на кладбище!..

При виде пана Копферкингеля в черных высоких сапогах и в зеленой шляпе со шнурком толстяк остановился, раздраженно дернул головой и объяснил:

— Она сумасшедшая, она меня измучила. Вообразила, видите ли, что ей тут покажут какую-то кровавую бойню.

— Это пройдет,— отозвался Копферкингель, и толстяк снял котелок и принялся неторопливо вытирать лоб.

— Нам пора.— Копферкингель повернулся к явно напуганному Мили.— Ничего страшного, просто у тети какой-то приступ, это пройдет, врачи ей обязательно помогут, ведь они настоящие земные ангелы. И ни в коем случае не пробуй на зуб ружейный патрон. Это может плохо кончиться. Ну что, вкусное было пирожное?

Они миновали свежие могильные холмики с венками и очутились перед зданием крематория. В привратницкой сидел и дрожал мелкой дрожью пан Фенек. Увидев герра директора в черных высоких сапогах и зеленой шляпе с пером, он низко поклонился; глаза у него опухли и слезились. «Если мне и удастся спасти Фенека,— подумал Копферкингель,— то я все равно буду вынужден уволить его или отправить в сумасшедший дом». Он небрежно махнул рукой и открыл дверь. Проведя Мили по коридору, Копферкингель показал ему холодные печи; всюду сильно пахло дезинфекцией, мальчик трясся от страха.

— Вот, значит, какие они, эти печи! — Мили неуверенно поглядывал по сторонам.

— Да, они именно такие,— улыбнулся пан Копферкингель,— и я надеюсь, что ты их не боишься. Ведь они пусты, в них сейчас никого не жгут. И вообще, Мили, тебе пора уже перестать бояться. В кого только ты такой уродился? Тебе было страшно в паноптикуме, страшно на боксе, страшно на смотровой площадке... а разве с тобой там что-нибудь случилось? Так что не бойся и взгляни сюда. Эта кнопка управляет железным занавесом ритуального зала, вот это — термометры, а это — репродуктор... короче говоря, здесь есть множество самых разных механизмов и приспособлений... а вон с той лесенки можно заглянуть прямо в печь, но туда тебе ходить не стоит... Погоди-ка минутку, я посмотрю на табличку, да ты ее знаешь, такая же висит у нас дома...

Потом они прошли мимо склада металлических урн для пепла (диаметр — шестнадцать сантиметров, высота — двадцать три сантиметра), там сильно пахло дезинфекцией, и мальчик все так же дрожал от ужаса.

— Это склад урн для пепла,— пояснил Копферкингель,— все они у нас на строгом учете.— И он повел сына в глубь здания, к гробам.

— Здесь лежит пан Данек,— бесстрастно произнес Копферкингель,— здесь — доктор Веверка, у него, к несчастью, слишком тесный гроб, когда крышка опустится, она коснется его лба... вот это пан Пискорж, а следующий гроб,— пан Копферкингель подошел к заколоченному гробу под номером пять, на котором было написано «Э. Вагнер»,— заколочен, потому что открывать его никто не станет. Родственники на похороны не придут, и в понедельник он отправится прямо в печь.— Пан Копферкингель извлек из кармана клещи и отвинтил крышку.

Их взорам предстало бледное заострившееся лицо офицера в парадной зелено-серой форме с железным крестом. На груди — фуражка и белые перчатки. В петлицу была вставлена веточка лавра. Еще одна веточка — по всей видимости, миртовая — лежала на скрещенных на животе руках.

— Это герр Эрнст Вагнер,— сказал Копферкингель своему почти обезумевшему от страха сыну,— штурмбаннфюрер СС, он любил немецкий народ и *музыку,* его похоронят под звуки вагнеровского «Парсифаля». Значит, говоришь, твой боксер собирается бить немцев? — Копферкингель грустно улыбнулся съежившемуся Мили.— Этих насильников и захватчиков? Ты, наверное, рассказывал ему, что любишь сладкое... Знаешь, покойный герр Вагнер был настоящим немцем. Не каким-нибудь там неженкой и хлюпиком... и безупречного происхождения. В рейхе существует один закон, я сейчас постараюсь растолковать его тебе. «Ohne Rücksicht auf den Dienstgrad muss jeder SS-Angehörige den Abstammungsnachweis erbringen, wenn er sich verloben oder verheiraten will». «Любой член СС, если он собирается *обручиться или жениться,* обязан доказать чистоту своего происхождения...», а законы у нас всегда служат людям.— Копферкингель улыбнулся и продолжал: — У него замечательный гроб, высокий, широкий, как раз такой, как нужно. А может, ты, Мили, тоже ляжешь туда? Разве плохо обратиться в прах под звуки «Парсифаля»? — И он невесело усмехнулся и взялся за *железный прут,* лежавший в углу у ниши. Потом он заставил *мальчика встать на колени,* широко расставил ноги в высоких черных сапогах и убил его.

Труп он уложил в гроб к эсэсовцу, хороший был гроб — высокий, широкий, так что места хватило обоим, и они прижались друг к другу, подобно сводным братьям... Привинтив крышку обратно, убийца внимательно оглядел железный прут и кафельные плитки пола, чтобы удостовериться в их чистоте, затем поправил зеленую шляпу со шнурком и пошел к выходу. «Смерть сближает,— сказал он себе, сжимая в кармане клещи,— пепел — он и есть пепел. И неважно, кто был кремирован — немецкий штурмбаннфюрер или же мальчик с нечистой кровью. Бедный Мили,— сказал он себе,— ему бы пришлось несладко; хорошо, что я избавил дитя от мук. Его бы не взяли ни в немецкую гимназию, ни в гитлерюгенд. Жаль только, что нам не удалось еще раз вместе сфотографироваться...»

— Мили, дождись меня, не убегай,— крикнул Копферкингель рядом с привратницкой, желая, чтобы эти его слова услышал Фенек, который прижимал руку тыльной стороной ко рту, как будто целуя ее.— Пан Фенек,— обратился он к старику,— зачем вы лижете свою руку, вам надо лечиться, так больше продолжаться не может, вы же губите себя. У вас явные признаки вырождения, вам требуется психиатр! — Привратник вскинул голову, всхлипнул и молитвенно сложил ладони.

Потом Копферкингель вышел из здания и пересек двор; во второй привратницкой ему подобострастно поклонился преемник пана Враны. Недалеко от ворот крематория Копферкингель подал монету старухе нищенке, которая попрошайничала здесь и зимой, и летом, и зашагал к трамваю. Возле остановки стояла красивая розовощекая девушка в черном платье и какой-то молодой человек с перекинутым через плечо ремешком фотоаппарата.

Четырьмя днями позже пан Копферкингель отправился в немецкую уголовную полицию и заявил об исчезновении своего шестнадцатилетнего сына.

— Сегодня четвертый день, как его нет дома,— сказал он.— Мили вел себя так с самого раннего детства, однажды мы даже обращались за помощью в полицию. Тогда его отыскали в Сухдоле, он, видите ли, хотел переночевать там в стогу сена. Мальчик по натуре романтик, боюсь, как бы он не последовал за нашей армией в Польшу, с него станется. А еще я хотел вам сообщить, что в последнее время он свел знакомство с одним боксером...

А между тем Мили уже сожгли, и его прах смешался с прахом чистокровного эсэсовца. Все операции у печи проводил сам господин директор, которому помогали двое улыбчивых и расторопных парней, совсем не похожих на Заица и Берана. Пану Копферкингелю хотелось не только заняться любимым делом, но и показать этим милым юношам, как высоко ценит он их труд, труд, который когда-то кормил и его, выходца из простой семьи. А в ритуальном зале торжественно звучала музыка из «Парсифаля» Вагнера и «Героической симфонии» Бетховена.

15

Вскоре после окончания победоносной польской кампании Карла Копферкингеля пригласили к шефу пражской Службы безопасности и секретарю имперского протектора герру Берману. Встреча проходила в том самом светлом здании с колоннами, возле которого всегда стояло много ярких машин и над которым реял флаг рейха; в кабинете сладко пахло сандаловым деревом, а украшали его не только нарядные шторы, толстые ковры и огромный портрет фюрера, но и несколько весьма недурных картин... и вот тут-то, в этом кабинете, принадлежавшем шефу пражской Службы безопасности и секретарю имперского протектора, Копферкингелю конфиденциально сообщили о готовящемся уникальном эксперименте. Стояла глубокая осень 1939 года.

— Во имя чистоты немецкой расы. Во имя победоносной борьбы за новую, счастливую Европу. Во имя справедливого общественного устройства, во имя фюрера,— вот что сказали Карлу Копферкингелю и подняли за это рюмки; там был и Вильгельм Рейнке, который предложил ему на выбор: — Коньяк, чешская сливовица?

А потом ему объявили:

— У вас есть опыт. Вы любите всяческие механизмы и приспособления, вы — истинный носитель арийского духа. Нам надо провести испытания новых газовых печей. Вы должны гарантировать *строгое соблюдение тайны*. Задание очень почетно. Из вас может получиться прекрасный командир производства.

— За газовыми печами — будущее.— Вилли провел ладонью по лежавшей на столе книге.— То будущее, в котором неопределенно все, кроме смерти и нашей общей победы. *Даже лошади* избавятся тогда от мук,—

улыбнулся он.— Тебе поручено почетное задание. Ты получишь в свое распоряжение автомобиль «мерседес», который я обещал тебе, когда ты ходил, одевшись нищим, на Майзлову улицу. Ты сможешь вывозить свое семейство за город.— И Вилли взял рюмку и торжественно провозгласил: — Ты — один из *избранных!* Ты что же, по-прежнему не пьешь?

Пан Копферкингель втянул носом сладкие запахи сандалового дерева, которыми пропитался кабинет, взглянул на стол и сложил руки на коленях.

— Спасибо, господа,— сказал он, покачав головой,— но я по-прежнему не пью. Я ведь трезвенник.— И он дал согласие выполнить это почетное задание.

...Копферкингель стал все чаще заходить в казино. У него завелись любовницы; среди них особенно выделялась белокурая Марлен, чье настоящее имя было Мария, она напоминала ему ангела или кинозвезду, а всего их у него насчитывалось то ли десять, то ли двадцать, и он встречался с ними не только в казино... некоторые даже приходили к нему домой; у него их было столько, что он начинал их путать, зато он не пил и не курил и очень жалел тех, кого не окружали такие красотки. А еще он жалел пани Прахаржову, чей муж погибал от алкоголизма, и их несчастного сына Войту, который тоже мог пойти по дурной дорожке, он жалел и кое-кого еще,— например, доктора Беттельхайма и все его семейство... а в своей столовой Копферкингель подолгу простаивал у гравюры со свадебной процессией, которую он купил когда-то Зине у багетчика пана Голого, и у таблички на черном шнурке, а еще он задирал голову и смотрел туда, где раньше висел никарагуанский президент, а теперь — элегантный фюрер, и говорил себе: «Скоро я возглавлю эксперимент по газовым печам, и мне дадут «мерседес»... а еще он любил рассматривать семейное фото над тумбочкой, где он сидел рядом с Лакме, держа на коленях кошку... а над пианино висели под стеклом мухи дрозофилы, те самые, на которых ставят всякие эксперименты... а как-то под вечер он вдруг вспомнил о доброй тетушке из Слатинян и сказал себе: «Мне обязательно надо пойти в нашу уютную ванную, которую я так люблю...» И он пошел туда и *под вентилятором, рядом с бабочкой,* зажег маленькую свечку. Потом он вернулся в столовую, включил торшер (за окнами уже смеркалось) и снял с полки закон о кремации; полистав его несколько минут, он в тысячный раз взял в руки книгу о Тибете, увлекательнейшую, захватывающую книгу о Тибете, тибетских монастырях, далай-ламе и его перевоплощениях, сказал себе: «Я же знаю ее почти наизусть» — и уселся с нею под торшером; тут ему захотелось подумать о дочери, и он подумал: «А все-таки я неплохо забочусь о моем единственном ребенке, ее, благодарение Богу, приняли в немецкую школу, жаль только, что она унаследовала кое-какие черты своей покойной матери, эта моя восемнадцатилетняя черноволосая красавица...» — и тут позвонили в дверь.

Пан Копферкингель встал из-под торшера, положил тибетскую книгу на обеденный стол и пошел отворять.

— Могу я поговорить с господином директором Копферкингелем? — сказал по-немецки человек, стоявший на лестничной площадке.— Я прислан к нему с тайной миссией.

Копферкингель молча поклонился и отступил назад, приглашая незнакомца войти. Потом он проводил его в столовую. В своей широкой черной хламиде посетитель выглядел немного странно, да и лицо у него было на удивление желтое, но, возможно, так только казалось из-за рассеянного света торшера.

— Прошу садиться,— Копферкингель спокойно кивнул в сторону стола.— Извините...— И он убрал лежавшую там книгу.— Я читал. Что вам предложить? *Коньяк, чешскую сливовицу?*

— Спасибо,— улыбнулся гость, сложив руки на коленях,— я не пью. И не курю. Я трезвенник.— Он улыбнулся еще шире и сказал: — Если это вас не затруднит, я попросил бы чаю с кусочком масла.

Пан Копферкингель быстро побежал в кухню, приготовил там чай с кусочком масла и вернулся в столовую. Гость поблагодарил и сказал:

— *Кушог. Я — тулку* из монастыря Миндолинг. Наш далай-лама умер. Долгие годы, семнадцать, нет, даже девятнадцать лет Тибет, этот благословенный край, пытался отыскать его *инкарнацию*. Отыскать того великого мужа, которого избрал Будда для своего перевоплощения... и вот сегодня, спустя двадцать лет, он наконец найден. Я был послан в далекое путешествие, чтобы встретиться с вами и сообщить, что это — *вы*. Вас ждет тибетский престол!

Он помолчал и добавил:

— Но это строго между нами. Надо блюсти тайну. Я приду сюда еще раз, чтобы посвятить вас, и только потом мы с вами отправимся в Гималаи, на нашу любимую, благословенную родину.

— Отец, у тебя были гости,— сказала вернувшаяся домой Зина,— на столе стоят две чашки, и в одной на дне — какое-то масло.

— У меня побывал редкостный гость, Зинушка,— ответил пан Копферкингель, внимательно глядя на дочь.— Но не будем говорить о нем, надо блюсти тайну. Ну что, нравится тебе в школе, золотко мое? В твоей новой, немецкой школе?

— Я растеряла всех своих подруг,— грустно сказала Зина,— я не думала, что я их растеряю. Я думала, что все будет по-старому. С Ленкой и Лалой я больше не вижусь.

— Это были милые и симпатичные девушки,— согласился Копферкингель,— но ничего не поделаешь, человеку приходится мириться с утратами. Взять хоть меня. Я тоже прошел через множество трагических разлук. Пани Струнная, барышня Чарская, Вомачкова, пани Лишкова, пани Подзимкова. Пан Голый потерял жену, пан Рубинштейн развелся, пан Штраус тоже лишился близких — его жена умерла от чахотки, а сын — от скарлатины... мы то и дело теряем кого-то, такова человеческая жизнь. А как поживает Мила Яначек?

— Он пока ничего не говорил, но я думаю, мы больше не будем встречаться.

— Ну что ж,— пан Копферкингель посмотрел на семейное фото.— Значит, я прав. Это был симпатичный, милый юноша из приличной и уважаемой семьи, его отец работал инженером, а сам он интересовался физикой и техникой, любил музыку и всяческие механизмы и приспособления... совсем как я... он мог многого добиться в жизни. Утешайся тем, что на вечную память о нем у тебя останется вот эта фотография.— И он указал на стену. Поглядев туда, Зина спросила:

— О Мили так ничего и не слышно?

— Ничего, золотко мое, ничего. Боже мой, да где же он?..— И пан Копферкингель, нахмурившись, уселся в кресло.

Она печально погладила его по голове, а он взял ее за руку и сказал:

— Мы живем в великую революционную эпоху, но нас одолевают горести. Мы теряем близких. Доктору Беттельхайму запретили практиковать. Согласно Закону от 25 июля 38 года все без исключения евреи в Германской империи лишены права заниматься врачебной практикой... это закон, а законы, как ты, конечно же, знаешь, мы обязаны уважать... он, правда, все еще живет над нами со своей красивой женой, служанкой Анежкой и племянником Яном. В его бывшем кабинете висела прекрасная старинная картина, похищение женщины графом Бетленом, и это единственное, что у него осталось. Внизу перед домом нет больше его автомобиля. Но очень скоро там появится другая машина, блестящий новый «мерседес», и он будет принадлежать нам, а вот эту стену...— он показал на одну из стен столовой,— украсит замечательная старинная картина. Впрочем, все это ерунда,— торопливо добавил Копферкингель,— это не имеет значения, потому что человек не должен быть рабом *своих* вещей. Мы, золотко мое, живем в прекрасное революционное время, и нам нужно мыслить глобально и никогда не забывать о немецком народе и о человечестве в целом. Ну, а эта *история*,— он имел в виду историю с паном Милой,— пускай тебя не беспокоит. Все равно чехи будут уничтожены. Да-да, дитя мое, это уже решено,— сказал он, заметив, что Зина вздрогнула,— правде надо смотреть

в глаза. Скрывать от тебя что-либо я считаю бессмысленным. Уж если нам удалось стойко перенести смерть нашей любимой матери и это несчастье с Мили, то подобную беду мы и подавно сумеем пережить. Ликвидация чехов отвечает интересам того нового, счастливого и справедливого строя, который созидает сейчас фюрер. Физическая смерть им не грозит,— Копферкингель замотал головой и всплеснул руками,— нет-нет, ни в коем случае, *мы же не убийцы*. Но они будут онемечены. Это исконно наши территории, и именно отсюда нам суждено управлять миром,— он обвел рукой столовую и посмотрел на кошку, которая только что зашла в комнату.— Так оно и будет, и земля тогда станет раем. На вечные времена.

Через несколько дней пан Копферкингель сказал Зине, собиравшейся на очередной урок музыки:

— Золотко мое! Я получил важное задание. Я буду руководить грандиозным экспериментом, поэтому из крематория мне придется уйти. Если то, что мы задумали, удастся, то человечество раз и навсегда избавится от эксплуатации, голода и нищеты и люди, а может, и лошади... не будут больше страдать. К сожалению, всего я тебе сказать не вправе, потому что это — государственная тайна и надо держать язык за зубами. Я просто предлагаю тебе, прежде чем я навсегда покину крематорий, сходить со мной туда. Ты увидишь то здание, где я провел целых двадцать лет, увидишь, с чего я начинал и чего достиг, усердно исполняя свой долг. Завтра суббота, и во второй половине дня трупы не сжигают, им приходится ждать до понедельника... Ты наденешь свое красивое черное шелковое платье, и мы с тобой отправимся. Я постараюсь,— добавил он, помолчав,— раздобыть фотоаппарат...

Едва Зина ушла, как в комнате появился тибетский посланник. Копферкингель принес ему чай с маслом.

— Пора.— Монах прямо в столовой опустился перед ним на колени.— Вас ждет трон! Тибет, наша благословенная родина, ожидает своего повелителя, народу не терпится приветствовать своего владыку. Вот одеяние покойного далай-ламы...— монах махнул рукой куда-то в пустоту, наверное, он указывал на невидимые звезды.— Стена, заслонявшая от вас горизонты, рухнула. Небо раскрылось, и над нами — бесчисленные звезды...— он опять указал на потолок.— Вы спасете мир.— Монах коснулся лбом ковра.— Вы — Будда!

— Встаньте, сын мой,— добродушно отозвался пан Копферкингель; глаза его были влажными от слез. Поднявшись из-за стола, он воздел руки к потолку... э-э, к небу... и сказал:

— Небо раскрылось, и над нами — бесчисленные звезды. Сколько раз я читал об этом в замечательной книге о Тибете, которую переплел для меня в красивый желтый переплет пан Рудольф Каднер, пражский переплетчик. Да будет счастливо все сущее! Ни одна жертва не кажется мне напрасной, если приносится она во имя грядущего счастья человечества. Пан Голый тоже потерял жену. И пан Штраус. Его жена умерла от чахотки, а сын — от скарлатины... Однако мне предстоит еще кое-что уладить.— Он опустил голову и улыбнулся.— Мне предстоит спасти еще одну добрую душу. Я обязан вовремя избавить ее от страданий, которые непременно ожидают таких, как она, в этом счастливом мире. Завтра все будет сделано. Она наденет темное шелковое платье и ляжет в нем в гроб к знаменитой пианистке Гермине Сыкоровой. Небесный хор споет им вторую часть шопеновского фортепьянного концерта, так захотел вдовец. Обожди до завтрашнего вечера, сын мой.

Монах кивнул, и в ту же секунду свет в глазах Карла Копферкингеля померк. Это померкла его душа, и крематор услышал чудесную музыку — арию из «Лючии ди Ламмермур» Доницетти, фортепьянный концерт, «Неоконченную», «Парсифаля»... и еще что-то бравурное, кларнет, тимпаны, барабан... он увидел, что в столовой, рядом с кошкой и с той дверью, над которой висит портрет фюрера, стоят трое мужчин в белом, три белоснежных *ангела*... они ласково берут его под руки и ведут по лестнице, где от них испуганно шарахаются какая-то женщина и ее сын-подросток... потом он

оказывается на тротуаре... перед ним машина, белая, ангельская, с красным крестом и немецким номером. Когда он наклонил голову, чтобы сесть туда, его волос коснулся легкий осенний ветерок.

В середине мая 1945 года — вскоре после окончания войны — пан Копферкингель смотрел через окошко санитарного поезда, стоявшего у перрона вокзала небольшого немецкого городка, на толпы изможденных людей, возвращавшихся домой. Ему казалось, что он различает знакомые лица: пана Штрауса, и пана Рубинштейна, и старого доктора Беттельхайма, и его племянника Яна... и красивую женщину, которую он прежде где-то видел. Копферкингель улыбался, он бы с радостью помахал им рукой, но рука у него лежала в кармане, и он там как раз что-то нащупал. Это оказались обрывок бечевки и кусочек сахару. Он повернулся лицом к купе и сказал своим безруким и безногим соседям:

— Счастливое человечество. Я спас его. Мир навсегда избавился от нищеты и страданий... даже лошади не будут больше мучиться. Господа, наконец-то новый строй победил!

Из трубы пражского крематория шел желтоватый дымок. Там сжигали морфиниста.

КАРЛ КРОЛОВ

Стихи

Перевод с немецкого СЕРГЕЯ МОРЕЙНО

От переводчика

Предложим читателю три фрагмента.

«Блеск оливы и лимона, взрезанных лучом! В послеобеденной перспективе распад дней. Веки наливаются серебром шестого часа, тени становятся ненадежны на призрачных мостовых. Среди всего прочего забыты прочнее, чем легенда, плечи и бедра холмов на ветру» (Кролов).

«Осеннее солнце неярко и робко, с деревьев сыплются плоды. Тишина живет в голубых покоях долгие послеобеденные часы. Смертельный звон металла; белый зверь повержен. Суровые песни загорелой крестьянки развеял листопад. Лоб мечтает о божественных красках, предчувствуя сладкие крылья безумья. Тени кружатся возле холма, охвачены чернотой гниения» (Тракль).

«Известен ли тебе край, в котором цветут лимоны, а среди темной листвы горят померанцы, сладкий ветер веет от синего неба, и гордые мирт и лавр?.. Знаком ли тебе тот дом? Его крышу несут колонны, блещет зал, сверкает убранство, а мраморные лики вопрошают меня: «Что с тобой сделали, бедное дитя?..» Знаешь ли ты ту вершину с подоблачной тропой? Осел находит свой путь в тумане; в пещерах гнездится род древних драконов; обрывиста скала и поток над нею...» (Гёте).

Олимпиец Гёте, проклятый поэт Тракль. Кролов как бы посередине, он раскачивается между ними (er schwebt). При этом как бы за стеной, как бы гипотетичен: отзвук, привкус, оттенок. Кролов странно неуловим. Его стихи — вроде куска слюды, который лущится чешуйка за чешуйкой, но не уступит тайны.

Критики отмечали герметизм его поэзии, дистанцированность, отчужденность. И все же Кролов творит в предположении, что мир не так уж плох. И дает миру возможность оправдаться. Метафора, инструмент поэтического творчества, получив автономию и статус действующего лица, помогает в этом, раскрывая перед нами новые, задушевные стороны действительности, неведомые прежде.

Карл Кролов родился в 1915 г. в Ганновере. Его основные поэтические сборники: «Добрая, благословенная жизнь» (1943), «Кара» (1948), «Ветер и время» (1950—1954), «Инородные тела» (1959). Живет в Дармштадте. Является членом Немецкой академии языка и поэзии в Дармштадте и Академии наук и литературы в Майнце. Лауреат премии Бюхнера (1956). Его стихи в переводе на русский язык публиковались в сборниках: «Западноевропейская поэзия XX в.» (1977), «Из современной поэзии ФРГ» (1983), «Вести дождя. Стихи поэтов ФРГ и Западного Берлина» (1987).

* * *

В первый раз говорю: роза?
Имя, названное до того,
было неверным.
Минуты, затекающие в ладонь,
невесомы.
Едва я нащупаю их,
уже снова поздно.
И все-таки день
успевает открыть глаза.
Ночь укладывается
обратно под веки.

* * *

Воспоминание — статуя женщины.
Ты любишь ее как-то безвольно
и робко,
допуская в свой круг лишь
время без дат,
час певчих птиц и крошащийся камень.

Воспоминание — статуя женщины.
Ты тихо считываешь
лоб и затылок, у тебя есть глаза
для ее смутных, голубых очертаний.
Хрупкий материал,
из коего ее изваяли,
убывает, как месяц.
Твоя связь с нею
не имеет длительности,
как вечность,
в течение коей нога женщины
покоится на мужском плече.

* * *

Каждое утро верует в Господа.
Синие рыбы снуют на линии его взгляда,
и тени от рук и бедер
сочны.
Тишину разбивает дикая горлинка,
затевая песню.
Женщины собирают перины,
под которыми ночью они были одни.
Сметаются
обожженные темнотой спички.
Загривок утра лоснится.
Каждый хотел бы
опереть на него
ладонь.
Я слышал на улице,
что у тел отобран их возраст.

* * *

Из чьего-то окна
хлынул свет.
Тотчас распускаются
розы воздуха,
на улице
дети вскидывают глаза —
они играют.
Голуби лакомятся
пряником света.
Девушки хорошеют,
а мужчины добреют
в его лучах.
Но прежде, чем они скажут об этом друг другу,
чье-то окно
захлопывается.

* * *

Среди ухмылок и треска щеколд
он проникает в комнату.
Не лицемеря, опрокидывает он
лампу
и смотрит в глаза
враждующим братьям.
При свете спички не бросит он
«Добрый вечер».
Он скручивает головы
предкам. Их бюсты
вместе с букетами незабудок
оказываются в пыли.
Оседлав воротник,
он мечется из угла в угол,
пока горит папироса.
Тот, кто схватит его в темноте,
очнется лишь следующим утром:
с застрявшей ветряной розою в волосах.

* * *

Два граната, два лимона: —
Тождество с простым значеньем,
Формулы земного лона,
Алгебра роскошных фруктов!

Возбуждает свет горячий
Ос трепещущий континуум.
Лепестки сухие прячет
В свои скобки ветр сухой.

Два граната, два лимона.
Тишину приносят крылья.
И укачивает в кронах
Полный парусник матросов.

А небесный свод есть око,
Что воззрилось, не мигая,
Прямо в сердце: над глубокой
Раной, скрытою в листве.

Два граната, два лимона:—
Экзальтация расчета,
Ведомость из сфер влюбленных!
К языку язык льнет. Но
Ветхий смысл брюзглив, как голубь.

* * *

Чтобы уйти незамеченной,
золотая рыбка нашла
сосуд, в котором ей легче
следить за зеленой тенью
скончавшегося вчера
садовника.
Покойник был рядом,
медленно преображаясь
в цветок, надоевший ему
при жизни,
рыбка же терпеливо ждала
того момента, когда
мягким ртом она сможет
цапнуть стебель,
только что показавшийся
из погребенных пальцев.

Последняя ночь

Ночь будет черна и бела...
Жерар де Нерваль

Не ждать! Ночь будет черна и бела,
Чернее, чем жженая пробка, какой наводят
цыганские брови,
Белее, чем гибель Вирджинии на Иль де Франс,
Подхваченной ангелом джунглей.

Черна и бела ночь, полна неверных шагов
под латернами,
Полна губ из сажи в темных сенях,
Полна губ из снега, повторенных нежно воздухом,
который тает на них,
Полна пришлых, предательских слов.

Не ждать! Ночь словно школьный мел, поддавшийся
детским деснам,
Ночь словно фитиль свечи и прядает
от первого шепота:
Черна и бела.
Ну, а за ней — твой лик травлёный на оконном стекле,
В комнатном ливне слез,
Профиль дамы, показывающей свои груди мужчине,
Что вот-вот бросит ее.

Не ждать! Ночь будет прекрасной,
с ветром, родившимся в волосах,
Стерильною белизной отчаяния,
Дегтем непроницаемой тишины,
Черна и бела...
А в ней я: ломкий хворост, без памяти,
без раздумий,
Вязанка, на которую упал свет одинокой звезды.
Последняя ночь, сегодня никто не ждет!

* * *

Мифология кирпичной стены,
набросанная восьмилетками,
намеченная циркулем черных минут.

Мы минуем ее, приветствуя
наши мысли.
Наши женщины выступают
из обожженной глины.

Наши сны на этой стене
почтеннее нас.
Меркнущая белизна штукатурки
отягощает их кожу.

Мы минуем ее.
И многие отворачиваются,
когда у них за спиной
начинается татуировка стены
псами и месяцем.

ДЖОН ФАУЛЗ

Волхв

РОМАН

Перевод с английского БОРИСА КУЗЬМИНСКОГО

34

Чуть выше места, где я перебирался через овраг на прошлой неделе, на ту сторону вела лесенка с грубо выбитыми в камне ступенями. За лощиной мы поднялись по пологому склону и очутились в распадке, развернутом к морю, точно природный амфитеатрик. В глубине его, на постаменте из необработанной скалы, возвышалась скульптура. Я сразу узнал ее. Копия знаменитого Посейдона, выловленного в начале века близ Эвбеи. На стене моей школьной комнаты висела открытка с его изображением. Благолепный муж стоял, широко расставив ноги и указывая могучей десницей на юг, непостижимо царственный и нечеловечески безжалостный, как все реликты древних цивилизаций; шедевр авангардный, будто творение Генри Мура, и дряхлый, будто камень, служивший ему подножием. Уже зная Кончиса, я все-таки удивился, что он до сих пор не показал мне статую; подобная копия в натуральную величину должна стоить немалых денег, и держать ее на задворках, в чаще, не афишируя... я вспомнил де Дюкана и его театральный талант — искусство притормаживать сильные впечатления.

Мы молча рассматривали скульптуру. Взглянув на мое ошеломленное лицо, Лилия улыбнулась, обогнула пьедестал и взобралась по склону в тень нависающего над обрывом миндаля, где была устроена деревянная скамейка. Отсюда над кронами сосен просматривалась даль моря, но из прибрежных вод разглядеть скульптуру было бы невозможно. Она рывком, без церемоний, опустилась на скамью, закатала юбку и кофточку, подставляя тело ветру. Будто разделась. Я сидел всего в трех футах, и она, конечно, чувствовала мой взгляд. Время «передышки» истекло. Но она все молчала и отводила глаза.

— Как вас зовут по-настоящему?

— А «Лилия» вас не устраивает?

— Прекрасное имя для викторианской трактирщицы.

Нехотя улыбнулась.

— Настоящее мне еще меньше нравится.— Но затем проговорила: — Вообще-то я Джулия, но меня с детства звали Жюли.

— Жюли, а дальше?

— Холмс.— И понизив голос: — Однако не с Бейкер-стрит.

— А сестру как зовут?

Помедлила.

— Вы твердо уверены, что у меня есть сестра?

— А вы как думали?

Еще помедлила, наконец решилась.

— Мы родились летом. У папы с мамой оказалась небогатая фантазия.— Пожала плечами, словно извиняясь за их ограниченность.— Ее назвали Джун.

— В честь июня и июля.

— Не рассказывайте Морису.

— Давно вы с ним знакомы?

Продолжение. Начало см. в № 7.

Покачала головой.

— Но кажется, что давно.

— Сколько?

Опустила глаза.

— Я чувствую себя предательницей.

— Я не собираюсь ябедничать.

Снова взыскующий, неуверенный взгляд, почти укоряющий меня за напористость; но, похоже, она поняла, что на сей раз я не отступлюсь. Понурилась, глядя себе под ноги.

— Нас заманили сюда под выдуманным предлогом. Несколько недель назад. И, как ни удивительно, мы остались.

Я заколебался, подумав о Леверье и Митфорде. Но решил придержать этот козырь.

— Вы тут в первый раз?

Быстрый удивленный взгляд, весьма убедительный.

— То есть?

— Я просто спросил.

— Но почему?

— Мне казалось, в прошлом году здесь происходило нечто похожее.

Подозрительно заглянула мне в лицо.

— Вам рассказали...

— Нет-нет.— Улыбнулся.— Я только предполагаю. Строю догадки. А что это за выдуманный предлог?

Разговор с ней напоминал поездку на строптивом муле — очень симпатичном, но не настроенном двигаться вперед. Уставилась в землю, подыскивая слова.

— Видите ли, несмотря ни на что, мы остались здесь добровольно. Хоть и не уверены, что понимаем, какова... подоплека происходящего, но испытываем благодарность... и, по сути, полное доверие.— Она умолкла, и я открыл рот; но меня остановил ее умоляющий взгляд.— Не перебивайте.— На миг прижала ладони к щекам.— Трудно объяснить. Но обе мы чувствуем, что многим ему обязаны. И загвоздка в том, что, ответь я на все вопросы, которые, как я хорошо сознаю, вам не терпится задать, я... ну, все равно что расскажу сюжет детективного фильма до того, как вы его посмотрите.

— Но вы ведь можете рассказать, как попали на экран?

— Да нет, не могу. Это ведь тоже часть сюжета.

Она снова ускользала от меня. В миндальной кроне жужжал крупный бронзовый майский жук. Внизу, в солнечном свете, стоял истукан, от века повелевающий ветром и морем. Я смотрел в затененное листвой, почти кроткое лицо девушки.

— Вам, простите, за это платят?

Помолчала.

— Да, но...

— Что — «но»?

— Дело не в них. Не в деньгах.

— Только что, у оврага, вы намекали, что вам не больно по нутру то, что вас заставляют делать.

— Потому что не поймешь, что из того, что он говорит нам, правда, а что нет. Не думайте, что нам известно все, а вам — ничего. Нас он посвящал в свои намерения дольше. Но вдруг лгал? — Пожала плечами.— Если хотите, мы обогнали вас на несколько поворотов лабиринта. Но это не значит, что по прямой мы ближе к его центру.

Я выдержал паузу.

— А в Англии вы играли на сцене?

— Да. Правда, дилетантски.

— В университете?

Натянутая улыбка.

— Это еще не все. В некотором смысле каждое наше слово достигает его ушей. Не могу объяснить, каким образом, но думаю, к ночи вы

поймете.— Она опередила мою иронию: — Телепатия ни при чем. Телепатия — отговорка. Метафора.

— В таком случае — как?

— Если я расскажу, то... все испóрчу. Запомните только одно. Это чудесное ощущение. Буквально не от мира сего.

— Вы его уже переживали?

— Да. Отчасти потому мы с Джун решили, что ему можно доверять. Злодеям такие способности недоступны.

— Все-таки не понимаю, как он слышит наши разговоры.

Вперилась в пустую водную гладь.

— Я боюсь объяснять еще из-за того, что сомневаюсь, не расскажете ли вы ему сами, что я была с вами откровенна.

— Господи, я ведь только что сказал, что не собираюсь ябедничать.

Взглянула на меня, опять повернулась к морю. Голос ее дрогнул:

— Мы не уверены, что вы тот, за кого себя выдаете,— тот, за кого выдает вас Морис.

— С ума сойти!

— Я хочу сказать, что не один вы не знаете, чему верить, чему нет. Вдруг вы дурачите нас. С видом святой простоты.

— Отправляйтесь на северное побережье. В школу. Расспросите обо мне... А кто остальные участники спектакля? — спросил я.

— Они не англичане. И по-собачьи преданы Морису. Мы их, в общем-то, редко видим. Они тут долго не задерживались.

— Вы подозреваете, что меня наняли, чтобы водить вас за нос?

— Все возможно.

— Господи.— Я пристально взглянул на нее, убеждая, что это предположение просто смехотворно; но она явно не собиралась шутить.— Бросьте. Никакой актер так не сыграет.

Мои слова вызвали у нее слабую улыбку.

— Будем надеяться.

— Выбирайтесь отсюда — и я отведу вас в школу.

— Он дал понять, что этого делать нельзя.

— Вы просто отплатите ему той же монетой.

— Самое смешное...— Но, покачав головой, она умолкла.

— Жюли, вы *должны* мне верить.

Вздохнула.

— Самое смешное, что мое ослушание тоже может быть предусмотрено сценарием. Он фантастический человек. Прятки... нет, скорее жмурки. Тебя кружат до тех пор, пока не потеряешь ориентацию. И во всем, что он говорит и делает, мерещится второй, третий смысл.

— Так нарушьте правила. Посмотрим, что получится.

Снова помедлив, улыбнулась шире, как бы подтверждая, что склонна мне довериться, если я наберусь терпения.

— Вы согласны, чтобы все разом закончилось? С завтрашнего дня?

— Нет.

— По-моему, он в любой момент может вышвырнуть нас отсюда. Я уже пробовала вам на это намекнуть.

— Я понял ваши намеки.

— Здесь все так непрочно. Будто паутина. Духовная. Театральная, если хотите. Можно одним движением ее разрушить.— Снова взгляд.— Честно. Я больше не притворяюсь.

— Он что, грозился все прекратить?

— А ему и грозиться не надо. Если б не чувство, что подобный случай выпадает только раз в жизни... Конечно, его можно счесть идиотом. Чокнутым. Старым хрычом. Но мне думается, он разгадал некую...— Она опять не закончила фразу.

— Тайну, которой я недостоин.

— Тайну, которую легко спугнуть, а потом вечно кусать себе локти.— И добавила: — Я сама только-только начала понимать, что это такое. Связно объяснить не могу, хоть и...

Молчание.

— Что ж, внушением он, очевидно, владеет мастерски. Вчера вечером роль нимфы исполняла ваша сестра?

— Вас это смутило?

— Теперь, когда я понял, что это именно она, смущает.

— И у двойняшек бывают разные взгляды на то, что можно, а что нельзя,— мягко сказала она. И помедлив: — Я догадываюсь, о чем вы подумали. Но до сих пор не было и намека на... Иначе мы бы тут не оставались.— Пауза.— Джун всегда к таким вещам относилась без комплексов, не то что я. Раз ее даже чуть не отчис...

Прикусила язык, но было уже поздно. Сделала молитвенный жест, точно прося о снисхождении за свою оплошность. По лицу ее разлилось такое уныние, что я усмехнулся.

— Вы учились не в Оксфорде, потому что там я о вас не слышал. Так из-за чего ее чуть не отчислили из... второго университета?

— Господи, ну и дура же я.— Натянуто-заискивающий взгляд.— Не говорите ему.

— Обещаю.

— Ерунда. Позировала голышом. Смеха ради. Вышел скандал.

— На каком факультете?

Мягкая улыбка.

— Потерпите. Еще рано.

— Но в Кембридже? — Неохотно кивнула.— Блаженный Кембридж.

Мы помолчали. Потом, понизив голос, она произнесла:

— Он видит нас насквозь, Николас. Если я расскажу больше, чем вам положено знать, он все равно пронюхает.

— Не ждет же он, что я поверю в его сказки про Лилию.

— Нет. Не ждет. Можете не притворяться, что верите.

— Неужели и это предусмотрено сценарием?

— Да. В каком-то смысле да.— Глубоко вздохнула.— Скоро ваша доверчивость подвергнется не таким еще испытаниям.

— Скоро?

— Насколько я в нем разбираюсь, и часа не пройдет, как вы начнете сомневаться во всем, что я вам сейчас рассказала.

— Лодку вел он?

Кивнула.

— А сейчас, наверно, наблюдает за нами. Ждет своей очереди.

Я исподлобья взглянул в сторону виллы, на лес за ее спиной; еле удержался, чтоб не обернуться. Никого.

— Сколько у нас с вами времени?

— Достаточно. Это во многом зависит от меня.

Нагнулась, сорвала веточку с куста душицы у скамейки, понюхала. Я рассматривал лес на склоне, надеясь заметить цветное пятно, быстрое движение. Сплошь деревья, обманные дебри. Она ловко избегала множества вопросов, которые мне не терпелось задать; но чем дольше я с ней общался, тем больше интуитивных, внесловесных ответов получал; вырисовывался образ девушки хоть и симпатичной, но замкнутой; живущей умом, а не телом, однако с мучительно дрожащей в груди пружинкой, что ждет лишь слабого прикосновения, чтобы распрямиться; университетские спектакли, похоже, помогали ей отводить душу. Я понимал, что и сейчас она по-своему лицедействует, но то была скорее защитная реакция, способ скрыть истинные чувства ко мне.

— По-моему, одна из сюжетных линий требует особой подготовки,— сказал я.— Ее с наскоку не сыграешь.

— Какая именно?

— Наша с вами.

Разгладила юбку на согнутом колене.

— Думаете, только вы сегодня получили обухом по голове? Два часа назад я впервые услыхала о вашей подружке из Австралии.

— Внизу я поведал вам все без утайки. Не сочиняйте лишнего.

— Извините мою навязчивость. Просто...

— Что — «просто»?

— Хотела убедиться. Что вы со мной не шутите.

— Если меня пригласят в Бурани, в Афины я ни за что не поеду.— Промолчала.— Так и задумано?

— Кажется.— Пожала плечами.— Как Морис решит.— Заглянула мне в глаза.— Мы и вправду только мухи в его паутине, точь-в-точь как вы.— Улыбнулась.— Вилять не стану. Он собирался вас пригласить. Но за обедом предупредил, что может передумать.

— Разве он не ездил в Нафплион?

— Нет. Он весь день был на острове.

Я смотрел, как она водит пальцем по веточке душицы.

— Но я не закончил. В первом действии вам явно полагалось мне понравиться. Как бы там ни было, вы этого добились. Пусть вы муха, но не только та, что попала в паутину,— еще и та, которую насаживают на крючок.

— Ненастоящая?

— На искусственную рыба подчас лучше ловится.— Опустила глаза, не ответила.— У вас такой вид, будто эта тема вам неприятна.

— Нет, я... вы совершенно правы.

— Если вы кокетничали со мной из-под палки, скажите честно.

— Я не могу ответить ни да, ни нет. Все гораздо сложнее.

— И что теперь?

— То же, что было бы, познакомься мы случайно. Следующий шаг.

— А именно?

Заколебалась, с чрезмерным старанием обрывая с ветки листики.

— Наверное, мне захотелось бы узнать вас поближе.

Я вспомнил утреннюю сцену на берегу, но догадался, что́ она имеет в виду: ее истинное «я» не терпит спешки. И что надо внушить ей, что я это понял. Сгорбился, уперся локтями в колени.

— Больше мне ничего и не нужно.

— Глупо скрывать,— медленно произнесла она,— что, по его расчетам, вы должны стремиться сюда каждую субботу, чтобы встретиться со мной.

— Он не ошибся.

— Тут есть еще одна помеха.— Голос ее дрогнул.— Раз всю правду, так уж всю.

Она умолкла, и я ляпнул наобум:

— Как зовут эту помеху?

— Да нет, я просто заявила Морису, что исполню его желание, сделаю утром что требуется по роли, но в рамках...

— Благопристойности.

— Да.

— Он что, предлагал вам...?

— Ни в коем случае. Он то и дело повторяет, чтоб мы делали только то, что нам хочется.

— Так и не намекнете, чего он, собственно, добивается?

— А самому вам как кажется?

— Бог знает почему, у меня ощущение, что на мне ставят опыты, как на кролике. Это глупо, ведь я появился тут случайно три недели назад. Попросил стакан воды.

— А по-моему, не случайно. То есть вы, конечно, могли и сами прийти. Но если б не пришли, он бы это и по-другому устроил,— сказала она.— Нас он заранее предупредил, что вы появитесь. Как только выяснилось, что предлог, под которым нас сюда заманили, выдуман.

— Уверен, он посулил вам нечто посущественнее, чем детские розыгрыши.

— Да.— Повернулась ко мне с извиняющейся миной, вытянув руку вдоль спинки скамьи.— Николас, я пока не могу рассказать вам больше. И, кроме всего прочего, мне пора. Но — да, посулил. А насчет кролика... это

не совсем так. Не так мрачно. Мы и поэтому тут остались. Какие бы дикости ни происходили.— Обернулась к морю, глядящему в наши лица.— И еще. За этот час у меня будто камень с души свалился. Хорошо, что вы не отступились. Может, мы принимаем Мориса не за того, кто он есть,— прошептала она.— А тогда нам понадобится преданный рыцарь.

— Что ж, наточу копье.

Снова посмотрела с некоторым сомнением, но в конце концов слабо улыбнулась. Встала.

— Спускаемся к скульптуре. Говорим друг другу «до свидания». Вы возвращаетесь в дом.

Я не двинулся с места.

— Вечером увидимся?

— Он просил далеко не уходить. Я не уверена.

— Я точно бутылка содовой, куда вкачали лишнюю порцию газа. Пенюсь от любопытства.

— Потерпите.— Жестом велела мне подняться.

Спускаясь по склону, я проговорил:

— Кстати, вы тоже не отступаетесь — твердите, что Лилия Монтгомери — ваша мать.— Усмехнулся.— Она действительно существовала?

— Вы такой же догадливый, как и я.— Взгляд искоса.— Даже догадливей.

— Приятно слышать.

— Вы ведь понимаете, что попали в руки человека, который виртуозно кроит реальность так и сяк.

Мы достигли статуи.

— Что должно случиться вечером? — спросил я.

— Не бойтесь. Это будет... не совсем спектакль. Или, наоборот, самая суть спектакля.— Помолчала секунду, повернулась ко мне лицом.— Вам надо идти.

Я взял ее руки в свои.

— Можно поцеловать вас?

Потупилась, словно опять войдя в роль Лилии.

— Лучше не стоит.

— Противно?

— За нами наблюдают.

— Я не о том спрашиваю.

Она не ответила, но и рук не отняла. Я обнял ее, прижал к себе. Через мгновение она сдалась, подставила губы. Крепко сжатые, неподатливые; легкая ответная дрожь — и меня оттолкнули. Происшедшее ничуть не напоминало страстные объятия, к каким я в свои годы привык, но в глазах ее сверкнули такие ошеломление и паника, точно для нее этот поцелуй значил в десять раз больше, чем для меня; точно она удержалась на самом краю бездны. Я ободряюще улыбнулся: в подобных нежностях грех невелик, успокойтесь; она уставилась на меня, затем отвела глаза. Реакция абсурдная, неожиданно переломившая логику событий последнего получаса. Может, снова притворяется, чтобы надуть Кончиса или какого-то другого соглядатая? Но она опять взглянула мне в лицо, и я понял, что никого, кроме меня, для нее сейчас не существует.

— Если вы соврали, я не вынесу.

Не дав ответить, повернулась и быстро, даже стремительно пошла прочь. Я воззрился ей в спину, потом посмотрел через плечо на дальний склон оврага. Догнать? Огибая стволы сосен, она спускалась к морю. Наконец я принял решение, закурил, попрощался с царственным, но загадочным Посейдоном и направился к дому. На краю лощины оглянулся. В зарослях мелькнуло белое пятно, скрылось из виду. Но в одиночестве я оставался недолго. Не успел выбраться по каменным ступенькам из оврага, как наткнулся на Кончиса.

Тот стоял ярдах в сорока, спиной ко мне, внимательно разглядывая в бинокль какую-то птицу на верхушке дерева. При моем приближении опустил бинокль, обернулся с такой физиономией, словно не ожидал меня

тут встретить. Не слишком убедительная импровизация; я не мог знать, что свои актерские таланты он приберегает для сцены, которой предстояло разыграться через несколько минут.

35

Бредя к нему по хвойной подстилке — одет он был строже, чем обычно в дневное время: темно-синие брюки и водолазка, тоже синяя, но еще темнее,— я собрался в кулак, ибо вся его многозначительная поза прямо-таки кричала об очередном подвохе. Прима его труппы, несомненно, не кривила душой — по крайней мере, расписывая свой восторг перед ним и уверенность в том, что он не злодей. Но и взвесь сомнения, даже ужаса обнаружилась в ней ярче дозволенного. Ей хотелось убедить не столько меня, сколько себя самое. И при первом же взгляде на старика мною опять овладело недоверие.

— Здравствуйте.

— Добрый день, Николас. Простите, что отлучился. Маленький скандал на Уолл-стрит.— Казалось, Уолл-стрит находится не просто в другом полушарии, но на другом краю вселенной. Я принял сочувствующий вид.

— Что вы говорите!

— Два года назад я по неразумию вступил в кредитный консорциум. Вообразите себе Версаль, в котором не один Roi Soleil [1], а целых пять!

— И кого вы снабжали кредитами?

— Кого только не снабжал,— зачастил он.— Пришлось ехать в Нафплион, чтобы позвонить в Женеву.

— Надеюсь, вы не вылетели в трубу.

— В трубу вылетают только идиоты. Но это происходит с ними еще во чреве матери. С Лилией болтали?

— Да.

— Хорошо.

Мы направились к дому. Смерив его взглядом, я уронил:

— Познакомился с ее сестрой.

Он дотронулся до мощного бинокля, что висел у него на шее.

— Мне послышалось пение горной славки. Сезон их перелета давно миновал.— Не столько обструкция, сколько цирковой фокус: тема разговора бесследно исчезает.

— Точнее, *видел* ее сестру.

Он сделал еще несколько шагов — похоже, лихорадочно соображая.

— У Лилии нет сестер. По крайней мере тут.

— Я только хотел сказать, что скучать мне в ваше отсутствие не давали.

Без улыбки склонил голову. Мы замолчали. Он до смешного напоминал шахматиста, задумавшегося над очередным ходом; бешеный перебор комбинаций. Разок он даже собрался что-то сказать, но прикусил язык.

Мы достигли гравийной площадки.

— Как вам мой Посейдон?

— Он великолепен. Я чуть было не...

Схватив меня за руку, он прервал мою фразу; опустил голову, будто не находя нужных слов.

— Ее следует развлекать. Ей это необходимо. Но не расстраивать. Теперь вы, конечно, поняли почему. Простите, что мы не открыли вам всего сразу.

— Вы имеете в виду... амнезию?

Застыл у самой лестницы.

— Больше вас в ней ничего не насторожило?

— Насторожило многое.

— Болезненные проявления?

— Нет.

Вскинул брови, точно удивившись, но поднялся по ступенькам; поло-

---

[1] Король-Солнце *(франц.)*.

жил бинокль на ветхую камышовую кушетку, шагнул к столу. Прежде чем усесться, я, в подражание ему, пытливо дернул головой.

— Навязчивая страсть к переодеванию. Ложные мотивировки. И это вас не насторожило?

Я закусил губу, но на лице его, пока он снимал с блюд муслиновые салфетки, не дрогнул ни один мускул.

— Я думал, как раз это от нее и требуется.

— Требуется? — Он сделал вид, что озадачен, но взгляд его сразу прояснился.— А, вы хотите сказать, что для шизофрении подобные симптомы типичны?

— Для шизофрении?

— Вы разве не о ней? — Пригласил меня садиться.— Извините. Вам, наверно, незнакома психиатрическая терминология.

— Знакома. Однако...

— Раздвоение личности.

— Я знаю, что такое шизофрения. Но вы сказали, что она вам... во всем подчиняется?

— Ну конечно. Именно так и обращаются с ребенком. Чтоб он набрался отваги и проявил самостоятельность.

— Она же не ребенок.

— Я выражаюсь образно. Как и вчера вечером, впрочем.

— Но она весьма неглупа.

— Связь между развитым интеллектом и шизофренией общеизвестна,— сказал он тоном профессора медицины.

Дожевав сандвич, я хихикнул.

— С каждым днем, проведенным здесь, мой нос все вытягивается.

Он опешил, даже забеспокоился:

— Да я и не собирался водить вас за нос. Ничего похожего.

— А по-моему, очень похоже. Валяйте, я привык.

Отодвинулся от стола, незнакомым жестом сжал руками виски, словно уличенный в чудовищной ошибке. С его натурой такое отчаяние не сочеталось; и я понял, что он актерствует.

— Я-то был уверен, что вы обо всем догадались.

— Ясное дело, догадался.

Пронзительный взгляд, который по всем статьям должен был убедить меня — но не убедил.

— Ряд обстоятельств личного свойства (в них сейчас не время вдаваться), помимо почти родительских чувств, что я к ней питаю, налагает на меня самую серьезную ответственность за судьбу несчастного создания, с которым вы только что расстались.— Долил кипятку в серебряный чайник.— Во многом из-за нее, *прежде всего* из-за нее, я удалился от глаз людских в Бурани. Я думал, что вы это поняли.

— Еще как понял!

— Только здесь бедное дитя может погулять на воле и предаться своим грезам.

— Вы хотите сказать, она сумасшедшая?

— Слова «сумасшедший» в медицине нет, оно ничего не значит. Она страдает шизофренией.

— И воображает себя вашей умершей невестой?

— Эту роль навязал ей я. Осторожно внушил. Вреда тут никакого, а играет она с наслаждением. Другие ее личины не столь безобидны.

— Личины?

— Подождите-ка.— Он сходил в комнату и быстро вернулся с книгой в руке.— Это типовой учебник психиатрии.— Перелистал страницы.— Позвольте прочесть вам один абзац. «Характерным признаком шизофрении является образование маний, могущих быть правдоподобными и логичными или же причудливыми и нелепыми».— Взглянул на меня.— Лилия относится к первой категории.— И продолжал: — «Их, эти мании, объединяет тенденция к искажению личности пациента, часто они включают в себя элементы общепринятых предубеждений против некоторых форм поведения

и в целом выражаются в повышенной самооценке или, напротив, в самоуничижении. Одна пациентка может вообразить себя Клеопатрой и требовать от окружающих, чтобы те ей не противоречили, а другая — что родственники сговорились ее убить, и интерпретировать даже самые невинные и дружелюбные слова и поступки в духе этой всепоглощающей мании». И далее: «Зачастую мания не затрагивает некоторые обширные сферы сознания. В этих областях пациент даже наблюдателю, знающему о его болезни, представляется безукоризненно вменяемым и здравомыслящим».

Вынул из кармана золоченый карандаш, пометил прочитанные места и протянул через стол раскрытую книгу. Не переставая улыбаться, я взглянул в текст, затем — на него.

— А ее сестра?

— Еще печенье?

— Благодарю вас.— Я отложил книгу в сторону.— Господин Кончис, а ее сестра?

Он улыбнулся:

— Ах да, сестра.

— И...

— Конечно, конечно, и все остальные. Николас, здесь она королева. Месяц или два мы сознательно потакаем прихотям бедняжки.

В его голосе зазвучали непривычные мягкость и заботливость —наверное, только Лилия была способна пробудить в нем эти чувства. К собственному удивлению, я перестал хихикать; твердая уверенность, что передо мной разворачивается очередное действие спектакля, заколебалась. И я снова улыбнулся.

— А я вам зачем?

— Английские дети еще играют в эти, как их...— Прикрыл рукой глаза в поисках слова.— Cache-cache?

Я замер, живо припомнив, что тот же образ использовала в недавней беседе и девушка; хитрая стервочка, хитрый лис, они перебрасываются мною как мячиком. Прощальный, загадочный взгляд, просьбы не выдавать ее, десяток иных странностей; восхищаясь ею, я одновременно чувствовал себя одураченным.

— В прятки? Играют.

— Для этой игры нужен водящий. Иначе ничего не получится. Снисходительный. Слегка рассеянный.

— А мне казалось, все затеяно ради меня.

— Я надеялся увлечь вас, мой друг. Надеялся, что вы почерпнете для себя что-то полезное. Предлагать вам деньги оскорбительно. Но вы не уйдете с пустыми руками.

— Жалованье меня не интересует. А вот работодатель — весьма и весьма.

— По-моему, я говорил, что никогда не занимался врачебной практикой. Это не совсем так, Николас. В двадцатых я посещал лекции Юнга. Не сказал бы, что до сих пор остаюсь его последователем. Но психиатрия всегда была моей специальностью. До войны в Париже я имел небольшую практику. В основном случаи шизофрении.— Обхватил ладонями край стола.— Желаете убедиться? Я покажу вам несколько своих журнальных статей.

— С удовольствием их прочитаю. Попозже.

Откинулся на стуле.

— Очень хорошо. Никогда и никому не рассказывайте о том, что сейчас узнаете.— Внушительный взгляд.— Настоящее имя Лилии — Жюли Холмс. Четыре-пять лет назад ее случай возбудил среди психиатров повышенный интерес. Он был документально зафиксирован до мелочей. Уникальность состояла не столько в заболевании самом по себе, сколько в том, что у пациентки имелась сестра-двойняшка без психических отклонений — в науке это называется контрольным аналогом. Вопрос о причинах шизофрении долго служил поводом для полемики между невропатологами и собственно психиатрами — вызывается ли она физическими и наследствен-

ными или же духовными отклонениями. Существование Жюли с сестрой явно подтверждало второе. Отсюда и ажиотаж, который возник вокруг них.

— Можно взглянуть на эти документы?

— Как-нибудь в другой раз. Сейчас это осложнит вашу задачу. Важно внушить ей, что вы не догадываетесь, кто она такая. А когда вы познакомитесь с клинической картиной и анамнезом, это вам не удастся. Согласны?

— Наверно, вы правы.

— Жюли как пациентке неординарной грозила участь циркового урода, непременного экспоната медицинской выставки. Вот от чего я хочу ее уберечь.

Мысли мои метнулись в противоположную сторону — разве она не предупреждала, что он в очередной раз попробует сбить меня с толку? Я не мог поверить, что девушка, с которой мы недавно распрощались, страдает тяжелым психическим недугом. Лгунья — да; но не патентованная маньячка.

— Можно узнать, почему вы принимаете в ней такое участие?

— Причина проста и не имеет отношения к медицине. Ее родители — мои старые друзья. Я для нее не только врач, Николас. Но и крестный отец.

— А я думал, у вас не осталось связей с Англией.

— Они живут не в Англии. В Швейцарии. Там она проводит осень, зиму и весну. В частной клинике. К сожалению, я лишен возможности посвятить ей все свое время.

Я физически ощущал его волевые усилия: я говорю правду, правду. Отвел глаза, опять посмотрел на него с усмешечкой.

— Хорошо, что сказали, а то я собирался поздравить вас с удачным выбором молодой актрисы на главную роль.

Его лицо вдруг сделалось настороженным, почти свирепым.

— Наслушались ее объяснений?

— Ничего подобного.

Но он не поверил, да и не мог мне поверить. Склонил голову, затем встал, подошел к краю колоннады, разглядывая пейзаж. И обернулся с примирительной улыбкой.

— Похоже, события меня опередили. Она явилась вам в новой роли. Так или нет?

— О своей болезни она, по крайней мере, не рассказывала.

Он пытливо всматривался в меня, и я малодушно отвернулся. Он сцепил руки на груди, точно кляня себя за недальновидность. Потом приблизился, сел за стол.

— Вы по-своему правы, Николас. Я не выбирал ее на главную роль, как вы изволили выразиться. Но она действительно талантливая актриса. Учтите, криминалистика знает виртуозных мошенников, которые тоже страдали шизофренией.— Навис над столом, обхватив локти ладонями.— Не загоняйте ее в угол. Иначе она станет громоздить одну ложь на другую, пока у вас голова не пойдет кругом. Вы человек здоровый, сдюжите. А ее болезнь может дать рецидив. И годы лечения — насмарку.

— Что бы вам раньше меня предостеречь!

Нехотя оторвался от моего лица.

— Да. Верно. Надо было предостеречь вас. Вижу, я здорово просчитался.

— Почему?

— Излишняя искренность могла повредить нашим маленьким — но, уверяю, весьма целебным — развлечениям.— И, помедлив, продолжал: — Многих из нас давно смущало, что традиционный способ лечения психических отклонений параноидальной группы, по сути, абсурден. Пациент попадает в условия, где его непрерывно допрашивают, опекают, надзирают за каждым его шагом и тому подобное. Конечно, мне могут возразить, что это делается для его же блага. Но при этом подразумевается: для нашего блага, общественного. На самом деле косная стационарная терапия зачастую провоцирует манию преследования. Здесь я пытаюсь создать Жюли условия, в которых она вольна действовать на свой страх и риск. Если хотите,

условия, в которых она не чувствует себя ущемленной... отданной в чужую власть. Сообща мы внушаем ей эту иллюзию. И потом, иногда я притворяюсь, что толком не понимаю, что́ происходит, и ей кажется, что меня удалось обмануть.

Он объяснял все это таким тоном, будто я сам давно должен был сообразить, что к чему. Беседы на вилле всегда приводили меня в состояние, когда перестаешь понимать, на что тебе, собственно, намекают; в данном случае — на то ли, что «Лилия» и вправду шизофреничка, или на то, что ее шизофрения носит настолько бутафорский характер, что не замечать этого просто глупо.

— Извините.— Он снисходительно вскинул руку: не стоит извиняться.— Так вот почему вы запрещаете ей выходить за пределы Бурани.

— Конечно.

— А под чьим-нибудь...— я взглянул на огонек своей сигареты,— присмотром — тоже нельзя?

— Юридически она невменяема. Я несу за нее личную ответственность. За то, что она никогда не попадет в сумасшедший дом.

— Но гулять-то вы ей разрешаете. Она может сбежать.

Не колеблясь, отрицательно вскинул голову.

— Исключено. Санитар не спускает с нее глаз.

— Санитар?

— Он очень скрытный. Его постоянное присутствие ее удручает, особенно здесь, и он, как правило, держится в тени. Как-нибудь вы с ним познакомитесь.

Пусть только снимет шакалью маску. Что-то не сходилось; и самое удивительное, я был почти уверен: и Кончис это понимает. Последний раз я играл в шахматы несколько лет назад, но помнил, что эта игра — искусство коварных жертв. Не степень моей доверчивости испытывал Кончис, а степень моего недоверия.

— Поэтому вы держите ее на яхте?

— На яхте?

— Я думал, она живет на яхте.

— Это ее маленькая тайна. Не будем ее нарушать.

— Вы привозите ее сюда каждое лето?

— Да.

Я удержался от замечания, что один из них врет, и скорее всего, не девушка с настоящим именем Жюли. Улыбнулся:

— Вот чем занимались тут мои предшественники. А потом держали язык за зубами.

— Джон «водил» превосходно. А Митфорд — из рук вон. Понимаете, Николас, Жюли вскружила ему голову. У нее как раз обострилась мания преследования. В такие периоды она приписывает мне, человеку, который нянчится с ней каждое лето, враждебные намерения. И как-то ночью Митфорд весьма грубо и неуклюже попробовал, как он выразился, «вызволить» ее. Санитару, понятно, пришлось вмешаться. Вышла некрасивая потасовка. Жюли была потрясена до глубины души. И если я иногда навязчив — это затем, чтобы не допустить повторения прошлогодней сцены.— Поднял руку.— Не обижайтесь. Вы юноша умный и порядочный; этих-то качеств Митфорду и недоставало.

Я потер переносицу. Не стоит больше досаждать ему каверзными вопросами. Постоянные хвалы моему уму пробудили во мне заячью подозрительность. Есть три вида умных людей: первые столь умны, что, когда их называют умными, это выглядит справедливым и естественным; вторые достаточно умны, чтобы отличить правду от лести; третьи скорее глупы, ибо все принимают на веру. Я знал, что принадлежу ко вторым. Я не мог *совсем* не верить Кончису; его объяснения казались довольно стройными. Очевидно, любвеобильные родственники и в наше время берут под крылышко богатых психов, чтобы не помещать их в лечебницу; однако Кончиса любвеобильным никак не назовешь. Не сходится, не сходится. Некоторые

ужимки Жюли, ее неадекватная реакция, слезливость вроде бы подтверждали его правоту. Но ничего не доказывали; возможно, это очередной выверт сценария, и Жюли не захотела открыть все карты сразу...

— Ну ладно,— сказал он.— Вы мне верите?

— Разве по мне не видно?

— Видимость обманчива.

— Зря вы предлагали мне пилюлю с ядом.

— Думаете, в этом доме вся синильная кислота заменена миндальным сиропом?

— Я этого не говорил. Я ваш гость, господин Кончис. И потому верю вам на слово.

Казалось, на мгновение маски сброшены; передо мной сидел человек, не расположенный шутить, а перед ним — человек, не расположенный поддакивать. Война объявлена; кто кого. Мы разом улыбнулись, сознавая, что эти улыбки не смягчают очевидного: мы не верим друг другу ни на грош.

— Напоследок хочу сказать вам две вещи, Николас. Первое. Принимаете вы мою версию или нет, не имеет большого значения. Но запомните. Жюли сама не отдает себе отчета, насколько она обидчива и мстительна. Она как безопасная бритва: ее легко сломать, но ею и легко пораниться. Мы все поневоле выучились смирять эмоции, которые она в нас вызывает. Ибо как раз на эмоциях она при удобном случае и спекулирует.

Вперившись в бахрому скатерти, я вспоминал обволакивавший девушку ореол скромности, невинности; с точки зрения патологии эти черты ее характера легко объяснимы... явная неопытность плоти, пожизненное, вынужденное целомудрие. Дико, но в словах Кончиса был свой резон.

— А второе?

— И о втором скажу, хотя без всякого удовольствия. Ужас положения Жюли еще и в том, что ее обуревают естественные для молодой женщины желания, но естественной разрядки не получают. Как видный юноша, вы даете ей возможность этой разрядки, что само по себе можно только приветствовать. Если напрямик, ей необходимо с кем-то кокетничать... на ком-то испытывать свои женские чары. Догадываюсь, что в этом она уже преуспела.

— Вы ж видели, как я ее целовал. Вы ведь не предупредили...

Подняв руку, он остановил меня:

— Вы не виноваты. Когда красивая девушка напрашивается на поцелуй... все понятно. Но теперь вы знаете правду, и я должен подчеркнуть, сколь трудна и деликатна ваша роль. Не требую, чтоб вы избегали любых заигрываний, любого, даже мимолетного, телесного контакта, но помните: существует граница, которую нельзя пересекать. По чисто медицинским показаниям позволить это я не имею права. И если, паче чаяния, обстоятельства сложатся так, что вы не сумеете себя перебороть, я вынужден буду вмешаться. Прошлым летом ей удалось внушить Митфорду, что, стоит ему увезти ее и сделать своей женой, она выздоровеет... и это не лукавство. Она сама верит в то, что говорит. Поэтому ложь в ее устах столь убедительна.

Я сдержал улыбку. Даже допуская, что в остальном он не врет, трудно представить, что Жюли прониклась нежными чувствами к дураку Митфорду. Но во взгляде старика сквозила такая истовая уверенность в собственной правоте, что у меня не хватило духу его подкалывать.

— Надо было объяснить все с самого начала.

— Я не думал, что вы такой быстрый. Реакция пациентки опередила самые оптимистические прогнозы.— Улыбнулся, откинулся на спинку стула.— Тут есть еще одно соображение, Николас. Я никогда, повторяю, никогда не втянул бы вас в эту историю, знай я, что ваше сердце уже занято. Из того, что вы рассказали...

— Все уже в прошлом. Если вы имеете в виду радиограмму... я не поеду к ней в Афины.

Отвел глаза, покачал головой.

— Конечно, это не мое дело. Но ваш рассказ об этой девушке — и об искренних чувствах к ней — глубоко меня тронул. По-моему, неразумно было бы отвергать дружбу, которую она пытается возобновить.

— Не сердитесь... но это действительно не ваше дело.

— Не прощу себе, если на ваше решение хоть в малой мере повлияли здешние события.

— Не повлияли.

— Допустим. Но теперь, когда вы разобрались, что к чему, подумайте, стоит ли вам продолжать бывать у меня. Если вы захотите прекратить всякие отношения с нами, я не обижусь.— Не дал мне ответить: — В любом случае моей бедной крестнице явно требуется отдых. Дней на десять я, пожалуй, увезу ее отсюда.— И важно, как психиатр психиатру, прибавил: — Перевозбуждение затрудняет лечебный процесс.

В жгучей досаде я мысленно проклял Алисон с ее чертовой радиограммой. Но напрягся и сдержал разочарование.

— Тут и думать нечего. Мне хочется у вас бывать.

Внимательно посмотрел на меня, кивнул. Старый бес! Словно не его, а моя правдивость подлежала сомнению.

— И все же советую не рубить сплеча и провести каникулы в Афинах, с девушкой, по всей видимости, очаровательной.— Я открыл было рот, но он быстро вставил: — Я врач, Николас. Позвольте мне говорить откровенно. Здесь вы обречены на воздержание, а молодому человеку это только во вред.

— Да я уж на собственном кармане почувствовал.

— Помню, помню. Тем более.

— А следующие выходные?

— Посмотрим. Давайте пока на этом остановимся.— Порывисто встал, протянул руку для пожатия.— Хорошо. Ладно. Рад, что теперь между нами нет недоговоренностей.— Подбоченился.— Вот что. Не хотите ли на славу потрудиться?

— Да нет. Но если нужно, так нужно.

Он отвел меня в дальний угол огорода. Часть стены, поддерживавшей терраску, рухнула, и он растолковал, как ее восстановить. Разрыхляешь почву мотыгой, укрепляешь в ней камни, подравниваешь, просыпаешь землей — мокрой, чтоб кладка схватилась. Как только я взялся за работу, он ретировался. В этот час бриз обычно стихал, но сегодня дул как ни в чем не бывало, унося вечернее тепло; тем не менее я скоро взопрел. Истинный смысл моей барщины был прозрачен: ему требовалось чем-то меня занять, чтобы без помех разыскать Жюли и выпытать, что между нами произошло... а может, поблагодарить за то, что новая роль у нее выходит еще убедительнее прежней.

Минут через сорок я устроил перекур. Тут же прямо над головой вырос Кончис и насмешливо посмотрел, как я потираю поясницу, прислонившись к сосновому чурбаку.

— Труд сделал из обезьяны человека.

— Из меня он человека не сделает.

— Вы против Маркса?

Я показал ему ладони, натертые рукояткой мотыги.

— Я против мозолей.

— Пустяки.

Он не сводил с меня глаз, точно мое усердие — или же то, что он успел выведать у Жюли,— его обрадовало; так благодушествует в цирке философ, глядя на клоунские проказы. Я, не теряя времени, огорошил его вопросом:

— Ее россказням верить нельзя. Ну, а вашим рассказам из собственной жизни?

Он не обиделся — лишь шире улыбнулся.

— Чужая душа — потемки.

Я криво улыбнулся в ответ.

— Художественную литературу на дух не переносите, а сами занимаетесь чем-то подобным.

— Против вымысла самого по себе я ничего не имею. Просто в напечатанном виде он и остается сам по себе,— сказал Кончис.— Усвойте, Николас, основной закон цивилизации: человеческую речь нельзя понимать буквально.— И добавил: — Даже речь невежды, который не разбирает, какой смысл буквальный, а какой переносный.

— Этот закон забыть трудно. Во всяком случае, здесь.

Задумался, опять посмотрел на меня.

— В психиатрии я пользуюсь новейшим методом. Он только что разработан в Америке. Называется «ситуативная терапия».

— С удовольствием почитал бы ваши статьи.

— Ах, статьи. Я как раз искал их. Похоже, они куда-то завалились.

Он произнес это нагловатым тоном беспардонного лжеца, точно специально разжигая мое недоверие.

— Сочувствую.

Скрестил руки на груди.

— Я тут размышлял о... вашей подружке. Вы, может быть, знаете, что деревенский дом, где живет Гермес, принадлежит мне. На второй этаж он не поднимается. Почему бы вам не позвать ее на Фраксос погостить? Наверху имеются все удобства. Без особого комфорта, зато просторно.

Я вконец растерялся; за его радушием чувствовалось гигантское самообладание... с такими ухищрениями заманивать меня в ловушку, а потом упорно подталкивать к бегству из нее! Твердо же он убежден, что я не улизну; а что, если принять его предложение? Алисон, конечно, и на сотню миль нельзя подпускать к острову, но меня так и подмывало насолить старику.

— Тогда на вилле я вам не помощник.

— А вдруг вы оба станете моими помощниками?

— Не бросит же она работу. И потом, я правда не собираюсь с ней мириться.— И добавил: — Но все равно спасибо.

— Хорошо. Предложение остается в силе.

И без дальнейших церемоний ушел, будто на сей раз по-настоящему обиделся. Я снова взялся за мотыгу, изливая в работе свою бессильную ярость. Еще через сорок минут стена была кое-как восстановлена. Занеся инструменты в сарай за домиком, я обогнул угол колоннады. Кончис сидел под ней, мирно читая греческую газету.

— Готово? Благодарю вас.

Я сделал последнюю попытку:

— Господин Кончис, вы совершенно превратно представляете наши с моей бывшей подругой отношения. То была случайная интрижка. Все давным-давно забыто.

— Но она хочет увидеться с вами!

— На девяносто процентов — любопытства ради. Женщины, они такие. А может, потому, что ее теперешний сожитель ненадолго отлучился из Лондона.

— Извините. Не стану больше вмешиваться. Поступайте как знаете. Ваше право.

Я пошел к двери, проклиная собственную болтливость, но он окликнул меня. Я остановился на пороге концертной, обернулся. Настойчивый заботливый взгляд.

— Поезжайте в Афины, друг мой.— Повернулся на восток, к лесу.— Guai a chi la tocca [1].

По-итальянски я знал всего несколько слов, но эту фразу понял без перевода. Поднялся к себе, разделся; в ванной принял соленый душ. Сердцем я понял, что́ он хочет мне внушить. Я ей не пара просто потому, что не пара; а не потому, что она играет роль призрака, шизофренички, еще какую-нибудь. В некотором смысле я только что получил последнее предостережение; но человека с наследственной склонностью к азартным играм предостерегать бесполезно.

[1] Горе тому, кто ее коснется *(итал.)*. Считается, что Наполеон I произнес эту фразу во время коронации, имея в виду императорскую корону.

После душа я, не одеваясь, растянулся на постели и уставился в потолок; лицо Жюли, изгиб ресниц, тепло ладони, губ, невыносимо краткое касание плоти в момент поцелуя; плоть ее сестры, виденной вчера. Вот Жюли входит сюда, ко мне в комнату; вот она в соснах: тьма, исступление, притворный отпор... Я превратился в сатира; но, вспомнив, что с ним вчера приключилось, осознав наконец смысл ночного морока античных богов, умерил свой пыл и прикрыл наготу. Я уже чуть-чуть научился терпеть.

36

Ел я без всякого аппетита. Как только я вышел к столу, он выкинул очередной финт — протянул мне книгу.

— Мои статьи. Не на той полке стояли.

Небольшой томик в дешевом переплете зеленого сукна, без оглавления. Страницы разного формата, текст набран несколькими шрифтами — явно сведенные воедино выдирки из журналов. Похоже, сплошь французских. Мне бросилась в глаза дата: 1936. Два-три заголовка: «Ранняя профилактика шизофрении», «Профессиональные разновидности параноического синдрома», «Об одном психиатрическом опыте с применением страмония». Я оторвался от книги.

— Что такое страмоний?

— Datura. Дурман. Вызывает галлюцинации.

Я отложил томик.

— Обязательно прочту.

Впрочем, вещественные доказательства к концу ужина стали излишни. Кончис убедительно продемонстрировал, что в психиатрии он не просто бойкий дилетант и Юнга изучал основательно. Хотя отсюда ни в коей мере не следовало, что о Жюли он говорит правду. Мои попытки разузнать о ней что-нибудь еще он отвергал с порога: на данном этапе чем меньше мне известно о ее заболевании, тем лучше... однако пообещал, что до конца августа я получу исчерпывающую картину. Я сдерживался и не прекословил, ибо собственная затаенная досада начинала пугать меня; сцепившись с ним, можно остаться на бобах — он меня просто выставит. И потом, его явно распирал избыток «чернильной жидкости»: тронь — и ослепнешь. В целях самообороны я, в свою очередь, то и дело подпускал туману и утешался мыслью, что он избегает говорить об Афинах и Алисон по сходной причине — дабы не спровоцировать меня на дальнейшие бестактные расспросы.

Так прошла трапеза — я то ли внимал многомудрому светилу медицины, то ли трясся, как мышь в кошачьих лапах. Подпрыгивал в ожидании Жюли и мучительно гадал, в чем будет заключаться сегодняшний «эксперимент». Огонек лампы, освещающий наши лица, дрожал, вспыхивал и мерк под медленно агонизирующим ветром, усиливая смятение этого часа. Лишь Кончис сохранял полное спокойствие.

Разделавшись с ужином, он плеснул мне из оплетенной бутылочки какого-то напитка — прозрачного, цвета соломы.

— Что это?

— Хиосское раки. Очень крепкое. Хочу вас слегка подпоить.

А за едой настойчиво подливал мне хмельного розового вина с Андикитиры.

— Чтобы усыпить бдительность?

— Чтобы обострить восприятие.

— Я прочел вашу брошюру.

— И решили, что это бред.

— Нет, но то, что там говорится, трудно доказать на практике.

— В науке практика — единственный критерий истины. Но это не значит, что не существует истин, которые практической проверке не поддаются.

— На брошюру кто-нибудь откликнулся?

— Еще как. Но не те, чьих откликов я ждал. А всякие подонки, что

паразитируют на людском интересе к загадкам мироздания. Спириты, прорицатели, космопаты, пришельцы из Страны вечного лета и с Лазоревых островов, материализаторы духов — вся эта galère [1].— Унылая мина.— Они откликнулись.

— А ученые — нет?

— Нет.

Я пригубил раки, обжег гортань: едва разбавленный спирт.

— Но там сказано, что у вас есть доказательства.

— Они были. Но эти доказательства не так просто предъявить. Позже я понял, что их и не стоило предъявлять никому, кроме узкого круга людей.

— Избранных вами.

— Избранных мною. Ведь в любой загадке таится энергия. И тот, кто ищет ответ, этой энергией питается. Достаточно ограничить доступ к решению — и остальные ищущие, *водящие,*— на последнем слове он сделал особое ударение,— лишатся импульса к поиску.

— А как же развитие науки?

— Наука развивается своим чередом. Технический прогресс не остановишь. Но я-то говорю об условиях душевного здоровья рода человеческого. Ему требуются загадки, а не разгадки.

Я допил раки.

— Чудесная штука.

Он улыбнулся, будто я нечаянно подобрал самый точный эпитет; потянулся к бутылке.

— Еще рюмку. И хватит. La dive bouteille [2] тоже можно отравиться.

— И приступим к эксперименту?

— Вернее, продолжим его. Будьте добры, возьмите рюмку и сядьте в шезлонг. Вот туда.— Указал себе за спину. Я подтащил шезлонг к нужному месту.— Садитесь. Устраивайтесь как следует. Давайте выберем какую-нибудь звезду. Знаете Signus? Лебедь? Крестообразное созвездие прямо над головой.

Сам он в шезлонг садиться не собирался; и тут меня осенило.

— Это что... гипноз?

— Да, Николас. Вам нечего волноваться.

Вечером вы поймете, предупреждала Лилия. Поколебавшись, я откинулся назад.

— Я не волнуюсь. Боюсь только, что плохо поддаюсь внушению. В Оксфорде меня уже пытались гипнотизировать.

— Сейчас увидим. Тут нужно созвучие воль. А не их противоборство. Просто слушайтесь меня.— По крайней мере, хоть в его завораживающие глаза смотреть не требовалось. Он загнал меня в угол; но тот, кто предупрежден, уже не беззащитен.— Видите Лебедя?

— Вижу.

— А крупную звезду слева, на вершине узкого треугольника?

— Да.— Я залпом проглотил остаток раки; перехватило дыхание, и напиток растекся по желудку.

— Эта звезда известна под именем альфа Лиры. Сейчас я попрошу вас смотреть на нее не отрываясь.— Голубоватая звездочка мерцала на промытом ветром небосклоне. Я взглянул на Кончиса, который не покинул своего стула, но повернулся спиной к морю, лицом ко мне. Я усмехнулся в темноту.

— Пациент готов.

— Хорошо. Выше подбородок. Напрягите мышцы и сразу расслабьте. Потому я и угостил вас раки. Оно поможет. Жюли сегодня вечером не появится. Забудьте о ней. И о вашей подруге забудьте. Забудьте о своих проблемах, о своих желаниях. Обо всех своих заботах. Вреда я вам не причиню. Только добро.

— О заботах. Это не так просто.— Он не ответил.— Что ж, попробую.

— Смотрите на звезду, и у вас получится. Не отводите от нее глаз. Выше подбородок.

---

[1] Шайка *(франц.)*.

[2] Напитком богов *(франц.)*.

Я уставился на звезду; повернулся поудобнее, ткань куртки чиркнула по руке. Возведение стены утомило меня, я начал догадываться, зачем он заставил меня работать — после этого приятно было откинуться в шезлонге и ждать, лежа к небу лицом. Воцарилась долгая тишина — несколько минут. Я прикрыл глаза, снова поднял веки. Звезда, казалось, плавает в дальнем заливе вселенной — карликовое белое солнце. Несмотря на опьянение, я отдавал себе полный отчет в происходящем, слишком полный, чтобы впасть в транс.

Вокруг меня терраса, я лежу на террасе виллы, что стоит на греческом острове, дует ветерок, слышен даже слабый шорох гальки в бухте Муца. Кончис заговорил.

— Приказываю: смотрите на звезду, приказываю: расслабьте все тело. Необходимо, чтобы вы расслабили все тело. Чуть-чуть напрягитесь. И расслабьтесь. Напрягитесь... расслабьтесь. Смотрите на звезду. Звезда называется альфа Лиры.

Господи, подумал я, он и вправду хочет меня загипнотизировать; ладно, пойду ему навстречу, притворюсь, что гипноз подействовал, и выясню, что он собирается делать дальше.

— Ну что расслабились да вы расслабились,— монотонно произнес он.— Вы устали и теперь отдыхаете. Вы расслабились. Вы расслабились. Вы смотрите на звезду вы смотрите на...— Повторы; тогда в Оксфорде было то же самое. Тронутый валлиец из колледжа Иисуса, после вечеринки. Но в тот раз это не пошло дальше игры в гляделки.

— Повторяю вы смотрите на звезду звезду да вы смотрите на звезду. На эту теплую звезду, яркую звезду, теплую звезду...

Он не делал пауз, однако в выговоре его уже не чувствовалось привычной резкости и отрывистости. Лепет волн, прохлада бриза, шероховатости куртки, звук его голоса невероятно отдалились от меня. Сперва я еще лежал на террасе и смотрел на звезду; точнее, еще сознавал, что лежу и смотрю на звезду.

Затем явилось странное ощущение: небо не над, а подо мной, словно я заглядываю в колодец.

Затем расстояния и окружающие предметы исчезли, осталась только звезда; она не приблизилась, а как-то выпятилась, будто пойманная в объектив телескопа; не одна из многих, но сама по себе, окутанная иссиня-черным выдохом пространства, плотной пустотой. Хорошо помню, какое изумление вызвал во мне этот доселе неведомый облик звезды: белый световой шарик, питающий пустоту вокруг себя и питаемый ею; помню чувство подсознательной общности, эквивалентности нашего бытия в темной разреженной среде. Я смотрел на звезду, звезда смотрела на меня. Если отождествить сознание с массой, мы уравновешивали друг друга, точно гирьки одинакового достоинства. Этот баланс длился долго, почти бесконечно; два сгустка материи, каждый — в коконе пустоты, разведенные по полюсам, лишенные мыслей и ощущений. Ни красоты, ни нравственности, ни бога, ни строгих пропорций; лишь инстинктивное, животное чувство контакта.

Затем — скачок напряжения. Что-то должно было произойти. Бездействие стало ожиданием. Я сам не понимал, как распознать грядущую перемену,— зрением? слухом? — но боялся ее упустить. Звезда, казалось, погасла. Возможно, он приказал мне закрыть глаза. Пустота завладела всем. Помню два слова: «мерцать» и «проницать»; наверное, их произнес Кончис. Мерцающая, проницательная пустота; мрак и ожидание. Потом в лицо мне ударил ветер: острое, земное ощущение. Я хотел было омыться его теплом и свежестью, но вдруг меня охватил упоительный ужас, ибо дул он, вопреки естеству, со всех сторон одновременно. Я поднял руку, ладонью встречая его черный, будто выхлопы тысяч невидимых труб, напор. И этот миг, как предыдущий, длился бесконечно долго.

Но вот субстанция ветра начала меняться. Ветер превратился в свет. То было не зрительное впечатление, а твердая, заведомая уверенность: ветер превратился в свет (возможно, Кончис сказал мне, что ветер — это свет), неимоверно ласковый свет, словно душа, пережив затяжную сумрачную

зиму, очутилась на самом припеке; восхитительно отрадное чувство, что ты и нежишься в лучах, и притягиваешь их. Ты способен вызвать свет и способен его воспринять.

Постепенно я стал понимать, что вступил в пространство потрясающей истины и внятности; эти края и были обителью света. Мнилось, я постиг сокровенную суть бытия; узнал, что такое существовать, и это знание пересилило свет, как до того свет пересилил ветер. Во мне что-то росло, я менял форму, как меняет форму фонтан на ветру, водоворот на стремнине. Ветер и свет оказались лишь средствами, путями в сферу, где пребывают вне измерений и восторга; где знают, что значит просто существовать. Или, если отринуть эгоцентризм,— просто *знают*.

Как и раньше, это состояние через какое-то время сменилось следующим, на сей раз несомненно внушенным извне. Я попал в текучую среду, хотя она лилась не так, как ветер и свет, слово «лилась» здесь не подходит. В человеческом языке нет нужного слова. Она прибывала, ниспадала, проникала снаружи. Да, снаружи, она была мне дарована, пожалована. Я был ее целью. И вновь удивление, почти испуг: казалось, ее источники равномерно расположены вокруг меня. Я воспринимал ее не с одной стороны, а со всех; хотя и «сторона» — слишком грубое слово. То, что я чувствовал, невыразимо на языках, которые содержат лишь имена отдельных вещей и низменных ощущений. По-моему, я уже тогда понял, что все происходящее со мной сверхсловесно. Понятия висели на мне как вериги; я шел вдоль них, точно вдоль испещренных дырами стен. Сквозь дыры хлестала действительность, но выбраться в ее царство я не мог. Чтобы вспомнить, нужно отказаться от толкований; процесс обозначения и смысл несовместимы.

Мне явилась истинная реальность, рассказывающая о себе универсальным языком; не стало ни религии, ни общества, ни человеческой солидарности: все эти идеалы под гипнозом обратились в ничто. Ни пантеизма, ни гуманизма. Но нечто гораздо более объемное, безразличное и непостижимое. Эта реальность пребывала в вечном взаимодействии. Не добро и не зло; не красота и не безобразие. Ни влечения, ни неприязни. Только взаимодействие. И безмерное одиночество индивида, его предельная отчужденность от того, что им не является, совпадали с предельным взаимопроникновением всего и вся. Крайности сливались, ибо обусловливали друг друга. Равнодушие вещей было неотличимо от их родственности. Мне внезапно, с неведомой до сих пор ясностью, открылось, что *иное* существует наравне с «я».

Суждения, желания, мудрость, доброта, образованность, эрудиция, членение мира, разновидности знания, чувственность, эротика — все показалось вторичным. Мне не хотелось описывать или определять это взаимодействие, я жаждал принять в нем участие — и не просто жаждал, но и принимал. Воля покинула меня. Смысла не было. Одно лишь существование.

Но фонтан менял форму, водоворот бурлил. Сперва почудилось, что возвращается черный ветер, дующий отовсюду, только то был не ветер, ветром это можно было назвать разве что метафорически, а сейчас меня вихрем окутали миллионы, триллионы частиц, так же, как и я, осознавших, что значит существовать, бесчисленные атомы надежды, несомые крутыми разворотами случая, поток не фотонов, а ноонов — квантов, сознающих свое существование. Жуткая, головокружительная неисчерпаемость мироздания; неисчерпаемость, где изменчивое и стабильное соседствуют, объясняют и не противоречат друг другу. Я был семенем, обретшим почву, лечебным микроорганизмом, попавшим не просто в самую благоприятную, самую питательную среду, но в руки целителя, врачующего обреченных. Мощная радость, духовная и телесная, свободный полет, гармония и *родство;* исполненный долг. Взаимопознание.

И в то же время — скольжение вниз, разрядка; но сам этот слом, переход органично завершал последовательность. Становление и пребывание слились воедино.

Кажется, я вновь ненадолго увидел звезду, просто звезду, висящую на небесной тверди, но уже во всем объеме ее пребывания-становления. Словно переступил порог, обогнул земной шар и вернулся в ту же комнату, однако к иному порогу.

И — тьма. Бесчувствие.

И — свет.

37

Кто-то стучал. Передо мной стена спальни. Я в постели, одежда сложена на стуле, на мне пижама. Утро, раннее-раннее, на вершинах сосен за окном лежат первые, слабые лучи солнца. Я посмотрел на часы. Скоро шесть.

Я свесил ноги с кровати. Во мне плескался темный стыд, унижение; Кончис видел меня голым, беспомощным; а может, и остальные видели. Жюли. Вот они уселись вокруг моего распростертого тела и ухмыляются, а я и духовно разоблачаюсь в ответ на вопросы Кончиса. Но Жюли... ее он тоже мог гипнотизировать, чтобы она передавала ему все разговоры слово в слово.

Свенгали и Трильби [1].

И тут во мне воскресли вчерашние волшебные переживания, яркие, четкие, как выученный урок, как придорожный пейзаж незнакомой страны. Я понял, что произошло вчера. В раки подмешали какой-то наркотик, галлюциноген — наверно, страмоний, которому Кончис посвятил статью. А потом он воспроизвел на словах «ступени познания», внушил их мне одну за другой, пока я валялся без чувств. Я оглянулся в поисках томика медицинских исследований в зеленом переплете. В спальне его не было. Даже этот ключ у меня отобрали.

Свежесть того, что отпечаталось в моей памяти; мерзость того, что, возможно, не отпечаталось; благое и вредоносное; несколько минут я сидел, обхватив голову руками, мечась меж злостью и признательностью.

Я встал, умылся, посмотрелся в зеркало, сошел к столу, на котором молчаливая Мария сервировала кофе. Кончис, понятно, не появится. Мария не скажет ни слова. Разъяснений я не дождусь, и смятение мое, как и задумано, продлится до следующего прихода.

По дороге в школу я попытался разобраться, почему в моих воспоминаниях, несмотря на их яркость и красоту, есть привкус пагубы. Среди солнечного утреннего ландшафта трудно поверить, что на земле вообще существует пагуба, но привкус никак не выветривался. В нем было не только унижение, но и ощущение новой опасности, смутных и странных вещей, к которым лучше бы не прикасаться. Теперь я вполне разделял страх Жюли перед Кончисом, а вовсе не его лжемедицинское сострадание к ней; она-то вряд ли шизофреничка, а он несомненно гипнотизер. Но отсюда следует, что они не собирались дурачить меня сообща; я принялся суетливо рыться в памяти: не гипнотизировал ли он меня и раньше, без моего ведома...

Я с горечью припомнил, что еще вчера утром в разговоре с Жюли сравнил свое ощущение реальности с земным притяжением. И вот, точно космонавт, кувыркаюсь в невесомости безумия. Неподвижная поза Кончиса во время Аполлонова действа. Может, все увиденное он внушил мне под гипнозом? Может, в день явления Фулкса усыпил меня в нужный момент? Да стояли ли под рожковым деревом мужчина с девочкой? И даже Жюли... но я вспомнил тепло ее плоти, сомкнутых губ. Я нащупал опору. Но утвердиться на ней не мог.

Мешало не только предположение, что Кончис с самого начала гипнотизировал меня; ведь по-своему, вкрадчиво, меня гипнотизировала и девушка. Я всегда считал (и не из одного только напускного цинизма), что уже через десять минут после знакомства мужчина и женщина понимают,

[1] Музыкант-гипнотизер и девушка-натурщица, центральные персонажи романа Джорджа Дюморье «Трильби» (1894).

хочется ли им переспать друг с другом, и каждая минута сверх первых десяти становится оброком, который не столь велик, если награда действительно того стоит, но в девяноста процентах случаев слишком обременителен. Нет, ради Жюли я готов был на любую щедрость, но, похоже, в мою схему она вообще не укладывалась. В ней сквозила податливость незапертой двери; однако темнота за дверью удерживала меня от того, чтобы войти. Отчасти мои колебания объяснялись тоской по утраченному лоуренсовскому идеалу, по женщине, что проигрывает мужчине по всем статьям, пока не пустит в ход мощный инструментарий своего таинственного, сумрачного, прекрасного пола; блестящий, энергичный он и томная, ленивая она. В моем сознании, выпестованном инкубатором века двадцатого, свойства полов так перепутались, что очутиться в ситуации, где женщина вела себя как женщина, а от меня требовалась сугубая мужественность, было все равно что переехать из тесной, безликой современной квартиры в просторный особняк старой постройки. До сих пор я испытывал лишь жажду плотских наслаждений, а ныне познал жажду любви.

На утренних уроках, будто гипноз еще действовал, я в забытьи сползал от одной догадки к другой. То Кончис представлялся мне романистом-психиатром без романа, манипулирующим не словами, а людьми; то умным, но развратным старикашкой; то гениальным мастером розыгрышей. И каждый из этих обликов приводил меня в восхищение, не говоря уже о Жюли в образе Лилии, растрепанной ли, заплаканной, чинно протягивающей руку: свет лампы, слоновая кость... Ничего не попишешь, Бурани в прямом смысле околдовал меня. Какая-то сила точно магнитом вытягивала меня сквозь классные окна, влекла по небесной голубизне за центральный водораздел, к желанной вилле. А оливковые лица школьников, черные хохолки на их макушках, запах мелового крошева, поблекшая чернильная клякса на столе словно подернулись туманом, их существование стало зыбким, будто реквизит грез.

После обеда ко мне зашел Димитриадис, чтобы выпытать, кто такая Алисон; а когда я отказался отвечать, принялся травить сальные греческие анекдоты об огурцах и помидорах. Я послал его к черту; вытолкал взашей. Он надулся и всю неделю меня избегал, к моей вящей радости: хоть под ногами не путается.

К концу последнего урока я сломался и, никуда не заходя, отправился в Бурани. Я должен был вновь вступить в зону чуда, хоть и не знал точно зачем. Как только вилла, напоенная тайной, показалась далеко внизу, за трепещущими под ветром сосновыми кронами, у меня гора с плеч свалилась, будто дом мог исчезнуть. Чем ближе я подходил, тем большей свиньей себя чувствовал. Да, это свинство, но мне просто хотелось увидеть их, убедиться, что они там, что они ждут меня.

Стемнело. Я достиг восточной границы Бурани, пролез сквозь проволочную изгородь, прокрался мимо скульптуры Посейдона, миновал овраг и наконец, в прогалах деревьев, увидел перед собой дом. С этой стороны все окна закрыты ставнями. Труба домика Марии не дымится. Я побрел вдоль опушки к фасаду. Высокие окна под колоннадой наглухо закрыты. Закрыты и те, что выходят на террасу из спальни Кончиса. Стало ясно, что дом пуст. Я уныло поплелся обратно, спотыкаясь в темноте и негодуя на Кончиса за то, что он посмел украсть вымышленный им мир у меня из-под носа, отлучить меня от этого мира, как бессердечный врач отлучает наркомана от вожделенного зелья.

Назавтра я написал Митфорду, что побывал в Бурани и познакомился с Кончисом; не хочет ли он поделиться опытом? Письмо я отправил по его нортамберлендскому адресу.

Кроме того, я снова посетил Каразоглу и попытался выжать из него побольше сведений. Тот был совершенно уверен, что Леверье и Кончис ни разу не встречались. Подтвердил «набожность» Леверье; в Афинах он ходил к мессе. Затем Каразоглу, по сути, повторил слова Кончиса: «Il avait

toujours l'air un peu triste, il ne s'est jamais habitué à la vie ici» [1]. Правда, Кончис еще добавил, что Джон превосходно «водил».

Я взял у казначея английский адрес Леверье, но решил не писать ему; успею еще, если понадобится.

Наконец, я навел справки об Артемиде. Согласно мифологии, она действительно была сестрой Аполлона, защитницей девственниц и покровительницей охотников. В античной поэзии она, как правило, появлялась одетой в шафранный хитон и сандалии, с серебряным луком (полумесяцем) в руках. Хотя сладострастных молодых людей она, похоже, отстреливала как воробьев, брат ей в этом, судя по доступным мне источникам, ни разу не помогал. Ее фигура «входила в древний матриархальный культ троичной лунной богини, наряду с сирийской Астартой и египетской Изидой». Я обратил внимание, что Изиду часто сопровождал песьеголовый Анубис, страж преисподней, позднее переименованный в Цербера.

Во вторник и среду я не мог отлучиться из школы из-за плотного расписания. А в четверг опять отправился в Бурани. Никаких перемен. Дом, как и в понедельник, был пуст.

Я обошел виллу, подергал ставни, пересек сад, спустился на частный пляж: лодки и след простыл. Минут тридцать высиживал под сумеречной колоннадой, чувствуя себя выпитым до дна и отброшенным за ненадобностью, злясь и на них, и на себя самого. Сдуру вляпался во всю эту историю, а теперь, как дважды дурак, жду и боюсь продолжения. За минувшие дни я успел пересмотреть свои выводы насчет шизофрении; сперва диагноз казался мне крайне недостоверным, а теперь — весьма вероятным. Иначе на кой ляд Кончису так резко обрывать спектакль? Коли он затеян ради развлечения...

Наверное, к обиде примешивалась зависть — как можно бросать на произвол судьбы полотна Модильяни и Боннара? Что это — непрактичность, гордыня? По ассоциации с Боннаром я вспомнил об Алисон. Сегодня в полночь вне расписания уходит пароход, который везет в Афины учеников и преподавателей, отбывавших на каникулы. Всю ночь клюешь носом в кресле крохотного салона, зато в пятницу утром ты уже в столице. Что подтолкнуло меня к решению успеть на него — злость, упрямство, мстительность? Не знаю точно. Но явно не желание встретиться с Алисон, хотя как собеседник и она сгодится. Не аукнулись ли здесь давние навыки записного экзистенциалиста: свобода воли невозможна без прихотей?

Поразмыслив, я заспешил по дороге к воротам. Но и тут в последний момент оглянулся, лелея мизерную надежду, что меня позовут обратно.

Не позвали. И я волей-неволей поплелся на пристань.

38

Афины: пыль и сушь, охряное и бурое. Даже пальмы глядели измученно. Человеческое в людях укрылось за смуглой кожей и очками еще темнее кожи; к двум пополудни город пустел, отданный на милость лени и зноя. Распластавшись на кровати пирейской гостиницы, я задремывал в густеющих сумерках. Пребывание в столице обернулось сущим наказанием. После Бурани в аду современности с его машинами и нервным ритмом кружилась голова.

День тащился как черепаха. Чем ближе к вечеру, тем меньше я понимал, чего, собственно, жду от встречи с Алисон. В Афины я отправился исключительно затем, чтобы провести собственную комбинацию в поединке с Кончисом. Сутки назад, под сенью колоннады, Алисон виделась мне пешкой, последним резервом фланговой контратаки; но теперь, за два часа до встречи, мысль о близости ее тела была непереносима. Неужто придется рассказывать ей обо всем, что сталось со мной в Бурани? Зачем я здесь? Меня подмывало вернуться на остров. Ни врать, ни говорить правду не хотелось.

---

[1] Он всегда был грустноват, так и не освоился здесь *(франц.)*.

И все же встать и уехать мне мешали остатки любопытства (как она там?); сострадание; память ушедшей любви. И потом, вот случай испытать глубину моих чувств к Жюли, проверить мой выбор. Я тайно натравлю Алисон — внешний мир, его былое и сегодняшнее — на внутренний опыт, который успел приобрести. Кроме того, долгой ночью на пароходе я изобрел способ уклониться от физической близости с Алисон — историю жалостливую, но достаточно убедительную, чтобы держать ее на расстоянии.

В пять я поднялся, принял душ и поймал такси до аэропорта. Посидел на скамье в зале прилета, встал, чувствуя, как меня охватывает нежданное волнение. Мимо спешили стюардессы, профессионально строгие, нарядные, смазливые,— не живые девушки, а персонажи фантастического романа.

Шесть, четверть седьмого. Я заставил себя подойти к стойке справочной, где сидела гречанка в новенькой форме, с ослепительной улыбкой и карими глазами; на ее лице поверх обильной косметики толстым слоем лежала кокетливая гримаса.

— Я тут должен встретиться с одной вашей коллегой. С Алисон Келли.

— С Элли? Ее самолет прибыл. Наверно, переодевается.— Сняла телефонную трубку, набрала номер, сверкнула зубами. У нее было безупречное американское произношение.— Элли? Тебя тут дожидаются. Если не выйдешь через минуту, придется мне тебя заменить.— Протянула трубку мне.— Она хочет поговорить с вами.

— Передайте, что я подожду. Спешки никакой.

— Он стесняется.— Алисон, похоже, сострила: девушка улыбнулась. Положила трубку.

— Сейчас выйдет.

— Что она вам сказала?

— Что вы всегда притворяетесь скромником, если хотите понравиться.

— А.

Длинные черные ресницы дрогнули; наверно, она считает, что это и называется «смотреть вызывающе». К счастью, у стойки появились две женщины, и она повернулась к ним. Я ретировался и стал у дверей. В первое время на острове Афины столичная суета казалась спасительным дуновением нормальной жизни, чье влияние и желанно, и привычно. Теперь я ощутил, что начинаю бояться его, что оно мне противно; обмен фразами у стойки, наспех замаскированная похоть, прилежные охи и ахи. Нет, я — из иного мира.

Минуты через две в дверях показалась Алисон. Короткая стрижка, слишком короткая; белое платье; все сразу пошло вкривь и вкось, потому что я понял: она оделась так, чтобы напомнить о нашем первом знакомстве. Она была бледнее, чем я ее помнил. Завидев меня, сняла темные очки. Усталая, круги под глазами. Неплохо одета, изящная фигурка, легкий шаг, знакомый побитый вид и взыскующий взгляд. Да, Алисон зацепила мою душу десятком крючков; но Жюли — тысячей. Она подошла, мы слабо улыбнулись друг другу.

— Привет.

— Здравствуй, Алисон.

— Извини. Как всегда, опоздала.

Она держалась так, словно мы расстались всего неделю назад. Но это не помогало. Девять месяцев возвели между нами решетку, и сквозь нее проникали слова, но не чувства.

— Пошли?

Я подхватил ее летную сумку, и мы отправились ловить такси. В машине сели у противоположных дверец и снова оглядели друг друга. Она улыбнулась.

— Я думала, ты не приедешь.

— И не приехал бы, если б знал, куда послать телеграмму с извинениями.

— Видишь, какая я хитрая.

Взглянула в окно, помахала какому-то парню в форменной одежде. Казалось, она стала старше, путешествия слишком многому научили ее; нужно постигать ее заново, а сил на это нет.

— Я снял тебе номер с видом на гавань.

— Отлично.

— В греческих гостиницах до ужаса строгие порядки.

— Главное — не выходить за рамки приличий.— Насмешливо кольнула меня серыми глазами, опустила взгляд.— Кайф какой. Да здравствуют рамки!

Я чуть было не выдал ей заготовленную версию, но меня разозлило, что она не видит, как я переменился, и считает меня все тем же рабом британских условностей; разозлило и то, как она отвела глаза, будто опомнившись. Протянула руку, я сжал ее в своей. Потом наклонилась и сняла с меня темные очки.

— А ты чертовски похорошел. Не веришь? Такой загорелый. Высох весь на солнце, отощал. Теперь главное — до сорока не потолстеть.

Я улыбнулся, но выпустил ее руку и, глядя вбок, достал сигарету. Я понимал, зачем она льстит: чтобы сократить дистанцию между нами.

— Алисон, тут кое-что приключилось.

Деланная веселость разом слетела с нее. Она уставилась прямо перед собой.

— Встретил другую?

— Нет.— Быстрый взгляд.— Я уже не тот... не знаю, с какого конца начать...

— Словом, шла бы я подобру-поздорову?

— Нет, я... рад тебя видеть.— Снова недоверчивый взгляд.— Правда.

Она помолчала. Мы выехали на автостраду, идущую вдоль моря.

— С Питом я завязала.

— Ты сообщала в письме.

— Не помню.— Но я знал: помнит.

— А потом и со всеми остальными.— Она все смотрела в окно.— Извини. Ничего не хочу утаивать.

— Валяй. То есть... ну, ты поняла.

Снова бросила на меня взгляд, на этот раз жесткий.

— Я опять живу с Энн. Всего неделю как. В той, старой квартире. Мэгги уехала домой.

— Мне нравится Энн.

— Да, она клевая.

Мы замолчали. Она повернулась к окну, разглядывая Фалерон; через минуту вынула из сумочки темные очки. Я понял, зачем они ей: приметил влажные лучики вокруг глаз. Я не прикоснулся к ней, не тронул за руку, но заговорил о том, как не похож Пирей на Афины, насколько первый живописнее, характернее,— надеюсь, и ей он больше понравится. На самом деле я выбрал Пирей потому, что пугающая возможность наткнуться на Кончиса и Жюли, и в Афинах-то микроскопическая, здесь равнялась нулю. Стоило представить, каким холодным, насмешливым, а то и презрительным взглядом окинула бы она меня при встрече,— и по спине бежали мурашки. В поведении и внешности Алисон была одна особенность: сразу видно, что коли она появляется с мужчиной на людях, значит, спит с ним. Я говорил и одновременно гадал, как мы выдержим эти три дня вместе.

Получив чаевые, слуга скрылся в коридоре. Она подошла к окну и взглянула вниз, на широкую набережную из белого камня, на вечернюю толпу гуляющих, на портовую суету. Я стоял за ее спиной. Лихорадочно взвесив все «за» и «против», обвил ее рукой, и она прислонилась ко мне.

— Ненавижу города. И самолеты. Хочу в Ирландию, в хижину.

— Почему в Ирландию?

— А я там ни разу не была.

Тепло ее тела, податливая готовность. Вот сейчас повернет лицо, и надо будет целоваться.

— Алисон, я... не знаю, как тебе рассказать.— Я отнял руку, придвинулся к окну, чтобы спрятать глаза.— Месяца два-три назад я подхватил болезнь. Словом... сифилис.— Я повернулся к ней; она смотрела с участием,

болью, недоверием.— Сейчас все прошло, но... понимаешь, я не в состоянии...

— Ты ходил в...

Я кивнул. Недоверие исчезло. Она опустила глаза.

— Это мне за тебя.

Подалась ко мне, обняла.

— Ох, Нико, Нико.

— В интимный контакт нельзя вступать еще по меньшей мере месяц,— сказал я в пространство поверх ее головы.— Я был в панике. Лучше б я не писал тебе. Но тогда ничего не было.

Отошла, села на кровать. Я понял, что в очередной раз загнал себя в угол; теперь она думает, что нашла объяснение моей сдержанности при встрече. Ласковая, робкая улыбочка.

— Расскажи, как тебя угораздило.

Шагая от стены к стене, я поведал ей о Пэтэреску и о клинике, о стихах, даже о попытке самоубийства — обо всем, кроме Бурани. Слушая, она закурила, откинулась на подушку, и меня вдруг охватило вдохновение двуличия; теперь я понимал чувства Кончиса, когда он дурачил меня. Закончив, я уселся на край кровати. Она лежала, глядя в потолок.

— Рассказать тебе про Пита?

— Конечно.

Я слушал вполуха, не выходя из роли, и внезапно ощутил радость; не оттого, что Алисон снова рядом, но оттого, что вокруг нас — этот гостиничный номер, говор гуляющих, гудки сирен, аромат усталого моря. Нет, во мне не было ни желания, ни нежности; слушать историю ее разрыва с этим оболтусом, австралийским летчиком, было скучно; однако неимоверная, смутная грусть вечереющей комнаты захватила меня. Небесный свет иссякал, сгущались сумерки. Все превратности современной любви казались упоительными; моя главная тайна надежно спрятана от чужих глаз. Греция вновь вступила в свои права, александрийская Греция Кавафиса; есть лишь ступени эстетики, нисхождение красоты. Нравственность — это морок Северной Европы.

Долгая тишина.

— О чем мы, Нико? — спросила она.

— То есть?

Приподнялась на локте, глядя на меня, но я не обернулся.

— Я все понимаю... нет вопроса...— Пожала плечами.— Но я ж не разговоры вести приехала.

Я обхватил голову руками.

— Алисон, меня тошнит от женщин, от любви, от секса, от всего тошнит. Я сам не знаю, чего хочу. Не надо было звать тебя сюда.— Она не поднимала глаз, будто соглашаясь.— Суть в том, что... ну, я как-то затосковал по сестринской любви, что ли. Ты скажешь, это чушь, и будешь права. Конечно, права, куда деваться.

— Так-так.— Вскинула глаза.— По сестринской любви. Но ведь ты когда-нибудь выздоровеешь?

— Не знаю. Ну, не знаю.— Я удачно имитировал отчаяние.— Слушай... ну уходи, ругай меня, что хочешь, но я сейчас мертвец.— Подошел к окну.— Как я виноват! Просить, чтоб ты три дня цацкалась с мертвецом!

— Которого я любила, когда он был жив.

Молчание пролегло меж нами. Но вот она вскочила с постели; зажгла свет, причесалась. Достала гагатовые сережки, оставленные мной при отъезде, надела; намазала рот. Я вспомнил Жюли, губы без помады; прохладу, загадку, грацию. То было почти счастьем — полное отсутствие желания; беззаветная, изо всех сил, верность — первая в моей жизни.

По нелепой случайности, чтобы попасть в намеченный мною ресторан, нам пришлось пересечь кварталы продажной любви. Бары, неоновые вывески на разных языках, афиши, зазывающие на стриптиз и танец живота, праздная матросня, лотрековские интерьеры за пологами из бус, женщины,

тесно сидящие на мягких скамейках. Вокруг толклись сутенеры и шлюхи, разносчики фисташек и семечек подсолнуха, продавцы каштанов, пирожков, лотерейных билетов. Нас то и дело приглашали зайти, подсовывали лотки с часами, пачки «Лаки страйк» и «Кэмел», дешевые сувениры. Нельзя было сделать и десяти шагов, чтобы кто-нибудь не оглядел Алисон с ног до головы и не присвистнул.

Мы шли молча. Я представил, что рядом со мной «Лилия»; она заставила бы их умолкнуть, залиться краской, не служила бы мишенью пошлых острот. Лицо Алисон застыло, мы поднажали, чтобы скорее выбраться отсюда; но в ее походке мне все чудилось подсознательное бесстыдство, неистребимая кокетливость, притягивающая мужчин.

В ресторане «У Спиро» она с напускной легкостью произнесла:

— Ну, братишка Николас, на что я тебе пригожусь?

— Расхотелось отдыхать?

Встряхнула бокал с узо.

— А тебе?

— Я первый спросил.

— Нет. Твоя очередь.

— Можно что-нибудь придумать. Поехать туда, где ты еще не бывала.— К счастью, я уже знал, что в начале июня она целый день посвятила осмотру афинских достопримечательностей.

— Туризм — это не для меня. Вот если бы что-то незагаженное. Чтобы мы были там одни.— И быстро добавила: — Моя работа. Устала от людей.

— А если придется много ходить?

— Ну и отлично. Куда мы отправимся?

— Да на Парнас. Похоже, взобраться туда ничего не стоит. Просто дальняя прогулка. Возьмем напрокат машину. Потом заедем в Дельфы.

— На Парнас? — Нахмурилась, припоминая, где это.

— Это гора. Там резвятся музы.

— Ой, Николас! — В ней сверкнула прежняя Алисон: вперед, очертя голову.

Принесли барабунью, и мы принялись за еду. Мысль о покорении Парнаса вдруг пробудила в ней лихорадочный энтузиазм, она поглощала рецину бокал за бокалом; Жюли ни при каких условиях так себя не вела бы; и внезапно, как с ней часто бывало, утомилась от собственного притворства.

— Я переигрываю. Но в этом ты виноват.

— Стоит тебе...

— Нико.

— Алисон, стоит тебе только...

— Нико, послушай меня. На той неделе я ночевала в старой квартире. Первый раз. Кто-то ходил. Там, наверху. И я плакала. Как в тот день, в такси. Как и сейчас могла бы, только не буду.— Кривая ухмылка.— Хочется плакать от одного того, что мы называем друг друга по имени.

— Как же нам друг друга называть?

— А ведь этого не было. Мы были так близки, что имена не требовались. Но я хочу сказать, что... все в порядке. Ты просто будь со мной поласковей. Тебя же передергивает, что бы я ни ляпнула, что бы ни сделала.— Она смотрела на меня, пока я не поднял глаза.— Я такая, как есть, никуда не денешься.— Я кивнул, скорчил участливую физиономию и нежно тронул ее за руку. Только не ссориться; не давать воли чувствам; иначе прошлое снова поглотит нас.

Через секунду она прикусила губу, и мы обменялись улыбками, в которых — впервые за весь день — не было и следа лицемерия.

Я проводил ее до номера и пожелал спокойной ночи. Она поцеловала меня в щеку, а я сдавил ей плечи с таким видом, словно большего счастья женщина и представить себе не может.

39

В половине девятого утра мы уже мчались по горному шоссе. В Фивах Алисон купила себе туфли покрепче и джинсы. Было солнечно, ветрено, дорога почти пуста, а из старого «понтиака», взятого напрокат накануне вечером, вполне можно было кое-что выжать. Алисон интересовало все — люди, пейзаж, статьи в моем путеводителе 1909 года о местах, что мы проезжали. Эта смесь любопытства и невежества, знакомая еще по Лондону, больше не задевала меня; теперь она казалась неотъемлемым свойством характера Алисон, ее искренности, ее готовности быть товарищем. Но положение, так сказать, обязывало меня злиться; и я все-таки нашел, к чему придраться: к ее излишней жизнерадостности, наплевательскому отношению к собственным бедам. Ей бы полагалось вести себя тише, поменьше веселиться.

Болтая о том о сем, она спросила, выяснил ли я что-нибудь по поводу зала ожидания; не отрывая глаз от дороги, я ответил: ерунда, это просто одна вилла. Совершенно непонятно, что имел в виду Митфорд; и я сменил тему разговора.

Мы неслись по широкой зеленой долине к Левадии — меж пшеничных полей и дынных делянок. Но на подъезде к городку шоссе запрудила отара овец, и мне пришлось замедлить ход, а потом и остановиться. Мы вышли из машины. Пастух оказался четырнадцатилетним пареньком в рваной одежде и непомерно больших военных ботинках. Он был с сестрой, черноглазой девчушкой лет шести или семи. Алисон вытащила ячменный сахар, какой раздают пассажирам. Но девочка застеснялась и спряталась за братниной спиной. Алисон, в своем зеленом сарафане, опустилась на корточки, протягивая сласть издали и ласково увещевая. Вокруг звенели овечьи ботала, девочка уставилась на нее, и я начал нервничать.

— Как сказать, чтобы она подошла и взяла сахар?

Я обратился к малышке по-гречески. Она не поняла ни слова, но брат ее решил, что нам можно доверять, и подтолкнул ее вперед.

— Чего она так напугалась?

— Просто дичится.

— Лапочка ты моя.

Алисон сунула кусок сахара себе в рот, а другой протянула девочке, которую брат полегоньку подталкивал к нам. Та робко потянулась к сахару, и Алисон тут же взяла ее за руку, усадила рядом; развернула упаковку. Мальчик подошел к ним и стал на колени, пытаясь внушить сестре, чтобы она нас поблагодарила. Но та лишь важно причмокивала. Алисон обняла ее, погладила по щекам.

— Не надо бы этого. Вшей еще подцепишь.

— Может, и подцеплю.

Не глядя на меня, она все ласкала девочку. Вдруг ребенок поморщился. Алисон отшатнулась.

— Посмотри, посмотри-ка.— На плечике горел содранный чирей.— Принеси сумочку.— Я сходил к машине, а затем стал смотреть, как она закатывает рукавчик и мажет нарыв кремом и шутливо кладет мазок на девочкин носик. Малышка грязным пальцем растерла пятнышко белого крема, заглянула Алисон в лицо и улыбнулась — так прорывается сквозь мерзлую почву цветок крокуса.

— Давай им денег дадим.

— Не надо.

— Почему?

— Откажутся. Они ведь не нищие.

Она порылась в сумочке и вынула мелкую купюру; протянула мальчику, указав рукой на него и на сестру: пополам. Паренек помедлил, взял деньги.

— Сфотографируй нас, пожалуйста.

Я нехотя пошел к автомобилю, достал ее фотоаппарат и снял их. Мальчик настоял, чтоб мы записали его адрес; он хотел получить снимок на память.

Мы двинулись к машине, девчушка — за нами. Теперь она улыбалась не переставая — такая лучезарная улыбка прячется за торжественной скромностью любого деревенского гречонка. Алисон нагнулась и поцеловала ее, а когда мы отъезжали, обернулась и помахала рукой. Потом еще помахала. Уголком глаза я видел, как при взгляде на мою физиономию ее лицо омрачилось. Она откинулась на спинку сиденья.

— Прости. Я не думала, что мы так спешим.

Я пожал плечами и ничего не ответил.

Я хорошо понял, что она имеет в виду. И большинство ее невысказанных упреков я действительно заслужил. Мили две мы проехали молча. Она не произнесла ни слова до самой Левадии. Там молчание пришлось нарушить: нужно было запастись провизией.

Эта размолвка не слишком испортила нам настроение — наверное, потому, что погода выдалась чудесная, а окружал нас один из красивейших в мире ландшафтов; наступающий день синей тенью парнасских круч затмил наши мелочные дрязги.

Мимо проносились долы и высокие холмы; мы перекусили на лугу, в гуще клевера, ракитника, диких пчел. Потом достигли развилки, где Эдип, по преданию, убил своего отца. Мы остановились у какой-то булыжной стены и прошлись по сухому чертополоху этого безымянного горного уголка, прокаленного безлюдьем. Всю дорогу до Араховы я, побуждаемый Алисон, рассказывал о собственном отце — чуть ли не впервые без горечи и досады; почти тем же тоном, каким говорил о своей жизни Кончис. И тут, взглянув на Алисон, которая сидела вполоборота ко мне, прислонясь к дверце машины, я подумал, что она — единственный человек в мире, с кем я могу вот так разговаривать; что прошлое незаметно возвращается... возвращается время, когда *мы были так близки, что имена не требовались*. Я перевел взгляд на дорогу, но она все смотрела на меня, и я не смог отмолчаться.

— Придется тебе платить за осмотр.

— Ты прекрасно выглядишь.

— Ты меня не слушала.

— Еще как слушала!

— Пялишься тут. Кто угодно психанет.

— А что, сестре запрещается смотреть на брата?

— С кровосмесительными намерениями — запрещается.

Она послушно откинулась на сиденье, козырьком приставила ладонь ко лбу, разглядывая мелькавшие по сторонам шоссе серые утесы.

— Ну и местечко.

— Да. Боюсь, до вершины не дотянуть.

— Кому — тебе или мне?

— Прежде всего тебе.

— Еще посмотрим, кто первый сломается.

Арахова оказалась очаровательной цепочкой розовых и красно-коричневых домишек, горным селеньем, глядящим на Дельфийскую впадину. Расспросы привели меня в домик у церкви. К нам вышла старуха; за нею в сумраке комнаты громоздился ткацкий станок с наполовину законченным темно-красным ковром. Пятиминутная беседа подтвердила то, что и так можно было понять при взгляде на гору.

Алисон заглянула мне в лицо.

— Что она говорит?

— Говорит, что подъем займет шесть часов. Тяжелый подъем.

— Вот и отлично. Так и в путеводителе написано. К закату как раз доберемся.— Я окинул взглядом высокий серый склон. Старуха звякнула дверным крючком.— Что она говорит?

— Наверху есть какая-то хижина, что ли.

— Ну и в чем тогда проблема?

— Она говорит, там очень холодно.— Но верилось в это среди паляще-го полдневного зноя с трудом. Алисон подбоченилась.

— Ты обещал приключение. Хочу приключение.

Я перевел взгляд со старухи на Алисон. Та стянула с носа темные очки и приняла бывалый, тертый вид; конечно, дурачилась, но в глубине ее глаз дрожало недоверие. Если вчера она догадалась, что я боюсь ночевать с ней в одной комнате, то догадается и о том, из какого непрочного материала сработана моя добродетель.

Тут старуха окликнула какого-то человека, ведущего в поводу мула. Он отправлялся к приюту альпинистов за дровами. Алисон могла устроиться на вьючном седле.

— Спроси, можно мне войти и надеть джинсы?

Отступать было некуда.

40

Тропинка вилась и вилась по скале, и, перевалив через ее вершину, мы оставили позади предгорья и очутились в высотном поясе Парнаса. Ветер, по-весеннему холодный, выл над раскинувшимися на две-три мили лугами. Выше вздымались, смыкались верхушками и пропадали в облаках-барашках угрюмые ельники и серые устои скал. Алисон спешилась, и мы зашагали по дерну бок о бок с погонщиком. Ему было около сорока, под перебитым носом буйно кустились усы; во всем его облике чувствовались добродушие и независимость. Он поведал нам о тяготах пастушеской жизни: прямое солнце, подсчет поголовья, доение, хрупкие звезды и пронизывающий ветер, безмерная тишина, нарушаемая лишь звяканьем ботал, предосторожности против волков и орлов; никаких перемен за последние шестьсот лет. Я переводил все это Алисон. Она сразу прониклась к нему симпатией, и между ними, несмотря на языковой барьер, установились наполовину чувственные, наполовину дружеские отношения.

Он рассказал, что какое-то время работал в Афинах, но «ден ипархи исихия», там ему не было покоя. Алисон понравилось это слово; «исихия, исихия», твердила она. Он со смехом поправлял ее произношение; останавливал и дирижировал ее голосом, словно оркестром. Она задорно поглядывала на меня, чтобы понять, доволен ли я ее поведением. Лицо мое было непроницаемо; но наш попутчик, один из тех чудесных греков, что составляют самый непокорный и притягательный народ сельской Европы, нравился мне, и я рад был, что Алисон он тоже нравится.

На дальнем краю поляны у родника стояли две каливьи — хижины из грубого камня. Здесь наши с погонщиком пути расходились. Алисон принялась лихорадочно рыться в своей красной сумочке и наконец впихнула ему две пачки фирменных сигарет.

— Исихия,— сказал погонщик. Они с Алисон жали друг другу руки до тех пор, пока я не сфотографировал их.

— Исихия, исихия. Скажи ему: я поняла, что он имеет в виду.

— Он знает, что поняла. Этим ты ему и нравишься.

Мы уже вступили в еловый лес.

— Ты, верно, думаешь, что я слишком впечатлительная.

— Да нет. Но одной пачки было бы достаточно.

— Не было бы. Он заслуживал по меньшей мере двух.

Потом она сказала:

— Какое прекрасное слово.

— Бесповоротное.

Мы поднялись выше.

— Послушай.

Мы замерли на каменистой тропе и прислушались; вокруг была только тишь, исихия, и ветерок в еловых кронах. Она взяла меня за руку, и мы пошли дальше.

Тропа все поднималась — между деревьев, между трепещущих бабочками полян, через гряды скал, где мы несколько раз сбились с дороги. Чем выше мы забирались, тем прохладнее становилось, а влажно-белесую гору над нами все гуще затягивали облака. Переговаривались мы редко, сберегая дыхание. Но безлюдье, физическое напряжение, необходимость

поддерживать ее за локоть, когда тропа превращалась в бугристую и крутую лестницу — а такое случалось все чаще,— все это расшатало некую преграду меж нами; и оба мы сразу приняли эти отношения безгрешного братства.

До приюта мы добрались около шести. Это была покосившаяся постройка без окон, с бочкообразной крышей и печной трубой, в распадке у самой кромки леса. Ржавая железная дверь усеяна зазубренными пулевыми отверстиями — следы стычки с каким-нибудь отрядом коммунистического андарте времен гражданской войны; внутри — четыре лежанки, стопка вытертых красных одеял, очаг, лампа, пила и топор, даже пара лыж. Но ощущение было такое, что вот уже много лет здесь никто не останавливался.

— Может, хватит нам на сегодня? — сказал я. Она не удостоила меня ответом; просто натянула джемпер.

Облака нависли над нами, стало моросить, а за гребнем скалы ветер сек, как бывает в Англии в январскую стужу. Потом мы вдруг очутились среди облаков; в крутящейся дымке видимость снизилась ярдов до тридцати. Я обернулся к Алисон. Нос у нее покраснел, с виду она очень замерзла. Но указала на очередной каменный склон.

Взобравшись на него, мы попали в облачный просвет, и небо, как по мановению волшебной палочки, стало расчищаться — словно туман и холод были всего лишь временным испытанием. Облака рассеивались, сквозь них косо сочилось солнце, и вот уже вверху разверзлись озера безмятежной синевы. Вскоре мы вышли на прямой солнечный свет. Перед нами лежала широкая, поросшая травой котловина, окольцованная островерхими скалами и прочерченная плоеными снежными языками, залегшими по осыпям и расщелинам наиболее обрывистых склонов. Все было усеяно цветами — гиацинтами, горечавками, темно-багровыми альпийскими геранями, ярко-желтыми астрами, камнеломками. Они теснились на каждой приступке, покрывали каждый пятачок дерна. Мы будто оказались в ином времени года. Алисон бросилась вперед и закружилась, смеясь, вытянув руки, точно птица, пробующая крыло; снова понеслась — синий джемпер, синие джинсы — неуклюжими ребяческими прыжками.

Высочайшая вершина Парнаса, Ликерий, так крута, что с наскоку на нее не взберешься. Пришлось карабкаться, хватаясь за камни, то и дело отдыхая. Мы наткнулись на поросль распустившихся фиалок, больших пурпурных цветов с тонким ароматом; наконец, взявшись за руки, преодолели последние ярды и выпрямились на узкой площадке, где из обломков была сложена вешка-пирамида.

— Боже, боже мой,— вырвалось у Алисон.

Противоположный склон круто обрывался вниз — две тысячи футов сумрачной глубины. Закатное солнце еще не коснулось горизонта, но небо расчистилось: светло-лазурный, прозрачный, кристальный свод. Пик стоял одиноко, и ничто не заслоняло окоем. Мнилось, мы на неимоверной высоте, на острие тончайшей иглы земной, вдали от городов, людей, засух и неурядиц. Просветленные.

Под нами на сотни миль вокруг простирались кряжи, долы, равнины, острова, моря; Аттика, Беотия, Арголида, Ахея, Локрида, Этолия... древнее сердце Греции. Закат насыщал, смягчал, очищал краски ландшафта. Темно-синие тени на восточных склонах и лиловые — на западных; бронзово-бледные долины, терракотовая почва; дальнее море, сонное, дымчатое, млечное, гладкое, точно старинное голубое стекло. За пирамидой кто-то с восхитительным античным простодушием выложил из камешков слово ΦΩΣ — «свет». Лучше не скажешь. Здесь, на вершине, было царство света — и в буквальном и в переносном смысле. Свет не будил никаких чувств; он был для этого слишком огромен, слишком безличен и тих; и вдруг, с изощренным интеллектуальным восторгом, дополнявшим восторг телесный, я понял, что реальный Парнас, прекрасный, безмятежный, совершенный, именно таков; каким испокон являлся в грезах всем поэтам Земли.

Мы сфотографировали друг друга и панораму, а потом уселись с под-

ветренной стороны пирамиды и закурили, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. В вышине, на кинжальном ветру, холодном как лед, едком как уксус, скрежетали горные во́роны. Я вспомнил о пространствах, где скитался мой дух под гипнозом Кончиса. Здесь было почти то же самое; только еще чудеснее, ибо я очутился тут без посредников, по собственной воле, наяву.

Я искоса взглянул на Алисон; кончик ее носа ярко покраснел. Но я все-таки отдал ей должное; если бы не она, мы не добрались бы сюда, мир не лежал бы у наших ног, не было бы этого чувства победы — квинтэссенции всего того, чем являлась для меня Греция.

— Ты небось каждый день такое из иллюминатора видишь.

— Не такое. Ничуточки общего.— И помолчав минуты две-три: — Это первый чистый момент за несколько месяцев. Этот день. Все вокруг.— И после паузы добавила: — И ты.

— Да брось. Я-то как раз — лишнее. Ложка дегтя.

— И все-таки не хотела бы, чтоб рядом был кто-то другой.— Повернулась в сторону Эвбеи; помятое, неожиданно бесстрастное лицо. Потом посмотрела мне в глаза.— А ты?

— Не знаю, какая еще девушка смогла бы так высоко забраться.

Обдумав эти слова, она снова посмотрела на меня.

— Умеешь ты уходить от ответа.

— Я рад, что мы здесь. Ты молоток, Келли.

— А ты ублюдок, Эрфе.

Но видно было, что она польщена.

41

На обратном пути нас немедля одолела усталость. Алисон обнаружила на левой пятке мозоль — новые кеды натерли. В сгущающихся сумерках мы минут десять пытались чем-нибудь забинтовать ей ногу, и тут нас застигла ночь, скорая, как падающий занавес. Сразу поднялся ветер. Небо оставалось чистым, звезды сияли вовсю, но мы, похоже, спустились не по тому склону и не нашли приюта там, где, по моим расчетам, должны были найти. Я с трудом различал дорогу и с еще большим трудом соображал. Мы тупо направились дальше и оказались в огромном кратере. Угрюмый лунный пейзаж: заснеженные скалы, в расщелинах дико завывает ветер. Волки уже не казались подходящей темой для легкого трепа.

Наверно, Алисон боялась сильнее, чем я, да и замерзла больше. На дне впадины выяснилось, что вылезти из нее можно лишь тем же путем, каким мы сюда попали, и мы на несколько минут присели передохнуть под защитой массивного валуна. Я прижал ее к себе, согревая. Она зарылась лицом в мой свитер; абсолютно невинное объятие. Я сжимал ее, сотрясаясь от холода в этом невероятном месте, в миллионе лет и миль от душных ночных Афин, и чувствовал... нет, ничего особенного, мне просто кажется. Тут к любой девушке потянет, убеждал я себя. Но, озирая мрачный ландшафт, почти идеально соответствующий моей собственной судьбе, я вспомнил фразу погонщика: волки в одиночку не охотятся, всегда стаей. Одинокий волк — это просто красивая легенда.

Я помог Алисон подняться, и мы поплелись обратно. К западу тянулся длинный хребет, затем седловина; склон сбегал вниз, к темному далекому лесу. Случайно мы заметили на фоне неба контур кольцевого холма, который я помнил по восхождению. Приют был по ту его сторону. Алисон, видно, совсем отключилась; я изо всех сил тянул ее за собой. Ругался, упрашивал, только бы двигалась. Через двадцать минут в распадке показался приземистый темный кубик — приют.

Я посмотрел на циферблат. Подъем занял полтора часа; возвращение — три.

Внутри я ощупью отыскал топчан и усадил Алисон. Потом чиркнул спичкой, нашел лампу и попробовал зажечь; но в ней не было ни фитиля, ни керосина. Я сунулся в очаг. Дрова, слава богу, сухие. Я разорвал всю бумагу, которая оказалась под рукой: книжку Алисон, продуктовые

обертки; с замиранием сердца поджег. Заклубился дымок, в нос шибануло смолой, и дерево занялось. Вскоре хижина наполнилась красноватым мерцанием, бурыми тенями и, главное, теплом. Я нагнулся за ведром. Алисон встрепенулась.

— Воды принесу.

— Ага.— Тусклая улыбка.

— Накрылась бы одеялом.— Она кивнула.

Поход к ручью отнял у меня пять минут, но, когда я вернулся, она уже бодро подбрасывала в печь поленья, босая, на красном одеяле, расстеленном меж топчанами и очагом. На нижней лежанке она разложила припасы: хлеб, шоколад, сардины, паксимадью, апельсины; нашелся даже старый котелок.

— Келли, тебе было сказано лежать.

— Я ж как-никак стюардесса. Даже после крушения надо скрасить пассажирам жизнь.— Взяла у меня ведро и принялась мыть котелок. Присела, выставив красные волдыри на пятках.— Жалеешь, что мы слазили?

— Нет.

Взглянула на меня.

— Не жалеешь — и только?

— Радуюсь.

Довольная, она снова взялась за котелок, наполнила его водой, стала крошить туда шоколад. Я сел на край топчана, снял обувь и носки. Хотелось вести себя непринужденно, но у меня, как и у нее, это не получалось. Жар очага, тесная комната — и мы вдвоем среди холодной пустоты.

— Ничего, что я так нагло проявляю свою женскую сущность?

Интонация ее казалась иронической, но лица не было видно. Она начала помешивать шоколад на плите.

— Не говори ерунды.

Железная крыша загрохотала под натиском ветра, и дверь, застонав, полуоткрылась.

— Потерпевшие кораблекрушение,— сказала она.

Подперев дверь лыжей, я взглянул на Алисон. Она помешивала жидкий шоколад палочкой, изогнувшись, дабы уберечься от жара, лицом ко мне. Состроив гримаску, обвела глазами грязные стены.

— Романтично, правда?

— Да уж, пока ветер — снаружи.— Она заговорщически улыбнулась и заглянула в котелок.— Чему ты смеешься?

— Тому, что все так романтично.

Я снова уселся на топчан. Она стянула джемпер и вынула заколки из волос. Я подумал о Жюли; но в эту обстановку она как-то не вписывалась. Беззаботным тоном я воскликнул:

— Отлично смотришься. Будто всю жизнь этим занималась.

— А ты думал?.. Повертись в самолетной кухоньке четыре на два.— Подбоченилась одной рукой; недолгое молчание; отзвук давних вечеров на Рассел-сквер.— Помнишь, мы ходили на пьесу Сартра, как ее?

— «Взаперти».

— Вот-вот. Здесь все очень похоже.

— В каком смысле?

Она не оборачивалась.

— Как устану, всегда игривые мысли одолевают.— Я задержал дыхание.— Что тебе стоит? — спросила она тихо.

— Если поначалу анализы и дают отрицательный результат, это вовсе не означает...

Она вытащила из котелка темно-коричневую щепку.

— Кажется, это изумительное консоме по-королевски уже поспело.

Подошла и присела рядом, все так же отводя глаза, с механической улыбкой стюардессы.

— Не выпьете ли для аппетита, сэр?

Сунула котелок мне под нос, высмеивая и себя, и мою серьезность; я рассмеялся, но она не рассмеялась в ответ, лишь едва-едва улыбнулась. Я взял у нее котелок. Она ушла в дальний угол хижины; стала расстегивать кофточку.

— Что ты делаешь?

— Раздеваюсь.

Я отвернулся. Но она снова оказалась рядом, завернутая в одеяло, как в саронг; потом бесшумно уселась на пол, подложив под себя другое, свернутое, одеяло, на безопасном расстоянии в два фута. Когда она повернулась, чтобы достать из-за спины еду, одеяло на ногах разошлось. Она сразу поправила его, но на задворках моего сознания воздел руки и ту, запретную, часть тела Приапчик — и дико засверкал глазами.

Мы принялись за еду. Паксимадья (поджаренные в оливковом масле сухарики) была, как обычно, безвкусна, горячий шоколад чересчур жидок, а сардины просто несъедобны, но мы так проголодались, что не замечали этого. Наконец — я тоже перебрался на пол — мы, насытившись, откинулись на топчан, дымя наперегонки с печкой. Оба мы молчали, словно ожидая чего-то. Я чувствовал себя как впервые, когда все либо вот-вот прекратится, либо дойдет до самого конца. Шевельнуться боялся. Ее голые плечи — тонкие, округлые, нежные. Край одеяла, засунутый под мышку, обвис, слегка приоткрыв грудь.

Тишина все сильнее сковывала нас — меня во всяком случае; словно соревнование — кто первый не выдержит и раскроет рот. Ее рука лежала на одеяле: нагнись и дотронься. Я начал понимать, что она пользуется ситуацией, нарочно припирает меня к стенке; молчание лишь выявило, что она сильнее; что я хочу ее — не Алисон как таковую, а женщину, просто женщину, оказавшуюся поблизости. В конце концов я бросил окурок в очаг, поудобнее прислонился к топчану и смежил веки, точно устал до смерти, точно не в силах бороться со сном — впрочем, если б не Алисон, это было бы правдой. Вдруг она пошевелилась. Я открыл глаза. Она сидела нагая, отбросив одеяло.

— Алисон. Не надо.— Но она поднялась на колени и стала стаскивать с меня одежду.

— Бедненький.

Выпрямила мне ноги, расстегнула рубашку, вытащила ее из брюк. Я зажмурился и позволил раздеть себя до пояса.

— Это нечестно.

— Ты такой загорелый.

Она гладила мои бока, плечи, шею, губы, забавляясь и присматриваясь, как ребенок к новой игрушке. Стоя на коленях, поцеловала меня в шею, и ее соски скользнули по моей коже.

— Никогда себе не прощу, если...— начал я.

— Молчи. Тихо лежи.

Раздела меня совсем, провела по своему телу моими ладонями, чтобы я вспомнил эту нежную кожу, изгибы плоти, худобу — вечно естественный рельеф наготы. Ее пальцы. Пока она ласкала меня, я думал: это все равно что со шлюхой, бывалые шлюхины жесты, телесная радость и больше ничего... но затем отдался радости, которую она мне дарила. Вот легла сверху, положила голову мне на грудь. Долгое молчание. Треснуло полено, обдав наши ноги веером угольков. Я гладил ее волосы, спину, тонкую шею, усмиренный весь, до нервных окончаний. Представил себе Жюли, лежащую на мне в той же позе, и мне показалось, что любовные игры с ней должны оказаться более бурными и пылкими, не столь обыденными — кости ломит от усталости, жара, капельки пота... в голове крутятся банальные словечки — «баба», например; о нет — белый накал, таинственная, всепоглощающая страсть.

Алисон бормотала, ерзала, кусалась, скользила по мне — эти ласки у нее звались турецкими, и она знала, что мне они нравятся, что они понравятся любому мужчине; наложница, рабыня.

Помню еще, как мы рухнули на топчан — грубый соломенный матрац,

шершавые одеяла,— она стиснула меня, поцеловала в губы так быстро, что я не успел отпрянуть, а затем повернулась спиной; помню влагу ее сосков, руку, мешающую моей соскользнуть с ее груди, узкий гладкий живот, слабый запах чистых, промытых дождем волос; и стремительный, не дающий разложить все по полочкам, сон.

Среди ночи я проснулся, встал и глотнул воды из ведра. Сквозь пулевые отверстия протянулись круглые лучики только что взошедшей луны. Я вернулся и склонился над Алисон. Та откинула край одеяла, тихо посапывая, приоткрыла рот; одна грудь обнажена и чуть свесилась на матрац; тлеющие угли отбрасывают на кожу темно-красные отсветы. Юная и древняя; невинная и продажная; женщина во всем, женщина прежде всего.

В этом приливе восторга и нежности я с бесповоротной ясностью не вполне проснувшегося человека решил, что завтра расскажу ей все как есть — это не будет признанием во лжи, нет, она сразу увидит истинную причину, увидит, что действительный мой недуг, в отличие от сифилиса, неизлечим, что мой случай — врожденная склонность к полигамии — банальнее и страшнее. Я просто смотрел на нее — не дотронулся, не отшвырнул одеяло, не лег сверху, не вошел в нее, не взял, как ей того бы хотелось. Осторожно укрыл обнаженную грудь, забрал несколько одеял и отправился на другую лежанку.

42

Нас разбудил чей-то стук; дверь приоткрылась. В щель ворвался солнечный свет. Увидев, что мы еще в постелях, пришедший остался снаружи. Я взглянул на часы. Десять утра. Я оделся и вышел. Пастух. В отдалении слышались колокольчики стада. Он отогнал посохом двух огромных собак, скаливших на меня зубы, и вытащил из карманов куртки две порции сыра, завернутые в щавель,— нам на завтрак. Через минуту-другую появилась Алисон, заталкивая рубашку в джинсы и жмурясь на солнце. Мы поделились с пастухом остатками сухарей и апельсинов; отщелкали последние кадры. Я рад был его приходу. Алисон решила, что наши былые отношения вернулись,— я читал это в ее глазах так ясно, словно мысли в них сразу же облекались в печатные буквы. Она расколола лед; но от меня зависело, прыгать ли в воду.

Пастух поднялся, пожал нам руки и удалился вместе с обоими волкодавами, оставив нас одних. Алисон вытянулась на солнышке поперек каменной плиты, заменившей нам стол. Ветер после вчерашнего утих, день был по-весеннему тепел, небо сияло голубизной. Вдали звенели ботала, высоко-высоко заливалась птица, голосом похожая на жаворонка.

— Остаться бы тут насовсем.

— Мне надо вернуть машину.

— Да нет, я просто мечтаю.— Посмотрела на меня.— Иди-ка сядь со мной.— Похлопала ладошкой по камню. Серые глаза глядят с предельным простодушием.— Ты не сердишься?

Я нагнулся, чмокнул ее в щеку, она обняла меня так, что пришлось на нее навалиться, и мы заговорили шепотом, я — в ее левое ухо, она в мое.

— Скажи: мне этого хотелось.

— Мне этого хотелось.

— Скажи: я еще люблю тебя немножко.

— Я еще люблю тебя немножко.— Ущипнула меня за спину.— Множко, множко.

— И теперь буду вести себя хорошо.

— Н-ну...

— И не пойду больше к этим мерзким теткам.

— Не пойду.

— Глупо же платить, когда все у тебя есть задаром. Плюс любовь.

— Знаю.

У самых глаз распластались на камне кончики ее прядей; как заставить себя признаться? Ведь это все равно что наступить на цветок из-за того, что

неохота в сторону шагнуть. Я попробовал встать, но она вцепилась мне в плечи, чтобы я и дальше смотрел ей в лицо. Секунду я терпел ее прямой взгляд, потом вырвался и сел, отвернувшись.

— Что-то не так?

— Все так. Просто теряюсь в догадках, что за недобрый бог заставляет тебя, прелестное дитя, вздыхать по такому дерьму, как я.

— Знаешь, что я вспомнила? Слово в кроссворде. Ну-ка отгадай.— Я приготовился.— «Большая часть Николаса в ней присутствует, хоть и в другом порядке». Шесть букв.

Поразмыслив, я улыбнулся.

— Там точка стояла или вопросительный знак?

— Слезы мои. Как всегда.

И только птичья трель над нами.

Двинулись в обратный путь. Чем ниже мы спускались, тем теплее становилось. Лето всходило по склонам нам навстречу.

Алисон шла впереди и потому не видела моего лица. А я пытался разобраться в своих чувствах. Меня до сих пор смущало, что она придает такое значение телесному — одновременному оргазму. И принимает его за любовь, не догадываясь, что любовь совсем иная... таинство пряданья, скрытности, лесной дороги назад, губ, в последний миг отведенных прочь. Мне пришло в голову, что на Парнасе-то как раз кстати осудить ее прямолинейность, неумение прятаться в метафоры; кстати высмеять ее, как высмеивают беспомощные вирши. И все же неким непостижимым образом она знала, всегда знала секрет фокуса, позволявшего огибать возводимые мною преграды меж нами; точно она и вправду сестра мне, точно ей доступны запретные пружины, подтягивающие на один уровень наши внутренние совпадения или, наоборот, сводящие на нет разницу в наших взглядах и вкусах.

Она принялась рассказывать, до чего тяжела жизнь стюардессы:

— Господи, какое там любопытство! Через пару рейсов от него и следа не остается. Новые люди, новые места, новые подходцы смазливых летчиков. Большинство из них считает, что мы входим в набор пилотских привилегий. Становимся друг дружке в затылок и ждем, пока они осчастливят нас своими заслуженными ветеранскими дрынами.

Я рассмеялся.

— Ничего смешного, Нико. Сдохнуть можно. Фигова жестянка. И такая воля, такой простор снаружи. Иногда хочется взять и открыть аварийный люк, пусть тебя вытянет в атмосферу. Просто падение, одна минута прекрасного, свободного падения, без всяких пассажиров...

— Не сочиняй.

— Я говорю серьезнее, чем ты думаешь. У нас это называют «кризис обаяния». Когда становишься ну до того безупречно обаятельной, что перестаешь быть человеком. Похоже на... вот, бывает, после взлета так закрутишься, что не знаешь точно, высоко ли поднялся самолет, вдруг посмотришь в иллюминатор — ох!.. так и тут, доходит вдруг, до чего далека от себя настоящей. Или прежней, не знаю. Я плохо объяснила.

— Вовсе нет. Очень хорошо.

— Начинаешь понимать, что на самом деле ты — ниоткуда. Мало мне раньше было с этим забот! Об Англии и речи быть не может, это просто паноптикум, кладбище какое-то. А Австралия... Австралия... Господи, до чего ее ненавижу. Жмотская, дебильная, тупая...— Она не закончила.

Чуть дальше снова заговорила:

— Просто я больше ни с чем не связана, я — ничья. Какое место ни возьми, я либо прилетаю, либо улетаю оттуда. Или пролетаю над ним. Только люди, которые мне нравятся. Которых я люблю. Вот они — моя последняя родина.

Она посмотрела через плечо — робкий взгляд, словно она долго скрывала эту правду о себе, о своей неприкаянности, бездомье, понимая, что и ко мне все это в полной мере относится.

— Но и от бесполезных иллюзий мы все-таки тоже избавились.

— Хорошо быть ловкими.

Она умолкла, и я не стал отвечать на ее сарказм. Несмотря на внешнюю независимость, она не могла без опоры. Всю жизнь стремилась это опровергнуть — и тем самым подтверждала. Будто морской анемон — тронь, и он присосется к руке.

Она остановилась. Мы услышали его одновременно — шум воды, грохот воды справа внизу.

— Я не прочь ополоснуть ноги. Давай спустимся.

Мы наугад свернули с дороги в лес и вскоре напали на еле заметную тропку. Она вела вниз, вниз, туда, где расступались деревья. На дальнем краю поляны шумел водопад футов десять высотой. Под ним скопилось прозрачное озерцо. Луг был полон цветов и бабочек — блюдце изумрудно-золотой роскоши, в пику тенистому лесу, оставшемуся за спиной. Над поляной нависал небольшой утес с пещеркой внутри, какой-то пастух замаскировал вход еловыми лапами. На полу были овечьи катышки, но старые. Вряд ли этим летом сюда кто-нибудь заглядывал.

— Искупаемся?

— Она ж ледяная.

— А-а!

Стащила кофточку через голову, расстегнула лифчик, улыбаясь мне сквозь иглистую тень ветвей.

— Тут, наверно, уйма змей.

— Как в раю.

Выскочила из джинсов и трусиков. Потянулась, сорвала с ветки сухую шишку и вручила мне. Я смотрел, как она бежит нагишом по высокой траве к озеру, пробует воду, ежится. Зашла по колено, взвизгнула, поплыла, держа голову высоко над поверхностью. Я прыгнул в нефритовую талую воду следом за ней; перехватило дух. И все же это было чудесно — сень дерев, солнечная луговина, пенный рык водопадика, льдистый холод, безлюдье, смех, нагота; такие минуты помнишь потом всю жизнь.

Мы уселись в траву у пещеры, обсыхая на солнце и ветерке и доедая шоколад. Потом Алисон повернулась на спину, раскинула руки, чуть развела ноги, готовая принять солнце — и, как я понял, меня. Некоторое время я лежал в той же позе, прикрыв глаза.

Потом она произнесла:

— Я — королева Мэй.

Она уже лицом ко мне, опирается на руку. Из васильков и ромашек, росших вокруг, она кое-как сплела венок. Теперь он криво сидел на ее нечесаной голове; на губах — трогательная улыбка целомудрия. И тут, впервые за эти дни, у меня возникла явственная литературная ассоциация, на которую Алисон, конечно, не рассчитывала. Я мог точно назвать источник — хрестоматия «Английский Геликон» [1]. Мне бы припомнить, что метафора метафоре рознь, что величайшие лирики, как правило, весьма буквальны и конкретны. Вдруг показалось, что она — совсем как из стихотворения, и я ощутил бурный прилив желанья. Не из одной лишь похоти, не только потому, что сейчас она приняла самое чарующее свое обличье — неотразимо прелестная, с маленькой грудью, тонкой талией, рука упирается в землю, на локте напряженная ямочка; шестнадцатилетняя девчушка, а не женщина под двадцать пять; но потому, что через блеклые, неброские слои сегодняшнего просвечивало ее истинное, уязвимое «я» — и в этом смысле душа ее была такой же голой, как тело; Ева, явленная сквозь толщу десяти тысяч поколений.

Я разрывался: любил ее, не хотел терять, и в то же время не хотел терять — или жаждал обрести — Жюли. Не то чтобы одну я желал сильнее, чем другую,— я желал обеих. Мне нужны были обе, в этом я ни на йоту не лицемерил. А если и лицемерил, то в тот миг, когда допускал мысль, что надо притворяться, что-то утаивать... к признанию вынудила меня любовь,

[1] «Английский Геликон» (1600) — антология поэзии елизаветинского периода, включенная в обязательную школьную программу.

а не жестокость, не стремление высвободиться, очерстветь и очиститься — только любовь. И, по-моему, в те долгие секунды Алисон это поняла. Должно быть, она заметила на моем лице выражение боли и печали, потому что осторожно спросила:

— В чем дело?

— Не было у меня сифилиса. Все это ложь.

Внимательно посмотрела, откинулась навзничь в траву.

— Ах, Николас.

— Мне надо рассказать тебе...

— Не сейчас. Пожалуйста, не сейчас. Что бы там ни было, иди ко мне, люби меня.

И мы занялись любовью; не сексом, а любовью; хотя секс был бы гораздо благоразумнее.

Лежа рядом с ней, я взялся описывать то, что произошло в Бурани. Древние греки утверждали: проведший ночь на Парнасе либо обретает вдохновение, либо лишается рассудка; и со мной, без сомнения, случилось последнее; чем дольше я говорил, тем больше понимал, что лучше бы помолчать... но меня подгоняла любовь с ее жаждой открытости. Для признания я выбрал самый неудачный момент из всех возможных, и, как многие, кто с детства привык кривить душой, переоценил сочувствие, возбуждаемое в собеседнике неожиданной искренностью... но меня подгоняла любовь с ее тоской по пониманию. И Парнас сыграл свою роль, его греческий дух; ложь тут выглядела болезненным изощреньем.

Конечно, ее прежде всего интересовало, почему до сих пор я выдумывал столь неуклюжие отговорки, но я не спешил поведать, чем притягивает меня вилла сильнее всего, пока Алисон не ощутит своеобразие тамошней атмосферы. О Кончисе я вроде бы рассказывал по порядку, но вышло, что какие-то важные детали до поры приходилось опускать.

— Не то чтоб я воспринимал все это всерьез, как ему бы хотелось. Впрочем... после сеанса гипноза не знаю что и думать. Понимаешь, когда он рядом, в нем чувствуется некая сила. Не то чтоб сверхъестественная. Не могу объяснить.

— Похоже, все это специально подстроено.

— Пусть так. Но почему я? Откуда он знал, что я приеду на остров? Я для него ничего не значу, он обо мне явно невысокого мнения. Как о личности. Все время высмеивает.

— И все-таки не соображу...— Но вдруг сообразила. Взглянула на меня.— Там есть кто-то еще.

— Милая Алисон, ради бога, постарайся понять. Выслушай.

— Слушаю.— Но смотрела она в сторону.

И я наконец рассказал ей. Убеждал, что нет там ничего плотского, чисто духовный интерес.

— Так уж и духовный.

— Элли, ты не представляешь, как я себя эти дни кляну. Раз десять пробовал все тебе рассказать. Мне вообще нет резона испытывать к ней интерес. Ни духовный, ни телесный. Еще месяц, еще три недели назад я не поверил бы, что такое может случиться. Не понимаю, что я в ней нашел. Честное слово. Знаю только, что околдован, покорен всем, что там происходит. Она — лишь кусочек этого. Что-то совершенно невероятное. И я... в этом участвую.— Никакой реакции.— Мне нужно вернуться туда. Не бросать же работу. У меня столько обязанностей, они сковывают по рукам и ногам.

— А девушка? — склонив лицо, она срывала метелки с былинок.

— Не бери в голову. Честно. Она — лишь малая часть.

— Что ж ты тогда выпендривался?

— Пойми, я сам не знаю, что со мной.

— Она красивая?

— Если бы я хотел от тебя отделаться, это можно было устроить гораздо проще.

— Она красивая?
— Да.
— Очень красивая.
Я промолчал. Она закрыла лицо ладонями. Я погладил ее по теплому плечу.
— Она совсем не похожа на тебя. Не похожа на современную девушку. Трудно объяснить.— Она отвернулась.— Алисон.
— Веду себя, как...— Не договорила.
— Ну, не смеши людей.
— Что-что?!
Тяжелая пауза.
— Послушай, я изо всех сил, первый раз за свою гнусную жизнь, пытаюсь быть честным. Да, я виноват. Познакомься я с ней завтра, сказал бы: иди гуляй, я люблю Алисон, Алисон любит меня. Но я встретил ее две недели назад. И увижусь снова.
— И не любишь Алисон.— Она смотрела мимо меня.— Или любишь, пока не подвернется какая-нибудь посимпатичней.
— Глупости.
— А я и есть глупая. Одни глупости, что на уме, что на языке. Я дура набитая.— Стала на колени, набрала воздуха.— И что теперь? Сделать книксен и удалиться?
— Я сам понимаю, что запутался...
— Запутался! — фыркнула она.
— Зарвался.
— Вот это вернее.
Мы замолчали. Мимо, кренясь и виляя, пропорхали две сплетшиеся тельцами желтые бабочки.
— Я просто хотел, чтоб ты обо мне все знала.
— Я о тебе все знаю.
— Если б действительно знала, с самого начала отшила бы.
— И все-таки — знаю.
И вперилась в меня холодным серым взглядом; я отвел глаза. Встала, пошла к воде. Безнадежно. Не успокоишь, не уговоришь. Никогда не поймет. Я оделся и, отвернувшись, в молчании ждал, пока оденется она.
Приведя себя в порядок, сказала:
— И, ради бога, ни слова больше. Это невыносимо.

В пять мы выехали из Араховы. Я дважды пробовал возобновить разговор, но она меня обрывала. Все, что можно было сказать, сказано; всю дорогу она сидела молча, чернее тучи.
У переезда в Дафни мы были в половине десятого; последние лучи заката над янтарно-розовой столицей, далекие самоцветы раннего неона в Синтагме и Оммонье. Вспомнив, где мы были вчера в это же время, я взглянул на Алисон. Она подкрашивала губы. Может, выход все-таки есть: отвезу ее в нашу гостиницу, займусь с ней любовью, движениями чресл внушу, что люблю ее... и правда: пусть убедится, что ради меня стоило бы помучиться, и прежде и впредь. Я понемногу заговорил об афинских достопримечательностях, но отвечала она односложно, через силу, и я умолк, чтоб не позориться. Розовый свет сгустился до фиолетового, и вскоре настала ночь.
По прибытии в пирейскую гостиницу — я забронировал номера до нашего возвращения — Алисон сразу поднялась наверх, а я отогнал машину в гараж. На обратном пути купил у цветочника дюжину красных гвоздик. Отправился прямо к ее номеру, постучал. Стучать пришлось раза три; наконец она открыла. Глаза красные от слез.
— Я тут цветов принес.
— Забери свои подлые цветы.
— Слушай, Алисон, жизнь продолжается.
— Да, только любовь закончилась.
— Зайти не пригласишь? — выдавил я.

— С какой стати?

Комната за ее спиной, в проеме полуоткрытой двери, была погружена в темноту. Выглядела Алисон ужасно; маска непреклонности; острое страдание.

— Ну впусти, поговорить надо.

— Нет.

— Пожалуйста.

— Уходи.

Я оттолкнул ее, вошел, прикрыл дверь. Она наблюдала за мной, прижавшись к стене. Глаза блестели в свете уличных фонарей. Я протянул ей букет. Она схватила его, подошла к окну и швырнула во мглу — алые лепестки, зеленые стебли; замерла у подоконника, спиной ко мне.

— Эта история — все равно что книга, которую дочитал до середины. Не выбрасывать же ее в урну.

— Лучше меня выбросить.

Я подошел сзади и обнял ее за плечи, но она сердито высвободилась.

— На хер иди. На хер.

Я сел на кровать, закурил. Снизу, из динамика кафе, размеренно зудела македонская народная мелодия; но мы с Алисон были словно отъединены от окружающего какой-то обморочной пеленой.

— Когда я ехал сюда, понимал, что видеться с тобой не надо. В первый вечер и весь вчерашний день твердил себе, что больше не питаю к тебе нежных чувств. Не помогло. Потому я и рассказал. Да, не к месту. Не вовремя.— Казалось, она не слушает; я выложил последний козырь.— Рассказал, а мог бы и не рассказывать. Продолжал бы водить тебя за нос.

— Не меня ты водил за нос.

— Послушай...

— И что это за выражение — «нежные чувства»? — Я молчал.— Господи, да ты не только любить боишься. У тебя и слово-то это произнести язык не поворачивается.

— Я не знаю, что оно означает.

Крутанулась на месте.

— Так я тебе объясню. Любить — это не только то, о чем я тебе тогда написала. Не только идти по улице и не оборачиваться. Любить — это когда делаешь вид, что отправляешься на службу, а сама несешься на вокзал. Чтобы преподнести тебе сюрприз, поцеловать, что угодно,— напоследок; и тут я увидела, как ты покупаешь журналы в дорогу. Меня бы в то утро ничто не смогло рассмешить. А ты смеялся. Как ни в чем не бывало болтал с киоскером и смеялся. Вот тогда я поняла, что значит любить: видеть, как тот, без кого ты жить не можешь, с прибаутками от тебя уматывает.

— Почему же ты не...

— Знаешь, что я сделала? Потащилась прочь. И весь растреклятый день лежала калачиком в *нашей* постели. Но не из любви к тебе. От злости и стыда, что люблю такого.

— Если б я знал!

Отвернулась.

— «Если б я знал!». Господи Иисусе! — Воздух в комнате был наэлектризован яростью.— И еще. Вот ты говоришь, любовь и секс — одно и то же. Так вот что я тебе скажу. Кабы я только об этом заботилась, бросила бы тебя после первой же ночи.

— Прости, что не угодил.

Посмотрела на меня, вздохнула, горько усмехнулась.

— Господи, теперь он обиделся. Я ж имею в виду, что любила тебя за то, что ты — это ты. А не за размеры члена.— Снова вперилась в ночь.— Да нет, в постели у тебя все нормально. Но у меня...

Молчание.

— У тебя бывали и получше.

— Да не в этом же дело.— Прислонилась к спинке кровати, глядя на меня сверху вниз.— Похоже, ты настолько туп, что даже не понимаешь, что

совсем не любишь меня. Что ты — мерзкий надутый подонок, который и помыслить не может, что в чем-то неполноценен,— наоборот, поперек дороги не становись. Тебе ж все до лампочки, Нико. Там, в глубине-то души. Ты так устроился, что тебе все нипочем. Натворишь что-нибудь, а потом скажешь: я не виноват. Ты всегда на коне. Всегда готов к новым подвигам. К новым романам, черт их раздери.

— Умеешь ты извратить...

— Извратить! Силы небесные, от кого я это слышу? Да ты сам-то сказал хоть раз слово в простоте?

Я повернул к ней голову:

— То есть?

— Весь этот треп о чем-то таинственном. Думаешь, я на него клюнула? Познакомился на острове с девушкой и хочешь ее трахнуть. Вот и все. Но это, понятное дело, по́шло, грубо. И ты распускаешь слюни. Как всегда. Обвешался этими слюнями, весь такой безупречный, мудрец великий — «я должен пережить это до конца!». Всегда извернешься. И рыбку съешь, и... Всегда...

— Клянусь...— Но тут она метнулась в сторону, и я замолчал. Принялась мерить комнату шагами. Я нашел еще аргумент.— То, что я не собираюсь на тебе — и вообще ни на ком — жениться, не значит, что я тебя не люблю.

— Вот я как раз вспомнила. Ту девочку. Ты думал, я не замечу. Та девочка с чирьем. Как ты взбесился! Алисон демонстрирует, как она любит детей. Проявляет инстинкт материнства. Так вот, чтоб ты знал. Это и был инстинкт материнства. На секундочку, когда она улыбнулась, я представила себе. Представила, что у меня твой ребенок, и я обнимаю его, и все мы вместе. Жуть, да? У меня тяжелый случай этой грязной, отвратной, вонючей штуки под названием любовь... Господи, да сифилис по сравнению с ней — цветочки... И ведь я еще по испорченности, по неотесанности, по дебильности своей набралась хамства приставать к тебе со...

— Алисон.

Судорожный вздох; комок в горле.

— Я, как только увидела тебя в аэропорту, поняла. Для тебя я всегда останусь потаскухой. Австралийской девкой, которая делала аборт. Не женщина, а бумеранг. Бросаешь ее, а в следующую субботу она тут как тут и хлеба не просит.

— Может, хватит бить ниже пояса?

Она закурила. Я подошел к окну, а она продолжала говорить от двери, через весь номер, мне в спину:

— Осенью, ну, прошлой... я и подумать боялась тогда. И подумать боялась, что любовь к тебе в разлуке ослабеет. Она разгоралась все ярче и ярче. Черт знает почему, ты был мне ближе, чем кто бы то ни было прежде. Черт знает почему. Хоть ты и пижонский англик. Хоть и помешан на высшем обществе. Я так и не смирилась с твоим отъездом. Ни Пит, ни еще один мне не помогли. Всю дорогу — идиотская девчачья мечта: вот ты мне напишешь... Я в лепешку разбилась, но устроила себе трехдневный перерыв. А в эти дни из кожи лезла. Даже когда поняла,— господи, как хорошо поняла! — что тебе со мной просто скучно.

— Неправда. Мне не было скучно.

— Ты все время думал о той, с Фраксоса.

— Я тоже тосковал по тебе. В первые месяцы — нестерпимо.

Вдруг она зажгла свет.

— Повернись, посмотри на меня.

Я повиновался. Она стояла у двери, все в тех же джинсах и темно-синей кофточке; вместо лица — бледно-серая маска.

— У меня кое-что отложено. Да и ты не совсем уж нищий. Скажи только слово, и завтра я уволюсь. Поеду к тебе на остров. Я говорила — домик в Ирландии. Но я куплю домик на Фраксосе. Выдержишь? Выдержишь эту тяжкую ношу — жить с той, которая любит тебя?

Подло, но при словах «домик на Фраксосе» я почувствовал дикое облегчение: она ведь не знает о приглашении Кончиса.

— Или?
— Можешь отказаться.
— Ультиматум?
— Не юли. Да или нет?
— Алисон, пойми...
— Да или нет?
— Такие вещи с наскока...
Чуть жестче:
— Да или нет?
Я молча смотрел на нее. Печально покривившись, она ответила вместо меня:
— Нет.
— Просто потому, что...
Она подбежала к двери и распахнула ее. Я был зол, что дал завлечь себя в эту детскую ловушку, где выбираешь «или — или», где из тебя бесцеремонно вытягивают обеты. Обошел кровать, выдрал дверную ручку из ее пальцев, захлопнул дверь; потом схватил Алисон и попытался поцеловать, шаря по стене в поисках выключателя. Комнату снова заполнил мрак, но Алисон вовсю брыкалась, мотая головой из стороны в сторону. Я оттеснил ее к кровати, и мы рухнули туда, сметя с ночного столика лампу и пепельницу. Я был уверен, что она уступит, должна уступить, но вдруг она заорала, да так, что крик заполнил всю гостиницу и эхом отдался в портовых закоулках:
— ПУСТИ!
Я отшатнулся, и она замолотила по мне кулаками. Я сжал ее запястья.
— Ради бога.
— НЕНАВИЖУ!
— Заткнись!
Повернул ее на бок и прижал. Из соседнего номера застучали в стенку. Снова леденящий вопль:
— НЕНАВИЖУ!
Закатил ей пощечину. Она бурно разрыдалась, ерзая по одеялу, биясь головой о спинку кровати, выталкивая из себя обрывки фраз вперемежку с плачем и судорожными вздохами:
— Оставь меня в покое... оставь в покое... говно... ферт деручий...— Взрыв стенаний, плечи вздернуты. Я встал и отошел к окну.
Она принялась бить кулаками по прутьям, точно слова уже не помогали. В тот миг я ненавидел ее; что за невыдержанность, что за истерика. Внизу, в моем номере, завалялась бутылка виски, которую она подарила мне в честь нашей встречи.
— Слушай, я пойду принесу тебе выпить. Кончай завывать.
Нагнулся над ней. Она все барабанила по прутьям. Я направился к двери, помедлил, оглянулся и вышел в коридор. Трое греков — мужчина, женщина и еще мужчина, постарше,— стояли на пороге своей комнаты через дверь от меня, пялясь, точно перед ними явился убийца. Я спустился к себе, откупорил бутылку, глотнул прямо из горлышка и вернулся наверх.
Дверь была заперта. Троица продолжала наблюдение; под их взглядами я толкнул дверь, постучал, снова толкнул, постучал, позвал ее.
Тот, что постарше, приблизился.
— Что-нибудь случилось?
Я скорчил рожу и буркнул: жара.
Он механически повторил, чтоб услышали остальные. А-а, жара, сказала женщина, словно это все объясняло. Они не двигались с места.
Я предпринял еще один заход; прокричал ее имя сквозь толщу дерева. Ни звука. Пожал плечами специально для греков и стал спускаться. Через десять минут вернулся; в течение часа возвращался раза четыре или пять; но дверь, к моему тайному облегчению, была заперта.

Разбудили меня, как я и просил, в восемь; я живо оделся и побежал к ней. Постучал; нет ответа. Нажал на ручку — дверь открылась. Кровать не застелена, но Алисон и все ее вещи исчезли. Я бросился к конторке

портье. За ней сидел очкастый старичок, смахивающий на кролика,— папаша владельца гостиницы. Он бывал в Америке и неплохо изъяснялся по-английски.

— Вы не знаете, девушка, с которой я вчера был,— она что, уже уехала?

— А? Да. Уехала.

— Когда?

Он посмотрел на часы.

— Почти час уже. Оставила вот это. Сказала отдать вам, когда спуститесь.

Конверт. Нацарапано мое имя: Н. Эрфе.

— Не сказала, куда отправилась?

— Только оплатила счет и съехала.— По его лицу я понял, что он слышал — или ему сообщили,— как она вчера кричала.

— Мы ж договорились, что я заплачу.

— Я говорил ей. Я объяснял.

— Проклятье.

Он пробубнил мне вдогонку:

— Эй! Знаете, как в Штатах говорят? Не свет клином сошелся. Слышали такую пословицу? Не свет клином сошелся.

В номере я вскрыл письмо. Торопливые каракули; в последний момент решила высказаться.

> Представь, что вернулся на свой остров, а там — ни старика, ни девушки. Ни игрищ, ни мистических утех. Дом заколочен.
> Все кончено, кончено, *кончено*.

Около десяти я позвонил в аэропорт. Алисон еще не появлялась и не появится до лондонского рейса — самолет отбывает в пять. В половине двенадцатого, перед тем как подняться на пароход, я позвонил еще раз; тот же ответ. Пока судно, набитое школьниками, отчаливало, я всматривался в толпу родителей, родственников и зевак. Мне пришло в голову, что она явится проводить меня; но если и пришла, то напоказ себя не выставила.

Безотрадный индустриальный ландшафт Пирея остался позади, и пароход повернул к югу, держа курс на знойно-синюю верхушку Эгины. Я побрел в бар и заказал большую порцию узо; детей сюда не допускали, и можно было отдохнуть от их гомона. Хлебнув неразбавленного пойла, я произнес про себя скорбный тост. Я выбрал свой путь; путь трудный, рискованный, поэтичный, и никто мне его не заступит; впрочем, тут в ушах зазвучал горький голос Алисон: «...Поперек дороги не становись».

Кто-то плюхнулся на стул рядом. Димитриадис. Хлопнул в ладоши, подзывая бармена.

— Угостите меня, развратный вы англичанин. Сейчас расскажу, до чего веселые выходные у меня выдались.

43

Представь, что вернулся на свой остров, а там... Во вторник эта фраза назойливо звучала в моих ушах; весь день я пытался поставить себя на место Алисон. Вечером сочинил ей длинное письмо, и не одно, но так и не сумел сказать того, что сказать хотелось: что обошелся с ней гнусно, однако иначе обойтись не мог. Будто спутник Одиссея, обращенный в свинью, я не в силах был преодолеть свою новую натуру. Порвал написанное в клочья. Я не нашел мужества признаться, что околдован и при этом, как ни дико, вовсе не желаю, чтоб меня расколдовали.

Я с головой ушел в преподавание: неожиданно выяснилось, что оно наполняет жизнь хоть каким-то смыслом. В среду вечером, вернувшись к себе после уроков, я обнаружил на столе записку. Мгновенно взмок. Я сразу узнал этот почерк. «С нетерпением ждем Вас в субботу. Если до той поры не пришлете никакой весточки, буду считать, что приглашение принято. Морис Кончис». В верхнем углу пометка: «Среда, утро». Невероятное

облегчение, пылкий восторг; все, что я натворил за время каникул, показалось если не благом, то неизбежным злом.

Отложив непроверенные тетради, я выбежал из школы, поднялся на водораздел и, стоя на этом привычном наблюдательном пункте, долго впивал взглядом крышу Бурани, южную половину острова, море, горы — близкие очертания сказочной страны. Меня переполняло уже не жгучее желание спуститься и подглядеть, как на прошлой неделе, но стойкая взвесь надежды и веры, чувство вновь обретенного баланса. Я, как прежде, принадлежал им, а они — мне.

Трудно поверить, но, размякнув от счастья, на обратном пути я вспомнил об Алисон и почти пожалел, что той так и не удалось познакомиться со своей соперницей. Прежде чем взяться за тетради, я набросал ей вдохновенное послание.

> Милая Элли, человек просто не способен сказать кому-то: «Пожалуй, неплохо бы тебя полюбить». Понимаю, что для любви к тебе у меня тысяча причин, ведь, как я пытался тебе растолковать, по-своему, пусть по-уродски, я все-таки люблю тебя. На Парнасе было чудесно, не думай, что для меня это ничего не значит, что меня только секс интересует и что я забуду, что произошло между нами. Всем святым заклинаю, давай сохраним это в себе. Знаю, прошлого не вернуть. Но несколько мгновений — там, у водопада — никогда не потускнеют, сколько бы раз мы ни любили.

Письмо успокоило мою совесть, и утром я его отправил. Последняя фраза вышла слишком пышной.

В субботу, в десять минут четвертого, я шагнул в ворота Бурани и сразу увидел Кончиса, идущего по дороге мне навстречу. Он был в черной рубашке, брюках защитного цвета, темно-коричневых туфлях и застиранных зеленых носках. Вид он имел озабоченный, точно спешил скрыться до моего прихода. Но, заметив меня, приветственно вскинул руку. Мы остановились посреди дороги, в шести футах друг от друга.

— Привет, Николас.

— Здравствуйте.

Знакомо дернул головой.

— Как отдохнули?

— Так себе.

— Ездили в Афины?

Я приготовил ответ заблаговременно. Гермес или Пэтэреску могли сообщить ему, что я уезжал.

— Моя подруга не смогла прилететь. Ее перевели на другой рейс.

— О! Простите. Я не знал.

Пожав плечами, я прищурился.

— Я долго думал, стоит ли сюда возвращаться. Раньше меня никто не гипнотизировал.

Улыбнулся, догадавшись, что я имею в виду.

— Вас же не заставляли, сами согласились.

Криво улыбнувшись в ответ, я вспомнил, что здесь каждое слово следует понимать в переносном смысле.

— За последний сеанс спасибо.

— Он же и первый.— Моя ирония его рассердила, в голосе зазвучал металл.— Я врач и следую клятве Гиппократа. Если б мне и понадобилось допрашивать вас под гипнозом, я сперва спросил бы у вас разрешения, не сомневайтесь. Кроме всего прочего, этот метод весьма несовершенен. Есть множество свидетельств тому, что и под гипнозом пациент способен лгать.

— Но я слышал, мошенники заставляют...

— Гипнотизер может склонить вас к глупым или неадекватным поступкам. Но против суперэго он бессилен, уверяю вас.

Я выдержал паузу.

— Вы уходите?

— Весь день писал. Надо проветриться. И потом, я надеялся вас перехватить. Кое-кто ждет вас к чаю.

— Как прикажете себя вести?

Обернулся в сторону дома, взял меня за руку и не спеша направился к воротам.

— Больная растеряна. Она не может скрыть радость, что вы возвращаетесь. Но и злится, что я узнал вашу с ней маленькую тайну.

— Какую еще маленькую тайну?

Посмотрел исподлобья.

— Гипнотерапия входит в курс *ее* лечения, Николас.

— С ее согласия?

— В данном случае — с согласия родителей.

— Вот как.

— Я знаю, в настоящий момент она выдает себя за актрису. И знаю почему. Чтобы вам угодить.

— Угодить?

— Как я понял, вы обвинили ее в лицедействе. И она с готовностью подтверждает ваше обвинение.— Похлопал меня по плечу.— Но я ее озадачил. Сообщил, что о ее новой личине мне известно. И известно без всякого гипноза. Из ваших уст.

— Теперь она не поверит ни одному моему слову.

— Она никогда вам не доверяла. Под гипнозом призналась, что с самого начала заподозрила в вас врача, моего ассистента.

Я припомнил ее сравнение со жмурками: тебя кружат с завязанными глазами.

— И не зря заподозрила. Вы же просили меня о... помощи.

Торжествующе воздел палец.

— Именно.— Казалось, он поощрял сметливого ординатора и, точно королева в сказке Льюиса Кэрролла, в упор не видел моего замешательства.— А следовательно, теперь вы должны завоевать ее доверие. Соглашайтесь с любым наветом в мой адрес. Разоблачайте меня как обманщика. Но будьте настороже. Она может заманить вас в ловушку. Осаживайте ее, если она зайдет слишком далеко. Не забывайте, что личность ее расщеплена на несколько частей, одна из которых сохраняет способность к разумным суждениям и не раз обводила вокруг пальца тех врачей, кто лечит манию методом доведения до абсурда. Вы обязательно услышите, что я ее всюду преследую. Она попытается переманить вас на свою сторону. Сделать союзником в борьбе против меня.

Я еле сдерживался, чтобы не прикусить губу.

— Но раз доказано, что она никакая не Лилия...

— Это уже пройденный этап. Теперь я — миллионер-сумасброд. А они с сестрой — начинающие актрисы, которых я залучил в свои владения — она, конечно, изобретет какой-нибудь несусветный предлог — с целями, которые, как она, видимо, попробует вас убедить, весьма далекими от благих. Скажем, ради преступных плотских утех. Вы потребуете улик, доказательств...— Махнул рукой, словно моя задача уже не нуждалась в подробных разъяснениях.

— А если она повторит прошлогоднюю уловку — попросит меня вызволить ее отсюда?

Быстрый повелительный взгляд.

— Вы должны немедля сообщить об этом мне. Но вряд ли она отважится. Митфорд преподал ей хороший урок. И помните, с какой бы очевидностью она ни демонстрировала вам свое доверие, оно притворно. Ну и, естественно, стойте на том, что ни словом не намекнули мне, что именно произошло между вами две недели назад.

Я улыбнулся.

— О, естественно.

— Вы, конечно, понимаете, куда я клоню. Бедняжка должна осознать свои истинные проблемы по мере того, как перед ней раскрывается вся

искусственность ситуации, которую мы здесь совместными силами создали. В тот самый миг, когда она замрет и скажет: «Это не реальность. Тут все перевернуто с ног на голову»,— в тот самый миг она сделает первый шажок к выздоровлению.

— Велики ли шансы на это?

— Невелики. Но не равны нулю. Особенно если вы правильно сыграете свою роль. Да, она вам не доверяет. Но вы ей симпатичны.

— Буду стараться изо всех сил.

— Благодарю. Я очень надеюсь на вас, Николас.— Протянул руку.— Я рад, что вы вернулись.

И каждый из нас пошел своей дорогой, но я вскоре обернулся, чтобы посмотреть, куда он направляется. Несомненно, на пляж, к Муце. Непохоже было, что он прогуливался для поддержания тонуса. Скорее он вел себя как человек, спешащий с кем-то встретиться, что-то устроить. Я вновь потерял ориентировку. По пути сюда, после долгих и бесплодных размышлений я решил, что ни ему, ни Жюли доверять не стоит. Но теперь поклялся, что глаз с нее не спущу. Старик кумекает в психиатрии, владеет техникой гипноза — все это доказано на практике, а ее россказни о себе не подтверждаются сколько-нибудь весомыми фактами. Возрастала и вероятность того, что они сговорились и сообща водят меня за нос; в этом случае она такая же Жюли Холмс, как Лилия Монтгомери.

Я выбрался из леса и пересек гравийную площадку, не встретив ни души. Взлетел по ступеням и крадучись вышел на крупную плитку центральной колоннады.

Она стояла в одном из проемов, лицом к морю, на рубеже солнца и тени; и одета была — я мог это предвидеть, но все-таки опешил — на современный манер. Темно-синяя блузка с короткими рукавами, белые пляжные брюки с красным ремешком, босая, волосы распущены — такие девушки часто красуются на террасах фешенебельных средиземноморских гостиниц. Тут же выяснилось, что в обычном костюме она столь же привлекательна, как и в маскарадном; воздействие ее женских чар без реквизита ничуть не ослабло.

Она обернулась мне навстречу, и в пространстве меж нами повисло неловкое, подозрительное молчание. Она, кажется, слегка удивилась, точно уже подумала, что я не появлюсь, а теперь обрадовалась, но сразу взяла себя в руки. Похоже, перемена костюма вселила в нее некоторую неуверенность, и она ждала, как я отреагирую на ее новый облик,— словно женщина, примеряющая платье в присутствии мужчины, которому предстоит за это платье заплатить. Она опустила глаза. Я, со своей стороны, никак не мог избавиться от образа Алисон и всего, что случилось на Парнасе; трепет измены, мимолетное раскаяние. Мы застыли в двадцати футах друг от друга. Затем она снова взглянула на меня, стоявшего как столб с походной сумкой в руке. С ней произошла еще одна перемена: слабый загар окрасил кожу медовым оттенком. Я призвал на помощь свои познания в психологии, в психиатрии; тщетно.

— Она вам к лицу,— сказал я.— Современная одежда.

Но она выглядела растерянной, будто за прошедшие дни ее одолели бесчисленные сомнения.

— Вы с ним виделись?

— С кем? — Промах; в глазах ее сверкнуло нетерпение.— Со стариком? Да. Он прогуляться пошел.

Окинув меня все тем же недоверчивым взглядом, она с подчеркнутым безразличием спросила:

— Чаю выпьете?

— С удовольствием.

Подошла к столу, неслышно ступая по плитке босыми ногами. У порога концертной валялись красные шлепанцы. Чиркнула спичкой, зажгла спиртовку, поставила на нее чайник. Глаза бегают, пальцы перебирают складки муслиновых салфеток; шрам на запястье. Мрачна как туча. Я кинул сумку к стене, подошел ближе.

— В чем дело?

— Ни в чем.

— Я вас не выдавал. Пусть болтает что хочет.— Вскинула глаза, снова потупилась. Я решил разрядить обстановку.— Что поделывали?

— Плавала на яхте.

— Куда?

— На Киклады. Развеяться.

— Я очень тосковал.

Не ответила. Не глядела мне в лицо. Я и не ждал однозначно радушного приема, но оттого, что меня сразу приняли в штыки, по спине пополз панический холодок; в Жюли сквозила некая тяжесть, чужесть, которые у такой красавицы могли иметь одно-единственное объяснение, именно то, какому я не желал верить,— ведь мужчин вокруг нее было не так уж много.

— Лилия, очевидно, померла.

Не поднимая головы:

— Что-то вы не слишком удивились.

— А меня здесь ничего не удивляет. С некоторых пор.— Вздохнула; еще один промах.— Ну и как же называется ваша новая роль?

Села. Чайник, наверное, недавно кипел: он уже начал подсвистывать. Вдруг она взглянула на меня и с нескрываемым укором спросила:

— Хорошо вам было в Афинах?

— Нет. И с подружкой моей я не встретился.

— А Морис нам сказал, что встретились.

Мысленно послав его к черту, я стал выпутываться из собственного вранья:

— Странно. Пять минут назад он ничего об этом не знал. Сам спрашивал у меня, встретились мы или нет.

Потупилась.

— А почему не встретились?

— Я уже объяснял. Между нами все кончено.

Плеснула в заварной чайник горячей воды, отошла вылить ее к краю колоннады. Только она вернулась, я добавил:

— И потому, что впереди у меня была встреча с вами.

Усевшись, она положила в чайник ложку заварки.

— Принимайтесь за еду. Если хотите.

— Мне куда сильнее хочется понять, с какой стати мы разговариваем точно чужие.

— Просто мы и есть чужие.

— Почему вы не ответили, как называется ваша новая роль?

— Потому что ответ вам уже известен.

Гиацинтово-серые глаза смотрели на меня в упор. Вода закипела, и Жюли заварила чай. Поставив чайник на спиртовку и потушив огонь, сказала:

— Вы, в общем, не виноваты, что считаете меня сумасшедшей. Я все чаще и чаще думаю: а вдруг я и вправду не в себе? — Тон ее был предельно холоден.— Простите, если спутала ваши планы.— Невеселая улыбка.— Будете с этим мерзким козьим молоком или с лимоном?

— С лимоном.

У меня словно гора с плеч свалилась. Она сейчас поступила так, как ни за что не поступила бы, если принять на веру рассказы Кончиса,— не столь же она безумно изощрена или изощренно безумна, чтобы побить старика его собственным оружием. Я вспомнил о «бритве Оккама»: из многих версий выбирай простейшую. Но нужно было сыграть наверняка.

— Почему я должен считать вас сумасшедшей?

— А почему я должна считать, что вы не тот, за кого себя выдаете?

— Ну и почему же?

— Потому что ваш последний вопрос вас изобличает.— Сунула чашку мне под нос.— Пейте.

Я уставился на чашку, потом поднял глаза на Жюли.

— Ладно. Не верю я, что у вас хрестоматийный случай шизофрении.

Неприступный взгляд.

— Откушайте-ка сандвича... мистер Эрфе.

Я не улыбнулся, выдержал паузу.

— Жюли, это ведь бред. Мы с вами во все его ловушки попадаемся. Мне казалось, в прошлый раз мы договорились, что в его отсутствие не станем друг друга обманывать.

Она неожиданно встала и не спеша направилась в западный конец колоннады, откуда к огороду спускалась лесенка. Прислонилась к стене дома, спиной ко мне, глядя на далекие горы Пелопоннеса. Помедлив, я тоже встал и подошел к ней. Она не обернулась.

— Я вас не виню. Если он лгал вам обо мне столько же, сколько мне о вас...— Протянул руку, тронул ее за плечо.— Перестаньте. В прошлый раз мы заключили честный договор.— Она точно застыла, и я опустил руку.

— По-моему, вам хочется еще раз меня поцеловать.

К этой наивной прямоте я не успел подготовиться.

— А что в этом плохого?

Вдруг она скрестила руки, повернулась спиной к стене и внимательно взглянула на меня.

— И лечь со мной в постель?

— Если получу ваше согласие.

Посмотрела прямо в глаза, отвернулась.

— А если не получите?

— Неуместный вопрос.

— Так, может, и пробовать не стоит?

— Хватит изгаляться!

Моя грубость осадила ее. Съежилась, не отнимая рук от груди.

Я сбавил тон.

— Слушайте, что ж он вам, черт возьми, наговорил?

После долгого молчания она пробормотала:

— Не пойму, чему верить, чему нет.

— Собственному сердцу.

— С тех пор, как я здесь, его не так просто поймать.— Помедлив, мотнула склоненной головой. Тон ее немного смягчился.— Когда вы в прошлый раз ушли, он сказал одну жуткую гадость. Будто вы... вы шлялись по девкам, а в греческих борделях легко подцепить заразу, и целоваться с вами не стоит.

— И на сей раз я, по-вашему, в бордель ездил?

— Не знаю я, куда вы ездили.

— Значит, вы ему поверили? — Молчание. Проклятый Кончис; еще на клятву Гиппократа ссылался, скот. Вперясь в ее макушку, я произнес: — С меня хватит. Ноги моей больше здесь не будет.

Подтверждая угрозу, я направился к столу.

— Прошу вас! — воскликнула она. И подыскав слова: — Я же не сказала, что поверила.

Я остановился, обернулся. Враждебности в ней, кажется, поубавилось.

— А ведете себя, будто поверили.

— Как же мне себя вести, раз я не понимаю, во имя чего он все кормит и кормит меня небылицами.

— Если он сказал правду, почему с самого начала вас не предостерег?

— Мы тоже задавали себе этот вопрос.

— А ему задавали?

— Он сказал, что сам только что об этом узнал.— И чуть ли не с нежностью: — Прошу вас, не уходите.

Она долго не отводила взгляд, и я убедился, что ее мольба совершенно искренна. Опять подошел к ней.

— Ну, мы до сих пор считаем его добрым человеком?

— В каком-то смысле да.— И добавила: — Несмотря ни на что.

— Дух мой сподобился-таки межзвездного перелета.

— Да, он нам рассказывал.

— А вас он гипнотизировал?

— И не раз.

— По его словам, именно таким способом он выведывает ваши сокровенные мысли.

Она было растерялась, вскинула глаза, но затем протестующе фыркнула:

— Смех, да и только. У него бы при всем желании не получилось. Джун всегда при этом присутствует, по его же настоянию. Гипноз просто помогает — весьма эффективно, кстати,— вжиться в роль. Джун свидетельница: он объясняет, что от меня требуется... а я каким-то образом усваиваю.

— И Жюли — очередная роль?

— Я паспорт покажу. Сейчас нет с собой... в следующий раз. Клянусь.

— А две недели назад... почему не предупредили, что он собирается пустить в ход версию с шизофренией?

— Я вас предупредила: кое-что готовится. Насколько осмелилась.

Во мне снова зашевелилось недоверие; я чувствовал, что сомнения обуревают и Жюли. Что ж, придется признать: по-своему она и вправду меня предупреждала. Теперь, когда я перехватил инициативу, она заметно ослабила сопротивление.

— Ладно... По крайней мере, психиатр он все-таки или нет?

— Недавно выяснилось, что психиатр.

— Значит, все это надо понимать в медицинском плане?

Бросив на меня еще один испытующий взгляд, принялась изучать узоры плитки.

— Он то и дело рассуждает о моделируемых ситуациях. О формах поведения людей, которые сталкиваются с непостижимым. И о шизофрении много рассказывает.— Пожала плечами.— Как перед лицом неведомого в человеке дробится мораль... и не только мораль. Однажды заявил, что неведомое — важнейший побудительный мотив духовного развития. То есть тот факт, что нам неизвестно, для чего мы родились. Для чего существуем. Смерть. Загробная жизнь. И тому подобное.

— Так что же он хочет с нашей помощью подтвердить или опровергнуть?

Не поднимая глаз, покачала головой.

— Честно говоря, мы всю дорогу это выведываем, но он... он приводит один и тот же довод: если он сообщит нам конечную цель, поделится своими ожиданиями, то мы непременно станем вести себя совсем иначе.— У нее вырвался сдавленный вздох.— Какой-то резон тут есть.

— Этот аргумент я уже слышал. Когда попросил его описать вашу мнимую болезнь подробнее.

Посмотрела мне в лицо.

— Подробностей хоть отбавляй. Мне их пришлось вызубрить. Он придумывал, а я учила наизусть.

— Ясно только одно. С какого-то перепугу он решил завалить нас враньем. Но ради чего поддаваться внушению? Я такой же сифилитик, как вы — шизофреничка.

Опустила голову.

— Я ему не поверила, честно.

— Я хочу сказать, пусть лжет обо мне сколько требуется для его игр, опытов или как их там, мне плевать. Но не плевать, если вы его ложь всерьез принимаете.

Воцарилось молчание. Чуть ли не против воли она опять подняла на меня глаза. Свет этого взгляда точно прорвался из далекого прошлого, из тех времен, когда люди еще не умели говорить. Сомнение растаяло в глубине ее глаз, дав место доверчивости; так, не проронив ни слова, она признала мою правоту. В углах рта мимолетным изгибом проступило смиренье, неловкое «да». Вновь потупилась, убрала руки за спину. Немота, тень детского раскаяния, робкая гримаса вины.

На сей раз она не пыталась увернуться. Навстречу раскрылись теплые губы, и мне дано было приникнуть к ее телу, ощутить его нежный рельеф... и с восхитительной ясностью понять, что все гораздо проще, чем я думал.

Она ждала моего поцелуя. Кончиком языка я нашел ее язык, объятье стало тесней, настойчивей. Но тут же она отняла губы и, не вырываясь из рук, уткнулась лицом мне в плечо. Я поцеловал ее затылок.

— Я чуть не спятил без вас.

— Не приди вы сегодня, я умерла бы,— шепнула она.

— Это и есть настоящее. Остальное — мираж.

— Потому мне и страшно.

— Страшно?

— Хочешь поверить. И не можешь.

Я сжал ее крепче.

— Давайте увидимся вечером. Там, где нам никто не помешает.— Она молчала, и я поспешно добавил: — Бога ради, положитесь на меня. Я не причиню вам вреда.

Ласково отстранилась, не поднимая головы, взяла меня за руки.

— Не в этом дело. Просто здесь больше чужих глаз, чем вы думаете.

— Где вы ночуете?

— Тут есть... что-то вроде укрытия.— И торопливо: — Я вам покажу. Честно.

— На вечер что-нибудь планируется?

— Он расскажет очередную историю из своей жизни, назовем это так. После ужина я выйду к столу.— Улыбнулась.— Какую именно историю, не знаю.

— Но после этого мы встретимся?

— Постараюсь. Но я не...

— Что, если в полночь? У статуи?

— Ну, попробуем.— Обернувшись к столу, сжала мне пальцы.— Чай-то совсем остыл.

Мы вернулись, сели за стол. Выпили теплого чаю — я не разрешил ей заваривать свежий. Я съел пару сандвичей, она закурила, и разговор продолжался. Их с сестрой, как и меня, ставило в тупик парадоксальное стремление старика любыми средствами втянуть нас в свою игру. Притом, что он ежеминутно выказывал готовность ее прекратить.

— Как только мы начинаем кобениться, он предлагает нам немедля лететь обратно в Англию. Во время плавания мы раз насели на него: чего вы добиваетесь, очень просим... и все такое. В конце концов он чуть не вышел из себя, я его впервые таким видела. Назавтра даже пришлось извиняться. Просить прощения за назойливость.

— Он, видно, ко всем одни и те же приемы применяет.

— Твердит, чтоб я держала вас на расстоянии. Говорит про вас гадости.— Стряхнула пепел под ноги, усмехнулась.— Как-то принялся извиняться перед нами за вашу тупость. Здесь он явно перегнул, если вспомнить, как вы за пять секунд раскусили его историю с Лилией.

— Он не намекал, что я начинающий психиатр и в некотором роде ему ассистирую?

Она не смогла скрыть удивления и тревоги. Поколебалась.

— Нет. Но такая мысль нам приходила в голову.— И сразу: — А вы действительно психиатр?

Я осклабился.

— Он только что сообщил, что вытянул эту идею из вас, под гипнозом. Вы-де меня в этом подозреваете. Надо быть начеку, Жюли. Он хочет лишить нас последних ориентиров.

Отложила сигарету.

— Причем так, чтоб мы сами это осознавали?

— Вряд ли ему выгодно бороться с нами поодиночке.

— Да, и нам так кажется.

— Значит, главный вопрос: почему? — Быстро кивнула. — А кроме того — почему вы еще сомневаетесь во мне?

— По той же причине, что и вы — во мне.

— Вы же сами прошлый раз сказали. Лучше вести себя так, будто мы встретились случайно, далеко от Бурани. Чем ближе мы друг друга узна́ем,

тем спокойнее. Безопаснее.— Я слегка улыбнулся.— Я вот, к примеру, готов поверить чему угодно, кроме того, что вы учились в Кембридже и при этом не выскочили замуж.

Потупилась.

— Чуть не выскочила.

— Но теперь угроза позади?

— Да. Далеко-далеко.

— Я столького не знаю о вашей настоящей жизни.

— Моя настоящая жизнь куда скучнее вымышленной.

— Где вы вообще-то живете?

— Вообще-то — в Дорсете. Там живет моя мать. А отец умер.

— Кем был ваш отец?

Ответить ей не удалось. Испуганно уставилась в пространство за моей спиной. Я крутанулся на стуле. Кончис. Он, должно быть, подкрался на цыпочках — шагов его я не слыхал. В руках он держал занесенный четырехфутовый топор, точно раздумывая, как бы ловчее проломить мне череп. Жюли хрипло вскрикнула:

— Неостроумно, Морис!

Он и ухом не повел, в упор глядя на меня.

— Чаю попили?

— Да.

— Я обнаружил сухую сосну. Ее надо порубить на дрова.

Он произнес это до смешного резким и повелительным тоном. Я оглянулся на Жюли. Та вскочила и злобно уставилась на старика. Я сразу почуял: быть беде. Они со мной не слишком считались. С каким-то угрюмым бесстрастием Кончис проговорил:

— Марии нечем плиту затопить.

Визгливый, на грани истерики, голос Жюли:

— Ты напугал меня! Совесть нужно иметь!

Я снова посмотрел на нее: широко раскрытые, как в трансе, глаза прикованы к лицу Кончиса. И будто плевок:

— Ненавижу!

— Ты, милая, слишком возбуждена. Поди остынь.

— Нет!

— Я настаиваю.

— Ненавижу!

В ее криках слышались такие ярость и исступление, что мое вновь обретенное спокойствие рассыпалось в прах. Я в ужасе переводил взгляд со старика на девушку, надеясь различить хоть какой-то признак предварительного сговора между ними. Кончис опустил топор.

— Жюли, я настаиваю.

Я физически ощутил, как схлестнулись их самолюбия. Потом она круто повернулась и с размаху всадила ноги в шлепанцы, лежавшие у дверей концертной. Проходя мимо стола — на протяжении всей сцены она ни разу не взглянула в мою сторону,— Жюли, прежде чем отправиться восвояси, выхватила у меня из-под руки чашку и выплеснула содержимое мне в лицо. Чая там было на донышке, и он совсем остыл, но сам порыв пугал какой-то детской мстительностью. Я захлопал глазами. Она устремилась прямиком к лестнице. Кончис строго окликнул:

— Жюли!

Остановилась у восточного края колоннады, но из упрямства не повернулась к нам.

— Ты как избалованный ребенок. Неслыханно.— Не двинулась с места. Сделав к ней несколько шагов, он понизил голос, но я различал, что он говорит: — Актриса имеет право на срыв. Но не в присутствии посторонних. Иди-ка извинись перед гостем.

Поколебавшись, резко развернулась и, чеканя шаг, прошла мимо него к столу. Слабый румянец; она все так же избегала смотреть мне в глаза. Остановилась рядом, строптиво набычилась. Я попытался заглянуть ей в лицо, затем растерянно посмотрел на Кончиса.

— Ведь вы и вправду нас напугали!

Стоя за ее спиной, он поднял руку, чтоб я успокоился, и повторил:

— Жюли, мы ждем извинений.

Вдруг вскинула голову.

— И вас ненавижу!

Вредный, дитячий голосок. Но — или мне показалось? — правая ресница чуть заметно дрогнула: не верь ни единому слову. Я еле сдержал улыбку. Она меж тем отправилась назад, поравнялась со стариком. Тот хотел ее остановить, но она злобно оттолкнула его руку, сбежала по лесенке, вышла на гравий; ярдов через двадцать сбавила темп, прижала ладони к щекам, точно в ужасе от того, что натворила, и скрылась из виду. Заметив мое старательно разыгранное беспокойство, Кончис улыбнулся.

— Не принимайте ее истерик близко к сердцу. В некотором смысле она сознательно противится собственному исцелению. А сейчас так просто симулирует.

— Ей почти удалось меня обмануть.

— Того-то ей и надо было. Доказать вам наглядно, какой я деспот.

— И сплетник, по всей видимости.— Он уставился на меня. Я продолжал: — Чай-то вытереть нетрудно. Гораздо трудней отмыться, если тебя ославили сифилитиком. Тем более, вам ведь давно известно, какой это «сифилис».

Улыбнулся.

— Но вы, конечно, поняли, зачем я это сделал?

— Пока нет.

— Кроме того, я сообщил ей, что на той неделе вы встретились с вашей подружкой. И теперь не догадались? — Ответ он мог прочесть на моем лице. Помедлив, сунул мне в руки топор.— Пойдемте. По дороге объясню.

Я поднялся и понес топор вслед за ним, в направлении ворот.

— Все на свете имеет конец, и наши летние приключения в том числе. А значит, я должен заранее позаботиться о, так сказать, отходных путях, которые для Жюли были бы наименее болезненны. Недостоверными сведениями о вас я снабдил ее, чтобы наметить несколько таких вот путей. Теперь она знает, что у вас есть другая. И что вы, верно, не столь привлекательный юноша, каким кажетесь на первый взгляд. Вдобавок шизофреники — вы в этом только что убедились — эмоционально неустойчивы. Я далек от мысли, что вы способны воспользоваться ее нездоровьем ради плотской потехи. Но если ввести в ее сознание дополнительные сдерживающие факторы, вам будет сподручнее контролировать ситуацию.

В груди моей разливалось тепло. Чуть заметное движение ресниц Жюли сделало все уловки Кончиса тщетными — и безвредными; теперь и я был вправе схитрить.

— Что ж, раз так... конечно. Я не против.

— Потому я и нарушил ваш тет-а-тет. Курс лечения предусматривает регрессии, дополнительные нагрузки. Перелом без тренировки не срастется.— И торопливо: — Ну, Николас, как вы ее нашли?

— Преисполнена недоверия. Вы оказались правы.

— Но вы хоть постарались...?

— Насколько успел.

— Хорошо. Завтра я намерен скрыться с глаз долой. Во всяком случае, внушить ей, что меня на вилле нет. Вы целый день проведете с ней как бы наедине. Посмотрим, что она станет делать.

— Лестно, что вы до такой степени мне доверяете.

Похлопал меня по плечу.

— Признаться, я давно собирался спровоцировать ее на такую вот негативную реакцию. Чтоб рассеять ваши сомнения в ее ненормальности. Если они еще оставались.

— С ними покончено. Раз и навсегда.

Он важно кивнул, а я засмеялся про себя. Мы подошли к дереву, уже срубленному. Требовалось расколоть его на чурбаки приемлемого размера. К дому дрова оттащит Гермес, мне нужно лишь сложить их в поленницу.

Я принялся махать топором, и Кончис вскоре ретировался. Работал я с гораздо большей охотой, чем в прошлый раз. Те ветки, что потоньше, сухие и хрупкие, ломались от первого же удара; и в каждый взмах топора я вкладывал свой, особый смысл. Приемлемые размеры обретала не только древесина. Складывая дрова в аккуратный, один к одному, штабель, я мысленно приспосабливал одну к одной многочисленные тайны, окутывавшие Бурани и Кончиса. Скоро я узнаю всю правду о Жюли, но самое важное уже узнал: она на моей стороне. С нашей помощью Кончис худо-бедно воплощает в жизнь свои саркастические фантазии, навязывает миру некий универсальный парадокс. Для него всякая правда — отчасти ложь и всякая ложь — отчасти правда. Вслед за Жюли я начинал прозревать за его бесчисленными ловушками и фокусами, при всей их внешней пагубности, благую волю. Я вспомнил, как он показал мне улыбку каменной головы — свою абсолютную истину.

В любом случае он слишком умен, чтобы надеяться, что наружный блеск его игрищ способен нас ослепить; втайне он стремится как раз к обратному... и стоит набраться терпения, пока не раскроется их глубинная цель, подспудный смысл.

Размахивая топором в лучах высокого солнца, со смаком разминая мускулы, вновь чувствуя под ногами твердую почву, предвкушая ночь, завтрашний день, Жюли, поцелуй, освобождение от Алисон, я готов был ждать все лето напролет, коль он того пожелает; и всю жизнь напролет ждать такого же цельного лета.

44

Она явилась нам в отблесках лампы, стоящей на столе в юго-восточном углу террасы второго этажа, совсем иная, чем в вечер своего первого появления, в тот вечер, когда Кончис официально представил ее как Лилию. Костюм ее мало изменился по сравнению с тем, что был на ней днем... те же белые брюки, хотя блузку она надела тоже белую, со свободными рукавами, как бы делая уступку здешней вечерней чопорности. Коралловые бусы, красный ремень, шлепанцы; капелька тени для век, чуть-чуть губной помады. Встречая ее, мы с Кончисом встали. Замерла передо мной, помедлила, как-то настойчиво, отчаянно и долго смотрела в глаза.

— Мне стыдно за свое поведение. Простите, пожалуйста.

— Не стоит. Какая ерунда.

Взглянула на Кончиса, точно ожидая похвал. Тот улыбнулся, указал ей на стул между нами. Но она потянулась к вороту блузки и вынула веточку жасмина.

— Символ мира.

Я понюхал цветок.

— Как трогательно.

Уселась. Кончис налил ей кофе, а я предложил сигарету и чиркнул спичкой. Она казалась пристыженной — подняв на меня глаза при встрече, теперь упорно их отводила.

— Мы с Николасом,— сказал Кончис,— беседовали о религии.

Это правда. К столу он вынес Библию, заложенную в двух местах; и мы принялись рассуждать о божеском и небожеском.

— Вот как.— Уставилась на чашку, подняла ее, отхлебнула кофе; в тот же миг я ощутил мимолетное касание ее ноги под свисающим до полу краем скатерти.

— Николас считает себя агностиком. Но понемногу признался, что ему все равно.

Вежливо посмотрела на меня.

— Все равно?

— Есть вещи поважнее.

Потрогала ложечку, лежащую на кофейном блюдце.

— А я думала, важнее ничего нет.

— Важнее, чем ваше мнение о том, с чем вы никогда в жизни не столкнетесь? По мне, это пустая трата времени.— Я потянулся к ее ноге, но

не нашел. Она наклонилась, взяла со стола мой спичечный коробок и вытряхнула на белую скатерть десяток спичек.

— А может, вы просто боитесь размышлять о боге?

Голос ее звучал неестественно, и я догадался, что весь разговор был спланирован заранее... она говорит то, что нужно Кончису.

— Нельзя *размышлять* о чем-то, что мышлению неподвластно.

— Но вы *размышляете* о завтрашнем дне? О том, что будет через год?

— Конечно. Обо всем этом можно делать достоверные предположения.

Она забавлялась спичками, составляя из них один узор за другим. Я не отрывал взгляда от ее губ: прекратить бы эту пустую трепотню.

— А я и о боге могу делать достоверные предположения.

— Например?

— Он невероятно мудр.

— Почему вы так думаете?

— Потому что я его не понимаю. Зачем он, кто он, на каком уровне бытия. А Морис уверяет, что я очень умная. Видно, бог невероятно мудр, раз он настолько умнее меня. Настолько, что не оставил мне ни одной подсказки. Уничтожил все улики, все очевидности, все причины, все мотивы своего существования.— Быстро взглянув на меня, опять занялась спичками; в глазах ее стояло холодно-пытливое выражение, перенятое у Кончиса.

— Невероятно мудр — или невероятно жесток?

— Мудр. Умей я молиться, попросила бы бога не посылать мне знамений. Как только он пошлет знамение, я пойму, что он не бог. А лжец.

На сей раз она посмотрела на Кончиса, чей взгляд блуждал в морских далях; он, верно, ждал, пока она произнесет весь положенный ей текст. И вдруг дважды беззвучно стукнула по столу указательным пальцем. Стрельнула глазами в сторону Кончиса, снова взглянула на меня. Я посмотрел на скатерть. Она положила две спички крест-накрест и еще пару рядом: XII. Меня наконец осенило, но она уже приняла равнодушный вид, собрала спички в горку, отодвинулась, пряча лицо от света лампы, и обратилась к Кончису:

— Ты что-то помалкиваешь, Морис. Права я или нет?

— Я на вашей стороне, Николас.— Улыбнулся.— Я думал так же, как вы, будучи гораздо старше и опытнее. Мы не виноваты, что лишены наития женской человечности.— Он выговорил это без всякой лести, просто констатируя факт. Жюли не смотрела в мою сторону. На лице ее лежала тень.— Но затем я пережил нечто такое, что заставило меня постичь истину, которую высказала сейчас Жюли. Она, правда, сделала нам с вами комплимент, причислив бога к мужскому роду. Мне-то кажется, она, как все настоящие женщины, знает — любое серьезное определение бога с необходимостью является и определением матери. Рождающей субстанции. Подчас она рождает самые неожиданные вещи. Ибо религиозный инстинкт — воистину тот инстинкт, который дает нам способность определить, что́ именно породило ту или иную ситуацию.

Он откинулся на спинку стула.

— По-моему, я уже упоминал, что в двадцать втором году, когда дух нового времени — а тот шофер олицетворял демократию, равенство, прогресс — уничтожил де Дюкана, я находился за границей. А именно — гонялся за птицами (или, точнее, за птичьими голосами) на са́мом севере Норвегии. К вашему сведению, там, в арктической тундре, водится множество редких пернатых. Мне повезло. У меня с детства тонкий слух. К тому времени я опубликовал не одну статью о том, как различать птиц по их крикам и трелям. Даже завязал переписку со специалистами — с доктором ван Оортом из Лейдена, с американцем Э. Э. Сондерсом, с Александерами из Англии. И вот летом двадцать второго года на три месяца покинул Париж и отправился в Арктику.

...Жюли чуть-чуть повернулась, и я снова почувствовал прикосновение

ноги — легчайшее, нагое. Стараясь не привлекать внимания Кончиса, я уперся в пол каблуком левой сандалии и тихонько высвободил ступню; босая подошва нежно чиркнула по моей коже. Жюли щекотала меня пальцами — забава невинная, но возбуждающая. Я попробовал в свою очередь наступить ей на ногу, но встретил мягкий отпор. Пришлось довольствоваться малым. Кончис тем временем продолжал:

— По пути я заехал в Осло; профессор тамошнего университета рассказал мне, что в глуши хвойных лесов, которые тянутся из Норвегии в Финляндию и Россию, живет один знающий крестьянин. Он, похоже, неплохо разбирался в птицах; правда, профессор ни разу с ним не виделся: тот слал ему данные о перелетах. Мне давно хотелось послушать пение некоторых таежных видов, и я решил съездить к этому крестьянину. После тщательных орнитологических изысканий в тундре Крайнего Севера я пересек Варангер-фьорд и очутился в городишке под названием Киркенес. А оттуда, вооруженный рекомендательным письмом, отправился в Сейдварре.

За четыре дня я покрыл девяносто миль. Первые двадцать — по лесной дороге, затем — на лодке по реке Пасвик, от одной затерянной заимки к другой. Бескрайняя тайга. Вековые мрачные ели на много миль вокруг. Река тихая и широкая, словно сказочное озеро. Словно зеркало, куда никто не смотрелся аж с сотворения мира.

На четвертый день два моих помощника гребли с утра до самого вечера не останавливаясь, но мы так и не встретили ни жилья, ни каких-либо признаков человека. Лишь серебристо-синий блеск бесконечной реки да деревья — покуда хватает глаз. Когда смерклось, впереди замаячили дом и две лужайки, выстланные лютиками,— золотые пластинки во мраке дебрей. Мы прибыли в Сейдварре.

Постройки сбились в тесный кружок. Избушка на берегу, полускрытая купой берез. Длинный сарай с торфяной крышей. И лабаз на бревенчатых опорах, чтоб крысы не лазили. К чурбаку у дома была привязана перевернутая лодка, во дворе сушились рыбачьи сети.

Крестьянин оказался коротышкой с бойкими карими глазами. Ему было, наверное, около пятидесяти. Я спрыгнул на берег, он прочел письмо. Появилась женщина, лет на пять моложе, встала за его спиной. У нее было грубое, но выразительное лицо; хотя я не понимал, о чем они говорят, суть все же уловил: она не хочет, чтобы я тут задерживался. Моих гребцов она как бы не замечала. А те поглядывали на нее с любопытством, словно впервые видели. Но тут она поспешно вернулась в дом.

Что бы там ни было, крестьянин проявил гостеприимство. Профессор не соврал: хозяин говорил по-английски вполне сносно, хоть и с запинкой. Я спросил, где он выучил язык. Он объяснил, что в молодости собирался стать ветеринаром и год учился в Лондоне. Я вновь оглядел его. Как же тебя занесло в этот медвежий угол Европы?

Неожиданно выяснилось: женщина — жена не его, а братнина. У нее было двое детей, оба уже подростки. Ни дети, ни их мать английского не знали, но она и без слов вежливо, но твердо давала понять, что я остаюсь здесь против ее согласия. Однако с Густавом Нюгором мы поладили с первых же минут. Он показал мне свои птичьи справочники, тетради наблюдений. Энтузиаст всегда поймет энтузиаста.

Естественно, я сразу спросил его о брате. Нюгор как-то растерялся. Сказал, что тот уехал. Затем, с таким видом, будто это все объясняет и дальнейшие расспросы излишни, добавил: «Много лет назад».

В избушке было тесновато, и место для ночлега мне расчистили в сарае, на сеновале. Ел я за общим столом. Нюгор разговаривал только со мной. Невестка не раскрывала рта. Ее худосочная дочь — тоже. Паренек-недоросток, наверно, и не прочь был включиться в беседу, но дядя редко снисходил до того, чтобы переводить его реплики. В первые дни я не видел смысла вникать в проблемы этой маленькой норвежской семьи: меня захватили очарование природы и исключительное богатство пернатых. Что ни день, я выслеживал их и прислушивался к какой-нибудь экзотической утке или

гусю, к гагарам, к диким лебедям, которые населяли прибрежные бухточки и лагуны. Природа здесь торжествовала над человеком. Не буйно, как в тропиках. Уверенно, царственно. По́шло утверждать, что каждый ландшафт обладает душой, но в этом чувствовался непреклонный нрав, с каким я не встречался ни до, ни после. Он игнорировал человека. Человек здесь ничего не значил. Дело не в суровых условиях — Пасвик кишел форелью и другой рыбой, лето было длинным и теплым, так что успевали созреть и картошка, и пшеница,— а в огромности пространства, которое нельзя ни побороть, ни приручить. Звучит угрожающе? Но одиночество пугало лишь на первых порах, дня через два-три я понял, что влюбляюсь в него. И всего больше — в тишину. Вечера. Покой. Плеск утки, что садится на воду, крик скопы разносились на много миль с ясностью, которая поначалу казалась сверхъестественной — а затем загадочной: как вопль в пустом доме, они подчеркивали плотность молчания и покоя. Словно звук был фоном для тишины, а не наоборот.

На третий, по-моему, день я раскрыл семейный секрет. В первое же утро Нюгор указал на длинный лесистый мыс — он вдавался в реку полумилей южнее заимки — и попросил не ходить туда. Сказал, что устроил там искусственное гнездовье для колонии лутков и гоголей и не хочет, чтоб их беспокоили. Я, конечно, согласился, хотя высиживать яйца уткам даже в этих широтах было поздновато.

Потом я заметил, что за ужином один из членов семьи всегда отсутствует. В первый вечер не было девочки. Во второй — мальчик появился лишь к концу трапезы; а ведь за несколько минут до того, как Нюгор позвал меня ужинать, я видел: он уныло сидит на берегу. На третий день я сам возвращался на подворье с опозданием. И в ельнике, не доходя до берега, остановился понаблюдать за птицей. Я не собирался прятаться, но вышло, что я как бы в скрадке.

...Кончис умолк, и я вспомнил, как наткнулся на него две недели назад, распрощавшись с Жюли; словно эхо этого эпизода.

— Вдруг ярдах в двухстах я заметил девочку. В одной руке ведерко, покрытое тряпицей, в другой — молочный бидон. Я не стал выходить из-за ствола. К моему удивлению, она пробиралась по берегу среди деревьев все дальше и наконец вступила на запретный мыс. Я смотрел в бинокль, пока она не скрылась.

Нюгору не нравилось сидеть в комнате со мной и родственниками. Их упорное молчание злило его. И он пристрастился провожать меня в «спальню», чтобы выкурить там трубку и поболтать. В тот вечер я рассказал, что видел его племянницу, которая относила на мыс, очевидно, еду и питье. Я спросил, кто живет там. Он не стал вилять. Все сразу выяснилось. Там живет его брат. И он — сумасшедший.

...Я перевел взгляд с Кончиса на Жюли, потом — снова на Кончиса; казалось, ни тот, ни другая не замечают, как странно совпали сейчас прошлое и псевдонастоящее. Я снова надавил ей на ногу. Она ответила, но сразу убрала ступню. Рассказ захватил ее, ей не хотелось отвлекаться.

— Я тут же поинтересовался, показывали ли его врачу. Нюгор покачал головой: похоже, он был невысокого мнения о возможностях медицины, по крайней мере применительно к данному случаю. Я напомнил, что я и сам врач. Он помолчал. «Наверно, мы тут все ненормальные». Потом встал и ушел. Впрочем, для того лишь, чтобы через несколько минут вернуться. Он притащил какой-то мешочек. Вытряхнул содержимое на постель. Россыпь округлых галек и кремней, черепков примитивной утвари с процарапанными дорожками орнамента; это было собрание вещиц каменного века. Я спросил, где он их нашел. На Сейдварре, ответил он. И объяснил, что это исконное название мыса. «Сейдварре» — лопарское слово, оно означает «холм священного камня», дольмена. Отмель была когда-то святым местом лопарей-полмаков, которые сочетали рыболовство с оленеводством. Но и они лишь наследовали иным, древнейшим культурам.

Сначала заимка служила просто летней дачей, базой для охоты и рыбалки. Построил ее отец Нюгора, эксцентричный священник; удачная жени-

тьба принесла ему достаточно денег, чтобы потакать своим поистине разнообразным склонностям. С одной стороны, он был суровый лютеранский пастор. С другой — приверженец традиционного сельского уклада. Естествоиспытатель и ученый местного значения. И заядлый охотник и рыбак, любитель дикой природы. Обоим сыновьям, по крайней мере в молодости, претила его сугубая религиозность. Хенрик, старший, стал моряком, судовым механиком. Густав принялся за ветеринарное дело. Отец умер, и львиная доля денег по завещанию отошла Церкви. Когда Густав практиковал в Тронхейме, Хенрик приехал к нему погостить, познакомился с Рагной и женился на ней. Потом вроде бы вернулся на судно, но вскоре пережил нервный срыв, бросил службу и осел в Сейдварре.

Год или два все шло нормально, однако затем в его поведении появились странности. В конце концов Рагна написала Густаву. Тот прочел письмо и сел на ближайший пароход. Оказалось, вот уже почти девять месяцев она ведет хозяйство в одиночку — да еще с двумя детьми на руках. Он ненадолго вернулся в Тронхейм, свернул все дела и с этого момента взвалил на себя заимку и братнину семью.

«У меня не было выбора»,— объяснил он. К тому времени я уже почуял в атмосфере дома некоторую натянутость. Густав неравнодушен — или был когда-то неравнодушен — к Рагне. И теперь полная безнадежность его чувства и ее безысходная верность мужу сковывали их крепче всякой любви.

Я стал расспрашивать, в чем выражается безумие брата. И тогда, кивнув на камешки, Густав снова заговорил о Сейдварре. Сперва брат ненадолго удалялся туда «для размышлений». Потом вбил себе в голову, что однажды его — или, во всяком случае, мыс — посетит Господь. Вот уже двенадцать лет он живет там отшельником в ожидании этого визита.

Он ни разу не вернулся на заимку. За последние два года братья не обменялись и сотней слов. Рагна туда не ходит. Конечно, он во всем зависит от родных. Особенно с тех пор, как surcroît de malheur [1] почти ослеп. Густав считал, что брат уже не отдает себе отчета, сколько они для него делают. Приемлет их помощь как манну небесную, без лишних вопросов и благодарности. Я спросил Густава, когда он последний раз говорил с братом (помнится, дело было в начале августа). «В мае»,— смущенно ответил он и махнул рукой.

Теперь четверо с заимки интересовали меня больше, чем птицы. Я заново вгляделся в Рагну, и мне показалось, что в ней есть нечто трагическое. У нее были прекрасные глаза. Глаза героини Еврипида, жесткие и темные, как обсидиан. Я проникся состраданием и к ее детям. Растут, будто микробы в пробирке, на чистейшей закваске стриндберговской меланхолии. Без всяких шансов вырваться. Ни души на двадцать миль вокруг. Ни деревни — на пятьдесят. Я понял, почему Густав так обрадовался моему приезду. Новое лицо помогало сохранить ясный ум, чувство реальности. Ведь гибельная страсть к собственной невестке грозила и ему безумием.

Как многие молодые люди, я воображал себя избавителем, вестником добра. Добавьте мое медицинское образование, знакомство с трудами господина из Вены, тогда еще не столь широко известными. Я сразу классифицировал недуг Хенрика — хрестоматийный случай анального истощения. Плюс навязчивая идентификация с отцом. Все это осложнено уединенным образом жизни. Диагноз выглядел простым, точно повадки птиц, которых я наблюдал ежедневно. Теперь, когда тайна раскрылась, Густав не прочь был обсудить ситуацию. И на следующий вечер сообщил дополнительные данные; они подтверждали мой вывод.

Похоже, Хенрика с детства влекло море. Потому он и стал учиться на механика. Но постепенно понял, что ему не по душе машины, не по душе многолюдье. Началось с машин. Мизантропия выявилась позднее; он и женился-то, наверно, отчасти затем, чтобы остановить ее развитие. Он любил простор, одиночество. Вот почему его тянуло в океан, и ясно, что тесная скорлупка корабля, копоть и лязг машинного отделения скоро ему осточер-

---

[1] *Здесь:* вдобавок ко всему *(франц.)*.

тели. Если б он мог совершить кругосветное плавание в одиночку... Вместо этого он поселился в Сейдварре, где сама суша напоминала море. Появились дети. И тут он стал слепнуть. За едой смахивал на пол посуду, в тайге спотыкался о корни. Разум его помутился.

Хенрик был янсенистом, он знал: божество безжалостно. Он возомнил себя отмеченным, избранным для сугубых мучений и кар. Ему на роду было написано угробить молодость на дрянных корытах, в зловонной воде, тщетно гоняться за вожделенной мечтою, за раем земным. Он так и не понял главного: судьба — это всего лишь случай; мир справедлив к человечеству, пусть каждый из нас в отдельности и переживает много несправедливого. В нем ныла обида на неправедность Божью. Он отказался ехать в больницу, где ему хотели обследовать глаза. Злоба на то, что он страдает незаслуженно, накаляла нутро, и этот огнь сжигал и душу его и тело. Не размышлять он уходил на Сейдварре. Ненавидеть.

Мне не терпелось взглянуть на этого религиозного маньяка. И не из одного лишь врачебного любопытства: я искренне привязался к Густаву. Попробовал даже объяснить, в чем суть психоанализа, но его это словно бы не тронуло. Выслушал меня и буркнул: не наделать бы хуже. Я заверил, что нога моя не ступит на мыс. И тема была закрыта.

Вскоре, в ветреный день, я выслеживал птиц на берегу в трех-четырех милях южнее заимки и вдруг услышал, что кто-то меня зовет. Это был Густав. Я вышел к реке, и он подгреб поближе. Он не ловил хариусов, как я было решил, а искал меня. Все-таки я должен посмотреть на его брата. Мы незаметно подберемся и понаблюдаем за Хенриком, точно за птицей. Сегодня подходящий день, объяснил Густав. Как у большинства слабовидящих, у брата развился острый слух, и ветер поможет нам схорониться.

Я прыгнул в лодку, и скоро мы высадились на узкой косе у самой оконечности стрелки. Густав исчез, потом вернулся. Хенрик у сейда, лопарского дольмена, сказал он. Можно беспрепятственно обследовать хижину. Мы пробрались через лес к высокому холму, перевалили на южный склон — тут, в ложбине, в самых зарослях, и стояло это странное жилище. Оно вросло в землю, и с трех сторон виднелись только пласты торфа на крыше. С четвертой смотрели в овраг дверь и окошечко. Кроме поленницы, ни следа осмысленной деятельности.

Густав впихнул меня в дом, а сам остался снаружи на стреме. Сумрак. Стены голые, как в келье. Лежанка. Грубо сколоченный стол. Связка свеч в жестянке. Из удобств — лишь старая плита. Ни коврика, ни занавесок. Жилые части комнаты прибраны. Но углы заросли мусором. Палая листва, грязь, паутина. Запах нечистой одежды. На столе у окошка лежала книга. Массивная черная Библия с необычно крупным шрифтом. Рядом — увеличительное стекло. Лужицы воска.

Я зажег свечу, чтобы осмотреть потолок. Пять или шесть балок, поддерживающих крышу, были побелены, и на них коричневыми буквами вырезаны два длинных библейских стиха. По-норвежски, конечно, но я переписал в блокнот их индексы. А на крестовине против двери — еще одна норвежская фраза.

Я выглянул наружу и спросил Густава, что она означает. «Хенрик Нюгор, проклятый Богом, начертал меня собственной кровью в 1912 году»,— перевел тот. Десять лет назад. Сейчас я прочту вам два других текста, которые он вырезал и протравил кровью.

...Кончис открыл книгу, лежавшую на столе.

— Один — из Исхода: «Они расположились станом в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им». Другой — апокрифический парафраз того же мотива. Вот. Ездра: «И сказал Господь: Я дал вам свет в столпе огненном, вы же забыли Меня».

Это напомнило мне Монтеня. Вы знаете, что на потолке его кабинета были записаны сорок две пословицы и цитаты. Но в Хенрике не чувствовалось и следа монтеневой благости. Скорее исступление знаменитого «Дневника» Паскаля — тех двух переломных часов, которые философ

впоследствии смог описать одним только словом: feu [1]. Порой комната словно пропитывается нравом своего обитателя — вспомните узилище Савонаролы во Флоренции. Это была именно такая комната. Вы могли и не знать о судьбе того, кто здесь жил. Мука, конвульсии, безумие все равно выпирали отовсюду, подобно бубонам.

Я вышел из хижины, и мы осторожно зашагали к сейду. Скоро он показался за деревьями. Его нельзя было назвать настоящим дольменом — просто высокий валун, которому придали живописную форму дождь и стужа. Густав вытянул палец. Ярдах в семидесяти, в глубине березовой поросли, поодаль от сейда, стоял человек. Я навел бинокль на резкость. Он был выше Густава, тощий, с темно-седой гривой кое-как обкорнанных волос, бородатый, горбоносый. Он как раз повернулся в нашу сторону, и я хорошо разглядел его изможденное лицо. Поражала в нем истовость. Суровость почти первобытная. Мне не приходилось видеть такой предельной, дикой решимости. Не идти на компромисс, не отступать ни на шаг. Никогда не улыбаться. А глаза! С легкой косинкой, какого-то невероятного льдисто-синего цвета. Вне всякого сомнения, глаза безумца. Это чувствовалось даже на расстоянии пятидесяти ярдов. На нем была ветхая голубая рубаха, стянутая у горла выцветшим красным ремешком. Темные штаны и большие сапоги с загнутыми носами. Одежда настоящего лопаря. В руке — посох.

Какое-то время я наблюдал за этим редким экземпляром. Я-то ждал, что увижу бирюка, который блуждает в чаще леса и что-то мямлит себе под нос. А передо мной был хищник, слепой и лютый. Густав снова толкнул меня локтем. У сейда появился мальчик с корзиной и бидоном. Положил их на землю, поднял другую — пустую — корзину (очевидно, ее оставил там Хенрик), огляделся и что-то крикнул по-норвежски. Не очень громко. Он явно знал, где прячется отец, потому что смотрел в сторону березовой заросли. Потом исчез в глубине леса. Через пять минут Хенрик двинулся к сейду. Уверенным шагом, но все же ощупывая путь концом посоха. Поднял корзину и бидон, прижал локтем и устремился знакомой дорогой к хижине. Тропа проходила в двадцати ярдах от места, где затаились мы. Как раз в тот момент, когда он поравнялся с нами, высоко-высоко раздался один из звуков, какие часто слышишь на реке, прекрасный, будто зов труб Тутанхамона. Так кричит в полете чернозобая гагара. Хенрик замер, хотя этот крик должен был быть ему столь же привычен, что и шум ветра в кронах. Он стоял, запрокинув лицо. Ни досады, ни отчаяния. Лишь чуткое ожидание: не ангелы ли это трубят, возвещая близость Пришествия?

Он направился дальше, а мы вернулись на заимку. Я не знал, что сказать. Не хотелось расстраивать Густава, признавать свое бессилие. Идиотская гордыня обуревала меня. Я же член-учредитель Общества разума, в конце-то концов. Постепенно у меня созрел план. Я пойду к Хенрику один. Скажу, что я врач и хотел бы осмотреть его глаза. И под этим предлогом попробую прощупать его рассудок.

Назавтра в полдень я подобрался к хижине Хенрика. Моросил дождь. Небо затянули облака. Я постучался и отступил на несколько шагов. Долгая пауза. Наконец он возник в дверном проеме, одетый так же, как вчера. Лицом к лицу, совсем рядом, его неистовство поражало еще сильнее. С трудом верилось, что он почти слеп: столь пронзительно-прозрачны были его синие глаза. Но вблизи заметно было, что смотрят они в разные стороны; заметны и характерные пятна катаракты на радужках. Он, наверное, очень удивился, но и виду не подал. Я спросил, понимает ли он по-английски,— Густав говорил, что понимает, но я хотел вынудить его собственный ответ. Он лишь замахнулся посохом: не приближайся! Не угроза, скорее предостережение. Я понял его так, что могу продолжать, если не стану подходить ближе.

Я объяснил, что я врач, интересуюсь птицами, приехал в Сейдварре изучать их... и тому подобное. Я говорил медленно, памятуя, что английской речи он не слышал лет пятнадцать или даже больше. Он внимал без

---

[1] Огонь *(франц.)*.

всякого выражения. Я перешел к современным методам лечения катаракты. Уверен, в больнице ему могли бы помочь. Ни слова в ответ. Наконец я умолк.

Он повернулся и скрылся в хижине. Дверь осталась открытой; я выжидал. Вдруг он выскочил снова. В руке у него было то же, что и у меня, Николас, когда я прервал ваше чаепитие. Топор с длинной рукояткой. Но я сразу понял, что он не более расположен колоть дрова, чем викинг, когда бросается в гущу схватки. Помедлил мгновение, потом ринулся вперед, занося топор над головой. Если б не слепота, он, без сомнения, убил бы меня. А так я едва успел отскочить. Острие топора вонзилось глубоко в дерн. Секунды две он его вытаскивал; я воспользовался этим и пустился наутек.

Он грузно побежал за мной. Перед хижиной была небольшая прогалина, свободная от деревьев; я углубился в лес ярдов на тридцать, а он остановился у первой же березы. За двадцать футов он, наверное, не мог отличить меня от древесного ствола. С топором наперевес он вслушивался, напрягал глаза. Должно быть, он понимал, что я наблюдаю за ним, ибо внезапно размахнулся и со всей силой обрушил топор на березу. Дерево было порядочное. Но по всему стволу, от корней до вершины, прошла крупная дрожь. Так он мне ответил. Его ярость настолько испугала меня, что я не двинулся с места. Секунду он смотрел в моем направлении, затем повернулся и ушел в хижину. Топор так и остался в стволе.

На подворье я вернулся поумневшим. В голове не укладывалось, как можно столь упорно противиться медицине, разуму, науке. Но ясно было, что и другие мои приоритеты — плотскую радость, музыку, рассудочность, врачебное мастерство — он отмел бы точно так же, с порога. Его топор метил прямо в темя всей нашей гедонистической цивилизации. Нашей науке, нашему психоанализу. Для него все, что не являлось Встречей, было тем, что буддисты называют жаждой бытия — суетной погоней за повседневностью. И конечно, забота о собственных глазах лишь умножила бы тщету. Он хотел остаться слепым. Тем больше надежды, что в один прекрасный миг он прозреет.

Через несколько дней я собрался уезжать. В последний вечер Густав засиделся у меня допоздна. Я ничего не сказал ему о своей прогулке. Ветра не было, но в тех краях в августе ночи уже довольно холодные. Густав ушел, а я выбрался из сарая помочиться. Ослепительная луна сияла в небе Дальнего Севера, где к концу лета день брезжит сквозь любую темноту и над головой открываются таинственные глубины. В такие ночи кажется, что мир вот-вот начнется заново. Из-за реки, со стороны Сейдварре, донесся крик. Сперва я решил, что это какая-то птица, но быстро сообразил: так кричать может только Хенрик. Я повернулся к заимке. Густав, едва различимый во тьме, замер, остановился у дома, весь — слух. Снова крик. Натужный, словно голос должен был преодолеть огромные расстояния. Ступая по траве, я приблизился к Густаву. «Он просит помощи?» Тот покачал головой и продолжал безотрывно смотреть на темный абрис Сейдварре за серой в свете луны рекой. О чем он кричит? «Слышишь меня? Я здесь»,— перевел Густав. И эти фразы, сначала одна, потом другая, вновь донеслись до нас; теперь я разбирал слова. «Hører du mig? Jeg er her». Хенрик взывал к Господу.

Я уже рассказывал, как хорошо воздух Сейдварре распространяет звуки. Всякий раз крик будто уходил в бесконечность, через леса, над водами, к звездам. Отголоски замирали вдали. Редкие, хриплые вопли потревоженных птиц. Сзади, в доме, послышался шум. Я обернулся; в одном из верхних окон белела чья-то фигура — Рагны или ее дочери, не разберешь. Всех нас словно опутали чары.

Чтобы развеять их, я принялся задавать вопросы. И часто он так кричит? Не слишком, ответил Густав,— три-четыре раза в год, в полнолуние, если нет ветра. И всегда те же самые слова? Густав помедлил. Нет. «Я жду», и «Я очистился», и еще — «Я готов». Но две фразы, которые мы слышали,— чаще других.

Я заглянул Густаву в лицо и спросил, нельзя ли снова пойти понаблюдать за Хенриком. Он молча кивнул, и мы отправились в путь. До стрелки добрались минут за десять-пятнадцать. То и дело слышались крики. Мы подошли к сейду, но кричали не отсюда. «Он на самом краю»,— сказал Густав. Мы миновали хижину и очень осторожно приблизились к оконечности мыса. Лес кончился.

За ним открылся берег. Галечный пляж тридцать-сорок ярдов шириной. Пасвик здесь сужался, и мыс принимал на себя всю силу течения. Поток, словно в разгаре лета, журчал на камнях отмели. Хенрик стоял на острие галечной косы, по колено в воде. Лицом к северо-востоку, где река снова расширялась. Луна покрывала ее вязью тусклых отблесков. По воде стлались длинные полосы тумана. Не успели мы оглядеться, как Хенрик закричал. «Hører du mig?» С невероятной силой. Точно звал кого-то за много миль отсюда, на невидимой дальней излуке. Долгая пауза. И — «Jeg er her». Я навел бинокль. Он стоял, широко расставив ноги, с посохом в руке, как библейский пророк. Воцарилось молчание. Черный силуэт на фоне мерцающего потока.

Затем Хенрик произнес какое-то слово. Гораздо тише. Это было слово «Takk». «Спасибо» по-норвежски. Я не отводил бинокля. Он отступил на шаг-другой, вышел из воды, стал на колени. Мы слышали, как хрустит галька под его ногами. Он смотрел в ту же сторону. Руки опущены. Не к молитве он готовился — к еще более пристальному созерцанию. Он видел нечто совсем рядом с собой, столь же явственно, как я — темную голову Густава, деревья, лунные блики в листве. Я отдал бы десять лет жизни, чтобы посмотреть туда, на север, его глазами. Не знаю, что именно он видел, но уверен — это «что-то» обладало мощью и властью, которые объясняли все. И, подобно вспышкам лунного света над головой Хенрика, мне блеснула правда. Он не ждал встречи с Богом. Он встречался с Ним, встречался, возможно, уже многие годы. Не уповал на чудо, а переживал его.

Как вы догадываетесь, до этого момента я рассматривал жизнь с научной, медицинской, классифицирующей точки зрения. Подходил к роду людскому с позиций орнитологии. Меня интересовали его разновидности, инстинкты, повадки. А тут я впервые усомнился в собственных принципах, убеждениях, пристрастиях. Ощущения человека на мысу не вмещались в рамки моей науки, моего разума, и я понял, что наука и разум останутся ущербны, пока не воспримут то, что происходило тогда в голове Хенрика.

Я сознавал, что Хенрик видит там, над водою, столп огненный; сознавал, что никакого столпа нет, и легко можно доказать, что столп существует лишь в воображении Хенрика. Однако все наши объяснения, разграничения и производные, все наши понятия о причинности будто озарились сполохом и предстали передо мной как ветхая сеть. Действительность, огромное ленивое чудище, перестала быть мертвой, податливой. Ее переполняли таинственные силы, новые формы и возможности. Сеть ничего не значила, реальность прорывалась сквозь нее. Может, мне телепатически передалось состояние Хенрика? Не знаю.

Эти простые слова, «Не знаю», стали моим огненным столпом. Они открывали мне мир, иной, чем тот, в каком я жил,— как Хенрику. Они учили меня смирению, что схоже с исступленностью,— как Хенрика. Я ощутил глубинную загадку, ощутил тщету многих вещей, что век наш превозносит,— как Хенрик. Наверное, рано или поздно озарение все равно настигло бы меня. Но в ту ночь я сделал шаг длиною в десятилетие. Уж это я понимал ясно.

Вскоре Хенрик побрел обратно в лес. Я не видел его лица. Но мне кажется, выражение накала, которое не покидало его днем, он перенимал именно у огненного столпа. Может быть, ему уже не хватало одного лишь огненного столпа, и в этом смысле он все еще ждал Сретенья. Жизнь — всегда стремление к большему, для грубого ли лавочника, для изысканного ли мистика. Но в одном я был уверен. Пусть Бога с ним нет, но Дух Святой почиет на нем.

Назавтра я отбыл. Попрощался с Рагной. Ее враждебность не ослабла. Думаю, в отличие от Густава она считала, что безумие послано ее мужу свыше и любая попытка лечения убьет его. Густав с племянником отвезли меня на лодке до ближайшей заимки, в двадцати милях к северу. Мы пожали друг другу руки, условились переписываться. Мне нечем было его утешить, да и вряд ли он нуждался в утешении. Есть случаи, когда утешение лишь нарушает равновесие, что установлено временем. С тем я и вернулся во Францию.

45

Жюли покосилась на меня, будто спрашивая, продолжаю ли я еще сомневаться, что никакая серьезная опасность нам тут не угрожает. Я не выказал несогласия — и не затем только, чтоб ей угодить. Может, вот-вот с Муцы донесется голос, выкрикивающий что-то по-норвежски, или взметнется из сосновой темноты мастерски подделанный огненный столп. Но нет — царила тишина, только сверчки попискивали.

— И больше вы туда не возвращались?

— Порой ничего нет пошлее, чем возвращаться.

— Неужели вас не интересовало, чем кончится эта история?

— Вовсе не интересовало. Настанет день, Николас, и вы откроете для себя нечто неимоверно значительное.— Сарказм в его тоне не чувствовался, но подразумевался.— И поймете, что́ я имел в виду, когда говорил вам: бывают мгновения, которые обладают столь сильным воздействием на душу, что и подумать страшно о том, что когда-нибудь ему наступит предел. Для меня время в Сейдварре остановилось навеки. И мне не интересно, что сталось с заимкой. И как поживают ее обитатели. Если еще поживают.

— Но ты сказал,— произнесла Жюли,— что вы с Густавом обещали друг другу переписываться.

— Я и писал ему. А он отвечал. Года два отвечал неукоснительно, примерно раз в три месяца. Но совсем не касался темы, которая вас волнует,— сообщал лишь, что все по-прежнему. Послания его были целиком посвящены орнитологическим наблюдениям. И читать их становилось все скучнее, ибо я постепенно охладел к типологии природы. Письма приходили реже и реже. Кажется, в двадцать шестом или двадцать седьмом он прислал мне рождественскую открытку. С тех пор — молчание. А теперь его уже нет на свете. И Хенрика нет, и Рагны.

— Вы вернулись во Францию — а потом?

— Огненный столп приходил в гости к Хенрику в полночь семнадцатого августа двадцать второго года. Пожар в Живре-ле-Дюк вспыхнул в те самые ночь и час.

Жюли, в отличие от меня, взглянула с неприкрытым недоверием. Кончис сидел боком к столу; наши с ней глаза встретились. Скорчила разочарованную мину, потупилась.

— Вы хотите сказать...

— Я ничего не хочу сказать. Между этими событиями не было никакой связи. И быть не могло. Точнее, их связывал я, именно во мне нужно искать смысл их совпадения.

У него пробилась непривычно тщеславная интонация, точно он-то и спровоцировал оба события и каким-то неведомым способом обеспечил их синхронность. Чувствовалось, что сие совпадение не надо понимать буквально, что он использует его в качестве красивого символа; два рассказанных им эпизода перекликаются по смыслу, и загадка его натуры раскроется перед нами лишь при их внимательном сличении. Точно так же, как в новелле о де Дюкане содержался ключик к самому Кончису, только что поведанная им история как-то объясняла недавний сеанс гипноза; *реальность, прорывающая ветхую сеть знания,*— кажется, так он выразился; во время сеанса я, помнится, испытывал нечто сходное, и это сходство вряд ли чисто случайно. Взаимосвязи знаков, что пронизывают плоть спектакля: нити тайного замысла.

— Дорогая,— отечески обратился он к Жюли,— по-моему, тебе пора в постель.— Я посмотрел на часы. Начало двенадцатого. Жюли повела плечом, словно напоминать о режиме с его стороны было бестактно.

— Зачем ты рассказал нам эту историю, Морис? — спросила она.

— Настоящим правит минувшее. Сквозь Бурани просвечивает Сейдварре. Все, что здесь происходит, по каким бы причинам ни происходило, отчасти — нет, целиком — уже случилось в норвежской тайге тридцать лет тому назад.

Он отвечал ей тем же тоном, каким обычно обращался ко мне. Иллюзия, что у Жюли абсолютно другой статус, что она гораздо больше разбирается в сути происходящего, почти развеялась. Похоже, он толкает нас к новому излому, устанавливает новые правила наших отношений. В каком-то смысле мы оба стали теперь учениками, профанами. Мне вспомнился излюбленный сюжет викторианских живописцев: брадатый моряк-елизаветинец, указуя в просторы вод, разглагольствует перед парой вытаращившихся на него мальчуганов. Мы вновь исподтишка переглянулись; впереди лежала еще одна незнаемая территория. Я ощутил прикосновение ноги; доля секунды, какую длится торопливый поцелуй.

— Что ж. Наверно, мне пора.— Чопорная личина опять легла на ее черты. Все мы поднялись.— Морис, ты так умно и увлекательно рассказывал.

Подалась к нему, чмокнула в щеку. Протянула мне руку. Заговорщически блеснула глазами, быстро сдавила пальцами мою ладонь. Пошла прочь; остановилась.

— Извините. Забыла сложить спички в коробок.

— Ничего страшного.

Мы с Кончисом молча уселись. Вскоре послышался хруст гравия — она шагала в сторону моря. Я улыбнулся прямо в непроницаемое лицо Кончиса. На фоне ясных белков радужка казалась совсем черной — бесконечно внимательный взгляд маски.

— Покажут мне ночью живые картинки?

— А что, эта история в них нуждается?

— Нет. Вы рассказали ее... безупречно.

Отмахнулся от похвалы, обвел рукой вокруг себя: вилла, лес, море.

— Вот она, иллюстрация. Вещи как они есть. В скромных рамках моих владений.

Раньше я бы непременно заспорил с ним. Его владения, не столь уж скромные, пропитаны скорее мистификацией, нежели мистикой; что же до «вещей», то здесь они как раз не те, какими представляются. Кончис — личность, без сомнения, сложная, но от этого не перестает быть хитрющим старым шарлатаном.

— Сегодня вечером состояние пациентки кардинально улучшилось,— небрежно бросил я.

— Наутро она вам покажется еще более вменяемой. Не попадитесь на эту удочку.

— За кого вы меня принимаете!

— Я уже говорил, что завтра скроюсь с глаз долой. Но буде мы так и не увидимся, ждать вас в следующую субботу или не ждать?

— Непременно ждать.

— Хорошо. Ладно.— Встал, словно всего лишь тянул время, потребное, как я предположил, для того, чтоб Жюли успела «исчезнуть».

Я тоже поднялся.

— Спасибо. Еще раз спасибо вам за науку.

Наклонил голову, точно бывалый импресарио, не принимающий слишком всерьез бесконечные похвалы своему творческому чутью. Мы прошли в дом. На стене спальни мягко мерцали полотна Боннара. На лестнице я решился.

— Я не прочь подышать воздухом, господин Кончис. Сна что-то ни в одном глазу. Вниз к Муце и сразу назад.

Я понимал, что, навяжись он мне в попутчики, я не попаду к статуе

ровно в полночь; но иначе не обведешь его вокруг пальца и не обеспечишь пути к отступлению. Если нас с Жюли застигнут на месте свидания, совру, что забрел туда случайно. Я ж не скрывал, что иду погулять.

— Как вам будет угодно.

Порывисто пожал мне руку и стал смотреть, как я спускаюсь. Но не успел я добраться до нижней ступеньки, как дверь его комнаты захлопнулась. Он мог шпионить за мной с террасы, так что я старательно захрупал по гравию в сторону лесной дороги к воротам. Однако за ними я не стал сворачивать к Муце, а прошел ярдов пятьдесят вверх по холму и уселся, прислонившись к сосне и не выпуская из виду вход на территорию Бурани. Ночь была темная, безлунная, но на всем вокруг тихо бликовал рассеянный звездный свет, и я будто слышал нежнейший звук шерсти, трущейся об эбонитовый стержень.

Сердце стучало как оглашенное, отчасти в преддверии встречи с Жюли, отчасти из-за прихотливого чувства, что я плутаю в дальних коридорах самого таинственного на европейской земле лабиринта. Вот я и стал настоящим Тесеем; там, во тьме, ждет Ариадна; а может, ждет и Минотавр.

Я не отрывался от ствола минут пятнадцать; курил, пряча в ладони красный огонек сигареты, вслушиваясь и всматриваясь во мрак. Никто не вошел в ворота; никто не вышел из ворот.

Без пяти двенадцать я проскользнул обратно и, плутая между деревьев, побрел на восток, к оврагу. Шел медленно, то и дело останавливался. У лощины выждал, перебрался на ту сторону и, стараясь не шуметь, устремился вверх по тропинке, ведущей к урочищу Посейдона. Показался грозный силуэт статуи. Скамейка под миндальным деревом пуста. Я застыл у крайнего ствола, окутанный светом звезд, убежденный: вот-вот что-то произойдет,— и стал высматривать в кромешной тьме чью-нибудь фигуру — не голубоглазого ли человека с топором наперевес?

Громкий щелчок. Кто-то метнул в статую камешком. Я отступил в сосновую мглу; краем глаза заметил движение чужой руки — и вот уже второй камешек, пляжная галька, летит к моим ногам. В момент броска за деревом выше по холму мелькнуло белое, и я понял, что там — Жюли.

Побежал по крутосклону, споткнулся, стал как вкопанный. Она притаилась в чернильной тени сосны. Я различил белые блузку и брюки, светлые волосы, распахнутые мне навстречу объятия. Еще четыре прыжка — и она стиснула меня руками, мы слились в неистовом поцелуе, в долгом, прерываемом лишь ради глотка воздуха, ради судорожных ползков ладоней по спине, лобзании... вот теперь, думал я, она такая, как есть. Бесхитростная, страстная, ненасытимая. Она не уворачивалась от моих пальцев, приникала ко мне всем телом. Я принялся шептать нежные банальности, но она шлепнула меня по губам. Я удержал ее руку, скользнул губами по предплечью и перебрался на тыльную сторону запястья, поближе к шраму.

Спустя мгновение я отшатнулся, нащупал в кармане коробок, чиркнул спичкой и осветил левую руку девушки. Шрама не было. Я поднял спичку повыше. Глаза, рот, линия подбородка — все как у Жюли. Но это была не Жюли. Морщинки в углах губ, чересчур разбитное выражение глаз, какое-то нарочитое нахальство; и, помимо всего прочего, сильный загар. Она было потупилась, но затем снова, прищурившись, взглянула мне прямо в лицо.

— Черт побери.— Я выбросил спичку и зажег вторую. Девушка поспешно задула пламя.

— Николас.— Голос низкий, укоряющий — и чужой.

— Тут, верно, ошибка. Николас — это мой брат-близнец.

— Я еле дождалась полуночи.

— Где она?

Я говорил сердитым тоном и действительно рассердился, но не настолько, как могло показаться. Ситуация слишком явно напоминала пьесы Бомарше, французские комедии времен Реставрации; простаку в них тем хуже приходится, чем больше он выходит из себя.

— Кто — она?

— Вы позабыли прихватить свой шрам.
— Значит, вы уже догадались, что он накладной?
— И свой голос.
— Это сырость виновата.— Откашлялась.
Я схватил ее за руку и потащил к скамье под миндальным деревом.
— Перестаньте. Где она?
— Не смогла прийти. Эй, поосторожнее!
— Так где же она? — Молчание.— Неудачно вы пошутили,— сказал я.
— А по-моему, удачно. Аж голова закружилась.— Уселась, взглянула на меня.— Да и у вас тоже.
— Господи, я ведь думал, что вы...— но тут я прикусил язык.— Вас зовут Джун?
— Да. Если вас зовут Николас.
Я сел рядом, вынул пачку «Папастратос». Она взяла сигарету, и при свете спички я как следует рассмотрел ее лицо. Глаза девушки, куда более серьезные, чем ее тон, тоже внимательно изучали меня.
Ее разительное сходство с сестрой нежданно натолкнуло меня на мрачные размышления. Я только сейчас понял, что и в Жюли есть скрытые черты, для меня вовсе не желательные, попросту излишние. Видно, виной тому была загорелая кожа моей новой знакомой, отпечаток свежей, подвижной жизни, телесного здоровья, чуть округлившего щеки... в нормальных обстоятельствах Жюли выглядела бы точно так же. Я сгорбился, упершись локтями в колени.
— Почему она не смогла прийти?
— Разве вам Морис не объяснил?
Я попытался справиться с чувством, какое испытывает самонадеянный шахматист, вдруг заметивший, что на следующем ходу его ферзя, казавшегося неуязвимым, съедят. В который раз я мысленно вернулся на несколько часов назад — может, старик правду говорил о коварстве больных шизофренией? По-настоящему хитрая маньячка не стала бы выплескивать чайные опивки мне в лицо; но маньячка дьявольски хитрая способна наспех сымпровизировать эту сцену — ради финального подмигиванья; да и тайные прикосновения голой ступни, зашифрованный спичками час свидания... он мог заметить все ее знаки, но притвориться, что не замечает.
— Мы вас не виним. Жюли и профессоров обводила вокруг пальца.
— С чего вы взяли, что она обвела меня вокруг пальца?
— Не будете же вы так страстно целоваться с женщиной, если знаете, что она душевнобольная. По крайней мере, надеюсь, что не будете,— добавила она. Я промолчал.— Нет, мы вас правда не виним. Я-то знаю, как мастерски она умеет создавать впечатление, что психи все вокруг, кроме нее. Этакая оскорбленная невинность.
Однако, произнося последнюю, самую короткую, фразу, голос ее дрогнул, точно она опасалась, что слегка пережала и я это вот-вот обнаружу.
— Благоразумнее уж невинность изображать, чем порочность, как это делаете вы.
Долгая пауза.
— Вы мне не верите?
— Вы знаете, что нет. Да и сестра ваша, похоже, мне до сих пор не доверяет.
Она вновь надолго умолкла.
— У нас не получилось выбраться вдвоем.— И, понизив голос, добавила: — И потом, я хотела убедиться.
— В чем убедиться?
— Что вы тот, за кого себя выдаете.
— Я не врал ей.
— Вот и она твердит то же самое. Но чересчур уж убедительно, так что у меня возникли сомнения в ее беспристрастии. Теперь-то я начинаю ее понимать. После непосредственного контакта с вами,— сухо добавила она.
— Легко проверить, что я работаю в школе на том берегу.
— Мы знаем, школа там есть. Вы, конечно, не носите с собой удостоверения личности?

— Это просто глупо.

— Гораздо глупее в теперешних условиях то, что я у вас его не требую.

Определенный резон в ее словах был.

— Паспорт я не захватил. Может, греческий вид на жительство сойдет?

— Разрешите взглянуть? Ну, пожалуйста!

Я запустил руку в задний карман, зажег несколько спичек, чтобы она рассмотрела в документе мои имя, адрес и профессию. Наконец она протянула вид на жительство мне.

— Все в порядке?

Она не собиралась шутить.

— Можете поклясться, что вы не его помощник?

— Помощник, но только в том смысле, что Жюли, по его словам, проходит экспериментальный курс лечения от шизофрении. А этому я никогда не верил. Во всяком случае, переставал верить, стоило мне с ней увидеться.

— Вы не были знакомы с Морисом до того, как появились тут месяц назад?

— Ни под каким видом.

— И контрактов с ним не заключали?

Я взглянул на нее.

— А вы, значит, заключали?

— Да. Но там ничего подобного не предусматривалось.— Помедлила.— Жюли завтра вам все расскажет.

— Я тоже с удовольствием познакомился бы с какими-нибудь подлинными документами.

— Ладно. Это справедливое требование.— Бросила сигарету, затушила ее носком туфли. Следующий вопрос застиг меня врасплох.— На острове есть полицейские?

— Сержант и два рядовых. А почему вы спрашиваете?

— Так, из любопытства.

Я глубоко вздохнул.

— Подведем итоги. Сперва вы с ней были призраками. Потом — сумасшедшими. Теперь вот-вот угодите в наложницы.

— Иногда я думаю, что это был бы лучший исход. Самый понятный.— И быстро заговорила: — Николас, я в жизни ничего не принимала близко к сердцу, потому-то мы, может, и оказались здесь, да это и сейчас в каком-то плане одно удовольствие... но, честное слово, мы и правда просто англичанки, которые за два месяца забурились в такие дебри, что...— она осеклась, и воцарилась тишина.

— Вы разделяете восхищение, с каким Жюли относится к Морису?

Помедлила с ответом; взглянув на нее, я увидел холодную улыбку.

— Подозреваю, мы с вами найдем общий язык.

— Выходит, не разделяете?

Отвела глаза.

— Сестра куда способнее меня, но... элементарного здравого смысла ей недостает. Я-то, хоть и не понимаю, что именно тут происходит, чую подвох. А Жюли вроде все на ура принимает.

— Почему вы спросили про полицейских?

— Да потому, что здесь мы как в тюрьме. Тюрьма, конечно, вполне уютная. Ни камер, ни решеток... она ведь вам говорила, он уверяет, что мы в любой момент можем отправиться домой. Вот только мы все время ощущаем какой-то надзор или опеку.

— Но сейчас-то мы в безопасности?

— Надеюсь. Но скоро мне надо идти.

— Сообщить в полицию ничего не стоит. Было бы желание.

— Это радует.

— Ну, а *вы* как думаете, что здесь на самом деле происходит?

Кислая улыбка.

— Я у вас о том же хотела спросить.

— На мой взгляд, в психиатрии он что-то смыслит.

— Он часами расспрашивает Жюли, когда вы уходите. Что́ вы говорили, как вели себя, как она вам врала... и тому подобное. Впечатление, его так и подмывает влезть в чужую шкуру — каждую подробность выпытывает.

— И гипнотизирует ее?

— Он нас обеих гипнотизировал — меня всего один раз. Такое немыслимое... вам тоже довелось?

— Да.

— А Жюли — не один. Чтоб тверже выучила роль. Биографию Лилии. А потом — повадки шизофреников, настоящий спецкурс.

— И под гипнозом выспрашивает?

— По правде — нет. Всякий раз печется, чтоб та, кого он не гипнотизирует, присутствовала на сеансе. Я сижу и слушаю, с начала до конца.

— И все-таки дело нечисто?

Снова замялась.

— Кое-что нас смущает. Момент соглядатайства, что ли. Кажется, он все подсматривает, как вы тут с ней кадритесь.— Взглянула на меня.— Жюли вам рассказывала про сердца трех? — И по лицу моему догадалась, что нет.— Ну, расскажет еще. Завтра.

— Что за сердца трех?

— По первоначальному плану мне тоже полагалось вступить в игру.

— А дальше?

— Пусть она вам расскажет.

— Мы с вами..? — предположил я.

Помедлила.

— Он уже от этого отказался. С учетом того, как все повернулось. Но мы подозреваем, что первоначальный план он вообще не собирался выполнять. И потому непонятно, зачем я-то здесь болтаюсь.

— Подлость какая. Мы ж ему не пешки.

— Это ему лучше, чем вам, Николас, известно. Дело не в том, что ему надо поставить нас в тупик. Ему надо, чтоб мы сами его в тупик поставили.— Она улыбнулась и прошептала: — Кстати, я лично так и не решила, радоваться или плакать, что прежний план отменен.

— Позволите передать это вашей сестре?

Усмехнулась, отвела взгляд.

— Вы меня всерьез не принимайте.

— Я уж понял, что не стоит.

Сделала короткую паузу.

— У Жюли был очень тяжелый роман, Николас. Совсем недавно он закончился разрывом. Это одна из причин того, что она уехала из Англии.

— Как я ее понимаю!

— Да, вы должны понимать ее. Но я к тому, что ей и старых мучений достаточно.

— Я не собираюсь ее мучить.

Подалась вперед.

— У нее просто талант — цеплять не тех мужиков. Вас я не имею в виду, я вас почти не знаю. Но последнее ее достижение оптимизма не внушает.— И добавила: — У меня одна мысль: во что бы то ни стало ее уберечь.

— От меня ее беречь не требуется.

— Беда в том, что она всю жизнь ищет поэзии, страсти, отзывчивости — всей этой романтической дребедени. Мой рацион не в пример грубее.

— Проза и пудинг?

— Я не жду, что у красивого мужчины и душа будет красивая.

Она произнесла это с тоскливой горечью, которая пришлась мне по вкусу. Я исподтишка взглянул на ее профиль и на миг вообразил иной спектакль, где их роли схожи, где обе, и темная и светлая, принадлежат мне одному; скабрезные новеллы Возрождения, где девушки меняются местами, пока не наступит рассвет. Я представил, что в будущем, ладно, так и быть, я женюсь на Жюли, но не менее привлекательная и абсолютно не похожая

на нее свояченица присутствует в нашей семейной жизни, пусть всего лишь в качестве эффектного контраста. Близнецы — это всегда оттенки, соблазны, диффузия двух «я»; тела и души, отражающиеся друг в друге, неразделимые.

— Мне пора,— шепнула она.

— Успокоил я вас?

— Вы были на высоте.

— Можно проводить вас до места, где вы прячетесь?

— Внутрь вам нельзя.

— Хорошо. Но мне тоже не мешает успокоиться.

Замялась.

— Только обещайте повернуть назад, как только я попрошу.

— Согласен.

Мы поднялись и направились туда, где высился в свете звезд Посейдон. И лишь поравнявшись со статуей, поняли, что не одни в урочище. Замерли. Ярдах в двадцати пяти, из-за кустарника, росшего по нижнему, обращенному к морю краю поляны, выступила белая фигура. Говорили мы слишком тихо, чтобы быть услышанными на таком расстоянии, но все-таки растерялись.

— Черт бы его подрал,— прошептала Джун.

— Кто это?

Она схватила меня за руку и потянула назад.

— Наш обожаемый надзиратель. Оставайтесь на месте. Дальше я пойду одна.

Обернувшись, я всмотрелся пристальней: человек в белом халате врача, как бы санитар, на лице — темная маска, черты которой невозможно различить. Джун сжала мне пальцы и уставилась в глаза таким же серьезным взглядом, как ее сестра.

— Я вам верю. И вы нам верьте, прошу вас.

— Что теперь будет?

— Не знаю. Не вступайте в пререкания. Просто возвращайтесь в дом.

Подалась вперед, притянула меня к себе, чмокнула в щеку. И устремилась к белому халату. Выждав, пока она подойдет к нему вплотную, я последовал за ней. Человек молча посторонился, пропуская ее в лесную тьму, но затем опять загородил собою брешь в кустарнике. Вздрогнув куда сильнее, чем в тот миг, когда впервые заметил его, вблизи я понял, что маски на нем нет. Это был негр: крупный, высокий, лет на пять старше меня. Он бесстрастно наблюдал за мной. Меж нами осталось шагов десять. Он выбросил руки в стороны, предостерегая: проход закрыт. Кожа его была светлее, чем у большинства негров, лицо гладкое, внимательные глаза, блестящие, как у зверя, механически фиксировали каждое мое движение. Он стоял грузно, но напряженно, точно атлет или боксер.

— В шакальей маске ты гораздо красивее,— сказал я, остановившись.

Он не шевельнулся. Но из-за его плеча возникло лицо Джун, встревоженное, умоляющее.

— Николас! Возвращайтесь в дом. *Пожалуйста.*— Я вновь уставился на негра.— Он не может говорить. Он немой,— сказала она.

— А я думал, черные евнухи вымерли вместе с Оттоманской империей.

В лице его ничто не дрогнуло, мне почудилось даже, что он не понял моих слов. Но тут он сложил руки на груди и расставил ноги пошире. Из-под халата виднелась водолазка. Ясно было, что он ожидает моего нападения, и я с трудом удержался, чтобы не броситься на него.

Пусть решает Джун. Я взглянул на нее.

— Вам ничего не угрожает?

— Нет. Пожалуйста, уходите.

— Я подожду у статуи.

Кивнув, она скрылась. Я вернулся к морскому божеству и сел на его естественный пьедестал; зачем-то, не знаю зачем, ухватился за бронзовую лодыжку. Негр со скрещенными руками стоял, будто снулый музейный

служитель — нет, скорее сабленосец-янычар у врат султанова гарема. Я оторвался от лодыжки и закурил, чтобы приструнить бушующий адреналин. Прошла минута, другая. Я вслушивался: не раздадутся ли из тайника голоса сестер, не зарычит ли моторка. Полная тишина. Во мне, кроме мужского достоинства, униженного на глазах красивой девушки, саднило чувство тревоги и вины. Теперь Кончис, несомненно, узнает о нашем тайном свидании. А может, и сюда заявится. Я боялся не столько того, что откроется мое двуличие в идиотской истории с шизофренией, сколько того, что, демонстративно нарушив оговоренные им условия, я буду немедленно выдворен из Бурани. Я поразмыслил, не удастся ли перетянуть негра на свою сторону, убедить его, упросить. Но тот стоял себе во мраке деревьев, дважды неподвластный моей логике — как представитель расы и как персона.

Откуда-то с берега донесся свист. С этого момента события развивались стремительно.

Белая фигура заскользила вверх по склону, ко мне. Вскочив, я проговорил: — А ну постой-ка.— Однако негр был силен и быстр, точно леопард, выше меня на целых два дюйма. Физиономия сосредоточенная и злая. Самое неприятное — я здорово струхнул,— что в глазах его светилось яростное безумие; у меня мелькнула догадка — не Хенрика ли Нюгора заменяет тут этот чернокожий? Он с налету смачно плюнул мне в лицо и засадил в грудь растопыренной ладонью. Край скального выступа ударил мне под коленки. Я шмякнулся к ногам Посейдона. Глядя в удаляющуюся спину негра, смахнул харкотину с носа и щек. Хотел было заорать ему вслед, но передумал. Вытащил платок и тщательно протер липкое, опоганенное лицо. Подвернись мне сейчас Кончис, я просто убил бы его.

Но Кончис не подвернулся, и я побрел к воротам, а затем — по тропинке к Муце; прочь от обиталища старика. На пляже содрал с себя одежду и бросился в море; ополоснул лицо соленой водой, отплыл на сто ярдов от берега. Море кишело светящимися водорослями, каждое движение оставляло в воде длинный замысловатый след. Я нырнул, на глубине по-тюленьи перевернулся на спину; звезды растекались в водной толще белыми кляксами. Прохладное, остужающее море нежно поглаживало мне пах. Здесь, далеко за пределами досягаемости с берега, я мог делать что хотел.

Я давно подозревал, что в рассказе о де Дюкане с его коллекцией автоматов таится скрытый смысл. Именно в такую кунсткамеру Кончис и превращал — по крайней мере, тщился превратить — Бурани, делал себе кукол из живых людей... и я не намерен больше потакать ему в этом. Здравые рассуждения Джун подействовали на меня отрезвляюще. Я — единственный мужчина, на которого они тут могут положиться; в первую очередь им не амуры мои нужны, а помощь и сила. Но я понимал, что врываться в дом и скандалить со стариком бесполезно — тот опять примется лгать напропалую. Как засевшую в пещере тварь, его предстоит выманить чуть подальше на дневной свет и лишь затем скрутить и уничтожить.

На востоке над морем вздымался темный мыс; стоя в воде вертикально и медленно перебирая ногами, я понемногу успокаивался. Схлопотав плевок, я еще дешево отделался; не надо было оскорблять этого типа. Расизм не входит в число моих грехов... точнее, хотелось бы надеяться, что не входит. Правда, теперь старику не удастся сделать вид, будто ничего не случилось; ему волей-неволей придется раскрыть еще несколько карт. Посмотрим, какие изменения он внесет в завтрашний сценарий. Меня охватило прежнее нетерпение: пусть все напасти, даже черный Минотавр, обрушатся на меня, коль скоро их так и так не минуешь; коль скоро близок центр лабиринта, где ждет желанная награда.

Я поплыл к берегу, вытерся рубашкой. Натянул брюки и туфли, отправился к вилле. Дом спал. У комнаты Кончиса я замер и прислушался, не смущаясь, что кто-то, возможно, тоже прислушивается к моим шагам по ту сторону двери. Ни звука.

46

Пробудился я непривычно квелым и разбитым — следствие местной жары. Было около десяти. Я смочил волосы холодной водой, через силу оделся и спустился под колоннаду. Заглянул под муслиновую салфетку: на столе завтрак и спиртовка, чтоб подогреть непременную турку кофе. Я чуть помешкал, но никто не появлялся. Мертвое спокойствие виллы ошеломляло. Я-то думал, сегодня Кончис продолжит комедию, а сцена пуста. Я сел завтракать.

Покончив с едой, отнес посуду к хижине Марии — вот-де какой я заботливый; но дверь оказалась на замке. Первая неудача. Я поднялся, постучал к Кончису, подергал ручку — вторая неудача. Обошел весь первый этаж. Даже разворошил полки в концертной в поисках Кончисовых трудов по психиатрии — безуспешно. Мной овладела паника: из-за того, что я натворил ночью, всему конец. Они навсегда исчезли.

Я поплелся к статуе, обогнув территорию виллы, точно посеял ключ где-то в траве у забора, и через час вернулся к дому. Все так же пусто. Я чувствовал себя преданным, одураченным. Что предпринять? Бежать в деревню, сообщить в полицию? Наконец я спустился на частный пляж. Лодки у мостков не было. Я выплыл из бухточки, завернул за стрелку, ограничивающую ее с востока. Здесь, меж хаоса валунов и каменных обломков, круто обрывались в море скалы более сотни футов высотой — крупнейшие на острове. В полумиле к востоку они образовывали неглубокую впадину, нечто вроде залива, надежно заслоняя собою берег с тремя домишками. Я тщательно осмотрел скалы: ни удобного спуска, ни заводи, где могла бы пришвартоваться самая захудалая лодочка. Однако, похоже, именно в эти места удалялись сестры, говоря, что идут «домой». Поверху, над кромкой обрыва, тянулись у подножия сосен низкорослые кусты — укрыться там немыслимо. Оставалась единственная возможность: девушки пробирались по краю обрыва, а затем поворачивали в глубь острова и спускались в лес мимо селеньица.

Я заплыл чуть дальше от берега, но попал в струю холодного течения, отпрянул назад — и сразу увидел ее. На краю скалы ярдах в ста восточнее стояла девушка в светло-розовом летнем платье; даже в густой древесной тени она приковывала взгляд с какой-то роскошной неотвратимостью. Помахала рукой, я махнул в ответ. Она сделала несколько шагов вдоль зеленой стены сосен, солнечные полосы побежали по нежно-алому платью; у меня перехватило дыхание: я заметил второе розовое пятно, вторую девушку. Они застыли, повторяя одна другую; ближняя снова призывно помахала рукой. Обе повернулись и скрылись из виду, будто намереваясь идти мне навстречу.

Минут через пять-шесть я, запыхавшись, обернув рубахой мокрые плавки, перебрался через овраг. У скульптуры их не оказалось, и я с досадой подумал, что меня опять дразнят, что мне дали полюбоваться на них для того лишь, чтобы окончательно упрятать. Мимо рожкового дерева я спустился к скалам. Меж стволов нестерпимо заблистала морская голубизна. И тут я отыскал их. Девушки сидели в тени на восточном склоне маленького, покрытого дерном каменного утеса. Не спуская с них глаз, я замедлил темп. На них были совершенно одинаковые простенькие платья с короткими, чуть присобранными рукавами и глубокими вырезами у горла, гольфы в синюю крапинку, светло-серые туфли с низким каблуком. Они смотрелись женственно и очаровательно, будто девятнадцатилетние барышни, вырядившиеся на воскресный пикник... но вырядившиеся, на мой вкус, слишком тщательно, по-городскому; особенно некстати тут была плетеная корзинка, что лежала у ног Джун и придавала им обеим вид вечных кембриджских студенток.

При моем приближении Джун встала и пошла мне навстречу. Волосы у нее, как и у сестры, были распущены; золотистая кожа, загоревшая даже сильнее, чем мне показалось ночью; переводя взгляд с одной на другую, я отметил, что внешне она куда прямодушнее сестры; в ней то и дело

сквозили повадки бойкого мальчишки. Жюли пристально наблюдала за нами. Она явно намеревалась держаться строго и отчужденно. Джун усмехнулась.

— Я ей сказала, что вам все равно, с кем сегодня гулять, с ней или со мной.

— Мило с вашей стороны.

Взяла меня за руку, подвела к утесу.

— Вот он, рыцарь наш в лучистых латах.

Жюли посмотрела холодно.

— Привет.

— Она все знает,— сообщила ее сестра.

Жюли искоса взглянула на нее.

— И знаю, кто во всем виноват.

Но затем встала и спустилась к нам. Укор сменился состраданием.

— Как вы добрались до дому?

Я рассказал им про плевок. Сестры и думать забыли о своих размолвках. На меня с тревогой уставились две пары серо-голубых глаз. Потом они переглянулись, будто моя история подтверждала их собственные выводы. Жюли заговорила первой.

— Вы Мориса сегодня видели?

— Ни следа.

Они вновь переглянулись.

— И мы не видели,— сказала Джун.

— Все вокруг точно вымерло. Я вас все утро искал.

Джун посмотрела мне за спину, в глубину леса.

— Это с виду вымерло. Как бы не так.

— Что это за гнусный чернокожий?

— Морис называет его своим слугой. В ваше отсутствие он даже за столом прислуживает. Его обязанность — опекать нас, пока мы в укрытии. Нас от него уже воротит.

— Он правда немой?

— А шут его знает. Мы считаем, что нет. Все время сидит и пялится. Словно вот-вот откроет рот.

— Не пытался он..?

Жюли покачала головой.

— Он навряд ли соображает, какого мы пола.

— Ну, тогда он еще и слепой вдобавок.

Джун поморщилась.

— Да, не везет ему, зато нам с ним повезло.

— Старику-то он настучал про ночные дела?

— Тем более странно, почему тот не показывается.

— Собака, *не* залаявшая ночью [1],— вставила Джун.

Я взглянул на нее.

— По плану нам ведь не полагалось знакомиться.

— Это до сегодняшнего дня не полагалось. А нынче мне предстояло вкручивать вам мозги вместе с Морисом.

— После очередной моей выходки — убогая, что с меня возьмешь,— добавила Жюли.

— Но теперь-то...

— Да мы и сами озадачены. Беда в том, что он не сказал, какой будет следующий этап. Кем нам надо притвориться, когда вы раскусите вранье про шизофрению.

— И мы решили стать самими собой,— заявила Джун.— Посмотрим, что из этого выйдет.

— А сейчас пора рассказать мне все без утайки.

Жюли холодно взглянула на сестру, Джун нарочито изумилась:

— Выходит, я вам тут ни к чему?

— У тебя есть шанс еще часок покоптиться на солнышке. За обедом мы, так и быть, потерпим твое общество.

---

[1] Пародируется название новеллы Артура Конан Дойла.

Присев в реверансе, Джун сходила за корзинкой; удаляясь в сторону пляжа, погрозила пальцем:

— Все, что меня касается, потом перескажете.

Я рассмеялся и запоздало перехватил прямой, угрюмый взгляд Жюли.

— Было темно. И одежда такая же, так что я...

— Я очень на нее сердита. Все и без того запуталось.

— Она совсем не похожа на вас.

— Мы с детства стремились друг от друга отличаться.— Тон ее потеплел, стал искреннее.— На самом деле мы не разлей вода.

Я взял ее за руку.

— Вы лучше.

Но она отстранилась, хоть руки не отняла.

— Там, в скалах, есть удобное место. И мы наконец побеседуем без чужих глаз.

Мы пошли меж деревьев на восток.

— Вы что, по-настоящему злитесь?

— Сладко было с ней целоваться?

— Я ж думал, что она — это вы.

— И долго вы так думали?

— Секунд десять.

Рванула мою руку вниз.

— Врун.

Но в углах ее губ появилась улыбка. Мы очутились у естественной скальной стены; одинокая сосенка, крутой спуск к обрыву. Стена надежно укрывала нас от соглядатаев с острова. Под сенью жидкого, потрепанного ветрами деревца был расстелен темно-зеленый коврик, на котором стояла еще одна корзинка. Оглядевшись, я заключил Жюли в объятия. На сей раз она позволила поцеловать себя, но почти сразу же отвела лицо.

— Мне так хотелось выбраться к вам вчера.

— Жаль, что не вышло.

— Пришлось отпустить ее одну.— Сдавленный вздох.— Все время ноет, что мне самое интересное и важное достается.

— Ну ничего. Теперь у нас весь день впереди.

Поцеловала сырой рукав моей рубашки.

— Нам надо поговорить.

Сбросила туфли и, подогнув под себя ноги, уселась на коврик. Над кромкой синих гольфов торчали голые коленки. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что платье у нее белое, но покрытое частым мелким узором из розочек. Глубокий вырез приоткрывал ложбинку меж грудей. В этом одеянии она казалась доверчивой, как школьница. Бриз трепал пряди волос за ее плечами, точно на пляже в день, когда она звалась Лилией,— но тот ее облик уже отхлынул, будто волна с галечного берега. Я сел рядом, она потянулась за корзинкой. Ткань обрисовала линию груди, хрупкую талию. Она повернулась лицом ко мне, наши глаза встретились; гиацинтово-серая радужка, скошенные уголки — засмотрелась на меня, забылась.

— Ну, приступим. Спрашивайте о чем хотите.

— Что вы изучали в Кембридже?

— Классическую филологию.— И, видя мое удивление: — Специальность отца. Он, как и вы, был учителем.

— Был?

— Погиб на войне. В Индии.

— Джун тоже классичка?

Улыбнулась.

— Нет, это меня принесли в жертву, а ей разрешили выбирать занятие по вкусу. Иностранные языки.

— Какого года выпуска?

— Прошлого.— Хотела что-то добавить, но передумала, подсунула мне корзинку.— Взяла что успела. Жутко тряслась, что они заметят.— Я обернулся; стена наглухо отрезала нас от острова. Увидеть нас можно

было, лишь вскарабкавшись на самый верх утеса. Жюли вынула из корзины потрепанную книжечку в черном, наполовину кожаном переплете, с зеленым мраморным узором в «окошечках». Титульный лист гласил: «Quintus Horatius Flaccus, Parisiis».

— Это Дидо Эне.

— Кто таков? — Издана в 1800 году.

— Знаменитый французский печатник.

Перелистнула страничку. На форзаце — каллиграфическая дарственная надпись: «*Любимой учительнице мисс Джулии Холмс от «балбесок» из 4-го «Б»*». Ниже следовало около пятнадцати подписей: Пенни О'Брайен, Сьюзен Смит, Сьюзен Маубрей, Джейн Уиллингс, Лия Глюкстайн, Джин Энн Моффат...

— Что это за школа?

— Сперва посмотрите сюда.

Шесть или семь писем. Адресованы «Морису Кончису, эсквайру, для мисс Джулии и мисс Джун Холмс, Бурани, Фраксос, Греция». Штемпеля и марки — английские, современные; посланы из Дорсета.

— Прочтите какое-нибудь.

Я вынул из верхнего конверта листочек. Типографский бланк «Эйнстикоттедж, Сёрн-Эббес, Дорсет». Торопливые каракули:

> Милочки, я аж запарилась с этой праздничной суматохой, а вдобавок ввалился мистер Арнольд, ему не терпится дорисовать портрет. Кстати, звонил, догадайтесь кто — Роджер! он в Бовингтоне, напросился в гости на выходные. До того расстроился, что вы за границей,— ему никто не сказал. По мне, он стал гораздо обходительней, а был такой надутый. И произведен в капитаны!! Я просто не знала, чем бы его занять, и пригласила на ужин дочку Дрейтона с братом, получилось чудесно. Билли вконец разжирел, старый Том говорит, это трава виновата, и я попросила дочку Д. пару раз проехаться на нем, надеюсь, вы не против...

Я заглянул в конец. Подписано: «Мама». Жюли состроила гримаску.

— Извиняюсь.

Протянула еще три письма. Первое, очевидно, от школьной коллеги — сплетни о знакомых, об учебных мероприятиях. Второе — от подруги, которая подписывалась «Клэр». Третье — для Джун, из лондонского банка, с уведомлением, что «перечисленные 100 фунтов стерлингов» получены 31 мая. Я запомнил обратный адрес: банк Баркли, Ингландс-лейн, Лондон С.—З. III. Управляющего звали П. Дж. Фирн.

— И вот.

Ее паспорт. Мисс Дж. Н. Холмс.

— Что значит «Н»?

— Нилсон. Фамилия предков по материнской линии.

На развороте рядом с фотографией были указаны анкетные данные. «*Профессия:* учитель. *Дата рождения:* 16.01.1929. *Место рождения:* Уинчестер».

— Отец ваш в Уинчестере служил?

— Старшим преподавателем в тамошней классической школе.

«*Страна проживания:* Англия. *Рост:* 5 ф. 8 д. *Глаза:* серые. *Волосы:* русые. *Особые приметы:* на левом запястье шрам (имеет сестру-двойняшку)». В низу страницы — образец подписи: аккуратный наклонный почерк. Я заглянул на листки с заграничными визами. Прошлым летом дважды была во Франции, один раз — в Италии. Разрешение на въезд в Грецию выдано в апреле; отметка о въезде от 2 мая, через Афины. В прошлом году в Грецию не ездила. 2 мая, повторил я про себя; значит, он уже тогда начал готовиться.

— В каком колледже вы учились?

— В Джертоне.

— Вы должны знать старую мисс Уэйнрайт. Доктора Уэйнрайт.

— По Джертону?

— Знаток Чосера. Из Ленгленда.— Она потупилась, потом, слабо улыбаясь, подняла голову: ее на мякине не проведешь.— Простите. Ладно, вы учились в Джертоне. А работали где?

Она назвала известную женскую классическую школу в Северном Лондоне.

— Что-то не верится.

— Почему?

— Не престижно.

— Я за престижем не гналась. Хотела жить в Лондоне.— Ткнула пальцем в рисунок платья.— Не думайте, что это мой стиль.

— Зачем вам нужно было в Лондон?

— В Кембридже мы с Джун участвовали во множестве спектаклей. У нас обеих была работа, но...

— А у нее какая?

— Реклама. Автор текстов. Эта среда мне не по нраву. Особенно мужчины.

— Я вас перебил.

— Я к тому, что мы с Джун не слишком-то свою работу любили. Записались в столичную любительскую труппу «Тависток». У них маленький зал в Кэнонбери...

— Да, я слыхал.

Я облокотился на коврик, она сидела прямо, подпираясь вытянутой рукой. За ее спиною лизало небесную лазурь темно-синее море. Над головой шелестел в сосновой кроне ветерок, поглаживал кожу, точно теплое течение. Ее новое, истинное «я», простое и строгое, было упоительнее прежних. Я понял, чего мне до сих пор недоставало: сознания, что она такая, как все, что она доступна.

— Ну, и в ноябре они поставили «Лисистрату».

— Сперва объясните, почему вам не нравилось учить детей.

— А вам нравится?

— Нет. Хотя с тех пор, как познакомился с вами,— нравится.

— Не мое это... призвание, что ли. Чересчур уж суровых правил надо придерживаться?

Я улыбнулся, кивнул.

— «Лисистрату».

— Вы, может, читали рецензии? Нет? Словом, режиссер, очень талантливый, по имени Тони Хилл, отдал нам, мне и Джун, главную роль. Я стояла на авансцене и декламировала текст, иногда по-гречески, а Джун изображала все жестами. Многие газеты... ну, откликнулись, на спектакль валила театральная публика. Не из-за нас, из-за постановки.

Порывшись в корзине, отыскала пачку сигарет. Я дал ей прикурить, закурил сам, и она продолжала.

— На одном из последних представлений за кулисами возник какой-то тип и сказал, что он как театральный агент подрядился нас кое с кем познакомить. С кинопродюсером.— Я вскинул брови, она усмехнулась.— Ага. Имя клиента он хранил в такой тайне, что все казалось ясным и пошлым, и разговаривать не о чем. Но через два дня мы обе получаем по огромному букету и приглашению отобедать у Клариджа от человека, который подписался...

— Не трудитесь. Догадываюсь как.

Хмуро кивнула.

— Мы долго это обсуждали, а потом — из чистого любопытства — решили пойти.— Пауза.— Помню, он нас ошеломил. Мы-то ожидали увидеть какого-нибудь прощелыгу, с понтом из Голливуда. И вдруг... он производил впечатление честного дельца. Явно очень богат, деньги, как он сказал, вложены во множество европейских предприятий. Вручил нам визитную карточку, адрес швейцарский, но заявил, что живет большей частью во Франции и в Греции. Даже описал виллу и остров. До мельчайших подробностей. Все как на самом деле... я имею в виду, зрительно.

— А о прошлом своем рассказывал?

— Мы спросили, где он поднаторел в английском. Он ответил, что в молодости собирался стать врачом и изучал медицину в Лондоне.— Пожала плечами.— Я понимаю, что тогда он наплел кучу околесицы, но, если сопоставить факты, о которых нам стало известно впоследствии,— он все-таки, должно быть, провел юные годы в Англии. Может, и в средней школе учился — как-то принялся издеваться над британской системой пансионов. Ее он явно знал не понаслышке.— Потушила сигарету.— Уверена, что в какой-то момент он взбунтовался против власти денежного мешка. И против своего отца.

— Вы так и не выяснили?..

— При первой же встрече. Мы вежливо поинтересовались его родителями. Я точно помню, что он ответил. «Отец мой был ничтожнейшим из смертных. Миллионер с душой лавочника». Конец цитаты. Ничего существеннее мы из него так и не вытянули. Правда, как-то признался, что родился он в Александрии — не отец, а сам Морис. Там процветающая греческая колония.

— Полная противоположность истории де Дюкана?

— У меня подозрение, что в этой истории рассказано об искусе, который Морис некогда претерпел. О том, как он мог бы распорядиться отцовским наследством.

— Я ее так и воспринял. Но вы не досказали про обед у Клариджа.

— Там все шло гладко, не подкопаешься. Он стремился произвести впечатление образованного космополита, а не просто миллионера. Спросил, что мы изучали в Кембридже,— и это, естественно, позволило ему выказать собственную эрудицию. Затем — современный театр, который он, видимо, знает досконально. В курсе всех новейших европейских тенденций. Уверял, что финансирует экспериментальную труппу в Париже.— Перевела дыхание.— Как бы там ни было, высота его культурных запросов не подлежала сомнению. Причем до такой степени, что неясно было, чем мы-то ему можем сгодиться. Наконец Джун в своей обычной манере спросила об этом в лоб. После чего он объявил, что обладает контрольным пакетом акций некой ливанской киностудии.— Серые глаза распахнулись.— И тут. Без всякой подготовки. Совершенно неожиданно.— Помолчала.— Предложил нам летом сняться в главных ролях в одном фильме.

— Но вы, должно быть...

— С нами чуть истерика не сделалась. Мы ведь ждали совсем иного предложения — того, что вычислили с самого начала. Но он сразу перешел к условиям.— На лице ее и сейчас читалось изумление.— Тысячу фунтов каждая получает после оформления контракта. Еще тысячу — по окончании съемок. Плюс по сто фунтов в месяц на личные расходы. Которых, как теперь ясно, почти не предвиделось.

— О господи. Вы хоть сколько-то получили?

— Задаток. И деньги на расходы... помните то письмо? — Потупилась, словно боясь показаться меркантильной; разгладила ворс коврика.— Потому-то мы сюда и угодили, Николас. Дикость какая-то. Мы ж палец о палец не ударили, чтоб их заработать.

— И о чем был этот пресловутый фильм?

— Съемки должны были проходить тут, в Греции. Сейчас объясню.— Искательно заглянула мне в глаза.— Не считайте нас полными растяпами. Мы не завопили «Да!» в первый же день. Скорее наоборот. А он повел себя безупречно. Прямо отец родной. Конечно, ничего нельзя решать с наскока, нам нужно время, чтобы навести справки, посоветоваться с агентом,— а на самом-то деле никакого агента у нас тогда не было.

— И дальше что?

— Нас отвезли домой — в наемном «роллсе» — обдумывать свое решение. В чердачную квартирку в Белсайз-парк, смекаете? Точно двух Золушек. Он был очень хитер, открыто на нас не давил. Мы с ним встретились еще дважды — или трижды. Он вывозил нас в свет. В театр. В оперу. Ни малейшей попытки уломать нас порознь. Я столько всего

пропускаю. Но вы знаете, на что он способен, если хочет вас очаровать. Точно ему доподлинно известно, где в жизни белое, а где черное.

— А что думали на сей счет окружающие? Ваши друзья — и тот режиссер?

— Считали, что надо проявлять осторожность. Мы нашли себе агента. Он не слыхал ни о Морисе, ни о бейрутской студии. Но вскоре собрал о ней сведения. Она поставляет коммерческие ленты на арабский рынок. В Ирак и в Египет. Морис нам так и сказал. Объяснил, что они жаждут пробиться к европейскому зрителю. Ливанская студия согласилась финансировать картину затем лишь, чтоб уменьшить налоговые отчисления.

— Как она называется?

— Киностудия «Полим».— Она произнесла название по буквам.— Включена в список кинокомпаний, как его там. Биржевой реестр. Весьма уважаемая и вполне преуспевающая, как выяснил наш агент. И контракт, когда до него дошло дело, не вызвал подозрения.

— А Морис не мог подкупить агента?

Вздохнула.

— Нам это приходило в голову. Но думаю, подкуп тут был ни к чему. Дело, видимо, в деньгах. Деньги лежали в банке, рукой подать. Они-то не поддельные. Нет, мы понимали, что рискуем. Другой вопрос, если б речь шла об одной из нас. Но мы же вдвоем.— Пытливо взглянула на меня исподлобья.— Вы вообще верите тому, что я рассказываю?

— А что, зря?

— Похоже, я не слишком доходчиво объясняю.

— Очень доходчиво.

Но она бросила на меня еще один взгляд, сомневаясь, верно ли я понимаю причины их явного лопоушества; и опустила глаза.

— Был и другой момент. Греция. Я ведь изучала классику. И всю жизнь мечтала сюда попасть. Устоять было невозможно. Морис твердо обещал, что между съемками мы все вокруг объездим. И сдержал слово. Знаете, здесь — это здесь, а остальное было сплошным праздником.— Она снова смутилась, поняв, что для меня-то тут никаких праздников не предвидится.— У него сказочная яхта. Там чувствуешь себя принцессой.

— А ваша мать?

— О, Морис и это учел. Когда она приехала в Лондон нас навестить, он настоял на встрече. Запудрил ей мозги своей обходительностью.— Горькая усмешка.— И богатством.

— Она знает о том, что происходит?

— Мы пишем ей, что продолжаем репетировать. Незачем ее волновать.— Состроила рожицу.— Психовать без толку она горазда.

— А фильм?

— Экранизация повести на народном греческом, фамилия писателя — Теодоритис, вы о нем слыхали? «Сердца трех»? — Я покачал головой.— На английский, очевидно, эта повесть не переведена. Написана в начале двадцатых. Там про двух англичанок, кажется, дочерей британского посла в Афинах, хотя в книге они не двойняшки, во время первой мировой в выходной день они отправляются на остров и...

— Одну из них случайно не Лилией Монтгомери кличут?

— Нет, слушайте дальше. Так вот, остров. Там они знакомятся с греческим литератором — он поэт, болен туберкулезом, одной ногой в могиле... и он влюбляется в сестер по очереди, а они в него, все страшно несчастны, а чем кончается, можете сами догадаться. На самом деле повесть не такая уж дурацкая. В ней есть аромат эпохи.

— Вы ее прочли?

— Кое-как. Она довольно короткая.

— Ксерете кала та неа элиника? — спросил я по-гречески.

На народном, гораздо более беглом и правильном, нежели мой собственный, она ответила, что изучала и начатки новогреческого, хотя древнегреческий похож на него куда меньше, чем принято считать; и гордо посмотрела на меня. Я почтительно притронулся рукой ко лбу.

— Он и сценарий нам в Лондоне показал.

— По-английски?

— Он намеревался сделать два варианта картины. Греческий и английский. С параллельным дубляжем.— Дернула плечиком.— Сценарий был составлен вполне профессионально. Отличная уловка, дабы усыпить нашу бдительность.

— Каким же образом...

— Подождите-ка. Вот вам еще доказательства.

Пошарила в сумке, изогнула талию так, чтоб видеть выражение моего лица. Вытащила бумажник; достала оттуда две газетные вырезки. На первой обе сестры, в плащах и шерстяных шапочках, заливались смехом на фоне лондонской улицы. Я узнал газету по шрифту, но к вырезке была приклеена еще и серая карточка информационного бюро: «Ивнинг стандард», 8 января 1953 г.». Под фото — заметка:

И ГОЛОВА РАБОТАЕТ!

Везучие близняшки Джун и Жюли (справа) Холмс, занятые в главных ролях кинофильма, который будет сниматься в Греции этим летом. Обе закончили Кембридж, играли в студенческих спектаклях, болтают на восьми языках. К огорчению холостяков, замуж пока не собираются.

— Заголовок не мы придумали.

— Я так и понял.

Вторая вырезка — из «Синема трейд ньюс» — на американский лад излагала то, что Жюли уже успела мне рассказать.

— Да, раз уж я его достала. Это мама.— В бумажнике лежал моментальный фотоснимок; в каком-то саду, в шезлонге, сидит женщина со взбитой прической, рядом — крупный спаниель. Заметив другую фотографию, я заставил Жюли и ее показать: мужчина в спортивной рубашке, лицо умное и нервное, на вид чуть старше тридцати.

— Это и есть?..

— Да.— И поправилась: — Бывший.

Отобрала снимок. Судя по ее выражению, расспрашивать об этом человеке сейчас не стоило. Она торопливо продолжила:

— Теперь-то нам ясно, какое отличное прикрытие Морис себе обеспечил. Предстояло сыграть светских дам четырнадцатого года, дочерей посла... и мы как миленькие брали уроки тогдашних манер. Бегали на примерки. Весь гардероб Лилии в Лондоне сшит. В мае мы полетели в Афины. В аэропорту он сообщил, что целиком группа соберется только через две недели. Он заранее об этом предупреждал, и мы не насторожились. Устроил нам морское путешествие. Родос и Крит. На «Аретузе» [1]. Это его яхта.

— Сюда она не заходит?

— Стоянка у нее в Нафплионе.

— В Афинах вы у него дома останавливались?

— Похоже, у него нет своего дома в Афинах. Он уверяет, что нет. Останавливались в гостинице «Гран-Бретань».

— Что, и конторы нет?

— Ну правильно,— покаянно сжала губы.— Но ведь в Греции, по его словам, должны были проходить только натурные съемки. А павильонные — в Бейруте. Он показывал эскизы декораций.— Замялась.— До этого мы не имели дела с кино, Николас. И еще наша наивность. И восторг телячий. С двумя членами съемочной группы он нас познакомил. С актером-греком, который будет играть поэта. И с директором картины. Тоже греком. Мы вместе поужинали... они нам, если честно, понравились. Только и разговору было что о фильме.

---

[1] Яхта Кончиса названа в честь Аретузы, нимфы из свиты богини Артемиды. Ее тезку, царевну Аретузу, греческий стихотворец XVII в. Виценцос Корнарос сделал героиней своей поэмы «Эротокритос». Новейшие поэты Греции часто обращались к этому произведению; см., например, стихотворение Сефериса «Трэш».

— Вы не навели о них справки?

— Мы задержались в Афинах всего на два дня — а потом на яхте уплыли. Те двое должны были приехать сюда.

— Но так и не приехали?

— Мы их больше не видели.— Подергала за ниточку, торчащую из кромки ворота.— Естественно, нас смущало, что съемки держат в тайне от публики, но у них и на это нашлось готовое объяснение. Попробуйте в Греции объявить, что собираетесь снимать фильм,— от безработных не отобьешься.

У меня уже был случай убедиться в справедливости ее слов. Месяца три назад на Гидру нагрянула греческая киногруппа. Парочка наших школьных служащих сбежала туда в надежде наняться к киношникам. Так скандал целых два дня не утихал. Жюли я ничего говорить не стал, но со значением улыбнулся.

— Итак, вы прибыли на остров.

— После чудесного путешествия. И тут началось безумие. Двух суток не прошло. Обе мы сразу почувствовали: Морис как-то переменился. Мы до того сблизились во время круиза... наверно, нам не хватало отца, он же погиб в сорок третьем. Отца заменить Морис нам, конечно, не мог, но у нас словно появился добрый дядюшка. Мы дни напролет проводили втроем, он завоевал наше полное доверие. А вечера были просто незабываемы. Жаркие споры. О жизни, любви, литературе, театре... обо всем на свете. Правда, если мы интересовались его прошлым, в нем точно занавес какой-то падал. Вам это знакомо. Но по-настоящему все понимаешь только задним числом. На яхте все было, как бы сказать, ну до того культурно. А здесь мы вдруг будто превратились в его собственность. Он перестал относиться к нам как к почетным гостьям.

Снова заглянула мне в лицо, словно утверждать, что у старика есть какие-то положительные качества, было предосудительно. Откинулась на локоть, притихла. Она то и дело отводила от щек развеваемые ветром пряди.

— Да, мне это знакомо.

— Для начала... нам захотелось прогуляться в деревню. Но он сказал: нет, съемки надо провести без лишнего шума. Шума, однако, вообще никакого не было. Пусто, ни генераторов, ни подсветки, ни юпитеров, а без них кино не снимешь. И без киногруппы. Вдобавок — ощущение, что Морис за нами следит. Начал как-то странно усмехаться. Точно ему известно что-то, чего мы не знаем. И он больше не считает нужным это скрывать.

— И со мной было так же.

— На второй день Джун — я как раз задремала — решила проветриться. Подошла к воротам, и вдруг этот бессловесный негр — до тех пор он не показывался — заступил ей дорогу и не пропустил. Стоит как скала, на вопросы не отвечает. Джун просто остолбенела. Прибежала, разбудила меня, и мы отправились к Морису.— Быстрый, горестный взгляд.— И тут он сказал правду.— Уткнулась глазами в ковер.— Не сию же минуту, конечно. Понял, что мы... ну, короче, ясно. Сперва целый катехизис прочел. Допустил ли он хоть малейшую бестактность, задержал ли хоть раз выплаты по контракту, неужели за время путешествия до нас не дошло... и тому подобное. А потом раскололся. Да, с фильмом он нас ввел в заблуждение, однако не такое уж злостное. Он на самом деле нуждается в услугах высокообразованных и интеллектуальных — его выражение — молодых актрис. Умолял выслушать его. Клялся и божился, что если его объяснения нас не удовлетворят...

— Вы отправитесь домой.

Кивнула.

— И нас угораздило его выслушать. Он не закрывал рта несколько часов. В двух словах — он-де вправду увлекается театром и ливанская студия ему действительно принадлежит, но по преимуществу он все-таки врач. Специализируется в психиатрии. Даже похвастался, что был учеником Юнга.

— Это и я слыхал.

— Я в Юнге мало смыслю. Вы думаете, он?..

— Тогда я был уверен, что он не врет.

— Вот и мы в этом убедились. Волей-неволей. Но в тот раз он все уши прожужжал, как с нашей помощью проникнет в иное пространство, где искусство неотличимо от науки. В пространство уникального психологического и философского опыта. Пройдет потайными тропами человеческого подсознания. Все это его слова. Нас, естественно, интересовало, что́ эти красивые фразы означают на деле,-- что именно от нас требуется. Тут он впервые упомянул ваше имя. Он, дескать, намерен создать ситуацию, в которой обеим нам достанутся роли, похожие на те, что описаны в повести «Сердца трех». А вы, сами того не ведая, сыграете греческого поэта.

— Господи боже, да как вы...

Склонила голову в поисках нужных слов.

— У нас ум за разум зашел, Николас. И потом ведь... догадаться-то и раньше нетрудно было. Знаете, настоящие актеры в жизни, как правило, люди недалекие и легкомысленные. А Морис... помню, Джун выразила ему свое возмущение. С чего он взял, что, имея тугую мошну, может людей себе в пользование покупать. Тут он в первый и последний раз чуть не взорвался. Видно, она ему наступила на мозоль. Долго, без всякой позы, жаловался, что стыдится своего богатства. Что единственная его страсть — открывать новое, умножать знание человеческое. Что единственная его мечта — воплотить в жизнь давно задуманное, и это не самодурство, не дикая прихоть... чем дольше он рассуждал, тем увереннее себя чувствовал. Под конец даже приказал Джун не перебивать.

— Вы не спрашивали, в чем заключается его замысел?

— Еще как спрашивали! Но он прибег к дежурной отговорке. Если он нам скажет, пострадает чистота эксперимента. Его точные слова. Вывалил на нас целый ворох метафор. В некотором роде это-де можно рассматривать как парадоксальное развитие идей Станиславского. Вызываешь к жизни миры, гораздо более реальные, чем мир существующий. Вам предстояло брести на зов таинственного голоса, нет, многих голосов, сквозь чащу равноправных вероятностей, которые и сами не сознают... ведь эти вероятности — мы с Джун... в чем смысл их равноправия. Другая параллель — пьеса, но без драматурга и зрителей. Только актеры.

— Но в итоге — мы узна́ем смысл?

— Он сразу это пообещал.

— И я узнаю?

— Ему, верно, не терпится услышать, о чем вы в глубине души думаете, что чувствуете. Вы же центральная фигура. Главный кролик.

— В тот раз он, очевидно, взял над вами верх.

— Мы с Джун проговорили всю ночь. Никак не могли решить, уезжаем мы или остаемся. Наконец она придумала устроить ему маленькое испытание. Утром мы спустились на виллу и заявили, что хотим домой, как можно скорее. Он нас уламывал, уламывал, все без толку. Что ж, говорит, вызову из Нафплиона яхту и отвезу вас в Афины. Нет, отвечаем. Сегодня, сейчас. Мы еще успеем на афинский пароход.

— И он отпустил вас?

— Мы собрали вещички, он погрузил нас и чемоданы в лодку и повез на тот берег. Молчал как рыба, ни слова не проронил. А у меня одно в голове: прощай, солнце, прощай, Греция. Снова в Лондоне тухнуть. До парохода оставалось ярдов сто. Мы с Джун переглянулись...

— И не устояли.— Кивнула.— Денег он с вас назад не требовал?

— Нет. Это нас совсем доконало. Но как же он обрадовался! И не упрекнул ни разу.— Вздохнула.— Теперь, говорит, ясно, что я сделал правильный выбор.

Я все ждал, что она упомянет о прошлом — я-то наверняка знал: Кончис уже по крайней мере три лета подряд «воплощает в жизнь давно задуманное», в чем бы оно ни состояло. Знал, но помалкивал. Кажется, Жюли ощутила мой скептицизм.

— Этот вчерашний рассказ. Про Сейдварре. По-моему, там был ключ к разгадке. Запретный эпизод судьбы. Ничего не принимай на веру. Ни о чем не суди окончательно. Он и тут пробует утвердить эти принципы.

— А себе отводит роль господа бога.

— Но не из гордыни же. Из научного интереса. Как один из вариантов. Дополнительный раздражитель для нас. И не просто бога, а различных божеств.

— Он твердит, что в жизни все зависит от случая. Но нельзя же совместить в одном лице понятия Божества и Случайности.

— Наверно, он как раз и хочет, чтоб мы это поняли.— И добавила: — Порой даже острит на этот счет. С тех пор как вы появились, мы с ним гораздо реже общаемся. Нам все больше самим приходится решать, как себя вести. А он точно устранился. Так и говорит. Людям не дано советоваться с богом.

Склоненное лицо, очертания тела, расстоянье меж нами; я словно услышал, как говорю Кончису о том, что не всем в мире правит случайность, а он мне отвечает: «Если так, почему вы сидите тут, рядом с этой девушкой?» Или: «Какая разница, что́ правит миром, раз вы сидите тут, рядом с ней?»

— Джун сказала, он расспрашивает вас обо мне.

Возвела очи горе.

— Да нет же. Не только о вас. О моих собственных переживаниях. О том, доверяю ли я вам... даже о том, что, на мой взгляд, происходит у него, Мориса, внутри. Представляете?

— Разве с самого начала не видно было, что я никакой не актер?

— Вовсе нет. Я решила, что актер, причем гениальный. Виртуозно играете человека, который не способен играть.— Перевернулась на живот, макушкой ко мне.— Мы давно поняли: его первоначальная посылка — мы-де водим вас за нос — ложна. Согласно сценарию, мы обманываем вас. Но на деле куда сильнее обманываемся сами.

— Сценарий существует?

— Да, только нигде не записан. Морис командует, когда нам появляться, когда исчезать — будто ремарки «Входит», «Выходит». Задает настроение той или иной сцены. Иногда диктует реплики.

— Например, для вчерашней теологической дискуссии?

— Да. Я заранее выучила, что говорить.— Извиняющаяся мина.— Правда, я почти со всеми доводами согласна.

— Но в остальном вы действуете экспромтом?

— Он не устает повторять: если повернется не совсем так, как задумано, ничего страшного. Главное, чтоб общий замысел не пострадал. Это к вопросу об актерской технике,— добавила она.— Как ведет себя человек, когда сталкивается с непостижимым. Я вам рассказывала. Он считает, иначе можно провалить роль.

— Очевидно одно. Он нагнетает впечатление, что между мною и вами воздвигнуты всевозможные препятствия. А потом спокойно следит, как мы эти препятствия преодолеваем.

— Сперва и речи не было о том, что вы в меня влюбитесь — ну, от силы чуть повздыхаете, как полагалось в эпоху первой мировой. Но уже к следующей субботе он намекнул, что неплохо бы как-то примирить мое фальшивое «я» пятнадцатого года издания с вашим, истинным, года пятьдесят третьего. Спросил, что я стану делать, если вы пожелаете меня поцеловать.— Передернула плечами.— На сцене часто приходится целоваться. Ну, я и ответила: «Если совсем уж к стенке припрет». До воскресенья я не успела нащупать рисунок роли. Потому и разыграла ту кошмарную сцену.

— Вовсе не кошмарную.

— Тот первый разговор с вами. Я была просто в шоке. В настоящем театре ни разу так не мандражировала.

— Но все-таки позволили себя поцеловать.

— Мне показалось, иначе все рухнет.— Я любовался изгибом ее

спины. Она задрала вверх ногу в синем гольфе, уткнулась подбородком в ладони, избегая глядеть на меня.— Похоже, он воспринимает мир как математическую формулу,— сказала она.— Икс — это мы втроем, и нас можно всунуть в любую часть уравнения.— Помолчала.— Нет, соврала маленько. Мне стало интересно, что́ я почувствую, когда вы меня поцелуете.

— Несмотря на гадости, которые он про меня наговорил.

— До того воскресенья он не говорил гадостей. Хотя и твердил, чтоб я не принимала вас особенно близко к сердцу.

Она разглядывала коврик. Над нами запорхала желтая бабочка, улетела прочь.

— Объяснил почему?

— Да. В какой-то момент мне, возможно, придется вас... отваживать.— Потупилась.— Когда для вас наступит срок влюбиться в Джун. Точно как в глупой книжке «Сердца трех». Ее герой, поэт, быстро менял привязанности. Одна сестричка зазевалась, другая воспользовалась ситуацией и... понятно? Морис жутко вас кроет, пока мы с ним втроем,— добавила она.— Будто просит у гончих прощения, что лиса такая ледащая подвернулась. А это уж последнее дело. Особенно когда облава в разгаре.— Вскинула глаза.— Помните монолог, который он сочинил для Лилии,— что вы пишете бездарные стихи? Шуток не понимаете и все такое? Могу поспорить, он не только вас, но и меня имел в виду.

— С чего ж ему нас обоих унижать?

Помедлила.

— Думаю, «Сердца трех» тут ни при чем. Но есть куда более известное литературное произведение, и оно очень даже при чем.— Выждала, не догадаюсь ли я, и шепнула: — Вчера днем, после моей выходки. Один волшебник как-то уже посылал юношу за дровами.

— Мне не пришло в голову. Просперо и Фердинанд.

— Я вам читала отрывок.

— Во время первого визита он прямо сослался на «Бурю». Я тогда и не подозревал о вашем существовании.— Она почему-то отводила глаза. Впрочем, нетрудно понять почему, учитывая финал шекспировской пьесы. Я тоже понизил голос: — Не предполагал же он, что...

— Нет. Просто...— Покачала головой.— Хотел подчеркнуть, что я — его рабыня, а вы — гость.

— Свой Калибан у него точно имеется.

Вздохнула.

— Имеется.

— Кстати. Где ваше укрытие?

— Николас, я не могу вам показать. Если за нами следят, все откроется.

— Это рядом?

— Да.

— Ну хоть скажите где.— Она как-то нехорошо смутилась; опять спрятала глаза.— Вдруг вам понадобится защита.

Улыбнулась.

— Если б нам грозила реальная опасность... мы б с вами сейчас тут не беседовали.

— В чем дело? Вы дали обещание.

— И выполню его. Только не теперь, прошу вас.— Наверное, она расслышала в моем голосе нотки досады: подалась вперед, погладила меня по руке.— Извините. Я за этот час успела столько раз обмануть доверие Мориса. Пусть ему хотя бы последнее останется.

— Это так принципиально?

— Да нет. Он, правда, собирался как-нибудь позабавить вас с помощью нашего укрытия. Не знаю точно как.

Я был озадачен, несмотря на то что этот отказ свидетельствовал о ее искренности; исключение, подтверждающее правило. На всякий случай я помолчал — лжецы молчания не выносят. Но она выдержала испытание.

— С местными вы не общаетесь?

— А с кем общаться? С Марией — смешно. От нее, как от Джо, слова не добьешься.

— А команда яхты?

— Обычные греки. Вряд ли они догадываются, что тут творится. Джун вам говорила, что за вами скорей всего и в школе шпионят? — внезапно спросила она.

— Кто?

— Морис однажды нам сообщил, что вы чураетесь других учителей. И они вас не жалуют.

Я сразу подумал о Димитриадисе; до чего все-таки странно, что этот заядлый сплетник помалкивает о моих походах в Бурани. Кроме того, я *действительно* чурался учителей. Он был единственным из них, с кем я болтал на внеслужебные темы. Какое счастье: я и ему соврал, что Алисон не смогла прилететь,— не из проницательности, а остерегаясь грязных шуточек.

— Нетрудно вычислить, кто это.

— С чем я никогда не могла смириться — с Морисовой страстью подглядывать. У него на яхте кинокамера. С увеличительной насадкой. Якобы для птиц.

— Ну, пусть только старый хрыч...

— На виллу он ее не берет. Не иначе это просто его пятьдесят лохматая уловка.

Вглядевшись пристальнее, я заметил в ней признаки внутренней борьбы, неуверенности, точно она надеялась вытянуть из меня нечто, идущее вперекор всему нашему разговору. Я вспомнил, что говорила о ней сестра; и наудачу спросил:

— И все же вы хотите продолжать?

Покачала головой.

— Не знаю, Николас. Сегодня хочу. Завтра, может, расхочу. Со мной ничего подобного раньше не было. А прояви я сейчас благоразумие и выйди из игры, ничего подобного и в будущем не случится. Разве я не права?

Я заглянул ей в глаза; вот он, удобный момент. И выложил последний козырь.

— Не совсем правы. Ибо в прошлые годы это уже случалось, по меньшей мере дважды.

Изумление помешало ей как следует расслышать. Она уставилась на мое ухмыляющееся лицо, резко выпрямилась, уселась на пятки.

— Значит, вы тут... это не в первый...

Ощетинилась. Взгляд горький, растерянный, упрекающий.

— Не я, а прежние преподаватели английского.

У нее в голове не укладывалось.

— Они вам рассказывали?.. Вы все это время знали?

— Знал, что в прошлом году на острове творилось нечто странное. И в позапрошлом.— Я объяснил, как добыл эти сведения; как они скудны; что старик подтвердил их. И не забывал следить за выражением ее лица.— Еще он сказал, что вы обе были тут. И общались с теми двумя.

В смятении подалась ко мне.

— Да ни сном ни духом...

— Верю, верю.

Поджав ноги, повернулась к морю.

— У, проклятый.— Вновь посмотрела на меня.— И вы всю дорогу подозревали...

— Не то чтобы всю. Одна его байка явно подгуляла.— Я описал ей Митфорда и то, как он, по словам старика, в нее втюрился. Она забросала меня вопросами, выпытывая мельчайшие детали.

— Что же с ними взаправду-то случилось?

— В школе они, конечно, ни с кем не делились. Митфорд намекнул мне, что дело нечисто, одной-единственной фразой. Я написал ему. Ответа пока нет.

Последний раз заглянула мне в лицо, потупилась.

— По-моему, это доказывает, что закончится все не так уж страшно.

— Сам себе то же твержу.

— Невероятно.

— Ему лучше не говорите.

— Нет, конечно, нет.— Помолчала, робко улыбнулась.— Интересно, у него неисчерпаемые запасы двойняшек?

— Таких, как вы,— вряд ли. Даже ему это не под силу,— с преувеличенной серьезностью ответил я.

— И что ж нам теперь делать?

— Когда он собирался вернуться? Или говорил, что собирается?

— Вечером. Вчера, по крайней мере, он так сказал.

— Увлекательная намечается встреча.

— Меня могут уволить за профнепригодность.

— Я подыщу вам место,— мягко заверил я.

Воцарилось молчание; наши глаза встретились. Я протянул руку — встретились и ладони; привлек ее к себе, и мы улеглись рядышком, почти вплотную. Я провел пальцем по ее лицу... зажмуренные глаза, переносица, кончик носа, линия рта. Она чмокнула палец. Я притянул ее поближе и поцеловал в губы. Она ответила, но я ощущал ее душевный непокой, метание от «да» к «нет». Чуть отодвинувшись, я залюбовался ею. Мнилось, ее лицо не может надоесть, всегда будет источником желания и заботы; ни малейшего изъяна, физического или духовного. Она разлепила ресницы и улыбнулась — ласково, но безгрешно.

— О чем ты думаешь?

— О том, как ты прекрасна.

— Ты правда не встретился со своей подружкой?

— А если б встретился, ты бы ревновала?

— Да.

— Значит, не встретился.

— Встретился ведь.

— Честно. Она не смогла выбраться.

— А хотел?

— Разве что из любви к живой природе. И чтобы сказать, что ее дела плохи. Я продал душу некой колдунье.

— Не некой, а кой.

Я поцеловал ее ладонь, потом шрам.

— Откуда он у тебя?

Согнула запястье, поднесла к глазам.

— Мне было десять. В прятки играла.— Шутливо распустила губы.— Уроки учить не хотелось. Я забралась в сарай, зацепила какую-то штуку вроде вешалки, загородилась рукой.— Она показала как.— А это была коса.

— Бедненькая.— Снова поцеловал запястье, опять притянул ее к себе, но вскоре оторвался от губ, усеял поцелуями глаза, шею, ключицы — до самого выреза платья; вернулся к губам. Мы пристально посмотрели друг на друга. Неуверенность еще дрожала в ее глазах; но в глубине их что-то растаяло. Вдруг она смежила веки, губы ее потянулись к моим, точно не найдя подходящих слов. Но не успели мы раствориться друг в друге, не сознавая ничего, кроме движений языка и тесной близости чужого тела, как нас прервали.

На вилле зазвенел колокольчик — мерно, однообразно и настойчиво, будто набат. Усевшись, мы стыдливо осмотрелись: вроде никого. Жюли повернула мою руку, чтобы взглянуть на часы.

— Это, наверно, Джун. Обедать зовет.

Я наклонил голову, поцеловал ее в макушку.

— По-моему, проще остаться.

— Она ведь искать пойдет.— Напустила на себя уныние.— Большинство мужчин считает, что она привлекательнее меня.

— Ну так большинство мужчин — остолопы.

Звон прекратился. Мы все сидели на коврике, и она разглядывала мою руку.

— Просто то, чего они добиваются, от нее легче получить, чем от меня.

— Это от любой можно получить.— Она продолжала изучать мою руку, точно та не имела ко мне никакого отношения.— А тип с фотографии получил это от тебя или нет?

— Я хотела, чтоб получил.

— Что же не заладилось?

Покачала головой, словно в затруднении. Но потом проговорила:

— Дело не в девственности, Николас. Тяжело было другое.

— Мучиться?

— Быть... вещью.

— Он плохо с тобой обращался?

Колокольчик заблажил опять. Она запрокинула голову, улыбнулась.

— Это долгая история. Потом.

Быстро поцеловав меня, встала, прихватила корзинку; я скатал коврик и перекинул его через локоть. Мы направились к дому. Но не успели углубиться в сосны, как я заметил краем глаза какой-то промельк слева, ярдах в семидесяти-восьмидесяти: темный силуэт, прянувший в гущу нависших ветвей. Я узнал не самого человека, а скользящее движение его тела.

— За нами следят. Этот хмырь Джо.

Мы не остановились; она лишь покосилась в ту сторону.

— Ничего не поделаешь. Не обращай внимания.

Но отрешиться от пары глаз, тайно наблюдающих за нами сзади, из-за деревьев, было немыслимо. Оба мы, будто стремясь загладить провинность, напустили на себя подчеркнуто независимый вид. Чем ближе я узнавал истинную Жюли, тем сильнее мне мешала навязанная извне отчужденность меж нами, и все мое существо воспротивилось непрошеному чувству вины; все, за исключением той его части, где с детства поселился злорадный лицемер, принявший это чувство как должное. Сговор за чьей-нибудь спиной всегда окрашен сладострастием. Мне бы ощутить другую вину, посущественней, мне бы почуять иные глаза, глядящие сквозь заросли подсознания; а может, при всем самодовольстве, я и ощутил их, и почуял — к вящему своему злорадству. Прошло много времени, прежде чем я понял, почему некоторые люди, например автогонщики, питают болезненное пристрастие к скорости. Смерть не заглядывает им в лицо, но, стоит остановиться, чтобы прикинуть дальнейший маршрут,— всякий раз дышит в затылок.

С освещенных солнцем ступеней колоннады поднялась голоногая фигурка в рубашке кирпичного цвета.

— Еле вас дождалась. Живот подвело.

Под расстегнутой рубахой виднелось темно-синее бикини. Слово, как и сам покрой купальника, тогда было в новинку; честно говоря, до сих пор я встречал бикини только на газетных снимках и немало смутился... голый живот, стройные ноги, коричневая, с золотистым отливом, кожа, нетерпеливое любопытство в глазах. При виде этой юной средиземноморской богини Жюли поморщилась, но та лишь улыбнулась еще шире. Идя следом за ней к столу, передвинутому в тень аркады, я вспомнил сюжет «Сердец трех»... но подавил свою мысль в зародыше. Джун вышла на угол колоннады, кликнула Марию и повернулась к сестре.

— Она пыталась что-то объяснить мне по поводу яхты. Я ни черта не поняла.

Мы уселись, и появилась Мария. Заговорила с Жюли. Я почти все разбирал. Яхта прибудет в пять часов, чтобы забрать девушек. Саму Марию Гермес до завтра отвезет в деревню. Ей нужно к зубному. «Молодой господин» должен вернуться в школу: на ночь дом запрут. Жюли

спросила, куда отправится яхта. Ден гзеро, деспина. Не знаю, госпожа. Она повторила: «В пять часов», точно тут-то и заключалась вся соль рассказа. Присела в своей обычной манере, скрылась в хижине.

Жюли перевела сказанное для Джун.

— Сценарий этого не предусматривает? — спросил я.

— Я думала, мы останемся здесь.— С сомнением поглядела на сестру, та, в свою очередь, на меня, а затем сухо обратилась к Жюли:

— Мы верим ему? Он нам верит?

— Да.

Джун усмехнулась.

— Что ж, добро пожаловать, Пип.

Я растерянно взглянул на Жюли.

— Вы вроде говорили, что в Оксфорде изучали английскую литературу,— прошептала она.

В ее голосе вдруг послышался отзвук былых подозрений. Я встряхнулся, набрал в грудь воздуха:

— Шагу не ступишь, чтоб не наткнуться на аллюзию.— Улыбнулся.— Бессмертная мисс Хэвишем?

— И Эстелла [1].

Я перевел глаза с одной на другую:

— Вы это серьезно?

— Мы так шутим между собой.

— *Ты* шутишь,— поправила Жюли.

— И Мориса уговаривала с нами поиграть,— сказала Джун.— Результат нулевой.— Облокотилась на стол.— А ну-ка, поведайте, к каким выводам вы пришли сообща.

— Николас рассказал нечто невероятное.

Мне представился еще один случай убедиться, что сестры не ожидали от старика подобного двуличия,— Джун не столько удивилась, сколько рассвирепела. Пока мы в очередной раз раскладывали все по полочкам, я сделал открытие, до которого легко было дойти и раньше, сличив их имена: из двух близняшек Джун появилась на свет первой. Ее старшинство угадывалось в том, как покровительственно она обходилась с Жюли — в силу самостоятельности и лучшего знания мужской психологии. В режиссуре спектакля использовались истинные различия их характеров: одна разумная, другая неразумная, точнее, одна покрепче духом, другая послабее. Я сидел между ними, лицом к морю, следя, не мелькнет ли где-нибудь тайный соглядатай,— но если он и продолжал шпионить, присутствия своего не обнаруживал. Девушки принялись выведывать мою подноготную.

И мы сосредоточились на Николасе: на его родителях, его чаяниях, его бедах. Третье лицо тут кстати, ибо я вел речь о своем выдуманном «я» — жертве обстоятельств, сочетавших в едином человеке притягательность беспутства с неистребимой порядочностью. От расспросов об Алисон я быстро отделался. Свалил вину на случай, на судьбу, на законы избирательного сродства, на внутреннюю неудовлетворенность; и, в подражание Жюли, дал понять, что не хотел бы вдаваться в детали. Кончено и забыто, жизнь не стоит на месте.

Все это — неспешная трапеза, вкусная еда и рецина, бесконечные споры и догадки, вопросы сестер, близость обеих, одетой и почти обнаженной, новые подробности их прошлого (добрались до отца, до детства, проведенного под кровом мужской школы, до матери: перебивая друг друга, они взахлеб припоминали, как та садилась в калошу) — было точно на славу протопленная комната, в которую попадаешь после дальнего пути сквозь стужу; тепло камина, тепло соблазна. К десерту Джун освободилась от рубашки, а Жюли в ответ — от сестринской нежности, что вызвало лишь самодовольную ухмылку. Тело Джун все более властно притягивало взгляд. Лифчик едва скрывал грудь; трусики же не спадали с бедер только благодаря тонюсеньким белым завязкам. Я понимал, что Джун нарочно

[1] Пип, мисс Хэвишем, Эстелла — персонажи романа Чарльза Диккенса «Большие ожидания».

смущает мой взор и беззлобно кокетничает,— вероятно, в отместку за то, что ее так долго томили за кулисами. Будь я котом, непременно бы замурлыкал.

Около половины третьего мы решили улизнуть из Бурани на Муцу и искупаться,— интересно, попытаются нам воспрепятствовать или нет? Я пообещал, что если Джо заступит нам дорогу, я не стану с ним связываться. Ни у меня, ни у девушек не было сомнений, кто в этом случае одержит верх. И вот мы побрели по колее, уверенные, что у ворот нас, как когда-то Джун, вынудят повернуть назад. Однако никто не появлялся; только сосны, жара, стрекот цикад. Мы расположились посреди пляжа, у окруженной деревьями часовенки. Я расстелил два коврика там, где хвойный покров сменялся галькой. Жюли — перед уходом она ненадолго отлучалась — содрала девчачьи гольфы, через голову стянула платье, осталась в белом купальнике с низким вырезом на спине и вовсю застеснялась своего жидкого загара.

— Чтоб Морису еще и семерых гномов обеспечить,— ухмыльнулась ее сестра.

— Молчи уж, хитрюга. Теперь я, конечно, не наверстаю.— Скукси-лась.— Ведь я все это фигово плавание просидела под тентом, а она знай себе...— Отвернулась, сложила платье.

Обе собрали волосы пучком, мы спустились по раскаленному пляжу к воде, отплыли от берега. Я посмотрел вдоль кромки прибоя в направлении Бурани: никого. Мы одни-одинешеньки, три головы на прохладной голубой глади; я снова взмывал к вершинам блаженства, терял ориентацию, не зная, как все обернется, и не желая знать, целиком растворяясь в настоящем: Греция, укромная бухта, ожившие нимфы античных легенд. Мы вылезли на берег, вытерлись, улеглись на подстилки; я и Жюли (она не мешкая взялась натираться кремом для загара) на одну, Джун на другую, как можно дальше от нас; вытянулась ничком, положив голову на руки и глядя в нашу сторону. Я подумал о школе, о затюканных учениках и смурных преподавателях, о мучительной нехватке женского общества и здоровой чувственности. Речь у нас вновь зашла о Морисе. Жюли нацепила темные очки, перевернулась лицом вверх; я лежал на боку, подпираясь локтем.

Наконец разговор иссяк; выпитое вино, одуряющий зной. Джун завела руку за спину, расстегнула лифчик, приподнялась, вытянула его на гальку рядом с ковриком — сохнуть. Пока она выгибалась, я разглядел нагую грудь; стройная золотистая спина, отделенная от стройных золотистых ног тугой темно-синей тряпочкой. На лопатках ее не было белой полосы, грудь загорела так же, как и все тело; похоже, она все лето жарилась на солнце без купальника. Жест ее был легок и небрежен, но к тому моменту, когда она опять вытянулась, повернув голову к нам, мой взгляд отсутствующе блуждал в морских далях. Я в очередной раз стушевался: это даже не последний писк сегодняшней моды, а преждевременный — моды грядущей. Неприятнее всего, что она при этом смотрит на меня, как бы предлагая выбор или наслаждаясь моим замешательством. Через несколько секунд зашевелилась, повернулась затылком. С ее коричневого тела я перевел взгляд на тело Жюли; тоже лег на спину и нащупал ладонь лежащей рядом девушки. Ее пальцы переплелись с моими, затрепетали, сжались. Я зажмурился. Тьма, их двое; древний греческий грех.

Но вскоре моим грезам пришел укорот. Минуты через две откуда-то донесся резкий нарастающий треск. В первое мгновение я всполошился, вообразив, что рушится вилла. А затем распознал рокот низко летящего самолета, судя по всему, военного; в небе Фраксоса я их ни разу не видел. Мы с Жюли поспешно сели, Джун, не поворачиваясь, приподнялась. Истребитель шел на минимальной высоте. Он выскочил из-за Бурани, держась ярдах в четырехстах от берега, и злобным шершнем почесал к Пелопоннесу. Миг — и скрылся за западным мысом; но мы — я во всяком случае — успели заметить американские эмблемы на крыльях. Жюли, кажется, куда сильнее возмутила сестрина голая спина.

— Обнаглели,— сказала Джун.

— Того гляди вернется, чтоб еще на тебя полюбоваться.

— Скромница ты наша.

— Николасу не нужно доказывать, что мы с тобой обе хорошо сложены.

Тут Джун привстала на локтях, повернулась в нашу сторону; за изгибом руки открылась свисающая грудка. Прикусила губу:

— Не думала, что у вас так далеко зашло.

Взор Жюли был устремлен к горизонту.

— Ничего смешного.

— А вот Николасу, похоже, смешно.

— Воображуля.

— Раз ему уже как-то подфартило лицезреть меня без...

— Джун!

На протяжении этой перебранки Жюли на меня и не посмотрела. Но сейчас я поймал ее взгляд, недвусмысленно требующий поддержки. Досада в ней нежно-нежно накладывалась на смущение,— точно рябь, что бежит по спокойной воде. С укоризной оглядела меня с головы до ног, как будто именно я был во всем виноват.

— Неплохо бы прогуляться к часовне.

Я безропотно поднялся на ноги, заметив, что Джун издевательски возвела очи горе. Теперь я закусил губу, чтоб не улыбнуться. Мы с Жюли босиком побрели в лесной сумрак. На щеках ее играл чудесный румянец.

— Она ж тебя нарочно задирает.

Сквозь зубы:

— Я ей когда-нибудь глаза выцарапаю.

— Знатоку античности надо б мириться с тем, что Греция и нагота нераздельны.

— В данный момент никакой я не знаток. А просто ревнивая девушка.

Я нагнулся, поцеловал ее в висок. Жюли отстранилась, но без особой решимости.

В прошлый раз, когда я пытался пробраться внутрь, беленая часовенка была заперта. Но сегодня грубо обструганная щеколда подалась,— видно, кто-то, уходя, запамятовал повернуть ключ в замке. Окон здесь не было, и свет мог проникнуть только через дверной проем. Не было и скамьи; пара давних огарков на железной свечнице, старательно намалеванный иконостас в глубине, слабый аромат ладана. Мы принялись разглядывать аляповатые образа на источенных червем досках, однако интересовали-то нас не они, а темнота и уединение, среди которых мы очутились. Я обвил рукою плечи Жюли, она повернулась ко мне, но сразу же отняла губы, прижалась щекой к ключице. Я покосился на вход, не разжимая объятий, просеменил туда вместе с Жюли; захлопнул дверь, привалился к косяку и дал волю ласкам. Осыпал поцелуями шею, плечи девушки, потянулся к тесемкам купальника.

— Нет. Не надо.

Таким тоном женщина говорит, когда хочет вас остановить, но куда сильнее — чтобы вы не останавливались. Я бережно сдвинул тесемки вниз, обнажив ее тело до пояса; погладил ладонью живот, выше, выше, пока рука не коснулась маленькой упругой груди, еще влажной после плаванья, но теплой и трепетной. Склонился и провел языком по соленым сосцам. Лопатками, корнями волос ощутил ее пальцы, а свои послал вниз, в складки обвисшего купальника, но тут она перехватила мою руку.

Шепот:

— Пожалуйста. Не теперь.

Я мазнул губами по ее губам:

— Я так хочу тебя.

— Знаю.

— Ты так прекрасна.

— Здесь нельзя.

Я накрыл ее груди ладонями.

— А не здесь — можно?

— Конечно, можно. Только не теперь.

Закинула руки мне на спину, и мы вновь поцеловались, тесно приникнув друг к другу. Легким прикосновением я провел вдоль ее позвоночника, протолкнул пальцы меж материей и яблочным изгибом плоти, прижался крепче, всей жесткостью чресл, дабы она сполна почувствовала эту жесткость, жар моего желанья. Мы уже не отличали своих губ от чужих, и не стало узды для жадного языка, и она уже двигалась вверх-вниз, точно уже подо мною; я понимал: она теряет голову, понимал: нагота, полумрак, угнетенная чувственность, подавленное естество вот-вот...

Шорох. Он сразу пресекся, и определить его источник было невозможно. Но раздался он, несомненно, из глубины часовни — изнутри ее. Мы застыли, сплетясь, окаменев от ужаса. Жюли резко обернулась, но различила то же, что видел я: смутную мглу, прошитую солнечными полосками, тянущимися от дверных щелей. Не сговариваясь, мы сообща натянули ее купальник на положенное место. Потом я оттащил Жюли к стене и нашарил дверную ручку. Распахнул дверь, впуская в часовню свет. Черная свечница на фоне иконостаса. Никого. Но, как в любой греческой часовне, между иконостасом и задней стеной имелся зазор в три-четыре фута; сбоку туда вела узкая дверца. Жюли вдруг заступила мне путь, немо и исступленно мотая головой,— догадалась, что первое мое побуждение — заглянуть за образа. Я сразу понял, кто там притаился: растреклятый негр. Он, верно, залез в часовню незамеченным, пока мы плескались в море, и не рассчитывал, что кто-нибудь из нас покинет пределы пляжа.

Жюли настойчиво тянула меня за собой, то и дело поглядывая в дальний конец часовни. Я помялся, но позволил вытащить себя наружу. С размаху захлопнул дверь.

— Ублюдок.

— Он не думал, что мы туда пойдем.

— Мог бы и пораньше проявиться.

Говорили мы шепотом. Она поманила меня дальше от порога. На берегу залитая солнцем Джун подняла голову, следя, как мы к ней приближаемся. Хлопанье двери, наверное, донеслось до нее.

— Теперь у Мориса сомнений не останется,— сказала Жюли.

— Меня это больше не заботит. У него их давным-давно не осталось.

— Что случилось? — крикнула с подстилки Джун.

Жюли приложила палец к губам. Ее сестра села к нам спиной, нацепила лифчик, поднялась навстречу.

— Там Джо. Спрятался.

Джун посмотрела на белую стену часовни, затем на нас; взгляд уже не издевательский — встревоженный.

— Увижу Мориса, заставлю выбирать: или Джо, или мы,— сказала Жюли.

— Я это когда еще предлагала.

— Помню.

— Вы разговаривали, а он подслушивал?

Жюли потупилась.

— Не то чтоб разговаривали.— Щеки ее пылали. Понимающе улыбнувшись мне, Джун тоже великодушно отвела глаза.

— С радостью вернулся бы к нему и...— начал я.

Но сестры горячо запротестовали. Мы остановились у ковриков и минут пять обсуждали случившееся, исподтишка поглядывая на дверь часовни. Ничто там не двигалось, однако храм казался опоганенным. Сгусток черноты, скрытый внутри часовенки, пропитывал своим присутствием и рельеф, и свет, и весь этот послеполуденный час. И неутоленная плотская страсть вдобавок... но теперь-то уж ничего не поделаешь. Мы решили вернуться на виллу.

Там мы наткнулись на Марию, покойно сидящую возле домика на деревянном стуле и беседующую с Гермесом, погонщиком осла. Чай на столе, сообщила она. Крестьяне воззрились на нас так, словно

взаимопонимание меж ними и нами, столь далекими от их будничных забот, столь иноземными, было напрочь исключено. Но тут Мария многозначительно ткнула пальцем в море и произнесла два-три неразборчивых слова по-гречески. Там, куда она указывала, ничего не было видно.

— Она говорит: военная флотилия,— сказала Жюли.

С южной оконечности гравийной площадки мы различили в неимоверной дали серую колонну кораблей, пересекающих Эгейское море в восточном направлении, от Малеи к Скилам: авианосец, крейсер, четыре эсминца и еще какой-то, спешащие к некой новой Трое. Вот почему нарушил наш покой наглый истребитель.

— Может, это последняя Морисова придумка,— сказала Джун.— Нанести по нам бомбовый удар.

Мы посмеялись, хотя белесые, будто тучи, пятна на синем ободе планеты не располагали к веселью. Механизмы гибели с тысячами мужчин на борту, мужчин, что жуют резинку и носят в кармане презерватив, прошли, мнилось, не в тридцати милях, но в тридцати годах от нас; мы точно не на юг смотрели, а в грядущее, в мир, где нет больше ни Просперо, ни частных владений, ни поэзии, ни грез, ни кротких любовных обетов... стоя между девушками, я остро ощутил, до чего хрупка волшебная машинерия старого Кончиса; почти так же хрупка, как и сама субстанция времени. Такое лето, понимал я, выпадает человеку раз в жизни. Я отдал бы весь остаток дней, лишь бы длился бесконечно этот, единственный, без конца повторялся, стал замкнутым кругом, а не быстрым шажком по дороге, где никто не проходит дважды. Но день — не круг, день — шажок.

За чаем сладкое исступление продолжало рассеиваться. Девушки скрылись в доме, чтобы переодеться в платья, которые были на них утром. Близилось прибытие яхты, и разговор получался торопливый, скомканный. Они так и не придумали, что делать дальше; обсуждалась даже возможность, что они отправятся на ту сторону острова вместе со мной и поселятся в гостинице. Но в итоге мы согласились дать Кончису еще один шанс, последние выходные, чтоб объясниться. Не успели мы закрепить это решение, как я заметил вдалеке еще какое-то судно. Оно направлялось к мысу со стороны Нафплиона.

Сестры рассказывали мне о яхте — ее роскошь-де неопровержимо свидетельствует, что старик и вправду богат. Если тому еще требовались подтверждения. И все же сердце у меня замерло. Мы опять высыпали на край площадки, откуда открывался отличный обзор. Дизельная двухмачтовая яхта медлительно плыла под спущенными парусами; стройный белый корпус, от носа до кормы над палубой тянутся козырьки кают. Со штока на корме лениво свисает греческий флаг. Пять-шесть сине-белых фигурок, скорей всего матросы. С расстояния чуть не в полмили лиц не разглядишь.

— Да, уютный каземат,— сказал я.

— Жаль, палуба не прозрачная,— вставила Джун.— У нас в каюте на столике восемь сортов французских духов.

Движение яхты почти прекратилось. Трое у шлюпбалки готовили ялик к спуску на воду. Оповещая о прибытии, застонала сирена. Типичный англичанин, я чувствовал и уколы зависти, и собственное превосходство. Сама по себе яхта не пошлость, пошлость угадывается в обладании ею. Тут я представил, как всхожу на борт. До сих пор мне не доводилось вращаться среди богачей — в Оксфорде у меня было несколько состоятельных знакомых вроде Билли Уайта, но погостить они не приглашали. И вот я уже завидовал девушкам: недурно устроились, милая мордашка — их верный пропуск в мир чистогана. А добывать деньги — мужское занятие, идеальный извод отцовства. Возможно, Жюли смекнула, что́ во мне творится. Во всяком случае, едва мы вернулись под колоннаду (сестрам время было укладывать вещи), она внезапно потащила меня в дом, подальше от глаз и ушей Джун.

— Всего несколько дней.

— Мне они покажутся годами.

— И мне.

— Я ждал тебя всю жизнь.

Опустила голову; мы стояли вплотную друг к другу.

— Я знаю.

— А с тобой то же самое?

— Я не могу разобраться, что со мной, Николас. Ясно только — мне приятно слушать, что ты говоришь.

— Когда вернетесь, ты сможешь как-нибудь на неделе улизнуть?

Обвела взглядом проемы распахнутых дверей, посмотрела на меня.

— Я бы с радостью, но...

— Я освобожу вечер среды. Можно встретиться у часовни.— И добавил: — Не внутри, а снаружи.

Она пыталась рассуждать здраво:

— Но вдруг мы к среде еще не вернемся?

— Я все равно приду. Когда зайдет солнце. И подожду до полуночи. Лучше так, чем кусать себе локти, сидя в проклятой школе.

— Постараюсь. Если удастся. Если мы вернемся.

Поцелуй, но какой-то отрывистый, запоздалый.

Мы вышли под колоннаду. Джун, замершая у стола, немедля указала подбородком на ту сторону площадки. Там, на тропе, ведущей к частному пляжу, стоял негр. Терпеливый, в черных штанах, в водолазке, в темных очках. Сирена застонала опять. Тарахтенье моторной лодочки быстро приближалось к берегу.

Джун протянула мне руку, я попрощался с сестрами. Вот они идут через площадку, в розовых платьях, синих гольфах, с корзинками на сгибе руки. Негр чуть ли не сразу устремился вниз, даже не оборачиваясь, чтобы проверить, следуют ли за ним девушки. Их головы скрылись за бровкой; тогда я подошел к самому обрыву. Шлюпка влетела в бухточку, причалила к мосткам. Вскоре у воды показался темный силуэт, за ним — два розовых, девичьих. Лодку вел матрос в белых шортах и темно-синей фуфайке без рукавов, с красной надписью на груди. Прочесть ее с такого расстояния было нельзя, но я догадался, что это слово «Аретуза». Матрос помог девушкам спуститься, затем в лодку спрыгнул негр. Я отметил, что уселся он на носу, прямо за их спинами. Ялик отошел от берега. Девушки замахали рукой, должно быть, завидев меня; на выходе из залива помахали опять, и рулевой прибавил обороты, торопясь к недвижной яхте.

На девяносто миль, до самого Крита, простерлось вечереющее море. В дымке у горизонта еле виднелась флотилия. Клок бурой, выжженной зноем почвы на уступе скалы пропорола черная, все удлиняющаяся тень кипариса. День угасал, напоследок унизив меня, поправ и гордость и нежность. Вряд ли мы с Жюли увидимся в среду; но откуда эта глубинная дрожь, азарт картежника, убежденного, что в прикупе окажется джокер и увенчает его каре из тузов?

Под колоннадой маячила Мария, которой не терпелось запереть дом. Цепляться к ней с вопросами было бессмысленно. В спальне я уложил походную сумку. Когда спустился, лодку уже поднимали на борт, дизель оживал. Яхта сделала плавный разворот и взяла курс на южную оконечность Пелопоннеса. Я хотел было дождаться, пока она не скроется из виду, но, сообразив, что с судна за мной скорее всего тоже наблюдают, одумался и не стал корчить из себя безутешного Робинзона.

И вот я тронулся в путь к тусклой окраине сна, к узилищу будней; словно Адам, изгнанный из кущ небесных... с той разницей, что я не верил в бога, а значит, никто не мог запретить мне вернуться в Эдем.

48

Карабкаясь по склонам, я боролся с неизбежным духовным похмельем. Нет, после тех доказательств, что предоставили мне руки и губы Жюли, в чувствах ее сомнений не оставалось; но на кончике языка все-таки вертелись незаданные вопросы, а душу томило воспоминание о минутах, когда я готов был согласиться: она страдает шизофренией. Версия о болезни Жюли проверке не поддавалась; факты же, сообщенные ею сегодня, можно

было подтвердить или опровергнуть. Легко представить, что сестры и теперь в некотором смысле совмещают роли собаки и зайца — то бишь Жюли, искренне увлекшись мною, тем не менее способна водить меня за нос. И потом, при следующей встрече с Кончисом неплохо бы иметь хоть одну конкретную улику: дескать, вся правда о сестрах мне не просто известна, но и подтверждена независимыми источниками за пределами Фраксоса.

Вечером, уединившись в своей комнате, я сочинил послания миссис Холмс из Сёрн-Эббес, мистеру П. Дж. Фирну из банка Баркли и директрисе классической школы, где преподавала Жюли. Первой я поведал, что забрел на съемки и познакомился с ее дочками; что местный сельский учитель просил меня подыскать в Англии деревенскую школу, с питомцами которой его ученики могли бы переписываться; что девушки посоветовали через мамочку связаться с начальной школой Сёрн-Эббес — причем поскорее, ибо семестр вот-вот закончится. Во втором письме изъявлялось желание открыть текущий счет по рекомендации двух постоянных клиенток банковского филиала. В третьем я выдавал себя за директора новой английской школы, учрежденной в Афинах; на место преподавателя просится некая мисс Джулия Холмс.

В понедельник я перечел черновики, внес пару поправок, первые два аккуратно перебелил, третье напечатал на дряхлой машинке с латинским шрифтом, хранившейся в нашей канцелярии. Последнее письмо, конечно, вышло не слишком убедительным: кинозвезды за границей редко бедствуют до такой степени, чтоб набиваться в учителя. Но мне сгодится любой ответ.

Коли впадать в грех недоверия, то уж без оглядки; я написал и в труппу «Тависток», и в кембриджский Джертон-колледж.

Вместе с этими пятью посланиями я отправил шестое, адресованное Леверье. Слабая надежда, что в школе меня дожидается ответ Митфорда, рухнула. Видимо, мое письмо не застало его дома, да и неизвестно, соберется ли он вообще на него ответить. Леверье я написал сжато — объяснил, кто я такой, и добавил:

> Обращаюсь к Вам потому, что попал в неприятную переделку. Я знаю, Вы посещали Бурани — г-н Кончис сам сказал мне об этом. Мне сейчас очень не хватает советов человека, в свое время пережившего то же, что переживаю я. И, должен заметить, не мне одному. В эту историю замешаны многие. Каков бы ни был Ваш ответ, мы будем признательны, а почему — Вам, думается, разжевывать не надо.

Заклеивая конверт, я чувствовал: молчание Митфорда и Леверье для меня лучшая гарантия. Если бы в прошлые годы в Бурани случилось что-нибудь по-настоящему гадкое, они давно заговорили бы; а молчание их — знак благодарности. Я хорошо помнил и рассказ Митфорда о стычке с Кончисом, и его предостережение. Но вот чего Митфорд хотел всем этим добиться — большой вопрос.

Чем дольше я размышлял о Димитриадисе, тем яснее понимал, что соглядатай — именно он. Основной прием контрразведчика — прикидываться болваном, и в воскресенье после ужина я завел с ним задушевную беседу. Мы минут десять прогуливались по школьному причалу, судорожно глотая вечерний зной. Да, спасибо, Мели, в Бурани было чудесно, заверил я. Чтение, пляж, музыка. Я даже шутливо сравнил его похабные фантазии по поводу виллы (хотя не исключено, что похабство имело хитрую цель: по заданию Кончиса он проверял, насколько я болтлив) с действительностью. И поблагодарил за то, что он так стойко хранит мой секрет от наших коллег.

Слоняясь по причалу, я поглядывал через ночной пролив на Арголиду и гадал, что-то делают сестры, по каким темным водам носятся... немое

море, полное загадок и безмерной выдержки, но не враждебное. Теперь-то я проник в его тайны.

Назавтра я проник в них еще глубже. Выйдя из столовой, поймал за рукав заместителя директора, который исполнял также обязанности старшего преподавателя греческого. Мне посоветовали прочесть повесть какого-то Теодоритиса... «Сердца трех», знаете такую? Тот знал. Он не владел ни французским, ни английским, и я не все усвоил из его объяснений. Похоже, Теодоритис в некотором роде греческий последователь Мопассана. Сюжет повести, насколько я уловил, совпадал с тем, какой пересказывала Жюли. За обедом все окончательно встало на свои места. Один из мальчиков положил на мой стол посланный заместителем директора сборник. Его завершала повесть «Сердца трех». Написанная на кафаревусе, «литературном» варианте новогреческого, резко отличающемся от народного, она оказалась мне не по зубам; обратиться же за помощью к Димитриадису я не мог. Но фрагменты, которые я перевел со словарем, обличали правильность рассказа Жюли.

Среда, среда. Я не дотерпел и до среды. Во вторник после уроков взобрался на центральный водораздел. Убеждал себя, что зря набиваю ноги. Не зря. Горло перехватило: далеко внизу, на лиловеющей глади Муцы, стояла на якоре неповторимая «Аретуза» — игрушечный белоснежный силуэт. Что ж. Выходит, старик капитулировал.

49

В половине десятого я добрался до ворот. Прислушался — ни звука. Прошел по лесной колее до того места, с которого виднелась вилла. Дом тих и черен на фоне закатного зарева. В концертной светится лампа; от хижины Марии тянет смолистым дымком. Поблизости закричала сплюшка. Когда я повернул к воротам, над головой пронесся к берегу темный комочек, исчез в прогалах меж сосен. Не сам ли это Кончис, колдун-сова?

Вдоль ограды я быстро спустился к Муце; сумрачный лес, молочное море, чуть внятный лепет прибоя. В пятистах ярдах от берега виднелся на рейде красный стояночный фонарь яхты. Ни огонька больше, ни шевеления на борту. Опушкой я устремился к часовне.

Жюли ждала меня у восточной стены — теневой потек на побелке — и, едва заметив, побежала навстречу. На ней были темно-синяя фуфайка без рукавов (форменная одежда судовой команды) и светлая юбка. Волосы прихвачены на затылке лентой — и оттого она на миг предстала какой-то занудой училкой. Мы замерли в шаге друг от друга, внезапно смутившись.

— Сбежала?

— Все в порядке. Морис знает, где я.— Улыбка.— И не шпионит никто. Мы все ему выложили.

— То есть?

— Он знает про нас с тобой. Я ему рассказала. И что в сценарии я, может, и не в своем уме, а в жизни — здорова.

Она улыбалась не переставая. Шаг — и она в моих объятиях. Но стоило, целуя, прижать ее покрепче, как она отстранилась, повесила голову.

— Жюли!

Поднесла к губам мою руку, поцеловала.

— Не сердись. Чертовы сроки. В воскресенье побоялась тебе сказать.

Я готовился к любой напасти, но не к этой, самой заурядной и незамысловатой из всех. Коснулся поцелуем ее волос: летучий дынный аромат.

— Ай-ай-ай.

— Я так хотела с тобой увидеться.

— Пойдем-ка к дальнему мысу.

Я взял ее под руку, и мы побрели по лесу на запад, прочь от часовни. Они рассказали все старику почти сразу, как поднялись на яхту. Тот, понятно, сперва изображал праведника, но тут Джун приступила к нему насчет негра и шпионства в часовне. Хватит с нас, либо объясни, чего тебе надо, либо... Взглянув на меня, Жюли возбужденно сглотнула, точно сама себе не веря.

— И представляешь, что он ответил? Как ни в чем не бывало, будто это кран прохудился.— Я покачал головой.— «Хорошо. Так я и предполагал, так и рассчитывал». И, не успели мы опомниться, заявил, что все прежнее было лишь репетицией. Ох, видел бы ты его ухмылочку. Довольная такая. Словно мы успешно сдали ему предзачет.

— Репетицией чего?

— Во-первых, он объяснит-таки нам все как есть. И тебе тоже — в конце недели. С этого момента мы должны будем следовать его указаниям. Скоро сюда прибудет еще кто-то — он говорит «народ», то есть не один и не двое. Чтобы занять наше место в спектакле. Играть роль простаков. Но дурачить их на сей раз будем мы, а не он.

— Что за «народ»?

— Не сказал точно. И что именно собирается объяснять, не сказал. Ты-де тоже должен все выслушать.

— Тебе снова придется кого-то обольщать?

— Это первое, чем я поинтересовалась. Надоело кокетничать с незнакомыми мужчинами. Особенно теперь.

— А про нас ты все рассказала?

Сжала мою ладонь.

— Да.— Перевела дыхание.— Если честно, он признался, что, только познакомился с тобой, заподозрил худшее.

— Худшее?

— Что сыр поймается на мышку.

— И он не станет...

— Побожился, что нет.

— И ты ему веришь?

Помедлила.

— Насколько ему вообще можно верить. Он даже просил передать, что ты получишь награду.

— Вдобавок к той, что идет рядом со мной?

Потерлась щекой о мое плечо.

— Ты не за так будешь стараться... он заплатит. Новый виток, в чем бы он ни заключался, начнется во время твоих каникул. Старик хочет, чтоб мы все втроем жили — хотя бы ночевали — в его деревенском доме. Как будто мы с ним незнакомы.

— Слишком уж все радужно.

Помолчала.

— Еще загвоздка. Он желает, чтобы перед новоприбывшими мы с тобой притворялись мужем и женой.

— Я с этим не справлюсь. У меня нет твоего таланта.

— Не остри.

— А я серьезен. Куда серьезнее, чем ты думаешь.

Опять коснулась меня щекой.

— Ну, и как ты смотришь на все это?

— Подождем выходных. Надо выяснить его истинную цель.

— Вот и мы так решили.

— Может, он хоть намекнул?

— Сказал: мы свободно можем расценивать это как психотерапию. И добавил в своей прозрачной манере, что на самом деле речь идет о чем-то, для чего пока не придумано слов. Сейчас вспомню... научная дисциплина, которую нам только предстоит нащупать и назвать. Вовсю допытывался, почему ж я тебе в конце концов поверила.

— И что ты сказала?

— Что некоторые чувства не подделаешь.

— А в целом как он себя вел?

— Да, в общем, прилично. Лучше, чем вначале. Все уши прожужжал, какими мы оказались храбрыми, умными и все такое.

— Бойся данайцев...

— Знаю. Но мы ему прямо сказали. Еще одна уловка — и до свиданья.

Я взглянул на спящую яхту.

— Куда вы плавали?

— На Китиру. Вчера вернулись.

Я припомнил, как провел эти три дня: бесконечная волынка непроверенных тетрадей, два дежурства, запах мела, мальчишек... и стал грезить о каникулах, о доме на отшибе деревни, о всегдашней близости сестер.

— Я достал книжку «Сердца трех».

— Смог прочесть?

— Достаточно, чтобы убедиться: о ней ты сказала правду.

Короткая пауза.

— Кто-то как-то говорил, что надо слушаться наития. Всего три дня назад.

— Понимаешь, там, в школе... когда сидишь в классе, не разберешь, есть эта часть острова на самом деле или она тебе приснилась.

— Предшественники твои откликнулись?

— Ни словечка.

Снова молчание.

— Николас, я поступлю так, как ты решишь.— Остановилась, взяла и другую мою руку, заглянула в лицо.— Сейчас пойдем в дом и потолкуем с ним начистоту. Кроме шуток.

Поразмыслив, я улыбнулся.

— Твой обет не утратит силу, если новый виток придется мне не по душе?

— Ты сам знаешь, что нет.

В следующее мгновение она обвила меня руками. Губы повторили то, что читалось в глазах. Мы пошли дальше, прижавшись друг к другу. Вот и западный мыс. Воздух недвижен — тропики.

— Люблю здешние ночи,— сказала она.— Больше, чем дни.

— Я тоже.

— Ноги помочим?

Мы пересекли галечный пляж. Она сбросила свои туфли, я — свои. Потом, по щиколотки в парной воде, она дала поцеловать себя снова; губы, шея. Я бережно приобнял ее, шепнул в самое ухо:

— Глупо женщины устроены.

Сочувственно приникла ко мне.

— Да, глупо. Такая жалость.

— Я все вспоминаю тебя в часовне.

— Мне казалось, я сейчас умру.

— Комплекс девственницы.

— С тобой я и чувствую себя девственницей.

— А с другими чувствовала?

— Пару раз всего.

— А с тем другим? — Не ответила.— Расскажи мне о нем.

— Да что там рассказывать.

— Пошли посидим.

Чуть выше по склону, там, где западный мыс соединялся с островом, среди деревьев лежали валуны-паданцы. На одном из них мы и расположились. Я прислонился спиной к камню, Жюли — ко мне. Я распутал узел ленточки, длинные волосы рассыпались по плечам.

В Кембридже он преподавал математику и был десятью годами старше Жюли; умница, тонкая натура, эрудит и «совсем не ревнивец». Она познакомилась с ним на втором курсе, но их отношения оставались «полуплатоническими», пока не настал выпускной год.

— Может, дело в том, что до него дошло: два семестра — и я уеду, не знаю, но Эндрю стал психовать, если я бывала с кем-то еще. Возненавидел студию, где мы с Джун занимались. Похоже, он внушил себе, что обязан меня любить. Такой был обходительный, до смешного,— все-таки завзятый холостяк, а я возьми его и присуши. Мне нравилось с ним встречаться, мы часто ездили на природу, он старательно за мной ухаживал, то и дело цветы, книги и все такое. В этом смысле он не похож был на вечного бобыля. Но влечения к нему я, хоть убей, не чувствовала. Словом, понятно:

всем человек хорош, и приятно тебе, даже как-то жутко, что за тобой хвостом ходит шелковый преп. Мозгами его восхищаешься и...

— Постепенно влипаешь в историю?

— Он настоял, чтоб мы тайно обручились. В начале весеннего семестра. Я вкалывала как проклятая. В постель мы не ложились, и я поражалась его деликатности... было решено, что мы на каникулы съездим в Италию, а осенью поженимся.

Умолкла.

— И что дальше?

— Не хочется рассказывать.

Я погладил ее по голове.

— Лучше рассказать, чем внутри копить.

Помялась, еще понизила голос:

— Всякий раз, как у нас должно было дойти до рук, я видела, что с ним, ну, скажем так, не все в порядке. Он целовал меня просто потому, что знал: девушек полагается целовать. В нем не чувствовалось настоящего желания.— Разгладила юбку на коленках.— А в Италии сразу выяснилось: у него... огромные трудности. До того он не рассказывал, что школьником вступал в гомосексуальные связи. И не только в школе. В Кембридже, до войны, когда сам там учился.— Помолчала.— Я, наверно, кажусь тебе безнадежно наивной.

— Нет. Просто наивной, и все.

— Но, честно, внешних признаков у него не было. Он страстно жаждал выглядеть как все. Ну, может, чересчур страстно.

— Понимаю.

— Я твердила, что мне все равно, а значит, и ему нечего расстраиваться. Надо набраться терпения. И мы... набрались. Днем с ним было по-прежнему чудесно.— Долгая пауза.— Я страшную подлость сделала, Николас. Ушла из нашего пансиона в Сиене и села в английский экспресс. Так, с бухты-барахты. Что-то во мне сломалось. Я точно поняла, что эти трудности не исчезнут. После того как у нас... ничего не выходило, мы обычно гуляли, и я все смотрела на мальчиков-итальянцев и думала...— Прикусила язык, будто до сих пор стыдилась тех своих мыслей.— Вот что я ощутила в часовне. Как все может быть просто.

— И больше вы не виделись?

— Виделись. Это-то и ужасно.

— Расскажи.

— Я уехала в Дорсет, домой. Маме я не могла сказать всю правду. Эндрю тоже вернулся и упорно назначал мне свидания в Лондоне.— Покачала головой, вспоминая.— Он впал в отчаяние, был близок к самоубийству, и наконец... наконец я согласилась. В частности вдаваться у меня духу не хватит. Замужества я бы не вынесла, я и на лондонскую работу-то устроилась, чтоб быть подальше от Кембриджа. Но... в общем, мы еще раз попытались спать вместе и... ух, это не один месяц тянулось. Два человека, вроде бы разумных, тихо поедают друг друга. Если он звонил и говорил, что на выходные не выберется в Лондон, я только вздыхала с облегчением.— Опять замолчала, убедилась, что я не вижу ее слез, вообще лица, и лишь тогда продолжила: — У него лучше получалось, когда я притворялась мальчиком... мучительные минуты. И ему они были мучительны, правда.— Я кожей ощутил, как она вздохнула.— В конце концов Джун заставила меня сделать то, на что я несколько месяцев не отваживалась. Изредка он мне пишет. Но между нами все кончено.— Молчание.— Финал грустной сказочки.

— Действительно грустной.

— Честное слово, я не принцесса какая-нибудь. Просто...

— Ты не виновата.

— Постепенно все окрашивалось мазохизмом. Чем гаже мне было, тем выше я себя ставила.

— И с тех пор — никого?

— Весной я было начала встречаться с одним типом из «Тавистока». Но он быстро смекнул, что тут ловить нечего.

Я расчесывал пальцами ее локоны.

— Почему?

— Потому что я с ним в постель не лягу.

— Из общеполитических соображений?

— В Кембридже у меня был еще приятель. На первом курсе.

— А тот что?

— Дико, но с ним все было наоборот. Ночью гораздо интереснее, чем днем.— И сухо добавила: — К несчастью, он об этом знал. И как-то обнаружилось, что я не единственная скрипочка, на которой он играет.

— Ну и дурак же он после этого.

— Кажется, мужчины к подобным вещам иначе относятся. Не все, но такие, как он. А я сочла себя опозоренной. Как очередная голова на стене у охотника.

Я поцеловал ее волосы.

— Но чутье на дичь у него отменное.

Когда она вновь заговорила, голос звучал застенчиво, почти робко.

— Ты со многими спал?

— Никакая из них с тобой не сравнится. И потом, это было не одновременно.

Поняв, до чего двусмысленный задала вопрос, она спохватилась:

— Я не то хотела... ну, в общем, ясно.— Я бы с радостью переменил тему, но теперь, когда табу было нарушено, Жюли заметно оживилась.— Я ведь не Джун, мне это не безразлично.

— Так я ей безразличен?

— Ты ее не раздражаешь. Уже большое дело.

— Для тебя, судя по тону, действительно большое.

— В воскресенье я ее чуть не прибила.— Ткнула назад согнутым локтем.— И тебя заодно, потому что ты как раз бить ее вовсе не собирался.

— За что? Кабы не она, я не скоро решился бы к тебе прикоснуться.

— С той ночи она меня непрестанно доводит. Вы с ней, дескать, куда больше друг другу подходите.

Я крепче прижал ее к себе.

— Мне лучше знать, кто мне подходит, а кто нет. Шрамы к лицу не только мужчинам.

Воцарилось молчание. Кончиком своего пальца Жюли водила вдоль моих, от большого до мизинца.

— Вчера вечером мы с ней тоже сюда ходили.

— Зачем?

— Жарко было. Не спалось. Искупаться. Она все ждала, что из лесу выскочит милый греческий пастушок.

— А ты?

— Вспоминала о своем пастушке, английском.

— Жаль, что не в чем искупаться.

Ее палец безостановочно путешествовал по моим.

— Вчера тоже было не в чем.

— Ты что, серьезно?

Заминка.

— Джун уверена, что я не посмею.

— Так давай хоть раз умоем ее!

— Только окунемся, другое — ни-ни.

— Но сразу, как у тебя закончится...

Помолчала; я ощутил во тьме ее улыбку. Приподнялась, шепнула мне в самое ухо:

— Вам, мужчинам, все вслух надо и вслух.

И немедля выпрямилась, потянула за собой. Мы снова спустились к воде. На борту призрачно-бледной яхты колыхался красный фонарик, слабо отражаясь в волнах. На той стороне залива, средь мглы старых сосен, в доме светилось окно. Кто-то бодрствовал там в этот поздний час. Жюли подняла руки, я через голову стянул с нее фуфайку. Потом повернулась спиной; я разъял застежку ее лифчика, она — тугой замок юбки. Мои

ладони скользнули вперед. Юбка упала. Жюли замерла, лопатками прислонившись ко мне, поймав мои руки своими, удерживая их на голой груди. Я поцеловал ее ключицу. Но она уже нисходила в море, длинноволосая, стройная, светлокожая, с белой полоской на бедрах; ночной двойник своей солнечной сестры, явившийся на тот же пляж три дня спустя. Я суетливо разделся. Не оглядываясь, Жюли зашла в воду по пояс, с тихим всплеском окунулась и брассом поплыла в сторону яхты. Через полминуты я поравнялся с нею, сбавил темп, чтобы не обгонять. Вот она остановилась, усмехнулась мне, перебирая ногами и руками: ну мы с тобой даем, обхохочешься.

Заговорила по-гречески, но не на том языке, что я изучал; гораздо архаичнее, почти без шипящих и стяжений.

— Что это?

— Софокл.

— Но что это значит?

— Ничего, просто музыка... Первое время у меня в голове не укладывалось,— сказала она.— Вся уйма черненьких курчавых словечек вдруг зазвучала. Они не умерли, они до сих пор живут.

— Понимаю.

— Будто родилась в изгнании. И только теперь это осознала.

— Со мной то же самое.

— Ты вообще тоскуешь по Англии?

— Нет.

Улыбка.

— Но ведь в чем-то же мы не совпадаем?

— В этом мире — вряд ли.

— Полежу на спине. Недавно научилась.

Развела руки в стороны, медленно упала лицом вверх, точно кокетливый ребенок. Я подплыл чуть ближе. Глаза прикрыты, на губах играет усмешечка, волосы промокли, как у девчонки-подростка. Вода безмятежна — черное стекло.

— Ты похожа на Офелию.

— Что, пора в монастырь?

— Никогда не любил Гамлета, сейчас особенно.

— А вдруг ты тот дурак, за которого он меня замуж выпихивал?

Вот и я улыбнулся посреди темноты.

— Приходилось играть Офелию?

— В школе. Эту сцену как раз. На пару с одной пришибленной лесбиянкой,— та балдела, наряжаясь в мужскую одежду.

— Вплоть до гульфика?

С упреком:

— Мистер Эрфе! Не предполагала, что вы такой пошляк.

Подобравшись еще, я поцеловал ее в бок, ткнулся было повыше, но Жюли выгнулась, ушла под воду, и меня отбросило назад. Возня, буруны пены, хлюпанье — я попытался ее обнять. Но удостоился лишь мимолетного прикосновенья губ; она снова извернулась и тем же немодным брассом зачастила обратно к берегу.

Однако у кромки прибоя, как бы вымотанная борьбой, стала грести реже и ступила на дно в том месте, где вода доходила до середины плеч. Я остановился рядом, опять нашарил внизу ее кисть, и на сей раз Жюли не отстранилась. Я обнял ее за талию, она подняла руки, обвила мою шею, опустила ресницы: рука моя трепетно блуждала под водой — впадины, перси, подмышки. Ближе, хорошая, ближе; ее подошвы улитками взбирались по склонам моих ступней. Ни щелочки меж нами, запрокинутое лицо, сомкнутые веки. Моя ладонь заползла под мокрый лоскуток, обтягивающий бедра, другая ковшиком охватила правую грудь, прохладную, влажную, смирную — совсем иную, чем в судорожной испарине часовни.

Пока она рассказывала о своем злополучном романе, я догадался, какой фактор ее натуры в докладе не учтен: хрупкое равновесие телесной робости и чувственной дерзости,— первая разжигает мужчину, вторая

в заветный миг обрекает на погибель; свойства истинной нимфы, коих лишена ее сестра, даром что изображала нимфу в ту ночь. Эта же в прямом смысле и бежит от сатира, и манит того за собой. В ней дремлет зверь, но зверь настоящий, настороженно-чуткий к неверному шагу, к лобовой дрессировке. Чтобы проверить, способен ли чужак как должно понять ее (подыграть, приголубить, оставить в покое), она городит вокруг себя западни-барьерчики. Но уже маячит на горизонте отрадный край, где не существует барьеров, где я заполучу ее целиком... и заполучу скоро, ибо она уже льнет ко мне, уже уступает, и срам ее вплоть к моему, и сплелись языки, заражаясь стремлением чресл.

Тишь, темное море, алмазный звездный навес; и моя набухшая дрожь, уткнувшаяся в ее лоно. Вдруг, не разжимая объятий, яростно мотнула головой. И прошептала:

— Бедняжка. Это нечестно.

— Не могу справиться. Слишком хочу тебя.

— Тебе и не надо справляться.

Слегка отодвинулась; рука ее юркнула в промежуток меж нашими телами. Нежно подняла торчком, сжала пальцами со всех сторон — боязливо, точно прежняя стыдливость вернулась.

— Бедный рыбеночек.

— И плыть ему некуда.

Там, под водою, пальцы кусались, ласкали; снова шепот:

— Так — приятно тебе?

— Дурочка.

Помедлив, повернулась боком, обхватила меня правой рукой, а я обнял ее за плечи левой, сильно притянул к себе. Ее левая кругами бродила по бедрам; провела вскользь, подняла, отпустила, коснулась; шелком облепила основанье, напряглась, чуть стиснула. Пальцы казались неумелыми, они страшились причинить боль. Я опустил свободную руку, показал ее руке, что делать, отвел ладонь, поднял ее лицо, нашарил губами губы. Все вокруг постепенно исчезало. Лишь ее язык, ее близкая кожа, сырые пряди, сладостный ритм руки под водой. Хоть бы это длилось всю ночь, этот обоюдный соблазн, эта нежданная готовность, с какою недотрога, привереда, любительница Софокла оборачивается безропотной гейшей, пленительной русалкой — русалкой, к счастью, только выше пояса. Я покачнулся, расставил ноги пошире, и ее нога обвилась вокруг моей. Трусики-тряпочка, последнее напоминание об одежде, терлись о мое бедро. Я оторвал ладонь от ее груди и протянул руку туда; но рука была поймана и водворена на место.

Всю ночь; но нет, нетерпение нарастало. Вот она без слов поняла, что касанье должно стать жестче; пылко приникла ко мне, на глазах утрачивая сдержанность; а в тот момент, когда я начал бессильно изливаться в соленую воду, повернула голову и укусила меня за бицепс, словно и ее настиг оргазм, пусть воображаемый.

Сделано. Ладонь разжалась, ласково погладила живот. Я схватил Жюли в охапку и поцеловал, немного ошеломленный тем, как стремительно и бесповоротно пала ее притворная добродетель. Видно, отчасти этому помогли шпильки сестры, но не только; скорей всего, в глубине души Жюли и сама мечтала о чем-то подобном. Мы стояли вплотную, не двигаясь, не нуждаясь в словах; последняя преграда рухнула. Жюли коснулась губами кожи; немой обет.

— Мне пора. Джун заждалась.

Наспех поцеловавшись, мы несколькими гребками достигли суши. Рука об руку отправились одеваться. Обсыхать было некогда. Она натянула юбку, нагнулась вбок, чтобы застегнуть ее. Я поцеловал ее влажную грудь, застегнул лифчик, помог надеть фуфайку. И она помогла мне одеться. Сплетя предплечья, мы побрели вдоль кромки воды к Бурани. Тут меня осенило, что Жюли потрясена куда больше, чем я, впервые обрела — или обрела заново — самую суть своей чувственности, обрела с помощью испытанного мной наслаждения... и с помощью ночи, тепла, древних чар дикой Эллады. Черты ее лица смягчились, стали проще; теперь то было

лицо, а не личина. И еще я с щекотным торжеством понял: даже след недоверия, посеянного между нами Кончисом, изгладился. Я не стану ждать ответов на письма. Может, прямо на поверхности — или на небольшой глубине — дело, как у людей водится, слегка нечисто, но это лукавство совместное, желанное для нас обоих; словно бы затем, чтоб убедиться в своей правоте, я на ходу развернул Жюли к себе. Не противясь, она встретила мои губы — с такой готовностью, точно читала мою душу как книгу. Меж нами не осталось ни тени, ни облачка.

Мы шли рядом, пока не завиднелся дом. Лампа в концертной уже потухла, но светилась другая, в заднем окне, в том, за которым — моя здешняя спальня. Туда явно поставили вторую кровать, и они с Джун в мое отсутствие ночевали там,— и то, что она сейчас будет спать в «моей» постели, безупречным символом завершало вечер. Мы шепотом, наскоро обсудили, что станем делать в выходные,— но эта забота теперь утихла. Старик не нарушил слова, за нами никто не следил, мой статус Фердинанда по отношению к солоноволосой, лизучей, жаркогубой Миранде — Жюли — был наконец узаконен. В любом случае остаток лета, остаток жизни принадлежали нам обоим.

Попрощалась со мной поцелуем, сделала пару шагов к дому, стремительно обернулась, еще раз чмокнула меня. Я глядел вслед, пока она не растворилась в сумраке под колоннадой.

Преодолевая усталость, я быстро взбирался по тропке на центральный водораздел, чтобы ходьба высушила сырую одежду. Ничего, что наступит завтра, что я не высплюсь, буду мучительно клевать носом во время уроков; все это мелочи. Жюли напитала меня забытьем. Словно ты набрел на спящую красавицу, а та, пробудившись, выказала не просто любовь, но давний любовный голод, пряную жажду вытравить из тела оскомину прошлогодних своих вымученных утех, незадачливой своей страсти. В мечтах Жюли обретала опытность и навык, скорую нежность и неспешное бесстыдство, свойственные Алисон,— но усугубленные, осмысленные, расцвеченные изяществом, духовностью, поэзией... чем дальше я шел, тем благостней улыбался. Путь освещали звезды и новорожденный месяц; да я теперь и с закрытыми глазами отыскал бы дорогу сквозь немую, призрачную чащу алеппских сосен, отделенную от меня пеленою вязкого томленья и податливости распахнутого женского тела: ночь за ночью в деревенском доме, сиеста за нагой праздной сиестой в затененной постели... насытившись же, ты ощущаешь иной, золотистый вкус — вкус присутствия Джун, в нагрузку, внахлест. Конечно, любил я именно Жюли, но что за любовь без острастки, без угрозы невинных измен?

Вот и странная мистерия, что свела нас,— Кончис с его таинственными замыслами,— открывалась с неожиданной стороны. Хозяин зверинца печется прежде всего о том, чтоб животные не сбежали, а не о том, чтоб в своих вольерах они рабски следовали его прихотям. Он соорудил решетки, эфемерные клетки чаяний и эмоций, приковывающие нас к Бурани. И коли он дворянин-елизаветинец, то мы — его домашний, личный театр, вроде того, что держал граф Лестер; однако не заложен ли в «эксперимент» принцип Гейзенберга, не накрывает ли зона неопределенности и его, наблюдателя-вуайера, а не только нас, подопытных людишек? Похоже, он, кроме прочего, пробует досадить нам мнимым диссонансом меж многомудрой Европой и несмышленой Англией. Ведь при всем своем чеканном снобизме он лишь рядовой европеец, абсолютно невосприимчивый к духовным глубинам и нюансам английского мировидения. И меня и девушек он считает простачками, недоростками; мы же с легкостью перелицемерим его лицемерье,— как раз потому, что родились англичанами, с маской на глазах, с молоком неправды на губах.

Я достиг перевала. Вокруг царила мертвая тишина, нарушаемая лишь чирканьем моих подошв о разбросанные по тропе камешки. Далеко внизу, под мерцающим небом, гладило мятый серый бархат сосновых крон тускло поблескивающее море. Над землей безраздельно властвовала ночь.

На южном склоне водораздела, чуть ниже вершины, вздымался небольшой утес. Деревья здесь расступались; я остановился перевести дух и напоследок полюбоваться Бурани. Взглянул на часы: самое начало первого. Остров крепко спал. И вдруг, точно серебряные обрезки ногтя Луны, на меня стало падать одиночество собственного существования, долгая, долгая несовместность «я» и мира вокруг — чувство, что порой настигает нас тихими ночами, но очищенное от всякой тоски.

И тут откуда-то сзади, с холмов за спиной, донесся шорох. Слабый-слабый; однако я метнулся с тропы под сень раскидистого дерева. Там, наверху, человек или зверь задел ногой камень. Секунд пятнадцать я выжидал. А потом — вздрогнул, замер, затаился.

На утесе, на фоне темного неба, вырисовался пепельный силуэт. За ним — второй, третий. Я слышал, как осторожно они ступают по скале, различал приглушенный лязг металла. Вот их, как по волшебству, уже шестеро. Шесть серых теней на краю обрыва. Один вытянул руку, указывая вниз; но голосов я не услыхал. Островитяне? Но летом они редко забредают на водораздел, а в такой час — никогда. Впрочем, я уже понял, кто это такие. Солдаты. Вон неясные очертанья стволов, вон матовые блики луны на касках.

Месяц назад греческая армия проводила учения на полуострове, через пролив то и дело сновали десантные катера. Верно, и эти вояки отрабатывают у нас технику ночной высадки. Но с места я не двинулся.

Один из силуэтов повернул вспять, остальные — за ним. Кажется, я догадываюсь: они собирались свернуть на тропку, ведущую к Бурани и Муце, но зашли слишком далеко по хребту и промахнулись. Словно в подтверждение, издалека послышался хлопок — выстрел из ракетницы? К западу от Бурани над морем завис мигающий огонек. Медленно прочертил параболу. Да, осветительная ракета. Я сам на ночных учениях десятки раз такими стрелял. Те шестеро явно намеревались «атаковать» некий ориентир на дальнем берегу бухты.

И все же я огляделся. В двадцати ярдах к валунам лепятся кустики, где можно укрыться. Я на цыпочках промчался меж сосен и, забыв про чистые брюки и рубашку, спрыгнул в какую-то расщелину. Камень еще не успел остыть. В темном массиве хребта виднелась зазубрина. Тропа именно там.

Мелькнуло белое: да, тропа там. Солдаты спускались по ней. Скорее всего, это компанейские ребята откуда-нибудь из Эпира. Но я изо всех сил вжался в скалу. И, как только услышал, что они вровень со мной, ярдах в тридцати, чуть приподнял лицо, вгляделся через спасительную путаницу веток.

В груди екнуло. На них немецкая форма. Сперва мне пришло в голову, что они вырядились в нее, изображая предполагаемого противника; но после зверств оккупантов ни один греческий солдат, если он в здравом уме, немецкую форму не наденет, даже по приказу начальства; и тут до меня дошло. Спектакль выплеснулся за территорию Бурани, старый черт не уступил нам ни пяди.

Замыкающий тащил сумку пообъемистей, чем у остальных; оттуда торчал тонкий, еле различимый прут. Меня озарило. Я сразу понял: помимо Димитриадиса, в школе есть и другой лазутчик. Грек с типично турецкой внешностью, замкнутый, коротко стриженный крепыш естественник. В учительской он не появлялся, дневал и ночевал в своей лаборатории. Сотрудники прозвали его «о алкемикос», алхимик. С унынием погружаясь в придонные глубины вероломства, я вспомнил, что Пэтэреску — его закадычнейший приятель. Но прежде всего — что в лаборатории имеется рация: кое-кто из учеников мечтал стать военным радистом. Ее позывные даже занесены в регистр радиолюбителей. Я саданул кулаком по земле. Просто как дважды два. Вот откуда о моем приближении узнавали заранее. В школьной ограде одна-единственная калитка, и пожилой привратник всегда на посту.

Солдаты скрылись из виду. На подошвах у них, должно быть, резиновые набойки; снаряжение переложено войлоком, чтоб не поднимать шума.

Но они, очевидно, не рассчитывали, что я стану двигаться так быстро. Ракета могла означать лишь одно: запоздалый сигнал, что я тронулся в путь. Я недобрым словом помянул Жюли, однако тут же раскаялся. Кончису слишком уж на руку пришлось бы мое недоверие; и он не учел того самозабвенья, с каким «сыр» только что переметнулся на мышкину сторону. О новой ловушке Жюли, конечно, ни сном ни духом не ведает; а мышь превратилась в лису и впредь будет куда осмотрительней.

Я было собрался пойти следом за солдатами и выяснить, куда те направляются, но опыт армейской службы вовремя дал о себе знать. В безветрие ночные рейды нежелательны; не забудь, стоящий между тобою и луной видит тебя как на ладони, а ты его — нет. Всего полминуты миновало, а шаги парней уже стихли. Затукал по тропе камешек, умолк; подскочил и упал другой, подальше. Я помедлил еще полминуты, рывком выпрямился и во все лопатки устремился наверх.

На изгибе хребта расщелина сглаживалась, и тропка на протяжении полусотни ярдов бежала по ровному, открытому месту, а затем ныряла на северный склон. Мне предстояло пересечь каменистое пространство, совершенно голое, если не считать пары одиноких кустиков. За ним начинался обширный, примерно в акр, участок, поросший высоким тамариском. Там, где тропа врезалась в него, среди разлапистых веток чернел прогал. Я остановился, прислушался. Все спокойно. Шустро поскакал на ту сторону.

И как раз на полпути услышал клацанье курка. В двухстах ярдах справа вспыхнула ракета. Ее сияние окутало водораздел. Я упал ничком. Свет постепенно мерк. Не успело истаять во тьме шипенье пиросостава, а я был уже на ногах и несся под укрытие тамариска, не заботясь более о том, чтобы двигаться тихо. Целый и невредимый ворвался в заросли, на миг запнулся, соображая, в чем соль очередной безумной затеи Кончиса. Вдоль хребта, с той стороны, откуда стреляли из ракетницы, часто затопали шаги. Я наподдал вниз по откосу, лавируя меж семифутовых кустов.

Спуск стал положе, тропа раздалась,— отлично, быстрее! Но тут что-то с кошмарным проворством бросилось под ноги, и я с разбегу грохнулся оземь. Жгучая боль: рука пришлась на острый каменный гребешок. Чувствительный тычок в ребра. От удара сперло дыхание, язык сам собой промямлил: «Господи!» На секунду я утратил способность соображать. Справа, из-за кустов тамариска, донеслась тихая отрывистая команда. На этом языке я знал разве что пару слов. Но интонации говорившего были несомненно немецкие.

Вокруг, по обочинам тропы, зашуршало, захрустело. Меня обступили люди, переодетые немецкими солдатами. Их было семеро.

— Что еще за шуточки, черт вас подери!

Я подобрал под себя колени, отряхивая кисти рук от песка. На костяшках пальцев выступила кровь. Двое шагнули мне за спину, рванули локти вверх. Еще один стоял посреди тропинки. Он тут явно командовал. Ни винтовки, ни автомата, как у других,— только пистолет. Я покосился на винтовку, висевшую на плече у того, кто придерживал меня слева. Как настоящая; никакой бутафории. И на вид натуральный немец, не грек.

Человек с пистолетом — видимо, какой-нибудь сержант — опять что-то произнес по-немецки. Два солдата по обеим сторонам тропы нагнулись и открутили от стволов тамариска концы низко натянутой проволоки. Человек с пистолетом негромко свистнул. Я посмотрел на парней по бокам.

— Вы по-английски понимаете? Шпрехен зи энглиш?

Ни малейшей реакции — лишь стиснули локти: молчи. Боже, подумал я, дай только мне повстречаться с Кончисом. Сержант отвернулся, подозвал четверых подчиненных. Двое из них уселись на землю.

Один явно спрашивал разрешения закурить. Сержант позволил.

Они засмолили сигареты, озарив спичками свои физиономии под нависшими касками, и принялись беседовать шепотом. Все они выглядели как немцы. Не греки, выучившие несколько немецких фраз, но именно немцы. Я обратился к сержанту:

— Когда вам надоест выламываться, будьте добры сообщить мне, чего мы все тут забыли.

Он повернулся кругом, приблизился. Лет сорока пяти, узколицый. Меж нами осталось фута два. Не то чтоб жестокий, но роли своей соответствует. Я ждал привычного плевка, однако он спокойно спросил:

— Вас заген зи?

— Да пошел ты...

Еще понаблюдал за мной, точно ни слова не понял, но рад наконец со мной познакомиться; и безучастно отвернулся. Хватка солдат немного ослабла. Не вымотайся я так, мог бы и сбежать. Но с холма уже спускался кто-то еще. Через несколько секунд те шестеро, за которыми я следил из укрытия, показались на тропе, нестройно печатая шаг и держась в затылок друг дружке. Но, поравнявшись с курящими, смяли строй.

Пареньку, подпиравшему меня справа, было не больше двадцати. Он полегоньку принялся насвистывать; и тем самым внес в крайне убедительное, несмотря на мое замечание о том, что сержант выламывается, действо фальшивую в своей прямолинейности ноту, ибо мотив выбрал известнейший — «Лили Марлен». Или это неуклюжий намек? Мощный прыщеватый подбородок, глазки без ресниц; его, видно, специально отобрали из многих, этакого безупречного тевтона, бесчувственного, как замысловатый механизм; он будто не сознавал, что он тут делает и кто я такой; это его и не трогало, он исправно повиновался приказу.

Тринадцать человек, прикинул я, из них как минимум семеро немцы. Их проезд в Грецию, проезд на остров из Афин. Обмундирование. Муштранатаска. Проезд с острова, обратный проезд в Германию. Вряд ли все это обошлось меньше чем в пятьсот фунтов. И чего ради? Чтобы напугать — а может, озадачить? — какого-то неприметного человечишку. Но едва адреналин в моих жилах утихомирился, я переменил мнение. До чего мастерски организована сцена, до чего продумана. Обаяние чародея Кончиса неотразимо. Восхищение боролось с испугом; и тут послышались еще чьи-то шаги.

Новая парочка. Первый — низенький, поджарый. Он размашисто спускался по тропе, а за ним семенил второй, повыше. На обоих остроконечные офицерские фуражки. Кокарды с орлом. При его приближении солдаты суетливо вскочили, но он небрежным жестом велел им снова сесть. Он направлялся прямо ко мне. Очевидно, актер, поднаторевший на ролях немецких полковников: суровый вид, тонкие губы; не хватает только очков с овальными стеклами и стальной оправой.

— Приветик.

Не ответил, окинул меня таким же взглядом, как недавно сержант, теперь стоявший навытяжку в почтительном отдалении. Второй офицер, похоже, лейтенант, заместитель. Мне бросилась в глаза его легкая хромота; лицо итальянца, угольно-черные брови, пухлые загорелые щеки; красавчик.

— А режиссер где?

«Полковник» вынул из внутреннего кармана портсигар, придирчиво выбрал сигарету. «Лейтенант» сунулся с огоньком. Я заметил, что за их спинами один из солдат перешел тропинку с лохматым бумажным кульком в руке — какая-то провизия. Подкрепляются.

— Надо сказать, вы идеально подходите на эту роль.

Он уронил единственное слово, тщательно обсосанное, юркнувшее меж губ, точно виноградная косточка:

— Гут.

Отвернулся; что-то произнес по-немецки. Сержант поднялся выше по склону, принес походный фонарь, запалил, поставил у моих ног.

«Полковник» отступил назад, стал вровень с «сержантом», и «лейтенант» очутился на первом плане. Смотрел он как-то загадочно, будто хотел и не мог что-то мне поведать; вглядывался в меня в поисках некоего подтвержденья. Торопливо отвел глаза, резко, хоть и неловко, повернулся на каблуках, отошел к полковнику. Тихий разговор по-немецки, краткая команда сержанта.

Исполняя ее, солдаты с непонятной мне целью выстроились по обочинам лицом друг к другу, вразброс, не по стойке «смирно», а как зеваки,

ожидающие чьего-нибудь выхода. Может, это мне предстоит идти куда-то вдоль их живого коридора? Но конвоиры оттащили меня в общий строй. На тропе остались только сержант и два офицера. Я очутился в самом центре светового кольца. Видно, фонарь создает необходимый театральный эффект.

Зловещая тишина. Что ж, я не главный герой, а рядовой зритель? Наконец послышался шум чьего-то приближенья. Показался человек, одетый иначе, чем остальные,— в гражданское. На первый взгляд он был пьян. Но нет, руки связаны за спиной; пленник, как и я. Темные штаны, голый торс. По пятам шли еще два солдата. Один вроде бы ткнул ведомого кулаком, тот застонал. Вблизи я с режущим ощущением, что спектакль стремительно выходит из-под контроля, различил, что он бос. Он ковылял и подскакивал от истинной, непритворной боли.

Поравнялся со мной. Юноша, обликом грек, довольно низенький. Лицо безобразно разбитое, опухшее, правая щека залита кровью, вытекшей из ссадины у глаза. Вид ошалевший, еле ноги передвигает. С трудом заметив меня, остановился, окинул диким взглядом. Ужас пронизал меня: а вдруг они вправду поймали и избили сельского мальчугана, чтоб смотрелся убедительней? Солдат, идущий сзади, в бессмысленной ярости заехал ему в поясницу. Я это видел, я видел судорожный рывок парнишки, я слышал, как сам собою вырвался у того неподдельно страдальческий вопль. Он протащился ярдов на пять-шесть дальше, и тут полковник выцыкнул еще какое-то слово. Конвоиры грубо придержали пленника за плечи. Вся троица остановилась на тропе, спиной к хребту. Полковник спустился и стал прямо напротив меня, лейтенантик прихромал за ним. Оба повернулись ко мне затылком.

Снова молчание; лишь тяжко дышит грек. И вдруг на тропе возник еще один, неотличимый от первого, со связанными руками, под конвоем пары солдат. Теперь ясно, куда я попал. В прошлое, в 1943 год, на расправу с бойцами Сопротивления.

Второй — несомненно, «капитан», вожак,— крепко сбитый, лет сорока, футов шести ростом. Рука подвешена на веревочной петле, голое предплечье у самого сгиба наспех перехвачено пропитанной кровью повязкой. Похоже, на бинт пустили оторванный рукав рубахи,— слишком короткий, чтобы удержать кровотечение. Он шел по склону прямо на меня; горделивое лицо клефта, густые черные усы, нос аксипитера [1]. На Пелопоннесе изредка встречались подобные типажи, но откуда родом этот, гадать не приходилось: лоб его до сих пор стягивала черная лента с бахромой, какую носят критские горцы. Хоть сейчас на гравюру начала прошлого века, в национальный костюм с червленым ятаганом и пистолями за кушаком,— благородный разбойник из Байроновой сказки. На самом деле одет он был в походные шаровары английского военного образца и рубашку хаки. Тоже босой. Но ступать старался твердо. Синяков на нем было меньше,— возможно, рана уберегла от побоев.

Подойдя вплотную, он остановился и посмотрел мимо полковника и лейтенанта, посмотрел на меня. Так-так, он делает вид, что узнал меня, что мы когда-то были знакомы. Во взгляде жесточайшее презренье. Гадливость. И одновременно — бессильное отчаяние. Помолчал. А потом процедил по-гречески:

— Продотис.— «Дельту» он выговорил как «в», на народный манер, и в этот миг губы его затряслись.

Предатель.

Играл он потрясающе, растворяясь в персонаже; и, помимо желания, будто чуткий партнер, я проглотил очередную колкость, молча встретил этот взгляд, эту злобу. На секунду превратился в предателя.

Его пихнули вперед, но в десяти футах, на границе света и тьмы, он еще успел извернуться и вновь ошпарить меня глазами. И опять это слово, будто я с первого раза не расслышал:

---

[1] Ястреба *(лат)*.

— Продотис.

Его перебил чей-то вскрик, чье-то восклицание. Хлесткая команда полковника: «Нихт шиссен!» Пальцы конвоиров тисками въелись мне в плечи. Первый партизан высвободился, метнулся вбок, в заросли. Двое сопровождавших ринулись следом, за ними — трое или четверо солдат из тех, кто стоял у обочины. Он не пробежал и десяти ярдов. Крик, немецкая речь... выворачивающий внутренности вопль боли, потом еще. Удары ботинок по ребрам, уханье прикладов.

Едва крик повторился, лейтенант, стоявший напротив и вглядывавшийся в кустарник, отвернулся, уставился в темноту за моей головой. Он давал понять, что возмущен этой сценой, ее бесцеремонностью; недавний его ищущий взгляд разъяснился вполне. Полковник приметил, что лейтенант отвернулся. Покосился на того через плечо, скользнул глазами по лицам моих конвоиров и проговорил по-французски, чтоб солдаты не поняли... и, без всяких сомнений, чтоб понял я:

— Mon lieutenant, voilà pour moi la plus belle musique dans le monde [1].

Он произнес это с сильным немецким акцентом, а на слове musique, в котором заключалась суть остроты, аж присюсюкнул. Немец из породы садистов; а лейтенант — тоже немец, но из породы добряков.

Лейтенант, кажется, собрался ответить, но тут ночь разодрал оглушительный вой. Вой шел из глубоких альвеол второго партизана, благородного разбойника, и слышать его можно было на обоих концах острова — в случае, если хоть кто-то бодрствовал в этот час. Простое, но самое греческое из всех греческих слов.

Да, это было актерство, однако актерство высшего класса. Слово плевалось пламенем, точно завывал сам сатана, шибало током, скопившимся в сердце человеческого сердца, в нутре нутра.

Оно вонзилось в полковника, как шпора в лошадиный круп. Взвившись стальной пружиной, он в три прыжка подлетел к критянину и отвесил тому бешеную, сокрушительную оплеуху. Голова партизана завалилась набок, но он сразу же выправился. В ушах зашумело, словно это я схлопотал затрещину. Можно намалевать синяки, сфабриковать кровавую повязку, но подобный тумак подделать нельзя.

Ниже по склону уже волокли из кустов второго. Он не держался на ногах, его тащили под мышки. Швырнули на тропу; стеная, он рухнул на бок. Сержант спустился туда, взял у одного из солдат флягу, вылил содержимое на голову паренька. Тот попытался встать. Сержант что-то скомандовал, и прежние конвоиры помогли пойманному подняться.

Голос полковника.

Солдаты разобрались в колонну по два так, что пленники очутились внутри строя, и тронулись восвояси. Через минуту спина замыкающего исчезла во тьме. Со мной остались два конвоира, полковник и лейтенант.

Полковник приблизился. Непроницаемая харя василиска. Выговорил по-английски, старательно, раздельно:

— Это. Еще. Не. Конец.

Губы даже скривились в угрюмой ухмылке; угрюмой и угрожающей. Точно он подразумевал не только то, что за этой сценой последует новая, но и нечто большее: имперские амбиции фашистов вскоре возродятся и завладеют умами. Нервы у него были просто железные. Закрыв рот, он повернулся и отправился вниз, догонять солдат. Лейтенант — за ним. Я крикнул вслед:

— Чему не конец?

Молчание. Две темные фигуры — та, что повыше, прихрамывает — затерялись в белесых, рыхлых кустах тамариска. Я обратился к охранникам:

— Дальше что?

Вместо ответа, меня ткнули вперед и сразу назад, заставляя сесть. Я было вступил в комическую схватку, но через несколько мгновений они

---

[1] Для меня, лейтенант, это самая прекрасная музыка в мире *(франц.)*.

легко одержали верх. Споро скрутили веревкой мои лодыжки, подтащили к стволу, дабы я мог упереться спиной. Младший пошарил в нагрудном кармане кителя и кинул мне три сигареты. Я чиркнул спичкой и при ее свете осмотрел их. На вид дешевые. Вдоль каждой тянется оттиснутая красными буквами фраза «Leipzig dankt euch» [1] с крохотными черными свастиками по бокам. Та, которой я затянулся, отдавала плесенью и десятилетней давностью, будто правдоподобия ради в представлении использовались настоящие консервированные сигареты военной эпохи. В сорок третьем дымок ее был бы душист.

Я вновь и вновь пытался разговорить солдат. Сперва по-английски, затем на нищенском своем немецком, потом по-французски, по-гречески. Но те знай себе тупо посиживали на дальней обочине. И между собой-то едва десятью словами перекинулись; им, очевидно, запретили вступать со мной в беседу.

Когда меня стреноживали, я заметил время. Было без двадцати пяти час. А теперь — половина второго. Где-то на северном побережье, в миле-другой западнее школы, слабо застучал ранний мотор. Скорее дизель большого каика для местных перевозок, чем дизель яхты. Группа погрузилась на судно. Конвоиры мои, должно быть, только этого сигнала и дожидались. Вскочили, старший вытянул в мою сторону руку с перочинным ножом, повертел, кинул его себе под ноги. Ни слова не говоря, они отправились прочь — но не в том направлении, в каком скрылись остальные. Эти взобрались на хребет и перевалили его, чтоб спуститься в Бурани.

Убедившись, что они не вернутся, я пополз по камням к ножу. Лезвие оказалось тупым, веревка — крепкой, и освободился я лишь через двадцать невыносимых минут. Вскарабкался на холм — оглядеть южный берег. Естественно, все было тихо, безмятежно, рельеф тянулся к звездам, остров покоился в античной ночной колыбели Эгейского моря. Яхта еще на рейде. Сзади было слышно, как каик, если это каик, удаляется в сторону Нафплиона. Надо бы нагрянуть в Бурани, разбудить девушек, прижучить Кончиса, потребовать немедленных объяснений. Но я выбился из сил, не сомневался, что девушки ни о чем не знают, зато крепко сомневался, допустят ли меня на территорию виллы... порыв мой нетрудно предвидеть, а энергии у меня сейчас кот наплакал. Сквозь злость пробивался забытый трепет пред деяньями Кончиса. Я в очередной раз ощутил себя героем легенды, смысл коей непостижим, но при этом постичь смысл — значит оправдать миф, сколь ни зловещи его дальнейшие перипетии.

50

Уроки начинались в семь утра, и я потащился в класс, проспав меньше пяти часов. Вдобавок стояла гнусная погода, безветренная, немилосердно жаркая и душная. Всю зелень на острове выжгло, а жалкие ее остатки точно подвялились и пали духом. Хвою мочалили ревностные прихожки гусеницы; лепестки олеандра побурели с краев. Жило только море, и в голове у меня прояснилось лишь в обеденный перерыв, когда я плюхнулся в воду и распластался на ее бирюзовой поверхности.

Во время занятий меня посетило одно соображение. Все «немецкие солдаты», выступавшие в амплуа статистов, очень молоды — между восемнадцатью и двадцатью. Сейчас начало июля; весенний семестр в греческих и немецких университетах, скорей всего, завершился. Если Кончис действительно связан с киноиндустрией, заманить сюда немецких студентов ему было, наверное, несложно — стоило лишь посулить им каникулы в Греции как плату за несколько съемочных дней. Однако не приволок же он их на остров для того, чтоб заснять в одном-единственном эпизоде! Впереди, как и грозился полковник, новые измывательства.

Я лежал на воде, раскинув руки, закрыв глаза, в позе распятого. Еще до купания я успел поостыть и решил не предавать бумаге сердитое и язвитель-

---

[1] Лейпциг благодарит вас *(нем.)*.

ное послание, сочиненное по пути с водораздела. Кроме всего прочего, старик, похоже, как раз чего-то подобного от меня и ждет — утром я высмотрел в глазах Димитриадиса настороженный, любопытный огонек,— и самым верным в данной ситуации будет обмануть его ожидания. По зрелом размышлении я понял также, что сестрам ничего серьезного не угрожает; пока он думает, что их удалось обмануть, они в безопасности — точнее, не в большей опасности, чем до сих пор. Если и стоит вызволять их из его лап, начинать надо не раньше, чем мы с ними окажемся лицом к лицу; иначе он примет меры предосторожности, с ходу организует очередное игрище — и какое! Мне пришла причудливая мысль: раз тебе поперек горла то, что происходит, глупо бурчать на то, *как* это происходит.

Полуденный пароход привез почту, за обедом ее раздали. Я получил три письма: одно — от нескорого на перо родезийского дядюшки; второе — из Афин, с текущей информацией Британского Совета; а третье... Знакомый почерк — буквы округлые, кособокие, разлапистые. Я надорвал конверт. Оттуда выпало мое послание к Алисон, так и не распечатанное. И все. Я отправился прямиком к себе, не открывая, сунул письмо в пепельницу и сжег.

Назавтра, в пятницу, я получил за обедом еще письмо. Имя адресата написано от руки, почерк не менее знакомый. В столовой я не стал его распечатывать. И правильно сделал, ибо скудное содержимое конверта побудило меня громко чертыхнуться. Записка оказалась хамской и стремительной, будто пощечина; ни даты, ни обратного адреса — ничего.

> Впредь Вам незачем появляться в Бурани. Резоны оставляю при себе. Безмерно разочарован Вашим поведением.
>
> *Морис Кончис.*

Меня накрыла волна отчаянья и горькой досады. Какое право имеет он на столь бесцеремонные фирманы? Запрет не укладывался в голове, запрет противоречил всему, о чем рассказывала Жюли; но, как я быстро сообразил, не тому, что произошло вслед за нашим с ней свиданием... ночной упрек в предательстве наполнился новым смыслом. Похолодев, я понял, что сцена времен оккупации, весьма возможно,— финальный эпизод спектакля, отставная повестка: с тобой теперь некогда возиться. Но с ним оставались девушки. Что за байку он для них выдумал? Сейчас-то что выдумал для них, проникших в прежние его обманы?

До самого вечера я смутно надеялся, что они вот-вот заявятся в школу. Не дадут в сотый раз обвести себя вокруг пальца. Собирался пойти в полицию, телеграфировать в Афины, в английское посольство. Но мало-помалу восстановил равновесие. Припомнил бесчисленные аллюзии на «Бурю» и те искусы, каким подверг в своих владеньях незваного юношу шекспировский старец. Припомнил, как раньше Кончис, бывало, подразумевал прямо противоположное тому, что говорил вслух; и еще припомнил Жюли... не только ее наготу в час купанья, но и ее инстинктивное доверие к нашему Просперо. Засыпал я убежденным, что письмо — последний всплеск его черного юмора, некое испытание вроде фокуса с игральной костью и отравленной пилюлей. От силы неделя — и я непременно доберусь и до Жюли, и до истины. Ведь он понимает: завтра же я отправлюсь в Бурани. Он, конечно, примется ломать комедию грозных укоров, но главное — я встречусь с ним; и с его живым балаганчиком — он-то и поможет мне вывести Кончиса на чистую воду.

В субботу в начале третьего я углубился в холмы. К трем достиг тамарисковой заросли. В блистании знойного дня — погода была все такая же душная, безветренная — случившееся здесь недавно показалось мне сном. Однако раза два я наткнулся на свежесломанные ветки и сучья; там, где пустился наутек «пленный», бурели на выжженной солнцем почве брюшки перевернутых камней, а кустарник у тропы был истоптан. Чуть

выше по склону я подобрал несколько сплющенных окурков. Один сгорел только наполовину; на нем читались все те же буквы: «Leipzig da...».

Я задержался на вершине утеса, откуда просматривалось южное побережье. Яхты нигде видно не было, но до поры я не стал унывать.

От ворот прямиком направился к дому. Он высился пустой и закрытый, подставив хижину солнцу. Я как следует подергал дверь, поскребся в окна. Заперты наглухо. Я то и дело оглядывался — не столько оттого, что ощущал спиной чей-то взгляд, сколько оттого, что мнил себя обязанным его ощущать. Они должны наблюдать за мной; возможно, даже изнутри, улыбаясь во тьме у изнанки ставен, в пяти шагах. Я подошел к обрыву проверить частный пляж. Он лучился жарой; мостки, насосная, трухлявое бревно, тенистый зев пещерки; лодки не видать. Затем — к статуе Посейдона. Немая скульптура, немые сосны. К скале, где мы с Жюли сидели прошлым воскресеньем.

Тут и там бездыханную гладь ерошил приблудный ветерок или пунктирный косяк сардин, пепельно-синие вьющиеся штришки, что неспешно разбегались, а потом собирались в горсть на бликующем мареве воды, точно трупные пятна на коже моря.

Я побрел к той бухте, где стояли три домика. Перед глазами зазмеилась линия восточного побережья, и я уткнулся в проволочный забор. Здесь, как и в других местах, он был изъеден ржой — условная грань, а не серьезная преграда; сразу за ней к земле обрывался склон в шестьдесят-семьдесят футов высотой. Я протиснулся меж жгутами проволоки и пошел вдоль нее в глубь острова. Порой обрыв становился чуть положе, но в самом низу путь отрезало густое сплетенье кустарника и колючего плюща. Я достиг места, где забор поворачивал на запад, к воротам. Ни красноречиво перевернутых камней, ни явных прорех в изгороди я не заметил. Там, где мыс сливался с отрогом хребта, я случайно отыскал заросшую тропинку, по которой добирался до домиков в прошлый раз.

И вот я в масличном садике на подступах к выселкам. Меж стволов завиднелись три низенькие беленые хижины. Странно: ни цыпленка, ни ослика. Ни собаки. Помнится, псов тут пара-тройка гавкала.

Два ближних домика примыкали друг к другу стенами. Парадные двери на засовах, в ушки щеколд продеты висячие замки. Дальний с виду приветливее, но и его дверь подалась всего на дюйм. Изнутри не пускала деревянная задвижка. Я зашел с тыла. Черный ход тоже на запоре. Но ставни двух окон в четвертой стене, куда я добрался, обогнув курятник, послушно открылись. Через немытые стекла я вперился внутрь. Старая латунная койка, стопка уложенного на матрасе белья. Фотографии и образа на стене. Два деревянных стула с плетеными сиденьями, колыбель у окна, потертый сундук. Прямо у глаз, на подоконнике — бутылка из-под рецины с воткнутой в горлышко желтой свечой, распавшийся венок из сухоцвета, ржавое зубчатое колесико, месячный слой пыли. Я захлопнул ставни.

Задняя дверь второй хижины также была снабжена засовом, но замка в ушках не было — просто завязанный узлом обрывок невода. Я чиркнул спичкой. И через полминуты очутился посреди спальни. В этой затененной комнате не нашлось ничего мало-мальски подозрительного. Я заглянул на кухню и в горницу. Отсюда вела дверь в соседний домик; снова кухня, еще одна сумрачная спальня. Я выдвинул ящик-другой комода, открыл шкаф. Типичные лачуги обедневших островитян, ни следа бутафории. Непонятно одно: где хозяева?

Я вышел, закрепил засов проволочкой. Ярдах в пятидесяти среди маслин виднелся беленый сортир. Я и туда сунулся. Очко затянуто паутиной. На ржавом гвозде желтеет мелко порванная греческая газета.

Пролет.

У двойной хижины из земли торчало покрытое известью горло резервуара. Я сдвинул деревянную крышку, опустил облезлое ведро. В лицо пойманной змеей ударил холодный воздух. Сидя на краю резервуара, я пил большими глотками. Вкус проточный, свежий, скальный, куда слаще пресной воды из-под крана.

По путеали [1] ко мне карабкался красно-черный переливчатый паук-скакун. Я подставил руку, и он прыгнул на нее; подняв руку, я заглянул в черные окуляры глазенок. Он подергивал объемистым квадратным черепом, по-своему передразнивая пытливые кивки Кончиса; и вновь, как тогда с совой, я с дрожью ощутил близкое дуновение колдовства; Кончисову назойливую, кромешную вездесущность.

Больнее всего меня уело, что я ему, оказывается, не так уж и необходим. Я-то думал, без меня «эксперимент» обречен на провал; а вдруг нет, вдруг моя история — всего лишь отступление от основного сюжета, отброшенное, как только мне вздумалось преувеличить собственное значение? Я не суропился бы так, не поставь он меня на одну доску с Митфордом, да еще столь демонстративно и незаслуженно. И потом, я боялся, панически боялся обмана. Хотя Кончису недолго изобрести объяснение, почему я не явился в субботу, как обещал, оставалась и вероятность того, что они все втроем мне врут. Оставалась ли? После всех поцелуев, откровений, ласк, символического соития в ночной воде... проделывать такие штуки против воли, без любви способны только шлюхи. Нет, к черту! Похоже, разгадку надо искать именно в моей «ненужности». Мне хотят преподать заумный философский урок на тему «человек и мироздание», указать пределы эгоцентризма как такового. Однако метод обучения слишком жесток, жесток неоправданно, будто издевательство над бессловесным животным. Вокруг плескался океан неопределенностей, где двоилось не только внешнее, явленное, но и внутреннее, подразумеваемое. Много недель я чувствовал себя разъятым, оторванным от своего прежнего «я» (вернее, от слитного комплекса идеалов и стремлений, составляющих отдельное «я») и теперь, точно груда деталей, валяюсь на верстаке, покинутый конструктором и не знающий наверняка, как собрать себя воедино.

Вдруг я поймал себя на том, что вспоминаю Алисон,— и впервые с чувством скорее сожаления, нежели вины. Я был бы не прочь, чтоб она очутилась рядом и развеяла мое одиночество. Я поговорил бы с ней как с другом, не больше. С тех пор как мое письмо вернулось нераспечатанным, я выбросил Алисон из головы. Ход событий уже оттеснил ее в прошлое. Но теперь мне припомнился Парнас: шум водопада, греющее затылок солнце, опущенные ресницы, выгиб тела, с размаху насаживающего себя на мою плоть... и странная уверенность, что, даже когда она лжет, я понимаю, зачем и в чем она лжет; короче, уверенность, что она никогда не солжет мне. Конечно, эта ее черта превращала наше повседневное общение в занятие скучное и постылое, слишком прозрачное, утомительно-предсказуемое. Женская половина человечества всегда влекла меня тем, что скрыто от глаз, тем, что взывает к мужскому навыку уламывать и разоблачать,— как в прямом смысле, так и в переносном. С Алисон это выходило чересчур легко. И все же... я поднялся и вытравил свои игривые мысли сигаретным дымом. Алисон — пролитое молоко; точнее, разбрызганное семя. Жюли я жаждал вдесятеро сильней.

Пока не начало смеркаться, я прочесывал берег к востоку от выселок, затем вернулся в Бурани, дабы поспеть к чаепитию под колоннадой. Но вилла была все так же пустынна. Еще битый час я разыскивал хоть записку, хоть малый знак, хоть что-нибудь; так олигофрен по десятому заходу роется в одном и том же ящике стола.

В шесть я поплелся восвояси, не унося с собой ничего, кроме тщетной, исступленной злобы. На Кончиса; на Жюли; на весь мир.

В дальнем конце деревни имелась старая гавань, которой пользовались только местные рыболовы. Школьный персонал и те жители деревни, что не чужды были приличий, брезговали появляться в этом районе. Большинство построек здесь пришло в абсолютную негодность. Иные походили на разрушенные кариесом зубы, что пеньками торчат из десны; иные же, пока еще лепившиеся вдоль выщербленных набережных, щеголяли крышами из

---

[1] Колодези *(лат.)*.

рифленого железа, цементными заплатами и другими неуютными метами бесконечных починок. Тут было три таверны, но лишь одна из них — достаточно вместительная: на воздухе стояли грубо сколоченные столики.

Как-то, возвращаясь с зимней одинокой прогулки, я заскочил сюда выпить; трактирщик, помнится, оказался болтливым, а выговор его — в целом вразумительным для моих ушей. По меркам Фраксоса, милейший собеседник — может, оттого, что по рождению анатолиец. Звали его Георгиу; востроносый, с темно-седой челкой и усиками, придававшими ему комическое сходство с Гитлером. В воскресенье с утра я уселся у дверей под катальпой, и он сразу выскочил из дома, суетливо ликуя, что залучил богатого клиента. Да, заверил он, это большая честь — выпить со мной узо. Кликнул одного из чад, чтоб тот нас обслужил... лучшее узо, лучшие маслины. Как дела в школе, как мне живется в Греции?.. Выслушав эти дежурные вопросы, я приступил к делу. На безмятежно голубой воде перед нами колыхалась дюжина каиков, зеленых и пунцовых, выцветших на солнце. На них-то я и указал ему.

— Жаль, иностранцы сюда не заплывают. Туристы на яхтах.

— Да-а...— Выплюнул косточку от оливки.— Вымер Фраксос.

— А разве господин Конхис из Бурани сюда на своей яхте не причаливает?

— Ах, этот.— Я мгновенно понял, что Георгиу принадлежит к тем деревенским, которые Кончиса недолюбливают.— Вы с ним знакомы?

Нет, ответил я, но собираюсь туда нагрянуть. Так есть у него яхта?

Есть. Но у северного побережья она не показывается.

А сам-то он хоть раз встречал Конхиса?

— Охи.— Нет.

— В деревне он какими-нибудь домами владеет?

Только тем, где живет Гермес. У церкви святого Илии, на задах. Якобы меняя тему разговора, я лениво поинтересовался тремя хижинами неподалеку от Бурани. Куда переехали их жители?

Указал подбородком на юг.

— На полуостров. До осени.— И объяснил, что небольшая часть местных рыбаков ведет полукочевую жизнь. Зимой они промышляют близ Фраксоса, в водах, отведенных для частного рыболовства; а летом вместе с семьями движутся вдоль побережья Пелопоннеса, иногда аж на Крит заплывая в погоне за крупным косяком. Но он еще не закончил с хижинами.

Ткнул пальцем вниз и сделал вид, что пьет.

— Цистерны негодные. Летом нет свежей воды.

— Неужели нет?

— Нет.

— Позор!

— Это он виноват. Хозяин Бурани. Мог бы раскошелиться на цистерны. Скупердяй.

— Так домики — тоже его собственность?

— Вевэос.— Конечно.— На той стороне все ему принадлежит.

— Вся территория?

Принялся разгибать заскорузлые пальцы: Корби, Стреми, Бурани, Муца, Пигади, Застена... он перечислил названия всех заливов и мысов в окрестностях Бурани; а мне открылась еще одна причина неприязни, вызываемой Кончисом. Всякие афиняне, «богатеи», не прочь бы понастроить там вилл. Но Кончис и метра им не уступает и тем отнимает у Фраксоса средства, необходимые острову как воздух. По набережной к нам трусил ослик с вязанкой хвороста на спине; нога за ногу, выписывая зигзаги, словно заводная игрушка. Я получил добавочное доказательство вины Димитриадиса. Вся деревня только и судачит что об упрямстве Кончиса, а он ни звука не проронил.

— А гости его в деревню заглядывают?

Отрицательно-безучастно вскинул голову; упомянутые мною гости его мало трогали. Я не отступал. Если б в Бурани появились приезжие, он узнал бы об этом?

Пожал плечами.

— Исос.— Может быть. Он не знает.

И тут счастье мне улыбнулось. Из-за угла появился какой-то старикашка, прошел за спиной Георгиу; потертая моряцкая кепка, синий холщовый костюм, до того застиранный, что на свету кажется почти белым. Когда он поравнялся со столиком, Георгиу метнул в его сторону взгляд, а затем окликнул:

— Э, барба Димитраки. Эла.— Иди сюда. Иди потолкуй с английским профессором.

Старик остановился. На вид около восьмидесяти; весь трясется, зарос щетиной, но пока соображает. Георгиу повернулся ко мне:

— До войны он был как Гермес. Возил в Бурани почту.

Я впихнул старика за столик, заказал еще узо и мясной закуски.

— Вы хорошо помните Бурани?

Замахал старческой рукой: очень хорошо, прямо сказать нельзя, как хорошо. Проговорил что-то, чего я не понял. Георгиу, не лишенный лингвистической сметки, сложил на столе сигареты и спички наподобие кирпичей. Строительство.

— Понимаю. В двадцать девятом?

Старик кивнул.

— Много людей приезжало к господину Конхису до войны?

— Много, много людей.— Георгиу удивился, даже повторил мой вопрос, но ответ был тот же.

— Иностранцы?

— Много иностранцев. Французы, англичане, кого только не было.

— А учителя английского из школы? Они там бывали?

— Нэ, нэ. Оли.— Да, все бывали.

— Как их звали, помните? — Наивность вопроса рассмешила его. Он не помнит даже их лиц. Вот только один был очень высокого роста.

— Вы с ними в деревне встречались?

— Иногда. Иногда.

— Чем они занимались в Бурани — до войны?

— Они ж иностранцы.

Это проявление деревенской ограниченности рассердило Георгиу:

— Нэ, барба. Ксени. Ма ти эканон?

— Музыка. Пение. Танцы.— И снова Георгиу не поверил; подмигнул мне, точно говоря: у старика размягчение мозгов. Но я знал, что тот ничего не путает; ведь Георгиу поселился на острове только в 1946-м.

— Какое пение, какие танцы?

Не помнит; влажные глаза заметались в поисках картин минувшего, но ничего не углядели. Однако он добавил:

— И не только. Они разыгрывали пьесы.— Георгиу загоготал, но старик отмахнулся от него и степенно подтвердил: — Это правда.

Георгиу, ухмыляясь, подался к нему:

— А ты кого играл, барба Димитраки? Караёза? — Караёз — это Петрушка из греческого театра теней.

Я дал старику понять, что верю ему:

— Какие пьесы?

Но по лицу было видно: не помнит.

— В саду был театр.

— Где в саду?

— За домом. С занавесом. Настоящий театр.

— Вы знаете Марию?

Но похоже, до войны на вилле жила другая экономка, по имени Сула. Она умерла.

— Давно вы там не бывали?

— Много лет. Как война началась.

— Вы до сих пор хорошо относитесь к господину Конхису?

Старик кивнул, но кивок вышел короткий, сдержанный. Георгиу вылез с репликой:

— Его старшего тогда расстреляли.

— Ох. Извините. Извините меня, пожалуйста.

Старик пожал плечами: судьба.

— Он неплохой человек,— сказал он.

— Во время оккупации он работал на немцев?

Вскинул голову: категорическое «нет». Георгиу с безмерной досадой откашлялся. Они заспорили — так быстро, что я перестал их понимать. Но расслышал слова старика: «Я тут был. А тебя не было».

Георгиу подмигнул мне:

— Он подарил деду дом. И деньги до сих пор выплачивает. Дед его выгораживает.

— Остальным родственникам тоже платит?

— Ну так что! Может, и платит кое-кому. Старикам. А что ему сделается! Он миллионер.— Потер палец о палец: грех деньгами не замолишь.

Внезапно старик обратился ко мне:

— Мья фора... раз там устроили большой панейири с лампами, музыкой и фейерверком. Много огней, много гостей.

Дико, но мне представился прием в саду: сотни разодетых дам, кавалеры в визитках.

— Когда?

— За три, пять лет до войны.

— Что они праздновали?

Он не знал.

— Вы сами там были?

— Я был с сыном. Мы ловили рыбу. И увидели с моря. Свет, голоса. Ке та пиротехнимата.— И фейерверк.

— Да брось,— сказал Георгиу.— Пьяный был небось, барба.

— Нет. Я был не пьяный.

Сколько ни старался, больше я ничего из старика не вытащил. Наконец пожал им обоим руки, оплатил скромный счет, изо всех сил хлопнул Георгиу по плечу и отправился в школу.

Ясно одно. Кроме меня, Леверье и Митфорда есть другие, чьих имен я пока не знаю; длинная, уходящая в тридцатые цепочка. Эта мысль возродила во мне надежду. И бесстрашье перед лицом того, что еще затевалось в театре, где занавес нынче снят,— в театре на той стороне острова.

Вечером я снова пошел в деревню; стал карабкаться по булыжным улочкам наверх, к окраине; мимо беленых коробок-хижин, мимо патриархальных сценок, через малюсенькие площади под сенью миндальных деревьев. Пылали на солнце, тлели в подступающих сумерках фуксиновые всплески бугенвиллей. Этот район напоминал арабские кварталы — ладный, с подстилкой графитного предвечернего моря, с покрывалом золочено-зеленых сосновых холмов. Сидящие у порогов приветствовали меня, и все росла за моими плечами неизбежная шеренга гаммельнских детишек, что раскатывались мелкими смешками, стоило мне обернуться и махнуть: отцепитесь! Добравшись до церкви, я вошел туда. Нужно как-то оправдать свое присутствие в этом квартале. Внутри был плотный полумрак, отовсюду шибало ладаном; иконостас, угрюмые лики святых в дымчато-золотых окладах,— они смотрели на меня сверху вниз, точно недовольные вторжением чужака в свой мир, в свой склеп, где хранятся мощи Византии.

Я пробыл в церкви минут пять. Дети за это время великодушно разбежались, и никто не заметил, как я шмыгнул за правый угол фасада. Я очутился в проходе меж бочкообразными апсидами и стеною в восемь-девять футов высотой. Улочка свернула, но конца стене не было видно. Однако дальше в ней обнаружились полукруглые воротца, на замковом камне дата «1823», чуть выше — след сколотого герба. Похоже, дом, что за стеной, построил в эпоху войны за независимость какой-нибудь пиратский «адмирал». В правом створе ворот прорезана узкая дверца, в которой

светится щель почтового ящика. Над щелью, на черной жестяной табличке, облезлыми белыми буквами выведено по трафарету имя «Гермес Амбелас». Церковь стояла на возвышении, и слева от меня был обрыв. Заглянуть через стену тут не получится. Я мягко нажал на дверцу: вдруг откроется? Заперто. Жители Фраксоса кичились своей честностью, воров на острове не водилось; я впервые увидел здесь закрытую дверь во двор.

Узкий переулок круто уходил вниз. Крыша домика по правой его стороне упиралась прямо в стену. Я спустился по переулку, на перекрестке свернул и зашел к дому Гермеса с тыла. Тут склон был еще круче, и от основания стены меня теперь отделял отвес десяти футов высотой. Садовая ограда, по существу, была здесь единым целым с естественной скалой, и задняя стена дома вплотную к ней примыкала. Я обратил внимание, что постройка не так уж велика, хотя по деревенским меркам это настоящие хоромы для простого погонщика.

Два окна на первом этаже, на втором — три. Закрытые ставни подсвечены закатом; должно быть, оттуда открывается чудесный вид на западную часть деревни и на пролив, отделяющий Фраксос от Арголиды. Часто ли Жюли любовалась этой панорамой? Я стоял, точно Блондель [1] под окном Ричарда Львиное Сердце — с той разницей, что не мог запеть, дабы в темницу донеслись вести с воли. Снизу, с одной из площадок, за мной с интересом наблюдали какие-то кумушки. Я помахал им и потихоньку тронулся с места, изображая досужего зеваку. Еще перекресток — и вот я там, откуда начал свой обход, у церкви святого Илии. Итак, стороннему взгляду дом недоступен.

Я спустился в гавань, вышел на площадь перед гостиницей «Филадельфия», обернулся. Над разнобоем крыш справа от церкви торчал дом с пятью наглухо закрытыми окнами.

Будто бельма строптивого слепца.

(Окончание следует)

[1] Блондель Нельский — легендарный французский поэт; с помощью песни, некогда сочиненной вместе с королем Ричардом Львиное Сердце, определил место тюремного заключения монарха.

Цань Сюэ

Рассказы

Перевод с китайского С. ТОРОПЦЕВА

От переводчика

Цань Сюэ — явление необычное и парадоксальное для китайской литературы, привычно сюжетной и событийной, четкой и определенной, тяготеющей к категории Урока Жизни, что заставляет ее акцентировать повествовательность изложения и отстраненность автора с его возможной субъективностью, грозящей подорвать объективную достоверность рассказанного.

Феномен Цань Сюэ те немногочисленные китайские критики, которые позволили себе поразмыслить над ним, описывают в таких выражениях, как «небесный импульс», «родовые конвульсии», «театр абсурда», «нечто кафкианское», «алогичное повествование и хаотичные формы перцепции», «несуществование», «кошмарные сны», «страдающая душа». Ее проза как бы выпала из потока современной литературы КНР, и он проносится мимо, не задевая ее, они не пересекаются, существуют в разных измерениях — и пространственных, и временных. «Должно пройти пятьдесят лет, пока моя работа получит относительно точную оценку»,— так считает сама писательница.

Проза Цань Сюэ быстро завоевывает признание в иноязычном пространстве — поток ее сознания уже звучит по-английски и по-итальянски. За пределами КНР в китайском мире первым признал ее Тайвань, увидев Литературу, обращенную к глубинным пластам души и написанную выразительным языком, столь не похожим на рубленые лозунговые фразы партийной печати времен «культурной революции».

Настоящее имя писательницы — Дэн Сяохуа. Она родилась в 1953 г. в семье редактора центральной газеты провинции Хунань (город Чанша). Центральными в КНР, как и у нас, всегда являлись партийные издания, и их руководители — номенклатура ЦК. Наш читатель прекрасно понимает, что это такое! При общей жилищной тесноте — просторная квартира, а может, даже отдельный дом с садом и прислугой, спецпаек, особые льготы, гласные и негласные, зеленая карьерная улица для Самого и всех его родственных колен. И округленные «правильные» слова с трибун и страниц, завершающиеся бравурными восклицательными знаками.

Так бы Дэн Сяохуа и остаться на всю жизнь только Дэн Сяохуа, если бы кто-то из власть предержащих не поставил на судьбе отца вопросительного знака: в 1957 г. в период «охоты за ведьмами» он был репрессирован. В безоблачную определенность пути дочери вторгся тяжкий выбор: конформистский отказ от отца — «врага народа» или практически десоциализация, гордое одиночество с пятном в анкете.

С того младенческого возраста, быть может, и кровоточит незаживающая рана в трагически надломленной душе, несмотря ни на какую социально-политическую терапию. Университетские двери перед Дэн Сяохуа захлопнулись, она стала рабочей — не на крупном заводе, куда ее, дабы не осквернять чистоты пролетарских рядов, не допускали, а в крохотной уличной мастерской. Зато подальше от назойливых парткомов.

Может, будем считать — ей повезло? Ведь щупальца тотальной идеологизации неотвратимо тянулись от стержневых центров — вниз, на все более низкие уровни. До Дэн Сяохуа, как можно судить по ее прозе, добраться не успели, и чистка сознания оказалась не столь основательной, чтобы отшлифовать ее личность до общего шаблона. А в 1976 г. китайская тоталитарность надломилась, пошла трещинами, разрушая монолит. Дэн Сяохуа покидает свою мастерскую и становится «индивидуалом» — сначала швеей, а затем, без отрыва от швейной машинки, и писателем.

Так, на исходе политической зимы, произошло рождение Цань Сюэ — ее имя, разумеется не случайно, означает «тающий снег».

Как бы по контрасту с бурным временем ее проза — это тишина, это пауза. Она нервна, горячечна, но весь ее крик, вопль — внутри, лишь изредка пробивается на поверхность повествования. Одна из первых ее публикаций — цикл

рассказов «Беседы в раю»: монологи влюбленной женщины, утратившей возлюбленного. Женщины необычной, из тех, кто «слышит ток подземных вод». В Любовь она вырвалась, как в Свободу, попав, правда, в новое рабство, но уже по своей воле — «рабство» свободного человека. И, даже утратив рай, она счастлива тем, что побывала там, убедилась, что рай существует не только в прекрасных сказках. Впрочем, может быть, он ей только пригрезился? Так считают все «нормальные» люди вокруг. Но сама героиня верит, что рай был, рай есть — и она непременно вновь попадет в него. Надо только верить, ждать, неустанно искать — Сольвейг из провинции Хунань.

Пространство ее прозы творится героиней. Мир призрачен и неустойчив. У него, в сущности, нет очертаний, нет форм, нет границ. Даже времени — нет. Все изменчиво, мимолетно. Люди и предметы обладают способностью летать и исчезать в пространстве, таинственный Некто еженощно копает несуществующий колодец; земля напоминает шкуру зверя и опасно пузырится, лишь ступишь на нее; ты только собираешься окликнуть возлюбленного, а он уже отгорожен стеклянным колоколом. Ее «Я» летает, и голос червя различает, и рыбкой в озеро ныряет, и травинкой в жемчужинах дождя обернуться готово.

Пространство ее прозы — фантом субъективности, прихотливо усваивающий все, что попадает в сферу личных ощущений. Мир делится не на реальный и выдуманный, а на свой и чужой, и свой отождествляется с родным и дружеским, а чужой — с чуждым и враждебным. Время ее прозы — в чувстве, и отнюдь не векторно, не протяженно, для него все, что соединяет Ее и Его,— одномоментно, а все, что их разъединяет,— раскидано и по временны́м фазам. Я и Он — два центра фабулы, два магнита, между которыми мечется вспугнутое сознание, выстраивая переливающиеся миражи.

Отчуждение — та психологическая тональность, в которой существуют герои произведений Цань Сюэ. Даже «Я» и «Ты», ипостаси одного целого, не сливаются, как ни стремятся к этому: «Я» остается лишь ждать, обозначив точку пространства, пока поток времени не пронесет «Ты» через ту же точку.

Поэтому одно из важных свойств героини — повышенная чуткость, настороженность, напряженность. Она держит открытыми окна и двери, следит за промельком всякой тени, надеясь, что на сей раз это будет Он. Все настолько тревожно, что появляется реальное ощущение разрыва цельной личности, жаждущей слияния, будто «Ты» — это не кто-то чужой, внешний, а иная ипостась «Я», без воссоединения с которой героиня становится неполноценной, ущербной, неполной личностью.

Ужасен мир героев Цань Сюэ: мрак ночи с крючком луны, а днем солнце неяркое, притуманенное, то засуха беспросветная, то дожди беспробудные, полно нечисти и нежити, и из тьмы посверкивает волчий глаз. Одна надежда — Они встретятся, и мир преобразится... Да ведь не встретятся, это лишь Она уверена, что признает Его, а встретив — в воображении,— начинает бормотать совсем не то, что надо, и на его месте оказывается пугающая черная тень. И вдруг Она понимает, что надо не искать, а ждать, не сдвигаясь с места, которое, возможно, отмечено печатью чуда. Нет мира вне «меня», настаивает Цань Сюэ, нет события как такового, есть лишь мир «во мне», есть событие «через меня». И нет власти, по крайней мере, земной, человеческой, которая «разумными» установлениями определяла бы теченье мира: ведь все не определенно, а предопределено.

Личность автора в прозе Цань Сюэ — первопланова. Все остальное второстепенно — в том смысле, что входит в текст лишь через сознание лирического героя, не имея самостоятельного, суверенного существования. Это исключительно самовыражение, если понимать его не в духе социологизаторов, которые видят в самовыражении писателя лишь снобистское самовозвеличивание, а как признание активной творящей силы, вложенной в человеческое сознание и идущей дальше, чем простая регистрация внешней по отношению к нему действительности,— силы, наполняющей эту действительность собственной духовной субстанцией.

Если увидеть эту теснейшую, хотя и опосредованную, связь миров, внешнего и внутреннего, то в прозе Цань Сюэ мы обнаружим преображенные отзвуки того, что происходило с ней самой в той самой «реальной жизни», которую критики пытаются отделить от ее творящего сознания. Скажем, постоянно встречающееся упоминание грязи, зловонной жижи, болота — не образ ли это социального падения отца с номенклатурных высот? А утесы, испещренные трещинами, мелкими, глыбы не разрушающими, но все же подтачивающими цельность монолита,— нет ли тут явственного намека на начавшуюся в 80-е годы детоталитаризацию социального бытия? Отдельные китайские критики это поняли, справедливо утверждая: «Восприятие Цань Сюэ берет свои истоки из впечатлений безумной действительности десятилетней смуты» (имеется в виду «культурная революция»). Отрицание вывихнутого мира не означает отказа от него, и писательница жаждет ясности, которая объяснила бы ей сумбур бытия, но, не найдя ясности, формулирует китайский критик, «блуждает между дурманом и трезвостью». С таким комментарием восприятие прозы Цань Сюэ как «театра абсурда» нельзя считать лишь осуждением жанра, в котором «абсурд» выступает в качестве методологии анализа.

Ее центральное «Я» — некая маргинальная личность, не имеющая имени, пола (он устанавливается приблизительно, по косвенным психологическим признакам, во многом априорно инспирированным лишь принадлежностью к женскому полу самого автора), семьи (даже там, где она обозначена, она бесплотна, нестабильна, внушает страх своим сочленам), дома (ее герои лишь ностальгически вспоминают о домах своего детства как идиллически прекрасном пространстве — времени, от которого они в момент повествования жестко отделены и к которому уже почти не имеют шансов вернуться, хотя и надеются.)

А ведь номинация крайне важна для китайского менталитета. Имя — один из неотъемлемых социальных признаков. В той традиции, что лежит в основе китайской культуры, отсчет человеческого начинается с социального. Но «Я» Цань Сюэ откровенно асоциально. Совершенно точно заметил один китайский литературовед: «Цань Сюэ исходит из личного опыта, а не из группового сознания». Групповое сознание подавляет личность, тем более на Востоке, не дает ей возможности развиться, разрушает барьеры между индивидами, взрывает укрытия, в которых прячется внутренний мир — тот мир, которым заполнена проза Цань Сюэ.

Миг, когда плачет кукушка

Я сижу на ветхой, облупленной вокзальной скамье, под ней копошатся какие-то мелкие твари, в воздухе клубится дым. Чьи-то зады исторгают громкие звуки. Сквозь отверстия в спинке скамьи мне видны черные, как тушь, шеи. Кто-то рядом бубнит жалостливо и безумолчно: «Ну и мост, вот-вот рухнет, идешь по нему, а он шатается, аж голова кружится...» В сизом дыму пульсируют бурые губы, пасти раздвигаются, открывая огромные розовые клыки, захлопываются, и тогда внутри погромыхивают какие-то обломки и летит изо рта слюна.

Смежаю веки, так хочется вернуться туда, на ту спортивную площадку, где днем и ночью стучит капель с карниза. Никуда мне не уйти от дьявольского обаяния того бледного мальчишечьего лица. Давным-давно он реально существовал для меня. Сквозь щели в черепице в класс просачивалось солнце, и он сидел рядом в синей школьной курточке с засушенной бабочкой на груди — по ее крылышкам рассыпались крупные золотистые горошины. Взгляд у паренька робкий, теплый, от этого взгляда уже не первый десяток лет в жилах кровь закипает.

Встаю, пробираюсь по стеночке наружу, чтобы промчаться по переулкам,— может, встречу его. Ветер такой, что с раздирающим уши скрежетом по крыше елозит черепица. Глухой ночью стучу в плотно запертые двери, с ужасом вижу зеркало, в нем свет, а в центре — громадную гусеницу. Пошевелишь пальцами потных ног, и пол сотрясается. Я знаю, стоит кукушке трижды прокуковать тихонько, и я встречу его — с той самой золотистой бабочкой на груди, с ярко посверкивающими зубами.

Впервые встретив его, я решила, что следующей ночью опять увижу на том же самом месте. И помчалась туда так стремительно, что даже задохнулась. Но его образ уже стал блекнуть, синяя курточка выцвела, волосы обрели какой-то мышиный оттенок. Подошел врач и довольно прозрачно намекнул, что у меня вроде бы рак. При этом он странно ухмылялся. Невезучая какая-то ночь, снова котлован копали для дома, оконную сетку проткнули, и вползла очковая змея. А к утру у меня распухли и отвердели уши.

Однажды мы встретились по-настоящему, днем, под свирепым полуденным солнцем. Я увидела его — и смутилась. Росточка крохотного, на бледных ножках ни волосинки, в летах — вроде меня самой. Он не признал меня, прошмыгнул, потупившись, будто воришка. А я осталась стоять на дороге, пока под ногами не начал проседать асфальт.

Чаще мы встречались по ночам, и было это всегда внезапно. В черной, как тушь, комнате со множеством зеркал. Он казался удивительно теплым, я даже слышала, как кровь у него стучала в жилах. Всякий раз я предлагала ему одну и ту же забаву — войти, рука об руку, в зеркало, скинув гусеницу на пол. От дьявольского обаяния этой мальчишеской улыбки мне никогда не уйти.

«В полпятого поезд»,— произнес в углу старик, отхаркиваясь, и от его слов тяжело сдавило грудную клетку. По стене метались черные тени, чье-то дитя шлепнулось в лужу и завопило. «Кукушка-то вот-вот закукует,— сказал мне старик, и в его глазах зажглись две тусклые масляные плошки.— Вот уж семьдесят три года, как закукует, слышу запах маслят. А за тобой я давно слежу из своего уголка — ты тоже ждешь кукушки, да? Знавал я одного, он от рака помер, тоже все не спал, ждал, ждал, пока силы не иссякли. Ты дерево чуешь? Верно я догадался? Всяк свое чует — кто запах водяных орехов, кто красный траурный колпак, а мне вот маслятами семьдесят три года пахнет, притерпелся уж».

За домом кто-то все копает и копает свой колодец. Шлеп-шлеп-шлеп — за годом год. Я и не видела его, бывало, выскочу из дома, а его уж и след простыл. Только у ямы брошенная мотыга да еще фляга проржавевшая. Сомнительно, чтобы забил там ключ. Не иначе какой-нибудь бродяга, ну совсем как я. Пошла к маме, а та говорит, что никакого колодца нет и в помине, тебе, говорит, примерещилось, с голодухи гоношишься, точно пес отощавший, шаришь по дому, а толку чуть.

В тот день стучалась я в запертые двери и вдруг под костяшками пальцев ощущаю влажную кирпичную стену, которая рассыпается от ударов. Я было прочь из переулка, да не отыщу обратной дороги. Туда, сюда, как вдруг осенило — я же на дне колодца. В ту ночь кукушка молчала. К утру глаза заволоклись пленкой катаракты, вот-вот зрачок закроет. Все оттого, что хилая, говорит мама, укрепляющее пить надо. Ну, попила пару дней, аж веки слипаться стали. А на третий день он и появился. Меня в жар бросило, кровь в висках застучала. Мы уселись рядышком за парту, я возьми да и смахни пузырек с чернилами, так он, смущенно улыбаясь, принялся смывать пятна с парты. Губы у парнишки стали пунцовыми, прядь черных волос упала, рассекая бровь, он не отрывал глаз от моих мягких губ и красных шнурков в косичках. Я затаила дыхание, зная, что как только прозвенит звонок, образ его растает, а у меня от глаз побегут морщинки. Тру раскалившуюся парту, тру, ерзаю по сиденью. И говорю ему: «Завтра снова здесь жди. Коли договорились, значит, увидимся, пару раз у нас это получилось. А забудем условиться о встрече — и вон как долго не видимся, ужас. Я тут одного на улице встретила, решила, что ты, я же всегда чувствую твое появление. А он приблизился, гляжу — попрошайка какой-то. Но сердце все равно шепчет — ты. Так до сих пор и не знаю, что же это было». Прозвенел звонок, его губы позеленели, а я стремглав вылетела из класса. «Ничего странного,— отозвался из-за спины старик,— с кем не бывает? Много чего видишь, слышишь, чуешь, когда плачет кукушка! Я вот запах маслят чую, точно говорю...»

Каким-то образом надо задержаться в этом чудном мгновенье, решила я. Сижу под хлебным деревом, этакий пустой халат. Плюх-плюх-плюх — дождинками сыплются в воду красно-зеленые черепашки. Ветер шевелит мое платье. Выгнув шею, сухим треснувшим ногтем вырезаю на коре слово «он», потом поднимаю голову — перед глазами крутятся бобовые стручки. Из-под ног с мяуканьем рванулась кошка, все та же, с вороватыми глазами. Так сладостно было, пока резала на коре это слово,— будто синяя школьная курточка рядом со мной. Такое же ощущение возникает, когда слышу, как там копают за домом колодец, или вижу лиловые вьюнки, раскачивающиеся во тьме. А кончается все зеленоглазой черной кошкой.

Отчего, спрашиваю у мамы, крепко запертые двери вдруг открываются на ночной стук и за ними — все те же пугающие зеркала? Потому что у тебя эмфизема легких, объясняет мама. Такие больные вечно стучатся в запертые двери, что-то изнутри их мучает, всю жизнь они рвутся куда-то. Мамин палец покачивается змеиной головкой, а потом она вдруг выпаливает:

«А я-то его, парня твоего, видела!»

Оторопев, я вцепилась всеми десятью пальцами в известку стены, даже кровь из-под ногтей брызнула.

Перед рассветом много всякой живности гибнет, разбиваясь о сетку

окна — бам-бам-бам... Я выхожу из комнаты, а меня преследуют шаги. «Вон движется Утренняя звезда — или это ночная бабочка?» — шепелявит старик. Оборачиваюсь — и вижу его таким, какой он в действительности: крыса. До этого он не казался мне крысой, но эта крыса в углу — точно он. Взглянул на меня, пошевелил усами, и зрачки сверкнули, как две масляные плошки.

«Засушенная бабочка...» — полуобморочно бормочу я.

Завизжала, конечно, крыса, но в моих ушах прозвенел крик старика: «Глянь, какая красная стекляшка на горизонте! Столько лет, столько лет, еще ни динозавров не было, ни китов, а кукушка уже куковала — и появились маслята, бабочки, траурные колпаки!»

Он ввинтился в дырку у водопроводного крана и, не переставая верещать, высунул вороватую крысиную мордочку.

С восходом солнца катаракта расплывается по зрачку. Сквозь пелену вижу человека, копающего колодец,— оказалось, треснувшая сухая ветка, которой ветер стучит по стволу дерева. Обливаясь потом, человек копает до рассвета с таким шумом, что у меня в ушах фурункулы выскакивают.

Мне становится ясно, что и на этот раз я упустила дивное мгновенье. Прижалась к печурке, съежилась, как старый бурдюк. Кто-то поднялся с кровати, зубная щетка стукнула о кружку, и прошелестел последний порыв ветерка, напоенного ароматом хризантем.

Я знаю, что дождусь крика кукушки — завтра или в какой-нибудь другой день.

Что случилось со мной в том мире

Другу

Полночь, друг мой, за окном темно, с неба льет, во двор, галдя, высыпал народ, и дождь — бу-бу-бу — беспрестанно бьет по клеенчатым плащам. Люди выкапывают камфарное дерево, кладут рядом тунговое — откуда-то издалека притащили. Вчера вечером ко мне в дом ворвались — посоветоваться, как поступить. Судили-рядили, галдели, рыдали, скакали, что-то искать в комнате принялись, и ничему-то они не верили, ни черта для них, ни дьявола. «Так,— подскочил один молодец,— значит, тунговое дерево посадить надо!»

«Посадить! Тунговое! Ха-ха-ха!» — прямо с ума посходили, обслюнявились все и щурятся на меня. Молодец сосредоточенно сплел удавку и, поморгав, накинул мне на шею. Все они кричали, шипели: «Ты! Кто тебе позволил жить в этой комнате?» А я и сама не знаю, как очутилась тут. Вначале, помню, был снег за окном и пустая, без единого человеческого следа равнина. Потом снег прекратился. С неба, подбеленного луной, свисали льдинки, покалывая глаза. Я разогнулась, вытянула палец, и его тут же облепил иней. К земле тянулись тончайшей работы сосульки — там среди пустого пространства торчала заледеневшая ладонь небожителя и ползали какие-то прозрачные твари. Наклонив голову, я прислушалась — сосульки с шорохом врастали в почву. Вот тут-то они и вошли, эти люди, назвавшиеся дальними родственниками: жизнь мне будто бы спасли, когда маленькой была. Позади них по лысому склону тянулась вверх похоронная процессия, тонкими нитями колыхались тени, и в пустоту неба время от времени врезалась чуть слышная печальная мелодия ритуального рожка.

«Сперва камфарное дерево выкорчуем»,— вдруг высказалась старуха из угла. Этакая старая орлица в черном плаще, плечи дергаются, а голосок тонкий, как у цыпленка.

«Точно, выкопаем камфарное»,— поддержали остальные. Но вдруг опять всполошились: «А ну как нас подслушивают? Одно жулье кругом, ни на кого положиться нельзя, надо быть начеку. Небо-то в трещинах — с того дня, как большой ветер налетел...»

«Тунговое посадим!» — упрямо твердили они, топая ногами и впадая в раж. У кого-то даже слезы на глазах. И говорят, говорят все разом про свой многолетний кошмар, гадают о будущем, а в результате один врезал другому по спине, тот лягнул его под зад, и они, как макаки, вскарабкались на подоконник, таращась на затянутые вечерней дымкой холмы.

Черная старуха, похожая на орлицу, тут же решила отправиться копать и сперла из-под двери мотыгу. Запищал младенец, где-то вдали сдуру кукарекнул петух, по пыли прошелестели ноги в мягкой обувке, и кто-то — бац! — шмякнул посреди комнаты бутылку.

На фоне окна покачивался ритуальный рожок похоронной процессии — ну, прямо коварное подслушивающее устройство. Молодец увидел, что я смотрю на рожок, тут же бросился вперед и загородил окно своей необъятной спиной.

И я не выдержала, просто язык зачесался, когда они ворвались, и начала: «Там, в пруду у известковой скалы все время что-то происходит, стоячая вода вдруг начинает позвякивать, чуть иней падет... А на заснеженном поле кольцами свивается огромный питон... Что же это такое? И серая тень согнулась над прудом, вылавливает что-то...»

То ли они не услышали меня, то ли вовсе не поняли, что я говорю что-то, видят только — я странно покачиваю головой и извиваюсь, как земляной червь. Боязливо, на цыпочках обогнули меня, а старуха еще с любопытством потыкала мне в поясницу перочинным ножичком и сказала кому-то, цокая: «Хм, внутри-то у нее нержавейка... Тсс, за дверью подслушивают».

Ах, друг мой, я прикрыла глаза, вжалась в угол и вспомнила про те ледяные горы. Вот, думаю, растают моря, и ледяная гора сдвинется с места, а я высуну голову и стану следить, как она медленно поплывет, точно погруженный в раздумья огромный белый кит. С небесных льдинок капает вода; торос, устремившийся в небо, вдруг — трах — раскалывается, осколки светятся, как голубые грезы, и разлетаются, вычерчивая дуги, мгновенье — и нет их. Нет конца этому льду, друг мой, нестерпимо его сияние — испытывал ли ты когда-нибудь такое? Словно распахивается грудная клетка, лоб, точно зеркало, отражает свет, и меркнут звезды, а солнце то вспыхивает, то гаснет, уж не знаю, как и назвать это. Я высовываю голову из воды, смахиваю капли со лба, жмурюсь. С неба ниспадает иней. А я вспоминаю. «Ну вот,— сказала я себе в то утро.— Все началось сначала. На Земле вновь воцарился хаос. Под огромным, буйно-зеленым ковром растительности забродили смутные желания... Мне же не дано было начаться сызнова, я уже вросла в тот мир, где лед нескончаем, где больно глазам от его сияния, а метеориты пугающими лавинами низвергаются вниз и ложатся на Землю уродливыми каменьями, и молчаливые снежные вершины испускают многоцветное сияние. Я вросла в тот мир, друг мой, я тянусь вверх, становлюсь одним из бесчисленных ледяных столбов, устремленных в небо. Когда дрожащее сияние наконец достигло меня, во всем теле поднялся зуд, будто из него рвались наружу множество зеленых побегов, я помотала головой и услышала, как шелестит ветерок в листве, а переполняющий ее сок выступает под мышками».

Сквозь задымленное стекло я вижу, что происходит снаружи.

Камфарное дерево выкопано, старуха, хихикая, спрыгивает в яму и беснуется там в грязи. Остальные забрасывают ее землей.

«Тут еще одна есть!» — молодец вдруг тычет пальцем в мою физиономию за стеклом и коварно ухмыляется.

«Еще одна?» — столбенеют люди и бросаются врассыпную кто куда. Засыпанная старуха молчит, обратившись в камень.

Я знаю, они скоро вернутся, чтобы схватить меня, крепко запираю дверь, забираюсь в большой сундук и закрываю крышку. Мне бы побыстрей вознестись в тот мир, обернуться ледяным столбом, побыстрей бы все это. С бренного тела сорваны оковы, фонтаном брызжет алая кровь. Времени в обрез, похоронная процессия уже приближается к пустырю, северный ветер свил нити теней в клубок, и по краю болота мчится стая

голодных волков. «Эх-ох...» — затянул старик невнятную песню, и она понеслась вдаль. Мне слышалось только одно: «Эх, веревка, эх, веревка, эх, веревка...» Эти ниточки-веревочки зашебуршились еще сильней, старик исчез, а его песня эхом поплыла по краю неба, и — теньк — опрокинулся ритуальный рожок похоронной процессии.

Топот волчьей стаи приближался...

Чуть колыхнется океан, я приподниму спину над водой, подставлю под жгучие лучи, и сразу сердце отпустит. Перевернусь, найду то зеркало, мельком гляну в него и увижу, что вместо глаз у меня пара левкоев. Где-то вдали позвякивают льдинки, но ничто не нарушит раздумий белого кита... В ледяном мире нет ночи. Я высуну голову из воды, с усилием распахну грудную клетку, брызнут снежно-белые искры, полетят за горизонт, из ледяной горы с глухим грохотом вырвется лиловое пламя.

Ты, конечно, понимаешь, о чем я, друг мой,— о том, ледяном мире. Был день, когда по небу плыли снежинки, а мы сидели рядышком и хором пели «Мамины туфельки», а потом ты опустился на колени и лизнул этот белый сон, покрывший землю, и сказал: «Сахар», а твое крохотное личико посинело от холода, указательный палец распух. Я заметила это, когда вспыхнула молния, но не успела сказать тебе. А когда надумала, ты уже вырос в молчаливого парня, пропахшего табачным дымом. Столько лет блужданий, столько лет! Я металась по берегу реки, разбрасывая надломленные ветви ивы, звала тебя — и все напрасно. Иногда замру, уставлюсь зареванными глазами вдаль, а она не приближается, смеется надо мной. Робко запою «Мамины туфельки» — вот ведь застряли в памяти,— призывая душу из далекого прошлого. Но даль по-прежнему заволакивает туман — день за днем, год за годом.

А потом я перестала ждать, потому что домашние узнали, что я все бегаю к дамбе, и решили, что у меня какая-то болезнь. Связали мне во сне руки-ноги, бросили в разрушенную кумирню. К ночи там собрались бесчисленные бесы, какие-то твари неистовствовали на полу. Вышла я оттуда действительно больной, по вечерам на распухшем лице выступала какая-то слизь, иссохшие ноги дрожали, хватала за рукав каждого встречного и по слогам выдавливала из себя: «Ве-се-лень-кая ноч-ка». Зло сверкали запавшие глаза, пальцы в карманах подрагивали. Врывалась к родственникам в дом, обнимала их, кривлялась, как обезьяна, и орала: «Веселенькая ночка!» Они глядели на меня со страхом, качали головами, перешептывались, да я-то знала, что замышляют: выжидали момент, чтобы подобрать яичко, которое снесет старая квочка.

В двери продолбили уже довольно большую щель, кто-то сунул туда лопату.

Час настал, друг мой, леденящие градины — слышишь? — ринулись вниз, выбеленной кроной закивало обледеневшее, прозрачное дерево, возбужденно всколыхнулось море. Мы возносимся с тобой, рука в руке, к поверхности вод, щуримся от чистого ледяного сияния и в полный голос поем «Мамины туфельки»...

ГАРРИСОН СОЛСБЕРИ

Новые императоры

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с английского О. БАСИНСКОЙ, И. ПРОХОРОВОЙ, Г. ЧХАРТИШВИЛИ

МАЛЕНЬКИЙ ИМПЕРАТОР

Бедность — это не коммунизм

Еще с 1979 года по Китаю стал ходить стишок:

Нету пшеницы — Цзыян пригодится.
Плох урожай — Вань Ли выручай!

Именно этих двоих отправил Дэн Сяопин на передний край войны с бедностью: Чжао Цзыяна — широколицего, медлительного, очень смахивающего на удачливого бизнесмена откуда-нибудь из Канзас-Сити, и Вань Ли — красивого, улыбчивого, похожего больше не на китайца, а на европейца.

Чжао Цзыян, ставший впоследствии премьером и генсеком, был командирован в Сычуань. Эта западная провинция, превосходящая по площади и населению большинство европейских стран, девять лет подряд страдала от недорода. То совсем не было дождей, и рис засыхал на полях. То, наоборот, шли сплошные ливни, и урожай смывало наводнением. Сычуаньские крестьяне просили подаяния на дорогах, ковыляли в пыли по всей стране, одетые в лохмотья, с иссохшими лицами и запекшимися от голода губами. Младенцы умирали на руках матерей.

© Harrison E. Salisbury, 1992

В центральной провинции Аньхой дела обстояли́ не лучше. Туда Дэн направил самого способного из своих людей, профессионального строителя Вань Ли.

Дэн окончательно укрепился у власти в ноябре-декабре 1978 года. Два года после смерти Мао понадобилось ему, чтобы подчинить себе партию и госаппарат, а Хуа Гофэна тихо и незаметно отстранить от руля, не лишив его при этом внешних атрибутов власти.

Дэна поддерживали маршал Е Цзяньин и армейская верхушка. Когда Дэн в сопровождении семьи посетил Е Цзяньина в день его восьмидесятилетия, 28 апреля 1977 года, там собрались все китайские маршалы. Е Цзяньин пожал Дэн Сяопину руку и сказал: «Вы — тоже маршал-ветеран. Главный среди маршалов».

Однако опора Дэна была куда шире. Один из сторонников Цзян Цин заявил, что Дэн пришел к власти в результате военного переворота. Но Дэн Сяопина поддерживали многие партийные старейшины во главе с Чэнь Юнем, человеком, которого Мао считал финансовым гением. Когда после «Большого скачка» в стране начался экономический хаос, Мао призвал Чэнь Юня, сказав, что Китай нуждается в «мудрой домохозяйке», которая помогла бы ему выбраться из беды. Мао всегда завидовал экономическим талантам Чэнь Юня. Однажды, разговаривая со своим секретарем Тянь Цзяином, он стукнул кулаком по столу и воскликнул: «Ну почему никто кроме Чэнь Юня не способен совладать с экономикой?! Почему я не умею этого?!»

И вот теперь Чэнь Юнь выступил в поддержку Дэн Сяопина, который привлек его к разработке новых экономических планов. Позднее Чэнь Юнь станет символом противников реформы, но тем не менее именно он помог Дэну подготовить Китай к броску вперед. Разногласия между ними сводились к вопросу о темпах. Дэн считал, что нужно торопиться, Чэнь Юнь был за постепенность.

Дэн начал с того, что вывел на политическую сцену целую плеяду людей новых, более молодых и энергичных. С большинством из них он проработал вместе долгие годы.

Одним из них был Вань Ли. Он служил у Дэна, еще когда тот работал на Юго-Западе, участвовал в выполнении необычайно трудной задачи по строительству «Третьей линии» народного хозяйства [1]. Вань Ли был главным создателем новой площади Тяньаньмэнь, любимого детища председателя Мао. В 1974—1975 годах он стал правой рукой Дэна, когда тот занимался восстановлением порядка на железнодорожных коммуникациях страны. В провинцию Аньхой Вань Ли был отправлен именно потому, что дело казалось крайне важным и сложным.

В 1978 году ему исполнилось шестьдесят два. Это был умный и гибкий администратор, отличный игрок в теннис и бридж. Он родился в Шаньдуне в 1916 году. В КПК вступил после японской интервенции 1936 года — коммунисты казались ему единственной силой, способной противостоять оккупантам. Много лет Вань Ли проработал в сельской местности. Он прекрасно знал и Аньхой, и соседнюю провинцию Хэбэй. Перед началом «культурной революции» Вань Ли работал вице-мэром Пекина. Два с половиной года просидел в лагере. Ни один из помощников Дэна не был столь компетентен в технических вопросах, как Вань Ли; никто лучше него не мог справляться с трудновыполнимыми задачами.

В 1987 году Вань Ли сказал автору во время беседы: «Я воевал с японцами, с четырьмя армиями националистов — Чан Кайши, Т. В. Суна, Кун Сяньси и Чэнь Гофу. Если бы мы не победили, я бы сейчас тут с вами не сидел. Наша цель — построить счастливую и процветающую страну, в которой нет эксплуатации. Одной веры тут мало. Надо как следует трудиться».

Оказавшись в Аньхое, Вань Ли первым делом отправился по деревням, чтобы изучить ситуацию самому. Поездка началась с района Цзуньян, где свирепствовал самый жестокий во всем Китае голод. Эти места считались нищими еще до революции. Население чуть ли не поголовно жило нищенством. Прежде крестьян угнетали помещики. Прошли десятилетия, но перед Вань Ли предстала такая же нищета. Помещиков не стало, но люди по-прежнему умирали от голода. Партия поторопилась с введением сельскохозяйственных кооперативов. Система коммун совершенно раздавила крестьянское хозяйство. Население жило в глинобитных лачугах, имело по одному одеялу на семью, риса почти не видело.

[1] «Третьей линией» была названа система оборонных предприятий, созданных Мао Цзэдуном в юго-западных районах Китая. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Дэн Сяопин объявил: «Бедность — это не коммунизм». За решение задачи взялся Вань Ли. Для начала, руководствуясь чисто практическими причинами, он упразднил коммуны. Каждая семья получила семейный участок, была введена так называемая система семейного подряда. В экспериментальном порядке впервые ее опробовали еще в пятидесятые годы. При ней семья получала долю в прибыли и сама заключала договор с государством на продажу зерна, причем часть урожая могла продавать на рынке по свободной цене. Впервые у крестьянина появился стимул возделывать землю с усердием, извлекать из нее прибыль.

Итак, Вань Ли сделал ставку на семейный подряд. «Давайте, работайте»,— сказал он крестьянам. Это никак не совпадало с линией партии, но когда пришло время собирать урожай, стало ясно, что Вань Ли победил. Крестьяне произвели столько зерна, что хватило и на них самих, и на госпоставки. Впоследствии Вань Ли рассказывал: «У власти еще стоял Хуа Гофэн, по-прежнему властвовала маоистская линия. Но Дэн меня поддержал, и наш опыт подхватили другие».

Лишь в 1982 году партия официально одобрила «Документом 75» систему семейного подряда. К тому времени она уже широко применялась по всей стране.

На посту партийного секретаря провинции Аньхой до Вань Ли находился представитель армии. «Я выступил с критикой и против него, и против «Банды четырех»,— рассказывал Вань Ли.— Армия после «культурной революции» пришла в состояние хаоса. Конечно, у нее на счету было много заслуг, но ей пришлось проводить вредную политику Мао Цзэдуна».

Даже в 1987 году, невзирая на очевидный успех программы Дэн Сяопина, Вань Ли все еще считал, что наследие Мао и «культурной революции» не искоренено, в особенности в сфере образования: целое десятилетие без школ и университетов; те идеологические выкрутасы оставили Китаю две генерации молодых людей, не получивших образования,— их таланты остались невостребованными.

С годами Вань Ли сделался одним из главных соратников Дэна, одним из руководителей Всекитайского собрания народных представителей и близким другом лидера. Вплоть до 1990 года они регулярно играли в бридж.

«Схватка шла не на жизнь, а на смерть,— рассказывает Вань Ли.— Дэн играет в карты лучше, но у него был партнер, и у меня тоже. И все же Дэн выигрывал чаще, хоть он и старше меня на двенадцать лет».

Кроме того, Вань Ли играл в Пекине в теннис с иностранными дипломатами. Президента Буша он назвал «очень сильным игроком» и проиграл ему. Зато американского посла Уинстона Лорда Вань Ли оценивает не столь высоко: «Он моложе, но где ему со мной справиться». А Роберту Хоуку, премьер-министру Австралии, Вань Ли проиграл.

Должен добавить, что один из соперников Вань Ли по теннису сообщил мне существенную деталь: Вань Ли играет только в паре и берет себе в партнеры одну из первых ракеток Китая.

Никому из команды Дэна не суждено было сравниться по популярности с Ху Яобаном. Этот человек стал для нации политической иконой, символом либерализма, демократии, свободы слова. Живой и любознательный собеседник, чья сфера интересов простиралась от Камю до Никсона, Ху Яобан постоянно увлекался чем-то новым. Он не боялся новизны и без колебаний расставался со старым, особенно если речь шла о надоевших клише маоистской эпохи. Но, хоть общественное мнение и считало Ху Яобана неизменным защитником демократии, ему случалось в годы правления Дэна и отходить от этой роли.

С Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином его роднила любовь к древней китайской истории. Ху Яобана императорские династии тоже интересовали куда больше, чем работы Маркса и Ленина.

В 1978 году ему, как Вань Ли, было шестьдесят два. Он тоже долгие годы проработал с Дэном на Юго-Западе. Они вместе участвовали в «Великом походе». Ху Яобан был совсем юным, а выглядел еще моложе, как и Дэн; такой же щуплый коротышка, только еще более энергичный. Оба они тогда были больше похожи не на взрослых бойцов, а на «красных дьяволят» — так называли подростков, служивших в революционной армии связными и разведчиками. И тем не менее и Дэн, и Ху Яобан были настоящими солдатами. Последний даже получил ранение в битве за перевал Лушань.

Он служил в политотделе Третьей армии Пэн Дэхуая. После победы Ху Яобан возглавил Коммунистический союз молодежи. Он быстро сделал карьеру в партии, но в 1964 году Мао перевел его в провинцию, заявив, что Ху Яобану не помешает «практическая работа». Очевидно, тот был слишком активен и недостаточно идеологически выдержан. Ссылка стала первым звонком. После начала «культурной революции» Ху Яобана вернули в Пекин для «проработки».

Он оказался одним из «Трех Ху», которых водили по улицам с деревянными колодками на шее, осыпая бранью. С ним в опалу попали Ху Кэши, второй секретарь комсомола, и Ху Цили, третий секретарь этой организации, ставший впоследствии одним из помощников Дэна.

Ху Яобана отправили в отдаленный лагерь, чтобы «перевоспитывать трудом». Под присмотром охранников он таскал огромные камни, сгибаясь в три погибели. Это не считалось тюремным заключением, но любой менее крепкий человек не выбрался бы оттуда живым.

Ху вошел в первый же состав команды Дэн Сяопина. Тот вытащил его из лагеря, когда ненадолго вновь оказался наверху, в 1974—1975 годах. Когда Дэн в очередной раз пал, с ним «сгорел» и Ху Яобан.

Позднее он стал руководителем партии и предполагаемым преемником Дэна. Ху Яобана отличала восприимчивость к новым идеям и готовность порвать с избитыми догмами марксизма и маоизма.

Чжао Цзыян не принадлежал к числу ветеранов Красной Армии. Он не участвовал в «Великом походе». Отпрыск свободомыслящей помещичьей семьи, он получил хорошее образование, в детстве учился в миссионерской школе. В 1978 году Чжао было пятьдесят девять лет. Ни один из людей Дэна не мог соперничать с ним в знании сельской жизни Китая. Чжао родился в Хуасяньском районе провинции Хэнань, и всю свою жизнь работал в непосредственной близости то от бескрайних рисовых полей Юга, то от зерновых житниц Севера. Чжао лучше кого бы то ни было понимал всю трагичность мистического увлечения Мао созданием коммун, в результате чего цветущие сельскохозяйственные земли превратились в пустыню.

Сразу же после образования КНР Чжао Цзыян был привлечен к работе в аграрном отделе партии и отправлен в провинцию Гуандун, край, богатый рисом, но перенаселенный. Еще в прошлом веке тысячи гуандунцев волна за волной покидали родину и отправлялись в другие страны, потому что не хватало земли и пропитания. Большинство китайских иммигрантов в Соединенные Штаты (да и другие страны) были родом из Гуандуна. Именно они построили трансконтинентальную железнодорожную магистраль «Юнион пасифик».

«Культурная революция» вышвырнула Чжао Цзыяна, как всех прочих толковых чиновников, из кабинета. Сначала он угодил на завод чернорабочим, но прозябал там недолго. Его извлекли из опалы и направили на работу во Внутреннюю Монголию, которая особенно пострадала от «культурной революции»: земли были разорены, национальные лидеры уничтожены, десятки тысяч монголов погибли; традиционное кочевое хозяйство, основанное на овцеводстве и коневодстве, перестало существовать. Чжао начал борьбу с нуждой и голодом, невзирая на жесткий контроль партийной линии Мао — Линь Бяо.

Вскоре его перевели обратно в Гуандун, где он начал создавать систему, которую впоследствии окрестят «семейным подрядом»,— это было довольно рискованным начинанием, ведь Мао считал подобную затею «гигантским шагом назад, к капитализму». Тем не менее Чжао не отступался, прикрывая свое детище разными безобидными именами.

Дэн Сяопин командировал Чжао в Сычуань. Когда-то эта провинция считалась зерновой сокровищницей Китая. «Культурная революция», «Банда четырех», засухи и наводнения превратили ее в зону бедствия. Сто миллионов жителей оказались на грани гибели.

Чжао действовал стремительно. Как и Вань Ли, он пренебрег всеми предписаниями. Когда это было необходимо, маскировал свои нововведения терминологией, призванной усыпить бдительность последователей Мао. Результаты не заставили себя ждать — кривая производительности резко поднялась.

Благодаря усилиям Чжао, Сычуань снова стала обеспечивать себя зерном,

точно так же как в результате деятельности Вань Ли Аньхой сумела накормить себя рисом. Так и возник знаменитый стишок.

Несколько больше времени понадобилось Дэну, чтобы вытянуть наверх человека, которому суждено было стать центральной фигурой новой династии. В 1977—1978 годах, когда Дэн уже подбирался к рычагам управления, Ян Шанкунь все еще сидел за решеткой, над ним висели обвинения в шпионаже и предательстве, которые было не так-то просто снять. На свободу Ян вышел лишь в декабре 1978 года. В тюрьме он провел без малого тринадцать лет, дольше всех прочих высокопоставленных жертв маоистской паранойи.

К делу Яна приложил руку сам Линь Бяо. Сменив на посту министра обороны Пэн Дэхуая, маршал первым делом расправился с возможными соперниками. Он счел, что таковым является и Ян Шанкунь. Линь Бяо сфабриковал дело о шпионаже и предъявил Мао некую магнитофонную запись, которая и помогла ему устранить врага.

Вытащив Яна из тюрьмы, Дэн отправил его в Кантон немного прийти в себя. Возможно, к этому приложил руку маршал Е Цзяньин, чье влияние в Кантоне было очень сильным. Но вскоре Ян Шанкунь вернулся в Пекин. На него вновь была возложена ответственная партийная работа в Комитете по военным делам, высшем эшелоне власти во всей коммунистической иерархии. Постепенно позиции Яна все более укреплялись, пока он не стал чуть ли не вторым Дэн Сяопином.

Вскоре после выхода на свободу Ян Шанкунь отметил свое семидесятилетие (по китайскому исчислению — семьдесят первый день рождения). Он был в хорошей физической форме, поджар, мускулист, быстр в движениях и уверен в себе. Его жена Ли Бочжао, в прошлом актриса и драматург, в годы «культурной революции» работала уборщицей в туалете и таскала тяжелые ведра с водой, пока не повредила себе позвоночник. Она умерла в 1985 году от инфаркта.

Дэн Сяопин поступил просто: взял и перерезал идеологические путы, не дававшие Хуа Гофэну сделать ни единого шага и обрекшие его на поражения. Дэн спокойно отказался от двух незыблемых принципов — свято следовать словам и всем указам председателя Мао. На нескольких совещаниях в ходе Третьего пленума ЦК одиннадцатого созыва в декабре 1978 года Дэн Сяопин изложил свою программу реформ и открытия страны. Он приказал реабилитировать Лю Шаоци и учредил специальные комиссии, призванные восстановить честное имя сотен тысяч людей, осужденных «Бандой четырех». Так армия Дэна пополнилась множеством способных сотрудников, которыми он заменил на различных постах клевретов Цзян Цин.

Дэн пересмотрел идеологию маоизма и дал ей новую, весьма ловкую интерпретацию. Отныне она будет совмещать в себе «ценное наследие» Мао плюс полезные идеи других партийных лидеров. Такая формулировка позволила Дэну списать со счетов и «культурную революцию», и «Большой скачок», и прочие утопические начинания Мао. Коммунистический катехизис сохранился — в нем лишь появились некоторые новые вопросы и ответы. В мусорный ящик полетели самые нелепые из «идей» Мао.

Характерный пример нового стиля — система семейного подряда. Партийные функционеры, работавшие на селе, давно уже поняли, что маоистские коммуны непроизводительны. Они лишали крестьян стимула к труду. К чему надрываться? Все равно больше не заплатят. Коммунары справлялись с положенным заданием до полудня, а потом тихо дремали до вечера.

Автором идеи семейного подряда, очевидно, был бывший министр сельского хозяйства Дэн Цзыхуэй, участник «Великого похода», член ЦК. Первый эксперимент он провел еще в 1957 году, а на Лушаньской конференции 1959 года осторожно попробовал предложить эту систему партии.

Поначалу Мао не понял, о чем идет речь; когда же до него дошла суть предложения, он взорвался. Мао кричал, что это первый шаг назад, к капитализму. Председатель назвал семейный подряд «бинтованием ног», то есть возвращением к допотопной старине, отходом от «достижений» маоистской идеологии.

Однако гнев Мао не погубил саму идею. После кризиса, вызванного «Большим скачком» и распространением коммун, коммунисты из тех, что попрактичнее.

готовы были на все, лишь бы добиться увеличения объема продукции. Семейный подряд потихоньку стали применять то там, то сям. В апреле 1962 года Лю Шаоци, Чжоу Эньлай и Дэн Сяопин собрали конференцию, в которой приняли участие семь тысяч партработников. Речь опять шла о семейном подряде, который подавался под прикрытием дымовой завесы осторожных терминов. «Большая тройка» видела, как далеко зашел продовольственный кризис, и надеялась внедрить новую систему в обход Мао.

Однако у них ничего не вышло. Мао сделал кое-какие уступки, но не по центральному вопросу. Инициативу с семейным подрядом он назвал «правоэкстремистским шагом», цель которого — «свалить всю ответственность к его дверям». В сентябре того же года Мао вновь обрушился на реформу, заявив, что по-прежнему задачей номер один остается классовая борьба.

И вот Мао не стало, Цзян Цин со своей сворой сидели в тюрьме, влияние Хуа Гофэна с его «нерушимыми принципами» слабело. Дэн Сяопин велел Вань Ли и Чжао Цзыяну внедрять семейный подряд, не дожидаясь официальных изменений в партийной доктрине. Провинции Сычуань и Аньхой исполнили задание с таким рвением, что потрясли не только крестьянство страны, но и всю партию.

Дэн продемонстрировал, что деньги, материальная заинтересованность — очень действенный инструмент. Крестьянам понравились и сами деньги, и то, как их можно зарабатывать. Коммунисты вызывали у них дружную ненависть.

Успехи в Сычуани и Аньхое дали Дэн Сяопину реальную возможность идти вперед, не оглядываясь в прошлое.

Он заговорил об исторических судьбах Китая. Да, коммунизм — верный путь для страны, но он должен иметь китайскую специфику. Русский вариант китайцам не подходит. Китай должен проложить себе дорогу сам. Капитализм исключается, но это вовсе не значит, что нельзя почерпнуть из него самые полезные элементы: эффективное управление, потребительную экономику, стимулирование.

Дэн повторял вновь и вновь: отсталость и нищета — это не социализм. Китай — огромная страна, перенесшая тяжкие испытания. Нужно, чтобы сознание людей раскрепостилось. Дэн не обещал чудесного спасения или немедленного решения вековых проблем. Однако, утверждал он, Китай может достичь многого, вооружившись решимостью и творческим подходом. Возможно, на это уйдет сотня лет, но рано или поздно Китай сравнится по уровню развития со средними европейскими странами.

В свое время, чтобы в очередной раз вернуться наверх, Дэн отрекся от своего известного высказывания: «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила». Но теперь кошка вернулась. В основе новой идеологии был прагматизм.

В «Жэньминь жибао» появились статьи о том, что у Маркса нельзя найти ответ на все вопросы, ведь классик мало знал о Китае. Он жил еще до изобретения двигателя внутреннего сгорания, самолетов, современных средств связи. Откуда бы ему знать ответы на вопросы, возникшие в конце двадцатого века?

Всякий, кто хотел бы воочию увидеть, какое будущее готовит Дэн для Китая, мог отправиться в Сычуань. Там, на руинах маоистских коммун Чжао Цзыян создал лабораторию социально-экономического эксперимента. Тот, чьи мозги не заплесневели (любимое выражение Дэна), мог сам заглянуть в завтрашний день. Чжао Цзыян давал не только пшеницу, он показывал, каким станет Китай к 2000 году, если планы Дэн Сяопина осуществятся.

Революция Дэна

Лишь человек, живущий в глухой китайской деревне, может оценить весь размах революции, осуществленной Дэном на селе, где жило 80% населения страны.

Этот переворот очень мало походил на потрясения, производимые председателем Мао, когда Красная Армия устраивала нашествие с выкрикиванием лозунгов, распеванием песен, самосудом над помещиками. Из передачи помещичьей земли крестьянам устраивали целое представление.

Дэн произвел свою революцию на полях, где росли рис и пшеница. Тихо, без гонгов и песнопений, без принудительных митингов на деревенской площади.

Мао помог крестьянам отобрать у богачей землю, а затем снова отнял ее

и передал коммунам. Сначала он накормил крестьян рисом, потом устроил в стране страшный голод.

Дэн вернул землю труженикам, упразднил коммуны и вновь наполнил пустые миски рисом. У крестьян в карманах зашелестели банкноты, заработанные собственными руками. С бараками было покончено; никакой уравниловки. Никакого труда «синих муравьев» — коммунаров.

Теперь крестьянин сам зарабатывал деньги и сам их тратил (нередко на азартные игры, роскошные свадьбы и похороны). По атрофированным артериям китайской экономики хлынул приток наличных денег. Дэн не мешал крестьянам делить между собой землю по своему разумению и выращивать то, что им нравится. Правительственные органы заключали договора на поставку главных зерновых — риса и пшеницы. В остальном производители были свободны. Они могли выращивать редкие виды продукции и продавать их на рынке по установленной ими цене. Могли нанимать помощников — восемь, десять, даже больше. Могли брать землю соседа в аренду. Могли затеять небольшое производство: столярную или гончарную мастерскую, лесопилку, бойню; покупать грузовики и автобусы — одним словом, заниматься любым видом предпринимательства. Китайская деревня стала процветать, впервые за всю историю — причем отнюдь не в эпоху правления могущественной династии и не под покровительством богатых феодалов.

Когда «Великий поход» в 1934 году достиг провинции Гуйчжоу, ни одна крестьянка не вышла навстречу армии — у них не осталось ни платьев, ни просто даже куска ткани. Семья из десяти человек владела одной парой штанов, которые все надевали по очереди. Лишь в густом тумане, скрывавшем наготу, осмеливались женщины покидать свои жилища. На двенадцатилетие девочки получали в подарок веревку и лоскут. Все, даже дети, курили опиум. К двадцати одному году женщины, как правило, умирали от чахотки, бесконечных родов или наркомании.

Во времена Мао Гуйчжоу почти не изменилась. Председатель Мао не тратил средств на строительство дорог — все деньги шли на «Третью линию», на железнодорожный транспорт, на оборону. Крестьянам доводилось ездить по железным дорогам председателя Мао разве что в вагонах для скотины, когда их возили на рабский труд в горы, где располагались секретные заводы. К перевалам приходилось карабкаться через крутые скалы, по узким тропам. На базар гуйчжоусцы ходили тоже по бездорожью — таскали свиней на шестах, гусей в мешках.

Поток дэновых денег все это изменил, причем без болтовни, пропаганды и лозунгов. Время истеричных кампаний кончилось; больше никаких «образцовых ферм», «образцовых фабрик», «образцовых солдат, рабочих, крестьян», никто не заставлял «учиться у передовиков»; командной экономики не стало, и «социалистического соревнования» тоже.

Изменив жизнь крестьян, Дэн перевернул всю страну. Когда Мао Цзэдун устроил в Жуйцзине свою «Красную столицу», провинция Цзянси была такой же отсталой, как Гуйчжоу. Вся торговля концентрировалась на реке Ганьцзян и шла лишь в направлении север — юг, так как дорог попросту не было. Горы рассекали территорию провинции непроходимыми хребтами, деревни терялись среди джунглей. Дэн построил дороги, и люди зашевелились. Прямо на обочинах шоссе открылись базары, где продавали продукцию ручного труда: мебель, пуховые перины и подушки, инструменты, вышивку, сандалии, а также дыни, тыквы, огурцы, помидоры.

Вдоль магистралей теперь все время шло строительство новых домов, причем не дощатых лачуг с дырой в крыше вместо трубы, а двухэтажных кирпичных коттеджей, почти столь же внушительных, как дореволюционные помещичьи усадьбы. В каждой деревеньке завелся кирпичный цех — строительный бум требовал материалов. При этом все строительство было исключительно частным, правительство коттеджей не строило. Люди пользовались помощью соседей либо нанимали каменщиков и плотников. Иногда местный банк давал ссуду.

На всем шестисотмильном протяжении шоссейных дорог провинции в 1984 году не было ни единого места, где не велось бы жилищное строительство. В деревнях и городах ежедневно работали ярмарки, на которые со всей округи стягивались продавцы и покупатели. Торговля шла так бойко, что мне лишь с огромным трудом удавалось проехать на джипе меж гор одежды, обуви, дешевых абажуров, шляп, зонтиков, чайников, термосов, лекарств, птицы, пачек с женьшенем, поросят, бле-

ющих овец. Мир не видел ничего подобного, должно быть, со времен чосеровской Англии. В самой последней горной деревушке товара было больше, чем при Мао на главной торговой улице Пекина.

Правда, новые дороги качеством не отличались. Их постоянно приходилось расширять и продлевать. Они вечно были забиты транспортом, прежде всего грузовиками, за рулем которых сидели еще неопытные водители. В результате на каждом крутом повороте можно было видеть следы аварий: обломки, перевернутые легковушки. Иной раз всего за час езды я видел не меньше дюжины такого рода происшествий. То и дело случались крупные аварии, вызывавшие многомильные пробки на шоссе.

Революция Дэна пришла в китайские провинции не одновременно и на разный манер. Я расскажу о деревне Лю Линь («Ивовая роща»), которая находилась в коммунистической зоне с самого начала гражданской войны.

Деревня расположена на великой лёссовой равнине в нескольких милях к северу от Янани. Когда красноармейцы Мао пришли сюда в 1936 году, Лю Линь была маленьким нищим поселком, продуваемым всеми ветрами и страдавшим от бесконечных эпидемий.

Со временем компартия начала пропагандистскую работу среди крестьян провинции. Лю Линь, как и многие окрестные деревни, превратилась в опытную станцию для экспериментов Мао. Сами коммунисты, поселившиеся в пещерах Янани, жили тогда ненамного лучше крестьян в их землянках. Не хватало воды. То и дело случались засухи. Летом пекло немилосердное солнце, зимой одолевала стужа.

В 1936 году через деревню проехал американский журналист Эдгар Сноу. Он увидел там «очень мало деревьев и следы постоянной засухи, ненадолго прерывавшейся летними наводнениями и зимними снегопадами. Правда, сухой климат полезен для здоровья,— писал журналист.— Лишь этим можно объяснить то, что местные жители как-то умудряются выживать в своих землянках».

Поначалу люди Мао не трогали крестьян деревни. Не было разговоров ни о коммунах, ни о «диалектике», ни о «партийной линии». Коммунисты даже помогали сеять зерно и собирать урожай, политработники читали крестьянам газеты (население почти поголовно было неграмотным), учили детей читать, писать, считать. Речь шла вначале лишь о том, что вместе работать эффективнее. Крестьянам люди Мао нравились.

Через эти места нередко проезжали иностранцы. В 1960 году здесь вновь побывал Эдгар Сноу. Лю Линь превратилась в большую коммуну, включавшую двадцать четыре кооператива, где тысяча шестьсот семей (две тысячи шестьсот взрослых коммунаров) обрабатывали пять тысяч акров земли. Ян Мирдал, шведский социолог и журналист, тоже посетил Лю Линь. В разгар «Большого скачка» деревня получила название Красная коммуна «Свет Востока».

Все выкрутасы партийной политики находили здесь свой отклик. Судьба деревне выпала нелегкая. В 1988 году я беседовал с шестидесятичетырехлетним Фэн Чанъи, работавшим (с некоторыми перерывами) директором коммуны с 1948 года. Мы уже встречались с этим человеком в 1972 году. С тех пор медлительный, немногословный крестьянин почти не изменился, разве что ссутулился. То же бурое, обожженное ветрами лицо, та же сила воли. Говорил он, как и прежде, без особого оптимизма, но и без уныния. Он все видел на своем веку, побывал и «правым», и «кулаком», и «сторонником Лю Шаоци». Его не раз прогоняли с должности, но Фэн всякий раз возвращался. Во время «Четырех чисток» 1964 года три месяца его «перевоспитывали». Во время «культурной революции» — снова, целый год. Но «перевоспитание» шло по вечерам, а утром Фэн отправлялся на поля руководить работами. Его водили по селу с дурацким колпаком на голове, вешали на шею плакат, обзывали, но почти не били.

«Четыре раза я строил здесь все заново,— рассказывал мне Фэн в 1988 году.— Партия в очередной раз меняла линию, и приходилось начинать с нуля».

Лю Линь так и не стала образцовой коммуной. Урожайность была низкой, хоть понемногу и увеличивалась. Выпадали и совсем плохие годы, особенно 1959—1962, когда «Большой скачок» и долгая засуха чуть не довели крестьян до голодной смерти.

В разгар «культурной революции» тысячи хунвэйбинов, совершавших палом-

ничество в Янань, проследовали через Лю Линь. Крестьяне давали им пищу и ночлег, но хунвэйбины им не понравились — без конца ссорились и дрались. «Даже председатель Мао не одобряет драк,— увещевал их Фэн.— Если у вас чешутся кулаки, идите служить в армию». Фэн не считает, что «культурная революция» — самое тяжелое в его жизни, он видывал времена и похуже. Его односельчане говорили то же самое. Возможно, жизнь в непосредственной близости от Янани и председателя Мао заставила их смотреть на хунвэйбинов по-своему. Кое-кто из местных лично беседовал с вождями и чувствовал себя чуть ли не родней «великих». А хунвэйбины были молокососами, выскочками. Наглые юнцы не произвели на деревенских особого впечатления.

Крестьянам Лю Линь удалось заметно повысить производительность труда. В 1948 году доход семьи составлял 80 юаней в год, в 1972 году — 120 юаней, в 1980 году — 300 юаней, к 1987 году он достиг 450 юаней.

Местные жители не торопились распускать коммуну и вводить семейный подряд. Его стали здесь внедрять, да и то частично, лишь в 1981—1982 годах. А землю крестьянам раздали только в 1984 году.

Фэн не слишком вразумительно объяснил мне причину такой медлительности. Лю Линь не единственная деревня провинции Шэньси, где произошла подобная задержка. Здешнее руководство было беззаветно предано идеям Мао и противилось всем переменам, в том числе новой программе Дэн Сяопина. С середины восьмидесятых эта провинция считается в Китае одной из самых отсталых. А Янань даже здесь слывет оплотом маоистского бюрократизма и командного стиля управления.

Фэн давно привык к вечным зигзагам руководства, но затея Дэна в конце семидесятых ему не понравилась. Возникало множество проблем. Раньше все зарабатывали поровну, царила уравнительная система. Теперь все менялось. Возникла большая разница в доходах. Появились бедные и богатые. Лю Линь так называемыми «миллионерами» (преуспевающими фермерами, которыми очень гордится режим Дэна) похвастать не могла. Лишь одна семья зарабатывала больше 100 000 юаней, и еще несколько — от 10 000 до 20 000. По понятиям местных, это фантастические суммы. Зато вместе с «новыми богатыми» появились и «новые бедные», чей годовой доход не превышает 200 юаней.

Фэна беспокоило такое социальное неравенство, а у остальных оно вызывало злобу. Вовсю свирепствовала «красноглазая болезнь» — зависть. Удачливые предприниматели мало кому нравились — слишком уж глубоко укоренилась уравнительная психология. Далеко не все хотели и могли сражаться за место под солнцем. Многие не сумели воспользоваться новыми возможностями стать богаче. Такие люди предпочитают разносолам «железную миску риса», гарантированную каждому, как в старые времена. Пусть это было немного, зато наверняка. Да и работать в маоистской коммуне приходилось не так уж много.

С другой стороны, рассуждает Фэн, людям толковым и деловитым теперь раздолье — они воспользовались шансом зарабатывать больше. Хуже приходится старикам и тем, кто не умеет или не хочет надрываться. А молодые вкалывать не очень-то любят. Им больше по сердцу «общий котел» и все та же «железная миска риса».

Поэтому молодежь потянулась из села прочь. Кто подался в торговлю, кто в шоферы, кто занялся еще каким-нибудь ремеслом, о котором в Лю Линь раньше и слыхом не слыхивали. Криво улыбнувшись, Фэн заметил, что при общем росте доходов прибыль крестьян от собственно земледельческого труда отнюдь не увеличивается. Все больше пашен остаются необработанными, а люди с рвением устремляются к иным сферам деятельности. Многие сельчане предпочитают сдавать свои участки соседям в аренду. А то и просто махнули на землю рукой.

Все в деревне Лю Линь изменилось. Когда я был здесь в 1972 году, у коммуны не имелось ни единого грузовика. Автомобиль считался символом капитализма. Был один трактор, к нему — крошечная ремонтная мастерская и еще маленькая электромельница.

В 1988 году здесь было четыре грузовика, шесть тракторов, пять комбайнов и шесть бульдозеров — причем все в частных руках. Владельцы грузовиков богатеют очень быстро. Они покупают армейские машины у государства по 40 тысяч юаней. Затраты окупаются за два года. Все дороги буквально забиты бывшими

военными грузовиками. Существуют целые транспортные сети, расписание перевозок. Можно переправить грузы по всему Китаю. Автомобильные перевозки превратились в большой бизнес. Трактора по большей части используются не для обработки полей, а для транспортировки тяжелых грузов. Часто можно увидеть целый поезд: впереди трактор, за ним несколько прицепов.

В 1972 году жители Лю Линь посадили на склоне горы яблоневый сад. Воду для поливки приходилось таскать вручную, ведрами. Деревня очень гордилась своими яблонями. Построили специальный амбар, чтобы хранить урожай до зимы, когда спрос и цена выше. Одновременно коммунары строили новые глинобитные лачуги — глину на крышах утаптывали ногами. Я не видел тогда, чтобы кто-то сидел без дела. Деревня строила свое будущее.

Через шестнадцать лет атмосфера стала иной. Крестьяне лениво сидели возле своих лачуг, выстроенных в семьдесят втором, и грелись на солнце в неизменных синих куртках, покуривали, болтали или просто смотрели по сторонам. В гору ведра никто больше не таскал — установили насосно-поливочную систему, обошедшуюся в триста тысяч юаней. Но она бездействовала. Сад уже состарился, урожайность снизилась; а посадить новые деревья никто не удосужился. Роскошный амбар пустовал. «Все равно яблок мало»,— сказал Фэн.

Он не ждет от будущего ничего особенно хорошего. Лю Линь умирает, став жертвой успеха реформ. Здесь уже не может быть ни коммуны, ни кооператива. Скоро прогресс не оставит от деревни и следа. Город Янань подобрался вплотную: горожане раскупают участки, строят дома. Муниципалитет планирует застроить поля заводами и многоэтажками. От Лю Линь и так уж мало что осталось.

Крестьяне почти забросили земледелие. Самые шустрые занялись бизнесом. Например, семья Му Шена открыла дело по производству лесоматериалов. Му Шен нанял троих рабочих, покупает у фермеров и муниципалитетов, вырубающих леса под строительство, древесину. Его жена еще немного крестьянствует. У семьи пять акров земли, занятых под кормовую кукурузу для собственного свинарника. Дела у новоявленного предпринимателя идут хорошо, но на будущее родной деревни ему наплевать. Им с женой едва за тридцать, для них Китай Дэн Сяопина — надежда на хорошее завтра. А разрушающуюся деревню им совсем не жаль.

В Лю Линь мало что осталось от былого духа коллективизма. Никого, судя по всему, не заботит чрезмерный рост населения. Все давно забыли лозунг «Одна семья — один ребенок». У самого Фэна пятеро детей и уже восемь внуков. Самое многочисленное из деревенских семейств насчитывает тридцать семь душ. Последняя попытка восстановить контроль над рождаемостью была предпринята в 1983—1984 годах. За рождение второго ребенка назначили штраф в 100 юаней, третьего — 200, четвертого — 300. Половина женщин в районе бесплатно получила спирали. Но никто не воспринял эти установления всерьез. А штраф люди просто отказывались платить.

Фэн считает, что раньше все были куда дисциплинированнее, даже самые бедные. «Теперь люди забогатели, ими стало трудно управлять. Еды им надо все больше. Подавай им все самое лучшее. А работать не хотят. Мы стали богаче, но сельсовет уже не имеет никакой власти. Нет экономических рычагов, как будешь без них воздействовать на людей? А деньги теперь у всех водятся».

По мнению Фэна, с тех пор как крестьяне получили право самим решать свою судьбу, они стали чаще ссориться и распускать руки. Возродились всякие суеверия, феодальные пережитки. Если крестьянам что-то не нравится, они ругаются и бросаются на виновников, будь те хоть партработниками, с кулаками.

Овладеть ситуацией уже невозможно, считает Фэн. Это естественный процесс отмирания старого и рождения нового. Только руководство страны могло бы на него как-то воздействовать. Да, люди стали богаче, но деньгами решаются не все проблемы.

Над Лю Линь нависло ожидание конца века. Опускается некий занавес. Скоро отсюда проведут железную дорогу, на которую так рассчитывают горожане. Через пару лет она свяжет Янань и Лю Линь с угольными шахтами Севера и пойдет дальше, во Внутреннюю Монголию. Период изоляции закончится. Но железную дорогу здесь не считают спасительницей и провозвестницей грядущего

благосостояния. Она будет означать конец для деревни. Уже строится станция. Когда ее введут в эксплуатацию, Лю Линь прекратит свое существование.

Никто из местных, даже Фэн, не пробовал протестовать. Чему суждено случиться, того не миновать. Некоторые полагают, что ничего страшного не произойдет. Можно будет переехать в городскую квартиру и продолжать заниматься своим делом — плотничать или работать на лесопилке. А молодежь все равно уезжает в город. Раз уж в самом Пекине решили, что деревне Лю Линь больше не быть, куда крестьянам спорить с начальством? И ни один человек не задумывается над тем, что с лица земли исчезает не просто деревня, а последние следы великого эксперимента председателя Мао.

«Не чини то, что не сломано»

На всем широком панно революции Дэна не было сюжета более яркого и впечатляющего, чем история деревни Доудянь в районе Фаншань, на юго-западной окраине столичного округа, в пятидесяти милях от Пекина.

В этой общине, когда я побывал там в 1988 году, жили тысяча двести семей (четыре тысячи четыреста человек). В Доудянь без конца тянулись посетители, потому что успехи этой деревни в годы правления Дэна были поистине поразительны. Конечно, паломничества, подобного посещению «революционных мест» во времена Мао, не было, но для новой эпохи такое стечение приезжих являлось чем-то исключительным. Бо Ибо, член Постоянного комитета Политбюро, оставил общине на память свиток с собственноручной каллиграфической надписью. Бывший министр иностранных дел Хуан Хуа побывал здесь не один, а несколько раз, как и Ван Жэньчжун, влиятельный член ЦК. О руководителях пекинского округа и говорить нечего. Много гостей из-за рубежа: в 1985 году из сорока семи стран, в 1987-м — из пятидесяти одной.

В их числе был Вильям Хинтон, американский специалист по фермерскому хозяйству, проживший почти всю свою жизнь в Китае. Этот квакер из центральной Пенсильвании работал с китайскими крестьянами еще с самого начала эпохи Мао, а во времена Дэна наведывается в КНР каждый год.

Хинтон знает район Фаншань как свои пять пальцев. Ему приходилось сотрудничать со всеми руководителями общины, помогать им советами (к которым те не всегда прислушивались). Хинтон считает, что эксперимент в Доудяне действительно впечатляет, только не нужно делать из деревни «памятник», образец для подражания.

Почвы здесь не самые плодородные — сухие, песчаные. Раньше здесь царила бедность. Не такая, как в Лю Линь, но все же местные жители едва сводили концы с концами. Крестьянин зарабатывал в год в среднем 125 юаней. После десятилетия реформ доход вырос до 1 100 юаней. Жизнь стала гораздо зажиточней. Деревня теперь считается одной из самых преуспевающих во всей стране. Руководитель общины Чжан Чжулян говорит, что произошло настоящее чудо. В домах цветные телевизоры, стиральные машины, мягкая мебель, настенные часы, швейные машинки — «все, как у городских». В каждой четвертой семье газогенераторная установка на биосырье.

Все эти достижения, по мнению местного руководства,— плоды революции Дэна. Но при этом коммуна здесь так и не была распущена. Коллективный труд сохранился, как и долевой принцип деления прибыли. Процветание пришло сюда благодаря усовершенствованию технологии, капиталовложениям, механизации. Важную роль сыграли и новые формы хозяйствования, напрямую не связанные с земледелием. Община создала мощный животноводческий комплекс, насчитывавший ко времени моего приезда двадцать восемь филиалов, в большинстве своем промышленных. Все больше рабочих приходит на производство со стороны, по найму.

Самое крупное хозяйство — откормочное, где откармливают скот, привозимый из Внутренней Монголии для последующей продажи на рынке. В 1988 году была забита, заморожена и отправлена в Пекин тридцать одна тысяча голов. Говядина — высшей категории, ее поставляют и китайской авиакомпании «Чайна эйр», и в Великий народный дворец, и во многие отели, прежде завозившие мясо из

Гонконга. Кроме крупного рогатого скота, коммуна откармливала две с половиной тысячи овец и две тысячи шестьсот свиней. Через год поставки свинины в отели столицы должны были достичь уровня пяти тысяч туш в год. На птицеферме держали 49 000 кур. Велось строительство молокозавода для крупного пищевого комбината в Яншани. Было в деревне и прудовое хозяйство — для снабжения местных жителей свежей рыбой.

Ключом к успеху стала близость деревни к Пекину. Удобные коммуникации и покровительство больших людей открыли общине дорогу в самые фешенебельные кварталы столицы, дорогие гостиницы, Великий народный дворец, партийные учреждения, где работают многие тысячи людей.

Традиционные формы хозяйствования были пересмотрены, чтобы приспособить их к нуждам животноводческого комплекса. По рекомендации Хинтона теперь собирают не три урожая зерновых в год, а два, но зато более обильных. Озимые сеют осенью и собирают в середине июня. Второй урожай созревает к концу сентября.

Коммуна превратилась в целый производственный концерн. Тут и текстильная фабрика, экспортирующая продукцию в восемь стран, и эмалевый завод, предприятие по производству кирпича и черепицы, строительный трест с восемью сотнями рабочих, которые выполняют заказы по всей области.

Деревня Доудянь показала себя энергичной, прибыльной и предприимчивой общиной. Производственный процесс здесь почти полностью механизирован. Сеют на тракторах, собирают урожай комбайнами. Если в 1977 году коммуна продала государству 500 тысяч тонн зерна, то десять лет спустя — уже 1,8 миллиона тонн. Здесь самый большой парк сельскохозяйственных машин во всей области, причем трактора никогда не простаивают: если не заняты на полях, то перевозят людей и грузы. В 1977 году 1200 человек работали в поле и 102 сидели в конторах. Через десятилетие на поля выходило 160 крестьян, а управление состояло всего из 14 человек.

Деревню Доудянь рекламировали как выдающийся пример успеха реформ. Но земля при этом так и не была передана в собственность крестьянам. Семейный подряд тут не применялся. Доудянь осталась коллективным хозяйством, как во времена Мао. Менеджеры говорят, что они «позволили» крестьянам сохранить старую систему. По их убеждению, никто не хотел перемен — всем и в коммуне жилось неплохо, спасибо «сильному руководству». Всех устраивало «совместное процветание».

Команда Дэн Сяопина возражать не стала, и это было очень похоже на нового вождя. Он не брал на себя роль надсмотрщика, как Мао, и не верил в мелочную опеку. Дэн всегда следовал старой поговорке: «Не чини то, что не сломано». Если деревня благоденствует и поставляет продукцию, какая разница, что она собой представляет — коммуну ли, объединение ли частных хозяев? Пожалуй, Доудянь можно назвать символом дэновской деидеологизации.

Плохие времена, времена «общего котла» кончились, заявили партийные вожди. Это раньше все были «синими муравьями», одинаково работавшими и получавшими одинаковую плату. Отныне платить будут по труду.

Не случайно уцелевшую коммуну взяли под свое крыло консерваторы типа Бо Ибо, Хуан Хуа и Ван Жэньчжуня. Они очень помогли деревне: используя свои связи (важный элемент в китайском обществе), обеспечили выгодные контракты с отелями и партийными учреждениями. Затем повсюду демонстрировали достижения коммуны, якобы прославляя успехи реформ, а на самом деле подчеркивая, что прогресс достигнут без всяких дэновских нововведений, не вызывавших у консерваторов одобрения.

При всей своей близости к столице жители деревни живут почти в изоляции, так что рассказать о своих проблемах им не так-то просто. Электричка в Доудянь не ходит, автобус тоже. Изредка коммунаров вывозят на грузовиках в Пекин, на короткую поощрительную экскурсию. Рейсовый автобус сюда пускать не собираются. «А что крестьянину делать в Пекине?» — искренне удивился один чиновник в ответ на мой вопрос.

Коммунары по большей части заняты в животноводстве или на неаграрных производствах, поэтому, хоть их доход и возрос, они утратили интерес к земле.

Слишком увлеченные работой на ферме, в цехе или в торговле, они не требуют дележа участков. Кроме того, коллективное владение полями, по мнению Хинтона, позволяет эффективнее использовать трактора и комбайны — да маленьким хозяйствам такая техника была бы и не по карману.

Однако в гигантомании содержится и опасность. Хинтона тревожит все возрастающий размах хозяйственной деятельности коммуны. Земледелию отводится все меньшая и меньшая роль. Производство мяса, которым увлеклись сейчас многие преуспевающие фермы, неминуемо приведет к изменению диеты китайцев, к повышению в ней доли протеина. Традиционный китайский хлеб вытесняется гамбургерами, которые стоят дороже и требуют больше удобрений, трудовых затрат, производственных площадей.

Беспокоит Хинтона также система обработки земли. Теперь в коммуне поля орошаются дорогостоящей трубопроводной системой. При этом нарушается водный баланс и естественный состав почвы. Прежняя практика рытья оросительных каналов, строительства плотин и плужной пахоты была гораздо здоровее. Это та пока не бросающаяся в глаза цена, которой придется расплачиваться за новшества. «Бесплатно ничего не бывает»,— предупреждает Хинтон своих китайских коллег.

Недальновидное управление подчас приносит катастрофические результаты. Одна предприимчивая ферма из Внутренней Монголии занималась доставкой скота в столичный округ для откормки. Но однажды местные власти вдруг взяли и обложили «экспорт» скота из Внутренней Монголии грабительским налогом. Ферма разорилась в одночасье, а стада подохли с голоду, не способные прокормиться на местных пастбищах.

Это, конечно, крайний пример. Но он дает представление о том, насколько несогласованны и разобщены действия провинциальных властей в Китае — ни Мао, ни реформы Дэна ничего не смогли здесь переменить. Каждая провинция привыкла считать себя суверенным государством, чему способствовала всегдашняя необходимость самостоятельно обеспечивать себя продовольствием и сырьем. Нередко перевозка товаров через границы провинции сопровождается переговорами не менее сложными, чем при экспортно-импортной операции. Например, край, богатый углем, поставляет это сырье в первую очередь местным предприятиям, очень мало заботясь об индустриальных гигантах, находящихся в иных регионах. Сначала провинция полностью удовлетворит потребность своего населения в зерне и лишь потом продаст остатки соседям. Если в определенные периоды и проводилось административное перераспределение продукции, всякий раз этим занималось центральное правительство. Одним словом, некая помесь местничества с принципом суверенитета, некогда провозглашенным первыми тринадцатью штатами Америки в меморандуме о конфедерации, который впоследствии был заменен конституцией США. У Китая конституция есть давно. Этой страной правили два могущественных лидера, Мао Цзэдун и Дэн Сяопин, но им так и не удалось решить проблему отношений с провинциями.

Главным приоритетом революции Дэна было извлечение прибылей. Эта политика привела к истощению земель, что ускорило эрозию, постепенно превращающую пашни северного и северо-западного Китая в пустыню.

Партийных работников совершенно не смутило то обстоятельство, что в деревне Доудянь обойдены основные положения реформы — раздача земли крестьянам и роспуск коммуны. Времена жесткого идеологического диктата кончились. Реформа шла лоскутным методом: в одном месте рывок вперед, потом в другом. Дэн Сяопин сразу дал понять, что детали его не интересуют. Ему были нужны не лозунги, а результаты.

Доудянь — весьма удачный пример тактики Дэна, соединение фермерства с малой индустрией. Но в этом начинании таится и некоторая опасность. Погоня за повышением производительности и за деньгами изменила облик китайской деревни. Во всех сельских местностях, расположенных вблизи больших городов, можно увидеть совершенно однотипную картину: это странная смесь фабрики и фермы, причем никто не задумывается о последствиях такого союза.

Результат уже сегодня можно наблюдать в деревне Гуци, расположенной всего в нескольких милях от Доудяни. Гуци находится возле дамбы водохранилища Нюкоуюй, построенного с целью снабжения водой близлежащих хозяйств. В течение

двух десятков лет пищевой комбинат сливал сюда свои отходы, не заботясь о том, что тем самым отравляет и местных жителей, и поля. Крестьяне забеспокоились лишь тогда, когда началась эпидемия легочных и кожных заболеваний. От водохранилища стало исходить зловоние. Зерно на полях начало гибнуть.

Комбинат заказал за границей очистное оборудование, но прежде чем оно прибыло, разразился кризис. Это произошло в июне 1988 года. Затяжные ливни подняли уровень воды в водохранилище, и, чтобы избежать прорыва дамбы, пришлось открыть шлюзы, ведущие в ирригационные каналы.

Тогда тысячи крестьян, испуганных угрозой урожаю, подняли шум — это был первый в истории Китая экологический бунт. На демонстрантов напала местная полиция. С обеих сторон были десятки избитых и покалеченных. Ходили слухи, что многие крестьяне от побоев скончались. Рассказывали, что одного десятилетнего мальчика забили дубинками и швырнули в канал, так что труп обнаружили лишь много времени спустя.

Были арестованные. Но когда полиция восстановила порядок, отравленную воду спустили, а крестьянам обещали компенсировать потери.

Этот экологический мятеж — знамение времени. Революция Дэна привела индустрию в китайское село. Крупные города: Пекин, Шанхай, Чунцин, Ухань, Чэнду, Нанкин — заняли своими промышленными зонами огромные куски сельской местности.

Дэн сознательно стремился к тому, чтобы подобные агропромышленные районы находились под контролем городских властей. Создавался новый тип мегалополиса. Советники Дэна верили, что это поможет решить множество практических проблем. Механизация и рационализация сельскохозяйственного труда привели к образованию целой армии безработных крестьян, которых можно было занять на мелких фабриках и заводах, появившихся повсюду, где местные власти были поэнергичнее. Процесс индустриализации неминуемо привел и к изменению жизни горожан. В промышленные центры хлынул поток людей, что сказалось на системе распределения продовольствия. Многие крестьяне часть времени работают в поле, часть — на конвейере. С одной стороны, налаживание транспортного сообщения с пригородами несколько разгрузило центры городов. С другой — вокруг городов сконцентрировались огромные массы вчерашних деревенских жителей, попавших под юрисдикцию муниципалитетов. Теперь городские власти могут активнее вести демографическую политику. Крестьян, живущих в пригородах, оказалось проще отучить заводить кучу детей (в Китае издавна считалось, что множество сыновей — гарантия спокойной и счастливой жизни). Легче теперь решать проблемы контроля над рождаемостью, здравоохранения, образования и политической пропаганды.

Так, типично по-дэновски, предполагалось залечить многие давние болячки Китая. Но, увы, как всякое лекарство, это дало свои побочные эффекты. Сократилось производство базовых зерновых, которое требует больших затрат труда и дает низкую прибыль. Зато расцвели садово-огородное хозяйство, сельская промышленность, специализированное фермерство. Все это дает прибыль в десять раз более высокую, чем традиционный крестьянский труд.

Погоня за высокими доходами — плод реформ Дэна — привела к обострению давней проблемы снабжения населения основными продуктами питания. А богатеющие день ото дня фермеры охотно заводят большие семьи, и сельское население растет.

Таким образом, в деревне контроль над рождаемостью не срабатывает, а производство зерна вытесняется более прибыльными видами деятельности — скотоводством и мелкой индустрией. В результате Дэн Сяопину пришлось вскоре закупать значительное количество зерна за границей, тратя на это валюту, столь необходимую для приобретения передовой технологии. Возникла тревожная цепная реакция. И в десятилетие интенсивного хода дэновской реформы (1978—1988) так и не нашли средства ее остановить.

Рекордный урожай зерна (400 миллионов тонн) был собран в 1984 году. С тех пор производство постоянно сокращается. По мнению Вильяма Хинтона, неспособность сельского хозяйства достичь заветного четырехсотмиллионного уровня — свидетельство тому, что десятилетнее правление Дэн Сяопина, как и предыдущий режим Мао, оказалось не в силах решить продовольственную проблему. При Дэне

Китай полагается на дорогостоящий импорт. Еще опаснее то, что прирост населения опережает производство продовольствия. Каждый год урожай зерна оказывается меньше, чем предполагалось. Зато темпы рождаемости побивают все прогнозы. Вряд ли в ближайшие годы это несоответствие достигнет критической точки, но такая ситуация наверняка останется главной тревогой Китая в последнем десятилетии двадцатого века и начале двадцать первого. Первоклассным специалистам из команды Дэна так и не удалось найти способ преодоления этого кризиса.

Форма будущего

Крепкий, большой, уверенный в себе человек, которого 153 тысячи его рабочих называли Командиром, в 1988 году управлял песчаным княжеством в устье Хуанхэ, Желтой реки. Его имя Чжу Вэнькэ, и он не сомневался, что нефтяное месторождение Шэнли — маяк на пути Китая в XXI век.

Рабочие Чжу не случайно звали его Командиром. Он выглядел и действовал как генерал хорошо обученной армии, кем в некотором смысле и являлся. Чжу — плод революции Дэна, как и месторождение Шэнли, хотя последнее ведет начало с 1965 года — самого кануна «культурной революции».

В 1988 году корпорация Чжу занимала около 18 тысяч кв. миль. Ей принадлежало то, что эксперты Чжу считали самым крупным месторождением нефти в Китае. Ожидалось, что в 1990 году оно даст 38 миллионов тонн и быстро обгонит Дацин, долгое время являвшийся главным месторождением Китая. Ценой невероятных усилий в Дацине все еще добывалось 50 миллионов тонн в год, но уровень добычи падал. К концу века, считал Чжу, Шэнли будет давать половину китайской нефти.

Слово «шэнли» значит «победа». Это название деревни возле Желтой реки, где было выиграно сражение с японскими захватчиками. Чжу и его помощники об этом не вспоминали, но были убеждены, что Шэнли впишет свое имя в историю революции Дэна.

Шэнли было не просто нефтяным месторождением, а самостоятельным экономическим организмом, производившим продукты питания на собственной ферме в 30 тысяч акров, которую обслуживали семьи рабочих. На ферме содержались большие стада крупного рогатого скота и овец, выращивались цыплята, утки и гуси, а в прудах разводилось столько рыбы, что ее излишек продавали местной общине.

Обширные рисовые плантации засевались и обрабатывались с помощью новейшей техники из Японии не потому, что не хватало рабочих рук: Чжу предназначал своих работников для других, более квалифицированных занятий.

Вклад Шэнли в будущее впечатлял. В его лабораториях трудилось 4 тысячи ученых и специалистов. У Шэнли было 152 начальные школы на 22 тысячи учащихся и 8 высших учебных заведений, в том числе — университет на 3 тысячи студентов. Шэнли — единственное место в Китае, где образование находилось на переднем плане. Большинство выпускников средних школ поступало в колледж, и почти все возвращались работать в Шэнли.

У Чжу был самый большой в Китае компьютер. С его помощью он управлял своими предприятиями и планировал действия. В 1988 году он собирался подключить к нему систему связи. В Шэнли не было проблем с работниками. Они приходили к Командиру из Пекина, Шанхая, Тяньцзина и Уханя. Инфляция и высокие цены не затрагивали Шэнли, поскольку оно само обеспечивало себя продовольствием. Бóльшая часть оборудования для Шэнли производилась лучшими китайскими заводами на заказ или специально ввозилась из-за рубежа. Проблем с иностранной валютой не существовало. Оборот Шэнли составляет 6 миллиардов долларов ежегодно. Нынешнее правительство получило около 177% прибыли по сравнению с капиталовложениями, составлявшими приблизительно 10,1 миллиарда долларов. Чжу привлек к работе множество иностранных специалистов и поддерживал тесную связь с компанией Дрессера в Техасе. Он был в курсе новейших достижений техники, ездил в Соединенные Штаты и другие нефтедобывающие страны. Он специально посетил Лонг-Бич в Калифорнии, где находилось нефтяное месторождение, по характеристикам очень похожее на Шэнли.

Идея единого гигантского комплекса устраивала как Дэна, так и Ли Пэна,

инженера, получившего образование в Советском Союзе и ставшего китайским премьером в 1987 году. Шэнли принадлежало правительству и им управлялось, но там использовались многие новшества Дэна: семейный подряд, материальные стимулы, конкуренция. Это годилось не для всякого предприятия, но в Шэнли срабатывало прекрасно.

На обширную территорию Шэнли не претендовал никто: бери и осваивай. В 1965 году, когда Чжу впервые увидел ее, она была бесплодной и почти необитаемой. На полях белели солончаки, а немногочисленное население пыталось добывать пропитание на неприветливой земле. Крестьяне в песнях так описывали смену времен года:

Белым-белы весной поля,
А летом высохнет земля.
Нет урожая, и зимой
Пойдем мы с нищенской сумой.

Место было холодное и неуютное. Рабочие вечно голодали и мерзли в своих неотапливаемых лачугах. Теперь же здесь собирали 50 тысяч тонн зерна в год. В 1988-м годовой заработок рабочего составлял 2 тысячи юаней (1 тысяча долларов), а семьи получали в среднем по 900 юаней (450 долларов) в год дополнительно — очень высокий доход по китайским меркам.

Желтая река, протекавшая возле Шэнли, строго контролировалась, и каждую весну выделялись армейские подразделения — следить, чтобы нигде не прорвало дамбы. Командир ничего не оставлял на волю случая. Он вел разработки на южном берегу реки, но построил через нее капитальный мост и готов был начать бурение скважин и на северном берегу, как только правительство даст сигнал.

Шэнли было солидным предприятием. Оно качало из Желтой реки воду для орошения и строило электростанцию мощностью 1,2 мегаватт для собственных нужд и для нефтеперерабатывающего завода, выделенного в самостоятельное производство. О размахе деятельности Чжу можно было судить по величине автомобильного парка, состоявшего из 15 тысяч единиц, в том числе, по его словам, «всего тысяча легковых автомашин», а все остальное — грузовики и фургоны. Лишь крупнейшие города Китая могли бы похвастаться более обширным автопарком.

Шэнли жило одной большой семьей. При приеме на работу преимущество отдавалось сыновьям, дочерям и родственникам служащих. В некотором смысле это была современная «железная миска риса», гарантировавшая экономическую и социальную защиту от колыбели до могилы. Шэнли имело любое оборудование, в котором нуждалось. Шэнли путешествовало первым классом. Только самое лучшее было для него достаточно хорошо. За всем этим наблюдал Командир с железной волей, выпускник Института иностранных языков в Сиане, специалист по русскому языку, самостоятельно изучивший основы нефтяного дела по русским учебникам.

Армия всегда помогала Шэнли. В начале 1960-х здесь вели предварительные разработки 3 тысячи из тех 10 тысяч солдат, которых в 1952 году Мао демобилизовал и направил на гражданские объекты.

В Шэнли мало говорилось о демократии. По существу, это была мягкая диктатура. В 1988 году Шэнли покровительствовали Чжао Цзыян, Ли Пэн и Чэнь Юнь, товарищ и соперник Дэна. Как хороший политик, Чжу не складывал все яйца в одну корзину.

В первые годы задача Чжу была не из легких. Чтобы наладить работу огромного нефтяного месторождения, потребовалось много сил и упорства. Более неподходящего времени для этого выбрать было нельзя. Через год после начала работы разразилась «культурная революция». Чжу сняли с должности и отправили на общественные работы. Ему повезло: двоих руководителей завода убили банды хунвэйбинов. Произошла настоящая схватка, правда, как вспоминает Чжу, обошлось без артиллерии. Но погибло более десятка рабочих, производительность упала. В 1966 году, когда началась «культурная революция», добыча нефти составляла 1,35 миллиона тонн, и только в 1970 году Шэнли вышло на расчетные 4,67 миллиона тонн. С этого времени добыча быстро росла.

Идеи «одной большой семьи» и увеличенной «железной миски риса» не принадлежали Дэну, хотя он признавал их живучесть на многих государственных предприятиях. «Семья» и «миска риса» были остатками психологии времен Мао, находившей сильный отклик у китайских крестьян. Но увеличившаяся «семья» таила в себе скрытые опасности. Она способствовала развитию присущей китайцам склонности к личным связям и непотизму.

Опасность концепции «большой семьи» самым драматическим образом продемонстрировал великий пожар в лесу Черного Дракона, в китайском районе реки Хейлунцзян (в Советском Союзе она называется Амур). Он начался в мае 1987 года и за несколько часов охватил почти треть лучших хвойных запасов Китая — самое крупное стихийное бедствие эпохи Дэна. Возможно, это была самая страшная экологическая катастрофа современности.

Пожар уничтожил самый ценный строевой лес в Китае, опустошив район размером почти с Новую Англию. Он сжег около 3,5 миллиона акров китайского леса и, вероятно, еще миллионов 15 на советской стороне Хейлунцзяна. Предположительно в результате погибло 52 миллиона кубических ярдов древесины и еще 20 миллионов было испорчено. Более поздняя проверка показала, что эти цифры занижены. Ущерб исчислялся приблизительно 5—6 миллиардами долларов. Потери имущества составили около 150 миллионов долларов, пожар унес 220 жизней и покалечил 250 человек.

Были и другие опасные последствия: из-за исчезновения лесного покрова ускорилось опустынивание на севере Китая; изменился климат в Китае и на тихоокеанском побережье, в том числе на западе Америки. Определить точный размер экологического ущерба трудно, так как советское правительство никогда не публиковало никаких сведений о размахе пожара на другом берегу реки Хейлунцзян.

Пожар был настолько обширен и опасен для населения и имущества, что большая часть двух китайских армий была брошена на помощь лесникам и мобилизованным горожанам для его ликвидации. Но лишь в начале июня после проливных дождей пламя наконец утихло. Это был самый большой пожар из отмеченных в Китае за 30 лет, раз в пять-шесть сильнее, чем Йеллоустонский пожар 1988 года в Америке.

Гибель леса нанесла тяжкий удар по программе Дэна. Ни одна большая страна не бедна запасами древесины так, как Китай, и ни одна не нуждается в них больше, учитывая напряженные планы индустриализации и жилищного строительства. Удар пришелся на самый критический момент. Китай и так уже вырубал слишком много леса, чтобы удовлетворить этим потребностям.

В Соединенных Штатах несчастье такого масштаба вызвало бы государственное расследование под руководством конгресса, анализ причин, оценку ущерба и разработку программы по предотвращению в дальнейшем подобных катастроф. Но не в Китае Дэна. Несмотря на важность этих вопросов — или, может быть, как раз поэтому,— не проводилось ничего похожего на расследование. Вместо этого состоялось обсуждение в узком кругу, при этом избегали затрагивать главные проблемы и сосредоточились на внешних событиях: невежественный лесоруб разлил бензин, бензин вспыхнул, и огонь перекинулся на лес; трое юнцов, что развели костер и не смогли потушить; курильщик, бросивший сигарету. Лесоруба и других незначительных лиц подвергли суровому наказанию. Министра лесного хозяйства сняли с должности, а нескольких чиновников, пытавшихся спастись от пожара со своими семьями на грузовиках и пожарных машинах, посадили в тюрьму.

Ни слова не было сказано о «семье» Черного Дракона, которая и являлась причиной беды,— о сообществе, подобном мафии, что заправляло в лесу, словно в собственных владениях, мало заботясь о безопасности, не имея понятия, как бороться с огнем. «Семья» была закрытой структурой. Посторонних могли принять на работу временно, на несколько недель, но лишь сыновья, дочери, близкие родственники служащих получали постоянное место. Эта «семья» родилась при основании лесного хозяйства в 1970-х годах. Она представляла собой один большой котел. Однажды попавший туда оставался в нем пожизненно, ничто не угрожало его положению. Это напоминало традиционный китайский клан. Человек рождался в клане, и это определяло всю его жизнь. В трудные времена не было ничего важнее.

Лесное хозяйство велось непродуктивно: его руководство занималось только своими собственными делами. Когда вспыхнул пожар, чиновники проявили почти

столько же энергии, чтобы избавиться от репортеров, сколько на саму борьбу с огнем. Они отключали телефонную связь, отказывали корреспондентам в номерах в гостиницах, не обслуживали их в ресторанах, не давали никакой информации.

Министерство лесного хозяйства являлось частью этой «семьи». Оно отделывалось отговорками по поводу пожара: все не так плохо, как кажется; пожар — вещь естественная; деревья восстановятся сами; печально, конечно, но такое случается; если бы не этот невежественный чужак, лесоруб, пожара бы не произошло; его следует расстрелять (до этого дело не дошло, но восемь лет тюрьмы он получил). Основной мотив — надо держать посторонних подальше. Самым страшным преступлением оказалось то, что этого человека приняли на работу. Мало кто говорил о недостатке бдительности, слабом руководстве и нехватке противопожарных средств. Не указывалось и на то, что в хозяйстве были настолько заняты увеличением выработки и повышением доходов, что пренебрегали элементарными мерами предосторожности: на лесосеках скапливались груды сухого валежника, в густых местах не прорубались противопожарные просеки, не использовались иностранная помощь и советы по пожарной охране, удобства рабочих ставились выше сохранности одной из крупнейших кладовых природных ресурсов Китая.

Рабочие хозяйства получали доплату за труд в тяжелых условиях. Их обеспечивали спецодеждой, овчинными тулупами на зиму, кожаной обувью (которой не купишь в магазинах) и другими предметами экипировки. У них были удобные дома, которые снабжались дровами, и большие садовые участки; они могли свободно собирать в лесу дорогостоящие грибы, охотиться, ставить силки, ловить рыбу. Они могли продавать свои лесные трофеи в Харбин или Пекин по высоким ценам. У них имелись свои школы и больницы. Работать в хозяйстве означало, как говорят русские, жить в медвежьем углу, но угол этот был весьма уютным, тихой гаванью. Хотя пожар и уничтожил лес, работа здесь всегда бы нашлась. Если бы стало нечего рубить на китайской стороне, рабочие могли бы (они так и поступали) наняться к русским по контракту и валить сибирские леса к северу от реки Хейлунцзян.

Руководство скрыло от общественности, что в хозяйстве почти отсутствовала система связи, не хватало специальной пожарной авиации, а система сторожевых вышек устарела. Людям, обнаружившим возгорание, нередко приходилось целый день бегать по лесным тропинкам в поисках телефона. Часто пожарные добирались в опасный район спустя неделю. Когда немцы и канадцы щедро предложили помочь техникой, помощь от них приняли, но в печати не появилось об этом ни строчки, чтобы китайцы не узнали, насколько непредусмотрительным оказалось руководство хозяйства.

Самый страшный ущерб, какой мог бы нанести пожар Черного Дракона его «семье»,— нарушить замкнутость этого «непроницаемого царства», как выразился бы Мао Цзэдун. Но беспокоиться не стоило. Ли Пэн, облетев весь район на вертолете, прислал дополнительные воинские части, и в конце концов пожар стих. В ответ на утверждения, что лес не восстановится и за двести лет, «семья» демонстрировала приглашенным чиновникам зеленую поросль, уже покрывшую обезображенные выжженные места. При этом умалчивалось, что это лишь подлесок, а коммерческий лес погиб.

Если даже Дэн или кто-нибудь из его окружения считал, что в «семье» что-то неладно, публично это не высказывалось и никаких существенных изменений предпринято не было. Лес по-прежнему оставался закрытой системой. Через пять лет все стихло и улеглось. Канада и Германия предоставили Китаю новое оборудование для обнаружения пожаров. После поразительной бюрократической волокиты кое-что из него было установлено. На несколько лет лес Черного Дракона был спасен от угрозы повторного уничтожения. Мысль о том, что проблемы остались, что непотизм, система теплых местечек, «один большой котел» и круговая порука имели отношение к трагедии, так и осталась непроизнесенной.

Некогда Шанхай считался оплотом китайской промышленности. К 1978 году этот город с 12,5-миллионным населением находился в ужасающем состоянии, только начиная оправляться от разрушительного лозунга «культурной революции»: «Делай революцию, а не продукцию». Городское руководство было с позором снято.

Дэн прислал туда новую команду в 1978 году. Одним из ее членов был Цзян

Цзэминь, которого позднее Дэн забрал в Пекин и сделал Генеральным секретарем КПК, сняв с этого поста Чжао Цзыяна после бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Другим — преемник Цзяна на посту мэра Шанхая, Чжу Жунцзи, живой, открытый человек, руководитель западного типа. В 1978 году ему было 50 лет, 35 лет он проработал в Госплане. Чжу был человек сдержанный, но если ему мешали, он вскипал от негодования.

Даже мэр Нью-Йорка Эдвард Кох не сталкивался с такими проблемами, говорил Чжу в 1988 году. Ему пришлось строить новый водопровод. Старый износился, и вода, поступавшая из Янцзы, загрязнялась. Город только начал приходить в себя после эпидемии гепатита А, поразившего 300 тысяч человек. Самой больной проблемой был транспорт: ежедневно два из восьми миллионов рабочих должны были дважды переправляться через реку Хуанпу. С уличным движением дело обстояло хуже, чем в Риме. Железнодорожные вокзалы и аэропорт устарели.

Мэр Чжу и секретарь Цзян не были обескуражены. Они затеяли самое крупное преобразование в Китае: создание совершенно нового промышленного города на восточном берегу Хуанпу — самой большой в Китае свободной экономической зоны. А Чжу решительно взялся за самую важную для Шанхая политическую проблему. Центральное правительство забирало в государственную казну 80% доходов Шанхая. Чжу добился сокращения этой цифры до 70%, пообещав увеличить ее, когда доходы города возрастут. Он договорился со Всемирным банком о займе в 3 миллиарда долларов на строительство метрополитена и жилых домов.

Весной 1989 года, когда Пекин потрясли события на площади Тяньаньмэнь, Чжу и Цзян сумели сохранить спокойствие в Шанхае — там не происходило никаких восстаний, не лилась кровь, не вводились войска и военное положение.

В конце зимы 1991 года Дэн Сяопин прибыл в Шанхай с большой делегацией, включавшей президента Ян Шанкуня и старейшего государственного деятеля Чэнь Юня, чтобы посмотреть на город и его руководство. Потом Дэн забрал Чжу в Пекин вице-премьером при Ли Пэне. Чжу пошел в гору. Он свободно говорил по-английски, носил деловые костюмы западного покроя, серые и темно-бордовые галстуки, его сын изучал метеорологию в Висконсинском университете. Чжу умело использовал тот стиль руководства, которому его обучили на экономическом факультете университета Цинхуа.

Как бы удивился Чан Кайши, если бы узнал, что Чунцин, его пришедшая в упадок столица на утесах Янцзы, в эпоху Дэна превратилась в крупнейший город Китая.

Во времена Чан Кайши Чунцин лежал в развалинах, сильно пострадав от налетов японской авиации, отрезанный от мира, не имея железнодорожного сообщения с Пекином и Шанхаем, с населением, увеличившимся до 1,8 миллиона человек за счет беженцев, и почти без надежд на будущее.

Стремительное развитие Чунцина вызвала идея Мао о «Третьей линии», и ответственным за это был именно Дэн. В 1950-х годах при Дэне Чунцин быстро разрастался. Развивалась оборонная промышленность, вокруг города в скалах возникли новые заводы. К северу от города, вдоль новой широкой трассы, проходившей возле Гуана, родного города Дэна, была заложена современная промышленная зона. Два внушительных моста построили через Янцзы, чтобы обеспечить доступ в район Сикоу, где имелись крупнейшие в Китае месторождения угля и известняка, залегавшие под рекой.

В 1988 году преображение Чунцина все еще продолжалось под руководством одного из энергичных заместителей Дэна, Сяо Яна, которому в 1991 году исполнился 61 год. Он рос в Чунцине во время войны, мэром стал в 1984 году и сразу же начал кампанию реформы. Чунцин при мэре Сяо Яне стал пробной моделью китайского города будущего — концепции Дэна. Население города в 1988 году насчитывало свыше 14 миллионов, увеличившись более чем вдвое (с 7 миллионов) после присоединения сельских районов — самый быстрый рост в Китае. Ожидается, что к 2000 году оно достигнет 20 миллионов.

Пребывание Сяо Яна в должности мэра началось с несчастья. Через год после его назначения на город обрушился ураган, причинивший сильные разрушения. На следующий год страшный взрыв скопившегося в канализации газа унес много

жизней. Жители города сложили о Сяо Яне стишок, сыграв на его имени, которое означает «спасти народ от страданий». Фраза «цзао ян» значит «народ должен страдать». Обе фразы звучат почти одинаково. Люди стали говорить: «Цзао ян, цзао ян, лай ля цзао ян» («Пришли несчастья, пришли несчастья, заставили нас страдать»). Потом они прибавили: «Сяо Ян, Сяо Ян, сяо чу, хо ян» («Сяо Ян, Сяо Ян, ты спас нас от беды»).

Сяо Ян вспоминал, что это было не самое лучшее время. Его первой заботой была ликвидация «Третьей линии». К середине 80-х годов все китайские экономисты считали ее помехой на пути Дэна к быстрому и разумному развитию промышленности. Оборонные предприятия принадлежали армии, но скромный военный бюджет Дэна научил генералов считать деньги. Они увидели, что «Третья линия» ложится на них непомерным финансовым бременем.

Сяо Ян должен был координировать эти усилия и находить новое применение неудобно расположенным заводам. Он с самого начала понимал, что многие из них вообще ни на что не годятся. Ни одно гражданское предприятие не взяло бы их на свой баланс.

Перепрофилирование заводов «Третьей линии» было задачей грандиозной. Редко конверсия происходила столь случайно, как на машиностроительном заводе Цзялин, производившем оружие. В 1938 году Чан Кайши эвакуировал его из Нанкина, прежде чем город заняли японцы. Завод был перепроектирован и расширен в 1953 году в рамках программы советской помощи, а после прихода к власти Дэна его предназначили для конверсии. К 1988 году лишь 5% его продукции шло на военные нужды. Все остальное превратилось в китайское предприятие № 1 по выпуску мотоциклов, которых здесь производили 225 тысяч в год. Завод работал в сотрудничестве с подразделением японской компании «Хонда» — результат ловкости и компетентности мэра Сяо.

До того как стать мэром Чунцина, Сяо Ян в Пекине занимался созданием совместных предприятий с иностранными фирмами. Он участвовал в переговорах по поводу отеля «Великая стена» и входил в состав китайской команды, занимавшейся подготовкой производства в Китае американских джипов. Он принимал участие в 357 заседаниях по этому поводу с представителями американской стороны. «Подлинная трудность состояла в том,— вспоминает Сяо Ян,— что эта затея предполагала коренное изменение способа управления экономикой. Менять нужно было все. Я говорил представителям «Американ моторс», что они имеют дело со всей нашей страной. У нас была плановая экономика. Нужно было менять все правила».

Основная проблема, делал вывод Сяо Ян, заключалась в китайской бюрократии. Она серьезно препятствовала не только проекту с джипами, но и другим зарубежным сделкам. Когда Сяо Ян пытался направить своих коллег в Чунцине на путь реформ и сотрудничества с Западом, для него это была самая большая трудность. Но не только он сталкивался с такой ситуацией. Мэр Даляна, опытный чиновник, всякое повидавший на своем веку, говорил, что больше всего времени у него отнимали объяснения коллегам путей к новому Китаю Дэна. Руководители крупнейшего в Китае Чанчуньского автомобильного завода хватались за голову, пытаясь преодолеть бюрократические препоны.

Сяо Ян пускал в ход весь свой опыт и умение, чтобы привлечь новые иностранные капиталовложения и создать совместные предприятия на огромной базе Чунцина. Но главной заботой оставалась «Третья линия». «Мао считал, что война может разразиться в любой момент,— сказал Сяо Ян.— Он настаивал, чтобы заводы строились в горах. Но теперь Китай мог удовлетворять свои оборонные нужды и без этих секретных заводов».

200 тысяч рабочих Чунцина, все еще занятых на оборонных предприятиях, быстро теряли работу. Они составляли потенциально мощный отряд высококвалифицированных специалистов, которые могли бы пригодиться для новых производств, но им требовалась переподготовка. Как и чиновники, рабочие в силу привычки к прежнему образу жизни с трудом приспосабливались к новой конкурентной системе.

Страшное наследие «культурной революции» также мешало продвижению к новому Китаю. Чунцин был одной из арен самых жестоких схваток, оборонные заводы их тоже не избежали. В июне 1967 года произошло столкновение на

машиностроительном заводе Цзялин, а к 1968 году там развернулась вооруженная борьба. Наличие такого количества военной техники позволило ее участникам пользоваться практически любыми видами оружия, кроме атомных бомб. Они совершали танковые атаки и бомбили друг друга с помощью авиации. Десятки, а возможно, и сотни людей погибли. Руководителей предприятий пытали. Некоторых заставляли ходить босиком по раскаленным углям. Пытки прекращались лишь тогда, когда бои становились слишком напряженными, и для этого просто не оставалось времени. Самыми фанатичными бойцами были студенты. Сейчас им лет по сорок. «Они никогда не станут прежними»,— считает Хао Чжэнькунь, директор Чанчуньского автомобильного завода. Он разделяет мнение своих коллег-руководителей, что это потерянное, «отравленное» поколение.

«У тех, кто помладше,— сказал Хао Чжэнькунь,— нет дореволюционного опыта. Когда что-нибудь не ладится, они обращаются к примеру хунвэйбинов. Молодое поколение чувствует, что жизнь теперь не так интересна, как в 60-е годы. Они больше нас заражены этим. Мы должны постараться спасти их, но всегда останется какая-то часть, до которой нам не достучаться».

Однако ни одна из этих проблем не лишила Сяо Яна оптимизма. Он строил Чунцин, который будет лучше и больше нынешнего, и гордился этим. И он знал, чем займется, когда уйдет на пенсию. «Я сказал генералу Ян Шанкуню, что буду торговать лапшой дандан (пикантная разновидность лапши из Сычуани) на площади Тяньаньмэнь возле мраморного моста через Золотую реку».

Ян Шанкунь пообещал Сяо Яну, что будет покупать у него лапшу и принесет складной стул, чтобы можно было есть ее, сидя у моста.

Императорские одежды

До конца своих дней Дэн Сяопин ни разу не примерил императорских одежд. Даже когда революция Дэна шла полным ходом и он обрел непомерную власть, в душе он оставался маленьким драконом, а не великим драконом, как Мао.

Дэн человек неприхотливый. Он не приобретал ни вилл на Западном озере, ни Благоуханных наложниц, не имел пристрастия к язычкам жаворонков или медвежьим лапам. Мао Цзэдун отметил свое воцарение тем, что переехал во дворец Чжуннаньхай. Дэн Сяопин отметил свое, выехав оттуда — но недалеко. Очень скромный дом в конце переулка Милянку, рядом с Чжуннаньхаем, к востоку от Угольного холма, был специально перестроен для Дэна. Это место вызывало мрачные ассоциации. 12 марта 1925 года в соседнем роскошном особняке, где помещалось министерство обороны, умер Сунь Ятсен, а 18 марта следующего года во время выступления против постсуньятсеновского правительства были убиты 42 студента — рекордное число жертв среди учащихся вплоть до событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Каждый раз, входя в дом или выходя из него, Дэн проходил это место.

Жизнь в политическом водовороте Китая сделала Дэна одержимым идеей безопасности. Он был убежден, что Чжуннаньхай — место ненадежное, ни за что не хотел там жить и своим соратникам советовал тоже переехать. Одна бомба, предупреждал он, может смести всех.

Дом, выбранный им, был совершенно надежен. Долгие годы в нем жил Ли Кенун, покойный руководитель госбезопасности. Дом переделали для Дэна, и получилось трехэтажное железобетонное здание со стальными стенами и пуленепробиваемыми стеклами. Один посетитель сказал, что входную дверь можно выломать только танком. Дом обнесен высокой и широкой стеной. Стальные ворота перегораживают конец переулка, настолько узкий, что там не разъехались бы два «мерседеса».

Дом Дэна удобен, но без претензий. Самым приятным уголком здесь является большой английский газон позади здания. Иногда Дэн бродит там, обходя его по периметру, как он это делал в Наньчане. Коридоры в доме широкие, чтобы по ним могла свободно передвигаться инвалидная коляска Пуфана, сына Дэна [1]. Традиционные китайские высокие пороги, защищающие от сквозняков — и привидений,— убрали, чтобы не мешать коляске. Лифт позволяет Пуфану перемещаться с этажа на

[1] Дэн Пуфан остался калекой после истязаний, которым его подвергли хунвэйбины в годы «культурной революции».

этаж. Внутренняя телефонная связь дает ему (и его отцу) возможность разговаривать с любой комнатой в доме.

Мао тоже питал пристрастие к безопасности. Его дом напоминал крепость. Окна в его огромной спальне находились высоко, под самым потолком, чтобы никто не мог выстрелить или бросить в императора гранату. Но и сам император не мог посмотреть в окно.

Дом Дэна еще надежнее и гораздо уютнее. Там имеется зал на сто мест, удобный для неофициальных дружеских встреч с соратниками. Дэн любит показывать кино. В зале стоят легкие кресла для него и его посетителей, вроде тех, что находились в личном кинозале Сталина в Кремле,— возможно, Дэн там бывал. Он не любит китайские фильмы — по обязанности просматривает те, в которых затрагивается идеология, но увлекается американским кино. Он приглашает на сеансы членов семьи и близких друзей. Как большинству китайцев, ему нравится Рэмбо. Кровь и насилие не расстраивают его.

Дэн не утратил интереса к бриджу. Он часто играет со своими старыми партнерами в клубе, который никак не называется — просто «клуб». Туда входят все старейшие члены партии и военные.

Из пяти детей Дэна самый любимый — Пуфан. До Наньчана у Дэна оставалось для детей мало времени, но потом он посвятил себя Пуфану, и теперь тот живет с родителями. Внешне Пуфан больше похож на мать, чем на отца,— широколицый, как она, и так же плотно сбитый. Несмотря на паралич обеих ног, это крепкий мужчина с сильными руками и телом, окрепшим от постоянных занятий лечебной гимнастикой. Он вдвое больше своего тщедушного отца.

Долгая борьба Пуфана со своим увечным телом настроила его на философские размышления о человеческой жизни, что не часто встречается среди китайцев. Он страстно уверовал в гуманизм и решил посвятить жизнь помощи своим товарищам по несчастью. Как ни удивительно для цивилизации, насчитывающей тысячелетия, гуманизм никогда не был в почете в Китае. Ни конфуцианство, ни буддизм не принимали его особенно во внимание. Марксизм яростно боролся с ним, утверждая, что это сладкая кашка, которой капиталисты кормят пролетариат, чтобы ослабить его решимость сбросить их оковы.

Дэн Сяопин гуманистом не является, но он сочувствует идеям Пуфана и проявляет к ним интерес. Однако он бы не стал тратить государственные средства на помощь увечным, слепым и несчастным. Китай слишком беден, считал он, чтобы позволить себе «роскошь» быть добрым к хромым и убогим. Тем не менее он не препятствовал попыткам Пуфана склонить Китай к идеям гуманизма. Задача была нелегкой. Традиции милосердия не имели в Китае глубоких корней. Правда, монастыри, знатные семьи и правители устраивали угощение для бедных по большим праздникам, но этим дело и ограничивалось. Обездоленные по-настоящему интересовали только христианских миссионеров. Партия годами обвиняла их в попытках создать «рисовых христиан» — китайцев, которые принимали христианство ради бесплатной еды. С увечными китайцы обращались грубо и жестоко. Дети смеялись над хромыми старухами и передразнивали их «ныряющую» походку, часто вызванную тем, что в детстве им изуродовали ступни, бинтуя их. Крестьяне плевали в сторону калек, чтобы уберечься от сглаза. Прокаженных выгоняли из деревень и забивали до смерти. Младенцев женского пола топили или выбрасывали на мусорные свалки (такое случалось и в 1991 году). Беспомощных стариков, которые больше не могли работать, уводили из дома и зимой оставляли замерзать в снегу — легкая смерть, говорили крестьяне. Императоры славились жестокостью, а не благодеяниями. Китайский мир был суров. Может быть, великий писатель Лу Синь и преувеличивал, сказав: «Китай — это ад, полный чудовищ». Но многие из тех, кто перенес пытки в период «культурной революции», считали такое утверждение вполне уместным. Единственным оправданием пренебрежительному отношению к страданиям других людей служило то, что миллионы жителей находились на грани голодной смерти, им нечем было поделиться. Но теперь, при режиме Дэна, от голода почти избавились. Настало время закладывать новое общество, где сердце, душа и философия будут обращены на помощь человека человеку.

Дэн Пуфан решительно взялся за изменение китайских традиций. Он начнет с малого. Он ни гроша не попросит у государства. Но он постарается пробудить совесть Китая, убедить людей, что даже у слепого и калеки есть способности и права.

Дэн Пуфан обратился у друзьям, которых он приобрел за время своей болезни, и в первую очередь к Лю Сяочэну. Лю потерял обе ноги в результате несчастного случая. Вдвоем они основали Китайский благотворительный фонд для людей с физическими недостатками и стали выступать с речами, собирать деньги и призывать к действиям — для этого не требовалась государственная поддержка. Слепых и вообще инвалидов исключали из большинства школ. Их даже не допускали к вступительным экзаменам в институты и университеты. Пуфан обращался в различные министерства: инвалиды — такие же люди, как все, и имеют те же права на образование, лечение и государственную службу, как и здоровые. Лишать их этого — значит подвергать дискриминации, а это противоречит китайским законам. Дэн Сяопин не помогал Пуфану, но одно то, что Пуфан был сыном своего отца, открывало ему доступ в высшие сферы.

Пуфан приводил там те же доводы, что своему отцу. Настало время для Китая присоединиться к мировому течению гуманизма. Его идеи были извращены искаженным марксизмом. В Китае не было капитализма и все еще господствовали феодальные представления. В Китае не понимали, что гуманизм — не дешевый лозунг, а этический смысл учения по природе идеалистического, которое обращено к обязанностям человека по отношению к своему брату. Оно не является ни антикоммунистическим, ни антимарксистским. Марксисты говорили, что призваны вызволить человечество из бездны. Как же они могут считать гуманизм врагом? Если, говорил Пуфан, монахини в капиталистическом обществе посвятили всю свою жизнь улучшению человеческой доли, то почему бы коммунистам не сделать того же?

Для пропаганды этих доводов требовались деньги. Хотя Пуфан и собрал кое-какие пожертвования, этого было недостаточно, если он собирался подкрепить свои слова действиями — строительством лечебных центров.

Не совсем ясно, как именно возникла идея корпорации «Канхуа». Ее мог подать Дэн Сяопин или кто-то из его партнеров по бриджу. Позднее Пуфан взял ответственность на себя, но, учитывая его идеализм и наивность, это маловероятно. Он сам говорил: «Я ничего не понимаю в бизнесе». Идея носилась в воздухе Китая в период с 1984 по июнь 1989 года.

В это время страна превращалась в рынок. Продавалось все, или, по крайней мере, так казалось. Все занимались коммерцией. Как сказала дочь одного из самых известных участников Великого похода: «Что плохого в том, чтобы делать деньги? Мне бы хотелось стать миллионершей». В деревнях появились лозунги: «Быть богатым — прекрасно».

В Пекине, Шанхае, Ухане — любом мало-мальски значительном городе — отели в гонконгском стиле росли, как многоэтажные дома во Флориде. Все они были результатом международных сделок. Предлагались также крупные торговые и промышленные операции, но они не были столь просты и прибыльны, как сделки с отелями. В Пекине открылось представительство компании Рокфеллера. Многие американские банки привлекала легкая нажива, международные юридические фирмы организовывали свои китайские отделения.

Дэн Сяопин был абсолютно откровенен по этому поводу. Он допускал, что старые правила будут нарушаться — по мере того, как станут образовываться новые свободные экономические зоны и район за районом откроется для иностранного туризма, иностранной торговли и иностранных капиталов. Это имело как хорошие, так и плохие последствия: спекуляция, преступность, проституция, азартные игры, коррупция, протекционизм — вот та цена, которую неизбежно приходилось платить за стремительный переход от феодализма прямо в новую эру высоких технологий. Маленькая цена для достижения великих целей, считал Дэн.

Китаю требовались деньги для покупки новых технологий. Для этого Дэн создал специальные правительственные органы — помогать Китаю в этой крупной игре. Самым мощным из них было Министерство внешней торговли и внешнеэкономических связей (МВТВС), основанное с помощью миллиардов из правительственных фондов; его возглавил Жун Ижень, представитель большого клана Жун из Уси. Жун был одним из «национальных капиталистов» маоистской эпохи, он работал и на семью Жун, и на коммунистов вплоть до «культурной революции», когда попал в руки хунвэйбинов и подвергся пыткам. Он выжил, и Дэн попросил его привести

в порядок финансы Китая. Жун возразил, что лучше сумеет делать деньги для новой империи.

Он создал МВТВС, Дэн его финансировал, и Жун вступил в мир международного капитала как крупный игрок. Он заключал сделки по всему Китаю и по всему миру. Он приобрел пару лесозаготовительных компаний в США и Канаде, сталелитейный завод в Западной Виргинии и бесчисленные участки земли в Гонконге. К 1991 году МВТВС, вероятно, принадлежала такая же часть Гонконга, как Гонконгскому и Шанхайскому банкам. В 1987 году Жун провел большой семейный сбор в Пекине, куда съехались родственники почти со всех континентов. Дэн Сяопин присутствовал на этой встрече и заявил: «С семьей Жун все в порядке». Жун опять стал лидером в китайских финансовых кругах, его имя было известно на Уолл-стрит и Треднидл-стрит в Лондоне. Японцы обращались к нему с предложением вступить в крупные синдикаты. Имя «Жун» стало синонимом «быстрого пути» в революции Дэна.

Идея корпорации «Канхуа» возникла вовремя. Ее организовали три человека, опытные работники правительства Дэна: Тан Кэ, бывший министр нефтяной промышленности и металлургии, Гао Янвэнь, бывший министр угольной промышленности, и Хань Госинь из министерства энергетики. Эти люди были специалистами по «гуань си» — «связям» с правительством Дэна — и по «хоу мэнь» — «черным ходам». Они знали практически все о том, как заключаются сделки и проворачиваются махинации. Они понимали, какие возможности открываются для корпорации «Канхуа», и в короткий срок привели в действие те мощные механизмы, которые представляли.

Неизвестно, понимал ли Пуфан, что его благотворительная организация стала картой в большой игре. Он лишь хотел, как он сам говорил в 1988 году, чтобы скромный капитал Благотворительного фонда приносил больший доход, чем те ничтожные проценты, которые выплачивал Госбанк Китая. К 1987 году «Канхуа» выплатила фонду Пуфана 8,9 млн. юаней (около 4,5 млн. долларов). «Канхуа» становилась влиятельной силой. Если вы имели дело с «Канхуа», это значило, что вы приобрели прямой выход на Дэна. К 1988 году Пуфан забеспокоился. Он ничего не понимал в коммерции, но чувствовал что-то неладное. Пошли слухи.

Китай вступил в эпоху, где Дональд Трамп [1] чувствовал бы себя как рыба в воде.

24 апреля 1988 года Арманд Хаммер праздновал в Китае свое 90-летие. На самом деле это не был день его рождения, в 1988 году он отмечал его трижды — в разных странах. На этот раз праздновался его китайский день рождения. (По китайскому летосчислению Хаммеру исполнялся 91 год.) Каждый из приемов Хаммера устраивался и оплачивался отделом внешних связей его компании «Оксидентал петролеум», но хозяином на этом приеме был генерал Ян Шанкунь, президент Китая. Торжества в пекинском отеле «Великая стена» были символом эпохи. Отель претерпел несколько превращений. Сначала он был совместным американо-китайским предприятием. Теперь он принадлежал французскому и гонконгскому капиталу и управлялся компанией «Шератон».

В последние годы Арманд Хаммер доигрывал легенду своей жизни. Его отец, сын русского, эмигрировавшего в Америку, врач и фармацевт, сочувствовал большевикам и продавал медикаменты борющемуся Советскому правительству в первые годы его существования. В возрасте 22 лет Хаммер приехал в Россию, отчасти чтобы выяснить, можно ли вернуть собственность Хаммеров, захваченную Советами. Момент был удачным. Ленину нужны были капиталисты, чтобы страна выжила. Он встретил Хаммера с распростёртыми объятиями. Статуэтка с тремя обезьянками, подаренная Хаммером Ленину, все еще находилась на столе в его кремлевском кабинете в 1991 году, когда уже начались споры о том, надо ли оставлять Ленина в Мавзолее на Красной площади.

Хаммер нажил миллионы (во всяком случае, он так говорил) благодаря связям с Россией. Теперь он стал большим человеком в Китае. Его угледобывающее предприятие в Шэньси и Шаньдуне — автоматизированная шахта и линия для транспортировки угля в доки для экспорта в Японию и другие страны — было

[1] Американский миллиардер, составивший себе состояние в 70-е и 80-е годы. Символ ловкого и предприимчивого дельца.

самым крупным иностранным объектом в Китае. Неважно, что линия вышла из строя, и ее пришлось закрыть. Теперь уголь не поступал, и более старым китайским шахтам приходилось выполнять заказы Хаммера в ущерб важным производствам, причиняя огромные убытки экономике Дэна. Несмотря на это, в 1988 году Хаммера представляли как впечатляющий пример успеха революции Дэна.

Всякий, кто хоть что-нибудь значил в китайском предпринимательском мире, счел долгом лично присутствовать на празднике дня рождения Хаммера. Огромные эскалаторы доставляли гостей в большой танцевальный зал, открытый по этому случаю. Все известные пекинские семьи были здесь. Чэнь Юань, сын Чэнь Юня, бывшего соперника Дэна, консервативного экономиста, присутствовал на приеме. Он заключил крупную сделку с участком в районе рынка на улице Сидань, отведенным под здания контор и магазинов,— этот план впоследствии полностью провалился. Здесь же был и сын Пэн Чжэня Фу Ян, тот самый, который вместе с Юаньюанем, сыном Лю Шаоци, продавал свою кровь, чтобы раздобыть еду в самые тяжелые дни «культурной революции».

Арманд Хаммер наслаждался всей этой помпой. Не так уж много людей в девяностолетнем возрасте управляют компанией мирового уровня собственной властной рукой. Разумеется, у Хаммера хватало недоброжелателей и клеветников. Для них у него имелся ответ — стопки новой автобиографии на английском и китайском языках. Молодые женщины в изящных парчовых рубашках с разрезами почти до бедер раздавали книги гостям. Их было по крайней мере шестьсот, в том числе министры, высокопоставленные лица, люди, делающие большую карьеру. Посол Соединенных Штатов Уинстон Лорд со своей замечательной женой Бэт Бао сидел за главным столом с Хаммером и Ян Шанкунем.

Почти у всех членов ближайшего окружения Дэна сын или дочь работали в МВТВС и разных смешанных предприятиях. Например, когда открывался отель «Великая стена», дети крупных чиновников старались во что бы то ни стало устроиться туда на работу. Столько отпрысков влиятельных лиц числились на службе в новых корпорациях, что «Уолл-стрит джорнэл» опубликовал специальный их список, вызвав сильный переполох среди китайской элиты.

Ян Шанкунь и Хаммер произнесли краткие речи (ни словом не упомянув о поломке угольной транспортировочной линии). Затем последовала музыкальная программа, составленная командой Хаммера. Китайский тенор спел «Аве Мария», «китайская Ширли Темпл» и 33 молодых танцора исполнили несколько рождественских сцен из «Щелкунчика» Чайковского в честь великого еврейского спонсора русской и китайской революций.

Некоторые молодые предприниматели прибыли на торжество из Сан-Франциско, Нью-Йорка или Сингапура. Все они происходили из кантонских семей с богатыми коммерческими традициями. Ни один другой район Китая так искренне не откликнулся на план Дэна сделать Китай богатым. Кантон создал свободную экономическую зону в Шэньчжэне на границе с Гонконгом. Зона поглотила когда-то существовавшую здесь деревушку с утками и курами, и теперь на ее месте вырос лес небоскребов, очень напоминавший соседний Гонконг. Почти все присутствовавшие на дне рождения надеялись, что когда Гонконг в 1997 году вновь перейдет к Китаю, он послужит моделью будущего, и у всех тогда будет много денег. Так много гонконгских бизнесменов работало в правительстве Дэна в качестве советников и специалистов, что многие даже мечтали о том дне, когда Гонконг будет управлять Китаем.

Среди молодых китайских предпринимателей, присутствовавших на торжестве, был один человек из Нью-Йорка, предлагавший построить по соседству с Диснейлендом, в Орландо, «Китайский городок». Он был убежден, что это дело очень прибыльное, и приехал в Пекин для переговоров с «Канхуа». «Канхуа», говорил он, готова взяться за это. Уже сейчас по размаху капиталовложений этот план занимал четвертое место в Китае, и вскоре он вышел бы на первое место. Этот человек был одним из многих, кто привез с собой в отель «Великая стена» большие проекты. Он был уверен, что с «Канхуа» невозможно потерпеть неудачу. Он даже был готов построить точную копию Запретного города. На этом деле можно сделать кучу денег, считал он, и помочь созданию нового Китая Дэна.

В такой атмосфере неприкрытой роскоши и экономического оппортунизма кое-кто из представителей молодого поколения почувствовал бы себя неловко. Здесь

нечего было искать Пуфана. Лю Юаньюань, сын Лю Шаоци, тоже отсутствовал. Как и Пуфан, он решил посвятить свою жизнь Китаю, а не извлечению выгоды. Он уехал в провинцию Хэнань, где работал и умер его отец, и поклялся, что останется в деревне. Во времена «культурной революции» его сослали в сельский район Шаньси, и, как он рассказывал в 1988 году, он бы умер там, если бы крестьяне не были так добры к нему. Теперь он отправился в Хэнань как рядовой член партии. Никто не знал, кто он. Лю Юаньюань трудился тихо и незаметно и нашел путь к сердцам крестьян, помогая им справляться с повседневными трудностями. Он носил такие же синие штаны и рубаху, как они. Узнав, кто он такой, крестьяне говорили, что Юаньюань не может быть сыном высокопоставленного чиновника, он слишком прямой, слишком искренний человек. Они сказали ему: «Ты слишком честен. Никто не может выжить в деревне, если не лжет — хотя бы чуть-чуть». Юаньюань улыбнулся. Он приехал сюда не лгать. Он, единственный в своей университетской группе, сделал такой выбор. «Я должен был так поступить,— сказал он.— Я был обязан сделать это для моей страны».

«Некоторые проблемы, два тысячелетия существовавшие в деревне, решены,— говорил Юаньюань.— Крестьяне счастливы. Для них наступил действительно золотой век. Они не могут желать ничего лучшего. Но многое еще предстоит сделать. Больше всего крестьяне боятся, что политика изменится и вернутся тяжелые времена. Мы должны работать вместе с ними, помогать им ориентироваться. Но никаких приказов, команд, никакого насилия».

В тот вечер, когда Арманд Хаммер устраивал свой прием, Юаньюань находился далеко от Пекина. Он пошел вверх по служебной лестнице. Его только что назначили вице-губернатором провинции, самым молодым в Китае (в политическом смысле не слишком удачный шаг — те, кто постарше, прониклись завистью). Но Юаньюань не зазнавался. Он был гордостью своей матери Ван Гуанмэй, которая жила теперь в большом квартале Мусюйди на Западной Чананьцзе, рядом с мостом Фусинмэнь. Там, среди новых небоскребов, которые вторглись в городской ландшафт, изменяя его вековой облик, дворы и переулки, жили вдовы важных лиц и отставные члены правительства. На Восточной Чананьцзе находился большой дипломатический квартал, где располагались посольство Соединенных Штатов, универмаг «Дружба», в котором свежий белый хлеб, китайская икра и отборное мясо с фаншаньской фермы продавались за валюту. Здесь МВТВС возводило самое высокое — двадцатидвухэтажное — здание в Пекине. Везде были новые отели — «Шанжи-ла», «Лидо», «Куньлунь». «Ванфу», или отель «Палас», был совместным детищем армии и гонконгского капитала (им управляла «Пенинсьюла груп») — единственный пятизвездочный отель в Пекине, одно из многих предприятий, затеянных армией, чтобы как-то возместить ощутимое сокращение бюджетных расходов на свое содержание. Другая компания продавала ракеты «Силкворм» странам Ближнего Востока.

В этом мире Лю Юаньюаню не было места, как и его сестре Пинпин, которая заканчивала Колумбийский университет и собиралась возвратиться в Пекин, чтобы работать в муниципалитете. Обе сестры Пинпин учились банковскому делу за границей, одна в Нью-Йорке, другая — в Германии, и были преданы идеалам отца и своей необыкновенной матери. Дэна и его пожилых соратников все еще беспокоила Ван Гуанмэй. Она была слишком выдающейся личностью. Она знала все. Потихоньку они перекрыли ей выезд за границу, даже не выпустили во Францию по приглашению супруги президента Миттерана.

Но и семья Лю была представлена в кругу новых бизнесменов. Брат Ван Гуанмэй работал в Гонконге в корпорации «Эвербрайт», крупнейшей торговой фирме на материке.

Китайские приемы обычно заканчиваются около 9 часов вечера. Гости покидали отель «Великая стена» немного позже с экземплярами книги Хаммера. Некоторые мурлыкали песенку, которую исполнила «китайская Ширли Темпл»: «Не давай звездам ослепить твои глаза».

ПОКУШЕНИЕ НА МАНДАТ

Дорога на Тяньаньмэнь

Весной 1986 года произошли события, приведшие к падению Ху Яобана. Китайская политика — игра весьма суровая, и одно из основных ее правил гласит (если воспользоваться словами Мао), что на небе может сиять только одно солнце.

Дэн, укрепляя тылы, создал коалицию, включавшую в себя армейскую верхушку, старую партийную элиту и группу энергичных, сравнительно молодых людей, привлеченных его реформаторскими начинаниями, ориентацией на Запад и желанием порвать со старыми догмами.

Однако скоро внутри коалиции начал назревать конфликт, возможно, не всегда заметный для постороннего взгляда. Эпицентром разногласий стала экономика; здесь столкнулись две концепции: ставка Дэна на скорость и прагматизм и установка Чэнь Юня на медленные изменения и уважение к прошлому.

Согласно китайской традиции, запечатленной в «Хронике двадцати четырех династий», никто не смеет безнаказанно возражать императору. Если возражающему дозволено существовать, сие означает, что он могущественнее императора и что последний потерял Небесный мандат. Этим принципом и руководствовался Дэн. Если ему бросали вызов, он был готов без колебаний уничтожить обидчика. Таково было правило Мао, ему же следовал и Дэн.

Стремясь избежать прямой жесткой конфронтации, китайские политики прибегли к традиционной тактике «подмены». Никто не критиковал Дэна в 1986 году, но когда старая партийная гвардия почувствовала, что политическая колесница Сяопина выходит из-под контроля, они выбрали мишенью для атаки его заместителя, Ху Яобана.

Ху Яобан был гораздо более легкой добычей, ибо он был эксцентричен. Он не говорил марксистским языком, он вел частную переписку с Ричардом Никсоном, он потчевал гостей за столом французскими улитками, он познакомил китайских интеллектуалов с творчеством Альбера Камю. Теперь он затеял кампанию против китайских палочек, пропагандируя западные ножи и вилки. В глазах партийных старцев Ху олицетворял все то отвратительное и устрашающее, что несло им правление Дэна.

Они не стали открыто критиковать экономическую политику Дэна. Уничтожение коммун и создание совместных предприятий привели к невиданному доныне обороту капитала, но данная стратегия одновременно стимулировала и инфляцию, и рост цен, и дефицит многих товаров.

И вообще, сокрушались старцы, в этих новомодных свободных экономических зонах творится Бог знает что; они, в представлении старогвардейцев, превратились в отстойники аморализма и коррупции — истинные капиталистические гнезда разврата. Чтобы дать необходимую пищу этим фантазиям и предрассудкам, реакционеры организовали для старейшин экскурсии в Шэньчжэнь, оживленную торговую зону между Кантоном и новыми территориями Гонконга. Некоторых особо консервативных престарелых лидеров, вроде Дэн Инчао, вдовы Чжоу Эньлая, специально свозили в Шэньчжэнь и показали самые сладострастные зрелища в надежде подлить масла в огонь ненависти к «программе Ху Яобана».

Весь этот конфликт так и остался бы бурей в стакане воды, не совпади он с волной студенческих волнений. В студенческой среде давно зрело беспокойство, и, наконец, глубокой осенью 1986 года из искры возгорелось пламя.

Дэн никогда не жаловал протестов и манифестаций. Придя к власти, он одобрил идею создания «Стены демократии», протянувшейся на 200 ярдов от площади Тяньаньмэнь до угла улиц Сидань и Чананьцзе и превратившейся в самую грандиозную арену свободы слова в истории Китая: здесь пестрели огромные плакаты и маленькие картонки с обвинительными надписями, здесь произносились пламенные призывы к «четырем свободам» и вспыхивали дебаты по любому поводу. Это было самое поразительное и привлекательное место в Пекине. Дэн, как и многие его соратники, изрядно нервничал по этому поводу, однако считал, что пар лучше выпускать, нежели сдерживать.

Но чем больше люди говорили, тем ближе они подступались к критике самого Дэна и его новой партии. Дэн на какой-то момент пренебрег разногласиями

и отправился в феврале 1979 года в Соединенные Штаты. Однако вскоре по возвращении из США, где он добился большого успеха в Вашингтоне и прокатился по Техасу в ковбойской шляпе, он приказал Ху Яобану навести порядок и угомонить студентов. Ху послушно приложил все усилия. 29 марта 1979 года самый заядлый плакатист Вэй Цзиншэн был отправлен в тюрьму, где пребывал вплоть до 1991 года, несмотря на протесты международной общественности. К концу 1979 года все плакаты исчезли — «Стену демократии» отскребли добела. Краткая оттепель миновала.

Поход против «Стены демократии» вполне соответствовал характеру Дэна. Он частенько употреблял слово «демократия», однако ничто в его стиле правления не указывало на приверженность истинной демократии. Когда осенью 1986 года начались студенческие волнения, он отдал приказ об их подавлении и снова привлек для этой цели Ху Яобана. Дэн не собирался терпеть беспорядки в Срединном царстве; не для того он становился императором, чтобы передать свой мандат студентам Пекинского университета.

Реакция старогвардейцев на волну протестов была еще более бурной. Хотя они были стариками и Дэн изрядно потеснил их со сцены, однако власть все еще находилась в их руках. Двое из них, престарелый Чэнь Юнь (соперник Дэна) и президент Ли Сяньнянь входили в состав «пятиместного» Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и имели немало сторонников в бюрократической верхушке. Настало время, решили они, сокрушить политику Дэна и вернуться к традиционному коммунистическому руководству и марксистской экономике.

И снова они не атаковали открыто, а последовали тактике Мао, с лихвой оправдавшей себя в «Великом походе», тактике притворства и обмана, внезапности и коварства. Они направили удар не против Дэн Сяопина, а против Ху Яобана, число приверженцев которого росло с каждым днем. Ху и его сторонники распространяют чуждые, непривычные идеи, будоражащие студентов, говорили они. Ху обзавелся сочувствующими во всех партийных структурах; даже печатный орган партии — «Жэньминь жибао» — перестал быть надежным рупором правоверных идей.

Дух перемен материализовался в молодом астрофизике из Хэфэйского университета науки и техники по имени Фан Личжи, который стал своего рода Гаммельнским крысоловом для китайских студентов. Они забивали аудитории, где он читал лекции, до отказа, а в Пекине «Жэньминь жибао» опубликовала серию его статей в сентябрьских-октябрьских номерах 1986 года.

Фан олицетворял собою суть нового времени, и она (суть) привела в содрогание партийных старейшин. Это слова Фана, уверяли они, подвигли студентов на демонстрации, начавшиеся именно в его, Хэфэйском университете и затем перебросившиеся в Пекин и другие регионы страны. Студенты несли знамена, провозглашали «Мечту о свободе» и говорили о демократии как о новой религии. Такова была проблема, с которой столкнулись Дэн и старые партийцы. Раздраженный Дэн решительно искоренил — или думал, что искоренил,— опасную тенденцию: в январе 1987 года он снял Ху Яобана с должности генсека и заменил его Чжао Цзыяном, бывшим премьером, обладавшим репутацией здравомыслящего традиционалиста. Однако Дэн не забыл принять и некоторые меры предосторожности. В свое время, в 1976 году, Мао, снимая Дэна с должности, не исключил его из партии, и теперь Дэн, в свою очередь, не лишил Ху ни партийности, ни места в Политбюро. Это был рассчитанный жест — на тот случай, если Ху еще ему понадобится. Повлияло ли на данное решение знакомство Дэна с «Хроникой двадцати четырех династий», до сих пор остается загадкой.

Следует сказать, что в чехарде событий Дэн так и не провел настоящей чистки маоистов и сторонников «культурной революции» в партии. Он не сделал, подобно Никите Хрущеву, «закрытого доклада», надежно перекрывшего путь возможному политическому реваншу сталинской гвардии. Правда, «Банду четырех» арестовали и заключили в тюрьму; с дюжиной «стрелочников» поступили сходным образом. Вероятно, несколько самых отъявленных маоистов расстреляли. Но даже в Шанхае, этом «логове» Банды, чистку провели весьма поверхностно. Должно быть, Дэн считал, что основательная работа была ему не под силу, ибо из 20 с лишним миллионов человек, состоявших в партии к моменту смерти Мао, почти все были фанатическими поклонниками его учения и подавляющее большинство спокойно

переварило «культурную революцию». Попытайся он вычистить всех этих людей, от партии остались бы одни ошметки. Пусть уж — что было, то было.

Итак, он унаследовал партию, кишащую маоистами и сторонниками Банды. Все эти люди остались на своих постах, и многие по-прежнему считали, что Банда права, а Дэн нет. Немало среди них было тех, кто пытал, отправлял людей на смерть и теперь не очень жаждал разоблачений и наказаний. Они спокойно разгуливали по улицам, а их выжившие жертвы знали их в лицо. Иногда тот или иной сторонник Банды умирал таинственной смертью — акт мести со стороны сына или дочери пострадавшего. Однако всех былых палачей истребить было невозможно. Уже в девяностые годы их можно еще встретить даже в Соединенных Штатах с разного рода миссиями, причем американские коллеги и не подозревают об их истинной сути.

Здравый смысл подсказывал, что ближайшее окружение Дэна изобилует тайными поклонниками Мао. Сам Мао оценивал свою политическую деятельность как на 60% правильную и на 40% ошибочную. Партия была того же мнения. Дэн полагал, что его личный рейтинг составляет 50% на 50% и уверял, что его это вполне удовлетворяет. Но в его окружении наверняка могли быть люди, дававшие ему меньше очков, а Мао больше. Да и сам Дэн считал позицию Мао верной по многим пунктам; подобно последнему, он пытался следовать летописным рецептам властеизъявления. Он хорошо понимал важность принципа «разделяй и властвуй», а также то, что нельзя удержать власть без демонстративной готовности ее использовать.

Отставка Ху Яобана не разрешила стоящих перед Дэн Сяопином проблем. На очереди оказалась развернувшаяся энергичная кампания против «буржуазной либерализации», сего опасного вируса, проникшего в Китай, как говорилось, ввиду недостаточной бдительности Ху Яобана. Болезнь удивительно напоминала ту, с которой доблестно боролись Мао и застрельщики «культурной революции»,— по крайней мере, главные мишени оставались все те же. Организатором и сердцевиной данной акции был тот же старогвардеец — Дэн Лицюнь, чья миссия во времена «культурной революции» заключалась в навешивании на жертву политических ярлыков; он и теперь продолжал пропагандистскую деятельность благодаря поддержке реакционеров и нежеланию Дэна очистить партию от негодяев. Дэн Лицюнь был не просто реакционным пропагандистом, но и лично безнравственным человеком, за что его давным-давно следовало бы исключить из партии. Его многолетнее пребывание в той роли, которую он исполнял, свидетельствовало о правоте ленинского принципа, гласящего, что коммунистические революции нуждаются в услугах некоторого количества мерзавцев.

Дэн Лицюнь с пылом взялся крушить буржуазную либерализацию, однако произошла странная вещь — огонь погас. Кампания прекратилась, и вслед за этим Дэн Лицюнь был молниеносно снят с поста. Хотя обстоятельства подобной смены курса не совсем ясны, но можно предположить, что она была вызвана запоздалым решением Дэна о несвоевременности и непродуктивности подобного демарша. Однако для Дэна Лицюня последний час еще не пробил, ибо в 1991 году он снова — в качестве политического оракула — высоко котировался в среде партийных реакционеров.

Китай вступил в полосу относительного, хотя и кратковременного спокойствия. Страсти вновь начали разгораться весной 1988 года вокруг экономической программы Дэна. Теперь борьба вышла на поверхность и завязалась вокруг инфляции в городах и роста цен на основные товары: удобрения, бензин, нефть, семена и химикаты.

Традиционное ежегодное июньское паломничество партийных лидеров на морской курорт Бэйдайхэ началось в 1988 году как обычно, море было теплым, погода приятной и разговоры легкими. Однако вскоре стало очевидно, что Дэн намерен углублять экономическую реформу, невзирая на инфляцию и волнения. Партийный секретарь Чжао Цзыян разъяснил директивы Дэна: мы должны быть смелыми, нужно отпустить цены, пусть сам рынок регулирует, повышать их или понижать (все понимали, что цены будут повышаться). Пусть рынок определяет, какие предприятия преуспевают, а какие прогорают. Если устаревшие коммунистические заводы не могут конкурировать с рентабельными совместными предприяти-

ями, пусть они разоряются или сливаются с последними. Именно это предусматривал новый закон о банкротстве.

Когда ортодоксы услышали программу Дэна, у них по спине пробежал холодок. Это был отказ от последних крох марксизма. Если позволить госпредприятиям обанкротиться, то что будет с рабочими? Они будут стоять в очередях на биржу труда, как в Питтсбурге и Манчестере? Святая святых коммунизма, по мнению правоверных марксистов, заключается в гарантированном рабочем месте, в «миске риса». Что скажут массы?

Весь июнь продолжались в Бэйдайхэ шумные споры. Консерваторы клялись, что они не будут председательствовать на похоронах коммунизма. Никогда еще Дэн не был так упрям. Он не собирался отступать. У него не было на это времени. Его старые товарищи уже покинули поле битвы. Он тоже, как он выразился, «находится на второй линии огня», а не в гуще боя, но он хочет увидеть результаты своей деятельности при жизни. Он три раза терял власть и не собирается терпеть еще одно поражение. Ему 84 года, и он не может попусту тратить время.

Дэн проиграл этот раунд; никакого решения принято не было. Партийные лидеры договорились собраться позже, в июле или начале августа. Образовалась передышка. Когда расширенное заседание Политбюро состоялось снова, Дэн опять не набрал нужного количества голосов, и ему пришлось пойти на компромисс: передать управление экономикой из рук Чжао Цзыяна новому премьер-министру Ли Пэну.

Ли Пэну, инженеру по образованию, было 60 лет, что считалось очень юным возрастом для политика подобного ранга. Никто не мог похвастаться таким доверием партии, как Ли Пэн, смуглый, почти красивый мужчина с решительным и жестким характером. Когда в ноябре 1987 года его спросили о возможности «нового Большого похода» против экономической реформы Дэна, он ответил: «Нам нужно спешить, нам нужно бежать». Ли был подопечным и воспитанником Чжоу Эньлая и Дэн Инчао. Его отец, коммунист-революционер, был расстрелян в 1931 году националистами. На место казни он был доставлен в клетке, ибо не мог ходить: во время пыток ему сломали ногу. Перед смертью ему удалось передать жене письмо: «Если я умру, не грусти сильно обо мне. Моя единственная надежда на то, что ты правильно воспитаешь сына».

Чжоу Эньлай взял Ли Пэна под свою опеку, страшась, что националисты убьют его и его мать. Ли Пэн оказался способным и послушным учеником. Чжоу послал его в Москву и дал ему советское образование, что позволило Ли получить диплом инженера высокой квалификации. Это было невеселое время для Ли. Когда Чжоу в 1949 году приехал в Москву, Ли Пэн умолял разрешить ему вернуться в Китай. Чжоу потребовал, чтобы Ли продолжал обучение. Ли Пэн с блеском закончил институт — русские даже настоятельно просили оставить его в Москве. В конце концов Ли Пэн тайно переправил с товарищем слезное письмо Чжоу Эньлаю. Он просил, чтобы Чжоу телеграфировал в Москву, что якобы заболела его мать и он должен немедленно вернуться домой. Чжоу выполнил его просьбу, и Ли сбежал в Пекин.

То, что Ли Пэн великолепно владел русским языком и досконально знал советскую систему, давало повод многим китайцам считать его проводником просоветских взглядов и приверженцем сталинизма. Он действительно обнаруживал явную склонность к традиционной коммунистической экономике, но хорошо знавшие его люди приписывали это скорее типично инженерному складу его ума, нежели русскому влиянию.

Будучи воспитанником Чжоу и сыном великомученика-отца, Ли был хорошо известен всей старой гвардии. Многие называли его не иначе как «наш мальчик» и сразу же перешли на его сторону, как только он взял управление экономикой в свои руки.

Тем летом Пекин полнился самыми невероятными слухами, которые затем усердно экспортировались китайскими дипломатами. Один известный специалист, проведший в Китае много времени, после разговоров с пекинскими лидерами во всеуслышание заявил: «Дэну конец!» Говорили, что он потерял контроль над страной, что Китай превращается в бойню, что деревня голодает, а города сотрясают мятежи.

Тому, кто вдоль и поперек изъездил Китай весной и ранним летом 1988 года, подобные разговоры казались явным преувеличением, возможно, сознательной политической «уткой» с целью спровоцировать кризис. Путешествуя в это время по отдаленным провинциям Сычуань, Аньхой, Шэньси, Шаньдун, Гуйчжоу, Гуандун, Фуцзянь, Хунань, Чжэцзян, Хэнань, Гуанси, мы ни разу не смогли обнаружить следов голода. Шла уборка хорошего урожая, и крестьяне казались вполне довольными программой Дэна, если не считать жалоб на дороговизну удобрений. В городах Шанхай, Ухань, Чэнду, Цзинянь, Фучжоу, Тайюань, Сиань, Чунцин тоже не наблюдалось симптомов кризиса. В Пекине, правда, ситуация была несколько иной. Здесь очень многие жаловались на цены и дефицит товаров. Огромное число госслужащих, получавших фиксированные оклады, действительно бедствовали. И все же не очень верилось, что положение становится столь катастрофическим, как пытались это представить.

14 июня 1988 года китайское Центральное ТВ отвело лучшее эфирное время под трансляцию первой части шестисерийного документального фильма «Элегия о Желтой реке». Сценарий был написан двумя тридцатилетними авторами, а поставил картину журналист ЦТ, 26-летний Си Цзюнь. Смотрел ли Дэн и его сотоварищи в Бэйдайхэ эту передачу, истории неизвестно, но зато доподлинно известно, что ее смотрели по крайней мере 70 миллионов человек, и когда через месяц, после непосредственного распоряжения Чжао Цзыяна, фильм показали снова, работали все телевизоры Китая.

«Элегия о Желтой реке» покушалась на исторические, мифологические и социальные первоосновы Китая — легенды о Желтой реке, Великой стене, драконе. Фильм с поразительной наглядностью разоблачал старые мифологемы. Столетиями китайцы с гордостью называли себя цивилизацией Желтой реки. У этой великой и опасной реки рожден был Китай. Здесь же, к югу от Янани, родился первый китайский император. На плодородных лёссовых равнинах реки возрос Большой Китай.

Фильм обратил легенду в погребальный плач: он возлагал на реку и поклонение ей вину за нынешнюю неспособность Китая войти в современный мир. В то время как англичане, итальянцы, испанцы и португальцы бороздили синие моря и открывали богатства мира, Китай плыл по желтым илистым водам своей родительницы-реки, боясь хоть на минуту оторвать взгляд от земли. Он создал блистательную империю, но уже к XIV веку она безнадежно устарела. Это была империя желтой воды, а не синего моря.

Телефильм разоблачал древние легенды о Великой стене. Ее строительство обошлось в миллиарды монет и миллионы жизней. Ее построили для защиты от варваров, но она никого не защитила. Орда за ордой перекатывались через каменные бастионы и основывали династию за династией. Стена не остановила пришельцев извне, но она удержала китайцев внутри. Они не решались странствовать в чужих краях, как то делали европейцы; они сидели дома. И они воспроизвели модель Великой стены в своих городах, своих домах и своем сознании. Они обнесли стеной Пекин — и держали себя взаперти. Они огородили дворы и заперли себя внутри. Они спрятали за стенами умы, чтобы мысли не выходили наружу (это была излюбленная теория Янь Цзяци, блистательного социолога из Китайской академии общественных наук, через год, спасая свою жизнь, бежавшего из Китая).

Дракон символизировал всемогущество императора, правившего Китаем по выданному ему Небесному мандату. Роль дракона в китайском обществе ограничивала развитие и эволюцию системы власти. Правитель не мог разделить власть с другими — дракон мог быть только один. Пока существует легенда о драконе, Китай не сможет войти в современный мир, где господствуют парламентская система, свободомыслие и свобода слова. Он обречен быть средневековой, закрытой империей.

«Элегия о Желтой реке» призывала китайцев освободить умы от суеверного династического наследия. До тех пор пока «Хроника двадцати четырех династий» остается «зеркалом в помощь правительству», Китай отягощен наследием, неуместным в современном мире.

Более рискованного, взрывного и противоречивого сгустка идей и вообразить было невозможно. Пока Дэн и прочие руководители спорили об экономике, инф-

ляции, кратчайшей дороге к модернизации, китайскому телезрителю предлагали сбросить путы мифа и искать современный путь к величию страны. «Элегия о Желтой реке» была столь же революционной, как «Марсельеза», «Интернационал» или «Манифест Коммунистической партии». Она использовала последние достижения техники для развенчания замшелых древних сказок.

Конечно, никому бы и в голову не пришло сравнить утонченную гносеологию «Элегии о Желтой реке» с примитивной атакой на «четыре пережитка прошлого», предпринятой Мао Цзэдуном во время «культурной революции». Однако, в некотором смысле, каждая из этих акций преследовала одну и ту же цель — освобождение Китая от философии и символов, столь долго господствовавших в его наследии. Но если Мао посылал подростков с дубинками и факелами терроризировать население до состояния беспамятства, то авторы «Элегии» стремились возвысить Китай до состояния чистого разума.

Насколько нам известно, в Бэйдайхэ об «Элегии» не было сказано ни слова. Никто, казалось, не осознавал, что Китай очутился на распутье. С одной стороны, существовало традиционное сознание бэйдайхэйского реакционного большинства, с другой стороны — нечто абсолютно новое, «Элегия». Те, кто видели «Элегию», внезапно стали смотреть на Китай иными глазами.

Тем, кто мало-мальски знал китайскую ситуацию, было очевидно, что грядет развязка, которая предопределит путь Китая на долгие годы. Тем, кто следил за карьерой Дэна, было ясно, что он не намерен мириться с поражением. Он — император, и он будет сражаться согласно правилам, установленным в «Главном зеркале в помощь властителю».

«Главное зеркало в помощь властителю» [1]

Ивы уже пожелтели, и погода становилась все прохладнее, а битвы в Бэйдайхэ осенью 1988 года не утихали. Когда из пустыни Гоби подул холодный ветер, возобновились атаки на Чжао Цзыяна, и снова Дэн встал на его защиту.

Золотой октябрь уступил место серому ноябрю, но в Пекине по-прежнему никаких признаков кризиса не наблюдалось. Люди продолжали ворчать по поводу цен, но наметились и кое-какие улучшения, например, урегулирование зарплаты и распределение зерна.

Чжао окружил себя либеральными советниками. В их поведении ничто не указывало на то, что они чувствуют ослабление позиций партсекретаря. Дэн принимал зарубежных гостей и часто говорил им, что он больше не работает много — два часа в день, и достаточно. Дэн и генерал Ян Шанкунь всячески подчеркивали хорошее состояние здоровья Дэн Сяопина. В Бэйдайхэ он каждый день купался в море, причем не просто плескался у берега, но плавал брассом, как то делал в свое время Мао. Дэн производил впечатление чрезвычайно активного человека, обладающего прекрасным здоровьем. В качестве рекламы был опубликован ряд других материалов — большой семейный альбом Дэна с многочисленными фотографиями, сделанными Ян Шаомином, сыном Ян Шанкуня, бодрые статьи о жизни Дэна в прессе, фотографии Дэна с внуками, изображавшие мудрого и умиротворенного патриарха. Движение в сторону реформ и диалога с Западом идет замечательно, неизменно говорилось корреспондентам. Казалось, никто не принимал в расчет, что передача экономических дел в руки Ли Пэна может повлечь за собой существенные изменения в политическом курсе.

Во внутренних партийных кругах борьба за будущее Китая продолжалась. Осенью Дэну удалось частично отстоять Чжао; новые атаки последовали в январе 1989 года. И снова Дэн защитил Чжао. Затем на некоторое время внимание враждующих переключилось на предстоящий визит Михаила Горбачева. Некоторые предсказывали, что двадцатилетняя вражда двух государств закончится триумфом Дэна. Сначала русские осмеяли политику Дэн Сяопина, теперь же они пристально изучали его идеи. Советский посол в Китае, Олег Трояновский, едва успевал отвечать на вопросы Москвы.

В «Элегию о Желтой реке» было пущено несколько критических стрел, но ее

[1] Название трактата XI века, содержавшего наставления и поучения императору с приведением примеров из истории Китая.

авторы уже работали над новым большим документальным фильмом, посвященным событиям 4 мая 1919 года — первой студенческой демонстрации, изменившей судьбу Китая.

8 апреля 1989 года Ху Яобан присутствовал на заседании Политбюро, обсуждавшем новые законы об образовании. Во время доклада Ли Теина, члена Политбюро, ответственного за систему образования, у Ху случился сердечный приступ. Врачей рядом не оказалось, и его срочно отвезли в больницу. Ли Пэн и иже с ним приложили неимоверные усилия, чтобы погасить волну слухов, утверждавших, что приступ последовал в результате острых дискуссий. Яобану удалось частично оправиться от болезни, однако 15 апреля, во время утреннего туалета, он умер от повторного приступа.

Смерть Ху Яобана резко изменила политический климат Китая. Ему было 73 года, и пик его карьеры был уже позади; его нельзя было назвать героем пекинских студентов после разгона их демонстраций в 1987 году. Но теперь в одночасье он стал их знаменем.

Когда новости о смерти Ху Яобана прокатились по Пекину, студенты не совсем понимали, что надо делать. Наконец один написал что-то на длинном рулоне компьютерной бумаги и вывесил его за окно. Надпись гласила: «Яобан мертв. Мы скорбим». 17 апреля в Пекинском университете появилось несколько плакатов. В одном было сказано: «Тот, кому следовало умереть, не умер, тот, кому не следовало, умер».

Во вторник 18 апреля первая, довольно скромная делегация студентов (всего 1000 человек) проделала 10-тимильный марш к площади Тяньаньмэнь. Один австралийский бизнесмен с женой выходил из Пекинского концертного зала как раз в тот момент, когда студенты подходили к Воротам Нового Китая, где некогда стояла Башня Томления Благоуханной Жены. За воротами виднелась резиденция китайских руководителей Чжуннаньхай и старый павильон «Изучение Благоухания Хризантем», достопримечательность, доступная ныне лишь привилегированным посетителям; окна излюбленного председателем Мао павильона были защищены желтыми, непроницаемыми для взглядов стеклами. Студенты не знали, что Дэн Сяопин уже много лет не живет в Чжуннаньхае, а президент Ян Шанкунь здесь вовсе никогда не жил, что вообще мало кто из ведущих лидеров обитает ныне во дворце. Они (студенты), как и весь Китай, до сих пор считали Чжуннаньхай синонимом китайской власти, как это было во времена Мао.

Этим же вечером пекинский студент по имени Шэнь Тун, живший неподалеку от улицы Сидань, подъехал со своим другом к Воротам Нового Китая. Они слезли с велосипедов и примкнули к толпе, глазевшей на студентов, молча сидящих на тротуаре у Ворот. Шэнь Тун отпечатал 300 листовок, гласивших: «Последние слова Яобана: Адоу губит нацию». Это была литературная аллюзия вполне в стиле Мао. Адоу был персонажем любимого произведения Мао Цзэдуна «Троецарствие». Когда умер король-отец Лю Бэй, глупый Адоу наследовал трон и погубил царство. Студенты сравнивали Ли Пэна с Адоу, намекая, что первый получил высокий пост только благодаря тому, что был приемным сыном Чжоу Эньлая, будучи при этом столь же бездарным, как и вышеупомянутый литературный персонаж.

Студенты бросили листовки в толпу. Пока они бежали к велосипедам, они успели услышать бормотание толпы: «Кто такой Адоу?»

Ни студенты, ни Дэн и его окружение вначале не осознавали, что грядет решительное противостояние. Хотя студенты воспринимали смерть Ху как повод для демонстраций, им самим еще не было ясно, какие требования следует выдвигать. Поначалу они говорили преимущественно о своих собственных проблемах: жилищных условиях, плохом питании, маленьких стипендиях. У них не было настоящего лидера; в ходе демонстрации им удалось сформировать лишь аморфную коалицию.

Правительство тоже пребывало в нерешительности, пока пустив в дело только полицию и людей в штатском. Оно установило наблюдение за студентами, сидящими у Ворот Нового Китая, оно делало предупреждения. Но во всем этом отсутствовали решимость и наступательность; ни Дэн, ни Чжао Цзыян, ни даже Ли Пэн не действовали согласно «Главному зеркалу в помощь властителю».

Одним из первых и жестких требований, выдвинутых студентами, было требование справедливости по отношению к Ху Яобану, отмены постановления, по которому он был снят с должности партсекретаря, и проведения достойных похорон. Однако это требование быстро забылось по мере ужесточения стычек все растущего числа демонстрантов с полицией. Власти предпринимали все новые усилия, чтобы восстановить контроль над площадью. В тактическом плане правительство на этом этапе потерпело поражение. Отсутствие решительных действий придало студентам смелости. Они предъявили территориальные права на площадь — и выиграли. К 20 апреля полностью наметилась модель будущего развития событий, хотя никто еще этого не осознавал. У правительства, желавшего убрать студентов с площади, была альтернатива: либо выдворить их силой — либо вступить с ними в переговоры безо всяких гарантий на достижение добровольного или вынужденного согласия.

Церемония прощания с Ху Яобаном проходила в субботу, 22 апреля, во Дворце Всекитайского собрания народных представителей, расположенном в восточной части площади Тяньаньмэнь. Чтобы предотвратить очередную студенческую демонстрацию, правительство объявило, что в день похорон площадь будет закрыта. Студенты легко преодолели это препятствие, придя туда накануне ночью. Со дня смерти Ху Яобана прошло семь дней. Уже тогда стало ясно, что правительство реагирует и действует слишком медленно, и хотя студенты пребывали в постоянных дебатах о кандидатуре лидера, даже в таком состоянии им удалось тактически переиграть правительство.

Траурная церемония во Дворце Всекитайского собрания вызвала размежевание сил внутри партии. Ван Гуанмэй, мужественная вдова Лю Шаоци, сопровождала вдову Ху Яобана — Ли Чжао. Маршал Не Жунчжэнь, истинный джентльмен и хранитель партийной чести, предложил вдове свои услуги. Чем он может быть ей полезен? «Верните моему мужу доброе имя»,— ответила она. Чжао Цзыян произнес речь об усопшем, в то время как Дэн Сяопин, Ли Пэн, Ян Шанкунь и старогвардеец Ван Чжэнь выступали в качестве зрителей. Чэнь Юнь и консерватор Бо Ибо не присутствовали на панихиде. Студенты на площади преклонили колени, ожидая, что Ли Пэн выйдет к ним. Он этого не сделал.

Каков мог быть исход? Мнения студенческих лидеров резко разделились. Многие считали, что нет смысла бастовать после того, как Ху Яобану было воздано должное уважение. С другой стороны, правительство явно считало, что готовность к переговорам со студентами будет расценена как проявление слабости. Император приказывает, и ему повинуются — иначе он не император.

Это была серьезная дилемма. Студенты не могли знать, что Тяньаньмэнь представляет собою игру в игре. Это была силовая борьба не только между студентами и правительством, но и внутри правительства. Сможет ли Дэн Сяопин далее управлять колесницей революции, снова сплотить свою коалицию, разрешить тлеющий конфликт между Чжао Цзыяном и Ли Пэном, или все здание неизбежно рухнет с потерей Небесного мандата. Проблема было действительно огромной.

Трагедия неотвратимо приближалась. Чжао Цзыян должен был, согласно правительственному протоколу, посетить Пхеньян — в последнее время отношения с Ким Ир Сеном стали портиться. Со времен войны начала 50-х годов Северная Корея была неизменным и ценным союзником Китая. Так что об отмене или перенесении сроков визита не могло быть и речи. Вопрос «Что делать?» постоянно возникал и обсуждался во внутрипартийных кругах. Отъезжающий Чжао Цзыян стоял за переговоры, старцы требовали решительных действий; Чэнь Юнь, Бо Ибо, Ли Сяньнянь и — в конце концов — Ли Пэн присоединились ко второму мнению.

Часы неумолимо отсчитывали время. 15-го мая ожидался визит Михаила Горбачева, и правительство уже вовсю готовилось к его приезду. Тяньаньмэнь к визиту Горбачева должна быть чиста. Глаза международной общественности были прикованы к Пекину. Люди Дэна считали, что правительство проявляет непростительную слабость.

Отъезд Чжао Цзыяна в Пхеньян был намечен на воскресенье 23 апреля. Предпринимались отчаянные попытки принять какое-нибудь решение касательно студентов, пока он не отбыл в Корею. Противники Чжао утверждали, что он отказался прийти на воскресное утреннее заседание Политбюро, посвященное этой проблеме. Сам Чжао говорил, что перед отъездом он в общих чертах согласился с идеей жесткого подхода, однако конкретных деталей не обсуждал.

26 апреля в «Жэньминь жибао» появилась передовая статья, где осуждалась антипартийная и антиправительственная сущность демонстрации, «откровенное покушение на власть». Это был «сознательный заговор и нарушение общественного порядка». Снова и снова мелькали в статье слова «беспорядок», «хаос». Эти же слова — «луань» и «дунлуань» слетали с губ глашатаев Дэна, пробуждая тягостные воспоминания о маоистской «культурной революции». Чжао Цзыян между тем благополучно отбыл в Пхеньян.

Главное, однако, заключалось в том, что статья в «Жэньминь жибао» отражала точку зрения Дэн Сяопина. Он, очевидно, наконец решил, что император должен либо действовать, либо потерять Небесный мандат.

Вернувшись из Пхеньяна, Чжао не замедлил предъявить претензии, что опубликованный вариант передовицы от 26 апреля сильно отличается от того, который он одобрил. Возможно, дело обстояло именно так, но последнее слово принадлежало все же хозяину — Дэну. В результате статья только больше подхлестнула студентов: 27 апреля демонстранты представляли собой внушительное зрелище — свыше полумиллиона человек собрались на площади Тяньаньмэнь.

Чжао Цзыян публично занял умеренную позицию. Между тем студенты готовились к новой большой демонстрации, приуроченной к 4 мая, 70-летней годовщине начала китайского студенческого движения (1919 г.).

Ни с одной стороны не предпринималось никаких видимых попыток предотвратить надвигающуюся бурю.

Первая и самая лучшая возможность положить конец противостоянию без насилия и кровопролития представилась по возвращении Чжао Цзыяна из Пхеньяна (возможно, впрочем, это была только видимость, ибо конфликт между Чжао и Ли Пэном зашел слишком далеко для достижения какого-либо компромисса). В студенческом движении образовалась сильная фракция, ратующая за прекращение демонстрации. Наметился некоторый спад активности. Юань Му, ставленник Ли Пэна, делал вид, что правительство готово к переговорам. Он встретился с некоторыми студентами, но разговор быстро превратился в помпезный «диалог». У Чжао Цзыяна состоялся разговор с Азиатским банком развития, где он дал понять, что правительство склонно начать переговоры. Студенты требуют лишь того, чего хочет и само правительство, говорил он,— демократии, борьбы с коррупцией и инфляцией. В общем, ничего особенного. И здесь нет никакого заговора; передовица в «Жэньминь жибао» от 26 апреля была несправедливой. Чжао созвал всех начальников, ответственных за пропаганду, и приказал ослабить контроль над прессой и ТВ, чтобы появилась хотя бы небольшая информация о студентах.

Это совпало с огромным наплывом международных тележурналистов и репортеров, приехавших в Китай для освещения переговоров Дэн Сяопина с Горбачевым. Они наладили отличные линии связи с Нью-Йорком и Токио и наводнили мир репортажами о студентах. Китай с головой погрузился в мировую видеованну, какая ему и не снилась. К сожалению, я подозреваю, что ни Дэн, ни партийные старейшины так и не смогли усвоить этот очевидный факт. Так или иначе уже было слишком поздно предпринимать любые акции против Тяньаньмэни до приезда Горбачева (15 мая).

Насколько нам известно, ни Дэн, ни Ян Шанкунь ни разу лично не взглянули на площадь. Сын Яна, фотограф-любитель, побывал на площади и, как рассказывают, объявил отцу: «Это революция!» Нескольких партстарейшин провели по подземным туннелям к наблюдательному пункту, расположенному на четвертом этаже Дворца Всекитайского собрания, откуда они в бинокли могли лицезреть события. Вид десятков тысяч юнцов в потертых майках, красных повязках на головах, горы мусора, скопившегося на тротуарах, наверняка испугали наблюдателей. Многие из стариков уже пережили ужасный опыт общения с маоистскими хунвэйбинами. Толпа юнцов заставила их содрогнуться; вряд ли они поняли, что молодыми людьми движут прежде всего идеализм и патриотизм. Огромная толпа на площади Тяньаньмэнь должна была породить воспоминание о «луани», о развязанных Мао бесчинствах. Больше всего на свете они боялись восстания масс, что обнаружил еще в 1972 году во время визита Никсона в Китай один фотограф из Эн-би-си, снимавший поток людей на улицах Шанхая. Когда толпа стала нарастать, сопровождавший его китаец впал в истерику. «Пожалуйста,— взмолился он,— немедленно уходите

отсюда. Вы возбуждаете массы». Фотограф убедился, что его страх был искренним, и потому не стал настаивать. Партстарейшины вдоволь насмотрелись на массы при царствовании Мао, и они не жаждали пережить эти ощущения еще раз.

Нельзя сказать, что правительство совсем не готовилось к бою. Оно тайно изучало японский и южнокорейский опыт обуздания демонстраций. В Южной Корее были убиты сотни людей, но зато наведен порядок. На многих китайских руководителей южнокорейская модель произвела большое впечатление. Возможно, это и есть тот верный способ удерживать миллионы людей на рабочих местах даже при наличии некоторых дополнительных свобод.

Сотрудники Комитета общественной безопасности закупили импортные средства для усмирения мятежей — слезоточивые газы, гранаты нервного действия, каски и металлические щиты; среди этих средств, однако, не оказалось водяных пушек и водометов.

Спецподразделения, подобно тем, которые охраняли Чжуннаньхай, прошли особую подготовку по подавлению бунтов. Маленькие видеокамеры были установлены на фонарных столбах площади и на перекрестках улиц. Электронное табло в Комитете безопасности фиксировало все происходящее на площади и записывало на пленку для дальнейшего изучения и идентификации личностей. Большие фрагменты этой черно-белой видеозаписи показывались по китайскому, а также и по американскому ТВ.

Армия тоже приняла меры предосторожности. В последние 2—3 года личному составу запрещалось читать газеты, слушать радио или смотреть телевизор. Разрешалась лишь строго цензурированная информация. Армия хотела, чтобы при усмирении гражданского населения у солдат не возникало сомнений по поводу своего долга.

Почему войска общественной безопасности вместо пулеметов не воспользовались водометами и резиновыми пулями? Объяснений на сей счет так и не последовало. В качестве предположения был выдвинут тезис о том, что кому-то из командования захотелось «пролить немножко крови» (по словам Дэн Сяопина). А ведь у него был выбор: если бы не жаждал крови он, армия и полиция действовали бы по приказу.

Когда Горбачев 15 мая прибыл в Китай, Дэн даже и не пытался скрыть досаду и унижение из-за невозможности попотчевать гостя традиционной торжественной церемонией на Тяньаньмэни. Студенты полностью завладели площадью и объявили голодную забастовку. Американское ТВ уделяло больше внимания голодной забастовке, нежели встрече Дэн Сяопина и Горбачева. Благодаря электронике мир примостился на крылечке Тяньаньмэни. Дэн, очевидно, не понимал этого, да и неоднократные попытки втолковать это Ян Шанкуню тоже не увенчались успехом. Они никак не могли взять в толк, что Китай стал частью мировой деревни.

Студенты, напротив, в новом электронном мире чувствовали себя как рыбы в воде. Многие из них побывали в Америке; они-то прекрасно знали о возможностях мгновенной связи, в отличие от Дэна и Чэнь Юня, для которых коммуникативные средства по-прежнему ассоциировались с медным ключом аппарата Морзе и гектографом.

Армия для своих неотложных нужд приобрела импортную французскую телефонную систему вместо устаревшей китайской. Студенты использовали это замечательное оборудование для установления факсовой связи с Кембриджем, Оксфордом, Сорбонной, Гарвардом, Калифорнийским техническим университетом, Беркли. Весь студенческий мир знал, что творится на площади Тяньаньмэнь прежде, чем узнавал об этом Дэн через своих секретарей. Демонстранты успевали распространить новости по всему Китаю до того, как Агентство новостей Синьхуа выходило с информацией в эфир. Таким образом, студенческая версия событий опережала правительственную.

Горбачев улетал из Пекина в Шанхай 17 мая. Перед его отлетом Чжао поведал ему то, что уже и так знал весь мир,— что Дэн Сяопин все еще хозяин у себя в правительственном доме. В 1987 году Центральный Комитет решил, что ни одно важное решение не будет принято без согласия Дэна, имеющего право вето. Впоследствии Чжао был обвинен в разглашении Горбачеву «государственной тайны».

Трудно удержаться от соблазна пофилософствовать, особенно в свете последних событий в Советском Союзе и Китае, что́ могло бы произойти, если бы встреча Дэна и Горбачева состоялась в нормальных условиях. Оба олицетворяли собою перемены и реформы. Оба, особенно Дэн, рассматривали этот саммит как ознаменование конца более чем двадцатилетней холодной (и временами горячей) войны; оба, кроме того, видели в нем способ усиления своих позиций в борьбе против реакционных сил и возможность нового импульса в деле перестройки архаической политической и экономической системы своей страны. Этому не суждено было свершиться. Первый и ужасный удар, нанесенный им событиями на площади Тяньаньмэнь — неожиданный и непонятный им обоим,— сокрушил их, во многом сходные, концепции будущего.

Пульс времени учащался. За день до отъезда Горбачева на площади собрался миллион человек. К этому моменту Дэн и Ян, очевидно, уже укрылись в подземном противоядерном бункере на Восточных холмах, откуда Дэн улетел в Ухань для встречи с местным армейским командованием. Он не хотел никаких неожиданных сюрпризов, когда дело дойдет до приказов, ибо он знал, что многим они не понравятся, поскольку мистическое заклинание «армия любит народ, народ любит армию» глубоко укоренилось в душах китайцев.

Студенты, между тем, покорили сердца пекинцев. Китай никогда не видел ничего подобного — сотни тысяч людей дефилировали в сторону площади, домохозяйки носили еду, медицинская помощь приезжала, чтобы обеспечить уход за голодающими, государственные служащие несли транспаранты с указанием их отрасли промышленности: министерство нефти и газа, министерство угольной промышленности, государственное планирование, министерство иностранных дел. Сюда приходили даже гражданские служащие министерства обороны, «Жэньминь жибао» прислала своих представителей, то же сделало и государственное ТВ. Молодые работники ТВ скандировали: «Мы лжем. Не верьте нам». Металлургический комбинат «Шоуду», самое крупное предприятие Пекина, следуя примеру профсоюзов и пекинского завода «Джип», делегировал на площадь группу рабочих. «Я и мои друзья бываем здесь каждый день,— заявляла жена одного очень высокопоставленного чиновника, живущего в квартале Мусюйди на улице Чананьцзе.— Мы всей душой на стороне студентов». Говорили, что даже глава министерства внешней торговли и внешнеэкономических связей Жун Ижень благосклонно взирал на студентов с высоты 23-этажного небоскреба и даже якобы внес личные пожертвования.

На заре протеста главной мишенью демонстрантов был Ли Пэн, поскольку либеральная репутация Дэна отчасти спасала его от поношений. Когда Дэн пришел к власти, студенты размахивали маленькими бутылками (Сяопин означает «бутылочка») и кричали: «Привет, Сяопин!» — как будто он был их любимым футбольным тренером. Теперь же они принялись бить бутылочки на площади, и вслед за тем у демонстрантов появились надписи: «Долой императора!»

Студенты проводили черту между Императором Мао и Императором Дэном, Большим и Малым. Один китайский аристократ, чей дед служил министром при вдовствующей императрице, заметил: «Мао был истинным сыном Неба, а Дэн в истории с Тяньаньмэнью выглядит скорее как последний император». Это был злой намек на бесплодного последнего императора Китая Генри Пуи. Однако в шутке была изрядная доля правды. Дэну изменило истинное императорское величие. Мао казался сыном Неба, даже когда он, подобно Юпитеру, творил хаос (луань) во имя преобразования мира. В устах же Дэна термин «дунлуань» звучал уже дешевым подражанием. В стихотворении 1963 года Мао написал: «Лови день, лови час!» Дэн упустил и день и час.

Тяньаньмэнь

На протяжении всего периода, пока длились события на площади Тяньаньмэнь, несколько раз возникала возможность избежать бойни и кровопролития, однако Дэн ни разу не пожелал воспользоваться случаем. Даже к исходу третьей недели мая еще существовали пути мирного урегулирования конфликта. Это был короткий промежуток времени, но вполне достаточный, чтобы начать мирные переговоры.

Когда Дэн отбыл в Ухань для совещания с военным командованием, Ли Пэн и Чжао Цзыян, пользуясь его отсутствием, посетили в больнице голодающих забастовщиков. Ли Пэн был суров, Чжао, напротив,— дружелюбен. Оба пытались убедить студентов прекратить голодовку, то есть сделать первый шаг к переговорам. На следующий день Ли Пэн встретился со студентами во Дворце Всекитайского собрания и снова выдвинул в качестве главной цели этой встречи (прошедшей в напряженной, агрессивной атмосфере) требование прекратить голодовку. Только при этом условии можно думать о начале переговоров.

На встрече присутствовал человек, который мог найти выход из тупика,— это был Янь Минфу, бывший личный русский переводчик Мао. Он был неизвестен во внешних политических кругах и потому беспрепятственно общался со студентами на площади и на регулярных встречах, проводившихся с середины мая в его кабинете. Интеллигентный и доброжелательный Янь, будучи руководителем организации «Единый фронт», сыном ближайшего подпольного соратника Чжоу Эньлая и протеже ультраконсервативного старогвардейца Пэн Чжэня, пользовался беспрецедентным доверием партии. Янь получил дополнительные полномочия, с тем чтобы подготовить почву для переговоров со студентами.

Янь Минфу был близок к успеху несмотря на упрямство и непредсказуемое поведение студентов и обструкцию со стороны Ли Пэна. Он все-таки завоевал доверие студентов, но в результате потерял доверие Дэн Сяопина из-за очевидного саботажа Ли Пэна, который в своей политической карьере делал ставку на победу в конфронтации и потому не желал примирения.

Чжао Цзыян был активным сторонником мягкого курса; он заявил, что пойдет на Тяньаньмэнь и поговорит со студентами. В 5 часов утра 19 мая взволнованный Чжао направился на площадь, вошел в автобус, где лежали голодающие забастовщики, и почти слезно просил простить его за то, что он пришел «слишком поздно». Он говорил, что студенты требуют лишь то, к чему стремится само правительство; он не упоминал ни о «луани», ни о конфронтации. Он умолял их прекратить голодную забастовку, пока дело не дошло до жертв. Ли Пэн, с суровым видом стоявший позади Чжао, через несколько минут покинул площадь; он настоял на своем присутствии, боясь неожиданных шагов Чжао.

Это было последнее публичное выступление Чжао. Он не присутствовал на заседании Политбюро в этот день и через 10 дней был снят с должности партсекретаря.

Студенты, чья решимость уже пошла на спад, почувствовали, что Ли Пэн и Чжао Цзыян находятся в состоянии конфронтации и что Чжао теряет власть. Этим же вечером они прекратили голодовку. Если бы правительство воспользовалось благоприятным моментом, демонстрация бы закончилась в течение нескольких часов. Однако возможность была упущена.

Дэн Сяопин образца 1978 года, несомненно, использовал бы шанс ради сохранения мира, но не таков был суровый старец Дэн в 1989 году. Он (абсолютно некстати) объявил о введении чрезвычайного положения в стране для борьбы с «луанью».

В конфиденциальной беседе с высшим генералитетом Ян Шанкунь уделил особое внимание проблеме «луани»; когда он говорил, казалось, он пытался сам себя убедить, что опасность действительно существует. В качестве примера он сослался на сообщение, что на трассе между Уханем и Гуандуном остановлен пассажирский поезд (студенты захватили железнодорожный мост через Янцзы). Для тех, кто помнил, как во времена маоистской «луани» хунвэйбины целый год блокировали железнодорожное сообщение с Шанхаем, пример был не особенно впечатляющим.

Ответом студентов и горожан на введение Дэном режима чрезвычайного положения стало неповиновение. Не внемля рекомендации «Главного зеркала в помощь властителю» о необходимости решительных и быстрых действий, Дэн Сяопин не претворил закон в действительность. Студенты устроили очередную огромную демонстрацию. Вскоре, однако, пополз слух о том, что к Пекину из провинции тайно движутся войска.

К 27—28 мая стало очевидно, что пар из Тяньаньмэньского котла почти весь вышел. Студенты расходились по домам, оставшиеся были, как правило, иногород-

ними. На площади организовали голосование — 220 институтов стояли за уход, 160 — за то, чтобы остаться. Прекрасная смутьянка Чай Лин, героиня голодной забастовки, решила покинуть площадь. Она провела весь день в прощаниях и, наконец, согласилась побыть со всеми еще немного. Энергичный, но неуравновешенный Уркайси принял решение выйти из игры, так же поступил и более флегматичный и деловой Ван Дань. Студенты начали ссориться друг с другом, одна из фракций пыталась даже похитить Чай Лин, чтобы допросить ее, как и куда она распределяла добровольные пожертвования.

Пожалуй, никогда еще не представлялся столь удобный случай, чтобы мирно завершить конфликт. Правительство, однако, не делало никаких шагов в этом направлении; Дэн стремился показать, что у него есть сила — и желание ее продемонстрировать, ибо, как писалось в старинных указах: «Люди, повинуйтесь и трепещите!».

Студии Центральной академии изящных искусств расположены к востоку от Запретного города; студенты академии участвовали в демонстрации с самых первых ее дней. Теперь лидеры Тяньаньмэни обратились к ним с просьбой. Шанхайские студенты несли во время шествий муляжи статуи Свободы. Могла бы академия срочно сделать такую же копию для Тяньаньмэни?

Лидеры понимали, что, если не предпринять что-нибудь решительное, демонстрация провалится. На дворе стояло уже 26 мая. Сможет ли академия сделать статую за 3 дня? Скульпторы согласились рискнуть, но только это будет не копия статуи Свободы, а китайская богиня демократии.

У юных скульпторов не было времени для изысков. За основу они взяли 4,5-футовую глиняную учебную модель, изображавшую обнаженного мужчину, держащего двумя руками шест. Они обрезали нижнюю часть шеста, верхнюю превратили в факел, выпрямили фигуру, придав ей тем самым более приемлемую позу, и переделали мужчину в женщину. Ему прилепили бюст, европейские черты лица и ниспадающую складками тунику. Сие творение стало моделью для 37-футовой статуи, изготовленной из пенопласта, положенного поверх металлического каркаса и покрытого «для эстетики» тонким слоем штукатурки. Студенты распилили ее на 4 части, погрузили на велосипедные тележки и на глазах изумленных прохожих и полицейских покатили по улице Ванфуцзин к улице Чананьцзе. Никто пальцем не шевельнул, чтобы остановить их.

Статую на Тяньаньмэнь привезли 29 мая, примерно в пол-одиннадцатого вечера. Всю ночь студенты монтировали статую и водружали ее на шестифутовый постамент прямо напротив портрета Мао Цзэдуна на Тяньаньмэньской стене. Во всех телесюжетах, связанных с Богиней, неизменно на заднем плане мелькало — в виде декорации — яйцевидное лицо Мао.

Это было последнее средство. Если статуя не оживит демонстрацию, лидерам придется снимать все требования. Вечером 30 мая тысячи пекинцев вновь стеклись к Тяньаньмэни. Отток демонстрантов значительно сократился, хотя люди все еще прибывали. ТВ полюбило статую, клипы с ее изображением показывались по всему миру. Богиня символизировала: «Демонстрация на площади Тяньаньмэнь жива! Она продолжается!». Однако государственные старцы восприняли смысл статуи совсем по-иному. Для них это была последняя капля; последовали приказы ускорить подготовку по очистке площади от демонстрантов.

Богиня демократии вдохнула силы в измученных, усталых и обескураженных студенческих лидеров. Но даже и они понимали, что конец неотвратимо приближается. Ряды бастующих таяли, 2 июня после полудня площадь наполовину опустела. К вечеру она была бы совсем пустой, если бы не приехал тайваньский рок-певец Хоу Дэцзянь, покинувший Китай несколько лет назад и необычайно популярный среди молодежи. Он заявил, что присоединяется к голодовке (к тому времени прекращенной) и весь вечер будет петь для них на площади. Это привлекло несколько тысяч молодых людей, но после концерта они разошлись по домам.

Пожалуй, в этот момент студенческое движение переживало свой самый кризисный момент. Всю последнюю неделю город полнился слухами о приближении войск. 29 и 30 мая военные колонны показались на примыкающих к площади улицах. При появлении первой колонны люди высыпали на улицу, остановили ее

и стали убеждать солдат, что они — народная армия и не могут убивать свой народ. Молодые солдаты, в основном провинциалы (многие даже не знали, что они в Пекине), смутились, некоторые заплакали. Часто солдаты покидали свои машины и скрывались.

Решение о наступлении на Тяньаньмэнь 3—4 июня было принято, очевидно, в пятницу, 2 июня. Дэн Сяопин в принципе одобрил план, но разработку деталей возложил на Ян Шанкуня. Выполнять операцию поручено было 27-й и 38-й армиям. 27-я считалась лучшим соединением Народно-освободительной армии и дислоцировалась на большой военной базе в городе Шицзячжуане к юго-западу от столицы. 38-я армия входила в состав пекинского гарнизона, и ее командующий не одобрял намеченного мероприятия, за что и был уволен сразу после его проведения. Армии были усилены частями, присланными из всех военных округов Китая. Если уж крови суждено пролиться, то все должны принять в этом участие.

В партийных кругах циркулировал слух, что наступление назначено на конец недели. Хорошо информированные источники утверждали, что удар будет нанесен в субботу, 3 июня. В Мусюйди и другие государственные структуры поступали сообщения, подчеркивающие исключительно мирный характер готовящейся военной операции. Если прольется хоть одна капля крови, говорили люди, вся страна придет в движение. Армия не будет убивать студентов, она просто прогонит их с Тяньаньмэни.

«Вражеские элементы» проникли в ряды студенчества, спровоцировав «луань», заявляло правительство. Что это за элементы, правительство предпочло не конкретизировать. Проскользнули смутные намеки и на вмешательство иностранных агентов — предположительно из ЦРУ, тайваньской и гонконгской разведок. Действительно, агенты названных разведок присутствовали на площади, но ничто не указывало на то, что они играют какую-либо роль в этом процессе, если не считать их роли посредников в передаче средств из Гонконга.

Впрочем, один элемент действительно поднял голову в Пекине с приходом войск — безработная молодежь. В столице скопилось около миллиона молодых людей, преимущественно из провинции, потерявших всякую надежду найти работу. Когда разразилась катастрофа, они приняли горячее участие в самых ужасающих бесчинствах, о чем правительство тактично умалчивало.

Существовал еще один фактор, никогда не упоминавшийся в правительственных заявлениях, но чрезвычайно беспокоивший старейшин: растущее число заводских рабочих и мелких служащих, примкнувших к демонстрантам. Объединение этих трех слоев населения повергло ортодоксальных марксистов в ужас, ибо во времена их революции ничего подобного — подлинного восстания пролетариата — не случалось, причем не за, а против коммунизма.

В ранних сумерках 3 июня, теплым субботним вечером, когда пекинцы ходили по магазинам или прогуливались по бульварам и паркам, закон о чрезвычайном положении наконец вступил в силу, и началась операция по подавлению демонстрантов.

Задействованные в этом финальном акте войска разительно отличались от войск, виденных жителями Пекина накануне. Это было нашествие бронетехники — танков, БТР; тонны и тонны металла. Когда они двинулись по пекинским проспектам, гремя гусеницами, рыча моторами, весь мир потонул в шуме, который еще усугублялся тяжелыми и гулкими артиллерийскими выстрелами. На главных перекрестках города, особенно в центре, жители возвели баррикады из автобусов, перевернутых такси и частных легковушек.

Двигаясь вдоль бульваров, танки с дальнего расстояния обстреливали баррикады, убивая и калеча множество людей. Пекинцы запрудили улицы, пытаясь применить ту же тактику «живой стены», которая накануне помогла остановить моторизованные части. Однако данная тактика была бессильна перед танком, который проходил прямо сквозь человеческую стену, оставляя за собой груды искалеченных тел. К тому же чудовищный грохот моторов заглушал крики, и войска не слышали, что им хотят сказать.

Первые столкновения бронетехники с людьми произошли вдали от центра столицы и не были зафиксированы ни иностранными, ни китайскими журналистами. Два китайских работника радио стали случайными свидетелями бойни, произошедшей в западной части Пекина по соседству с их домом. Они как раз вышли на улицу

и, присев на корточки у пыльной обочины, беседовали о Тяньаньмэни. Вокруг были толпы людей, готовых блокировать военные колонны.

Услышав рев приближающейся колонны, несколько тысяч людей разом ринулись на бульвар. Однако бронеколонна обстреляла толпу и, двигаясь со скоростью 30 миль в час, прошла сквозь нее. Оба журналиста своими глазами видели, как танки на полном ходу давили кричащих людей. Им показалось, что пострадало не меньше тысячи человек (возможно, они несколько преувеличили). Окрестные больницы были переполнены жертвами, а это было всего лишь одно из многочисленных столкновений.

Жестокий бой произошел в Мусюйди. Тяжелое танковое подразделение двигалось по улице Фусинмэнь, стреляя на подъезде к каждому перекрестку. На углу улицы Саньлихэ, прямо напротив квартала престижных домов, у танка заглох мотор. Командир экипажа не знал, что здесь живут самые влиятельные китайские граждане, и принялся стрелять неприцельным огнем по зданиям, в результате чего пострадало около дюжины человек, в том числе сын дипломата и бывший чиновник министерства иностранных дел. Разъяренные горожане стали кидать в танк бутылки с зажигательной смесью, и вспыхнула ожесточенная битва. Многие были в таком бешенстве, что требовали линчевать солдат НОА. Находчивость одного из жителей спасла немало человеческих жизней. «Пусть они снимут форму,— закричал он,— без нее они уже не солдаты». Солдаты послушно сняли форму и остались в одном нижнем белье. Добродушные пекинцы сжалились над ними, отвели их к себе на квартиры, накормили и приветили испуганных людей. А затем вновь принялись бросать бутылки со смесью в проезжающие танки.

На бульваре, расположенном за кварталом Мусюйди, стоял памятник в честь какого-то китайского олимпийского чемпиона. В понедельник 5 июня студенты повязали статуе траурную нарукавную повязку и бросили к ее подножию окровавленную рубашку, таким образом превратив монумент в надгробный обелиск. Один из солдат строительного батальона, расчищавшего улицы от завалов, с удивлением спросил: «Почему они так чтят эту статую?» На следующий день повязка и рубашка исчезли, зато появился взвод солдат, взявших статую под охрану. Кто-то оказался понятливее стройбатовца.

Другое кровавое побоище разыгралось на подступах к Тяньаньмэни, возле отеля «Минцзу». Один австралийский бизнесмен, пообедав с женой рядом с отелем «Пекин», отправил ее домой на такси, а сам решил проехаться на велосипеде. Он попал в самую гущу автоматного огня, летящих бутылок с «коктейлем Молотова»; вокруг стреляли из всех видов оружия, похищенного с армейских складов. Ему удалось ползком добраться до гостиницы «Минцзу», и вскоре он уже помогал переносить мертвых, умирающих и раненых в вестибюль отеля. Их всех укладывали рядами, пока, наконец, с заднего двора не стали подъезжать машины «скорой помощи» и увозить тела в больницы и морги. Многие пострадавшие были из отрядов вооруженной полиции, их разбитые лица и раскроенные черепа свидетельствовали о зверских избиениях. Время от времени из-за кустов, растущих вокруг отеля, выскакивали отчаянные молодые люди, бросались к улице Чананьцзе, кидали гранату в проезжающий танк и скрывались под аккомпанемент яростной стрельбы. Наконец, битва затихла, и в три часа ночи австралиец вернулся к тому перекрестку, где его застиг огонь и где ему пришлось бросить велосипед. Бульвар был буквально усеян грудами оставленных велосипедов, однако ему все же удалось найти свой, так и лежавший под той пальмой, где он его бросил, и он, оседлав машину, поехал домой, весь пропитанный пóтом и кровью несчастных, которым он пытался помочь.

Около половины третьего ночи первые танки показались на площади Тяньаньмэнь. Их встречало несколько тысяч демонстрантов, сгрудившихся в жалком палаточном городке; некоторые из них спали, некоторые были больны. Студенты прекрасно осознавали, что их ждет, ибо гонцы успели разнести весть о кровавом продвижении танков, и они не надеялись на пощаду.

Небольшая группа репортеров и тележурналистов (и среди них несколько американских) остались на площади, чтобы запечатлеть последний акт драмы. Он разыгрался у памятника погибшим героям, где располагался штаб забастовщиков и куда подтянулись со всех сторон площади разрозненные группы манифестантов. Телевизионщики, экипированные переговорными устройствами, держали постоян-

ную связь со своими информационными агентствами в Пекине. Их иногда напрямую подключали к нью-йоркской информационной сети для прямой трансляции событий на площади.

Оказавшись на площади, войска действовали осмотрительно. Им был дан приказ не устраивать кровопролития и насилия при свидетелях и ТВ, и посему свой первый удар они нанесли по телекамерам. Два телеоператора из Си-би-эс лишились камер, были избиты и провели ночь в Запретном городе. Другие, включая гонконгских и тайваньских журналистов, были арестованы и освобождены только в воскресенье. И тем не менее, вопреки темноте, хаосу и опасности, телекамеры продолжали работать, а видеоленты записывать. Почти ничто не ускользнуло от их внимания.

Войска медленно сжимали кольцо вокруг демонстрантов: они сбросили с пьедестала Богиню демократии (эту сцену засняли отважные телеоператоры), разметали палаточный городок и пядь за пядью отвоевывали территорию площади.

Ужас охватил людей, когда они осознали, что еще немного — и студенты, сгрудившиеся вокруг памятника погибшим героям, будут уничтожены. Попытки договориться о том, чтобы разрешить демонстрантам покинуть площадь, не увенчались успехом. Наконец, когда на востоке забрезжил робкий рассвет, Хоу Дэцзянь, знаменитый рок-певец, взял на себя инициативу предотвратить побоище. Он буквально умолил военного командира позволить студентам уйти с площади через юго-восточный ее угол. Горстка лидеров было возроптала, что они, дескать, скорее умрут, нежели покинут площадь, однако в 6.20 утра в субботу 4 июня студенты построились в шеренгу и под бдительным оком армии удалились с Тяньаньмэни.

Демонстранты, покидая площадь, сразу попадали в узкий переулок («хутун»), примыкавший к Тяньаньмэни, и что происходило с ними дальше, до сих пор неизвестно. Многие очевидцы событий утверждали, что, как только студенты свернули на узкую улицу, по ним был открыт автоматный огонь, другие клялись, что те, кто вошли в этот «хутун», не вышли из него никогда.

Политической проблемой номер один стал вопрос о жертвах. Правительство заявило, что в результате карательной операции никто не пострадал, что звучало нелепо, учитывая шквал огня вокруг Тяньаньмэни. Правительство даже словом не обмолвилось о сотнях, а может быть, и тысячах мирных обывателей, застреленных на улицах Пекина. Сначала сообщили, что убито всего два солдата, затем подсчет жертв перевалил за сотни. Вероятней всего, цифры таковы: около 2000 человек погибло во время боев в Пекине и приблизительно 300 на самой площади Тяньаньмэнь.

Стрельба продолжалась еще несколько дней. Войска оцепили площадь, причем цепь автоматчиков выстроилась вдоль всей улицы Чананьцзе, которая в течение двух дней (4 и 5-го июня) нещадно обстреливалась с интервалом в 5—10 минут. В результате в воскресенье пострадало изрядное количество жителей (по показаниям людей, наблюдавших из окон отеля «Пекин»). Грохот танковых и противотанковых орудий сотрясал город еще много дней. Улицы были забиты горящими грузовиками, автобусами и военной техникой. Движение в центре было полностью парализовано, и людям приходилось пробираться пешком по узким и извилистым переулкам.

Пекин получил жестокий урок. 9 июня Дэн Сяопин самолично поблагодарил Народно-освободительную армию за доблесть, проявленную в подавлении смуты («луани»), которая, как он выразился, угрожала партии и народу (и, следовательно, ему самому). Дэна сопровождал сияющий Ян Шанкунь, который жал руки мужественным командирам, беспрекословно выполнившим приказ расстреливать всех на своем пути — мужчин, женщин, детей. Войска были награждены специально сделанными в честь этого события медалями. Тяньаньмэнь оставалась под контролем армии в течение нескольких месяцев; семь месяцев в Пекине сохранялся режим чрезвычайного положения. Дэн Сяопин показал свою силу, но она оказалась оборотной стороной его слабости. Скоро он вновь ушел в тень, назначив на освободившийся после отставки Чжао Цзыяна пост партийного секретаря Цзян Цзэминя, бывшего партийного руководителя в Шанхае, человека жизнерадостного, способного, послушного и не слишком агрессивного. Дэн рассматривал его как ядро новой, «молодой» генерации руководителей страны.

В течение нескольких месяцев реакционеры, полностью подчинившие себе пропагандистский аппарат, пытались устроить судебный процесс над Чжао Цзыя-

ном как главным зачинщиком «луани». Однако Дэн решительно пресек эти попытки, поскольку любой суд над Чжао слишком сильно затрагивал его самого. В конце концов Чжао был его человеком и, если уж говорить начистоту, всего лишь выполнял его указания. Дэн и его давний соперник Чэнь Юнь все-таки пришли к единому мнению, что партия и так изрядно пострадала от раздоров, а поэтому лучше всего навести в ней порядок и по возможности залечить раны. Единство и стабильность — и больше никаких «луаней».

«Факты, писанные кровью»

«Главное зеркало в помощь властителю» разъясняет, что передача Небесного мандата осуществляется разными способами: посредством капли яда, удара кинжала или — в современных условиях — пули в затылок. Потеря мандата может произойти в результате завоевания царства пришельцами извне, заговора или медленного угасания династии (как в случае с маньчжурской династией).

Мао Цзэдун завоевал мандат классическим образом — как вождь крестьянской революции, но ему не удалось основать династию. Если бы его сын Аньин не погиб в Корее, он, наверно, вступил бы на престол после смерти отца в качестве законного наследника.

В том, что трон Мао унаследовал один из его главных помощников, не было ничего необычного, подобное неоднократно случалось в прошлом, как свидетельствует «Главное зеркало». Дэн Сяопин честно заработал свой мандат, подтверждение тому — всенародная поддержка. Но кто будет его преемником?

По этому вопросу «Зеркало», к сожалению, ничем не могло помочь, ибо в государственной структуре Нового Китая Дэн Сяопина не было механизма, регулирующего порядок передачи власти. Отсутствие подобного механизма было главным дефектом всех «марксистских» государств XX века, и потому, как правило, поиск наследника каждый раз выливался в архаичную борьбу за власть.

Корона в этом случае (как, например, в средневековой Франции) переходила к тому, кто обладал способностью ее удержать. «Зеркало» в подобных условиях оказывалось куда лучшим учебником, нежели «Манифест Коммунистической партии», а Макиавелли — лучшим наставником, нежели Маркс или Мао. Показное служение Дэна демократии мало что меняло в существе дела. Отнюдь не шовинистический исторический пыл принуждал Мао всю жизнь пристально изучать «Зеркало», побуждал Дэна листать его страницы во время вынужденного пребывания в Наньчане, и уж тем более не он заставил Ху Яобана променять на «Зеркало» своего любимого Альбера Камю после потери должности секретаря КПК в январе 1987 года.

Особенность политической жизни Китая такова, что, если ни у одного претендента на престол нет явного преимущества, обязательно наступают «смутные времена». Китай почти сорок лет — от падения маньчжурской династии в 1911 году до прихода к власти Мао в 1949 году — пребывал в смутах и волнениях. За это время сменилось восемь режимов. Правление Мао и Дэна дало Китаю 40 лет стабильной жизни, если не считать периодов «луани» — «культурной революции» и Тяньаньмэни.

«Зеркало» учит, что в период междуцарствия решающей силой в споре становится армия. Армия привела Мао к Воротам Божественного Мира, армия посадила Дэна на трон и удержала его на нем. «Зеркало», безусловно, одобрило бы доктрину Мао о том, что власть заключена в ружейном стволе. Здравый смысл подсказывал, что армия будет играть первую скрипку и в будущем. Никто, даже студенты и интеллектуалы типа Фан Личжи, не верил, что в XX веке Китаем будет управлять демократическое правительство. Мало кто верил, что два миллиарда человек, которые будут населять Китай к 2050 году, будут жить в стране, основанной на западных принципах демократии — с соперничающими политическими партиями, свободой печати, слова, собраний. Таков был идеал, но Китаю его не достичь и к XXII веку.

Наиболее искушенные в политике китайцы считали, что Дэн мог потерять свой мандат на площади Тяньаньмэнь. Будь Ян Шанкунь на 10 лет моложе, а Ли Пэн —

на порядок смелее, Дэн наверняка отправился бы на заслуженный отдых, где он играл бы с внуками и штудировал «Хронику двадцати четырех династий», ища в ней корень своей политической ошибки.

После Тяньаньмэни Дэн еще глубже ушел в тень от общественных взоров, но он по-прежнему твердо держал в руках все нити, управляющие другими политическими игроками. Подобно вдовствующей императрице Ци Си, контролировавшей политическую сцену из-за шелковой занавески, Дэн Сяопин с помощью Ян Шанкуня направлял события во Дворце Всекитайского собрания и Чжуннаньхае (в ЦК). Достаточно было одного приказания шепотом. И все же антиреформистам и реакционным старцам удалось погубить политическую и экономическую программу Дэна. Никто уже не упоминал о революции Дэна, напротив, автор этих строк — во время долгих разговоров с китайскими партийными лидерами в 1991 году — заметил, что имя Дэна чаще звучало в устах бравшего интервью, нежели его дававшего.

С течением времени становилось все очевидней, что в истории с Тяньаньмэнью больше всех проиграл сам Дэн Сяопин. Он спас свой мандат, но по сути дела отдал его в заклад престарелым противникам реформ. Он мечтал порвать с марксистским режимом в Китае, чтобы дать возможность своей стране выйти на новую дорогу, ведущую в высокоразвитое, технологическое будущее. Однако, как оказалось, Дэн продал свое светлое будущее во имя сумеречного настоящего.

Будь Дэн Сяопин помоложе, он осознал бы свои ошибки и вновь двинулся вперед, но он, похоже, так и не понял, что, собственно, произошло. Не понял этого и Ян Шанкунь. Оба с раздражением слушали дружеские объяснения иностранцев, что мир, наблюдавший по ТВ, как танки давят прекрасных девушек и юношей на площади Тяньаньмэнь, составил себе представление о Китае столь ужасное, что вряд ли удастся это впечатление когда-нибудь сгладить. Попытки же правительства оправдать насилие лишь усугубляли тяжесть содеянного.

Вновь и вновь Дэн и Ян Шанкунь пытались убедить себя и других, что Китай стал жертвой международного заговора. Но с точки зрения тех, кто видел телетрансляции из Китая, на роль заговорщиков могло претендовать только правительство. Великий китайский писатель Лу Синь написал 18 марта 1926 года после расстрела полицией безоружных студентов: «Ложь, писанная чернилами, никогда не скроет фактов, писанных кровью». Правительство терло и терло, но так и не могло стереть следы крови с камней мостовой Тяньаньмэни. Они были все еще видны и почти два года спустя, в апреле 1991 года. Правительство объявило, что памятник погибшим героям нуждается в «реставрации». Но ни долото, ни пескоструй не уничтожили следов, оставленных гусеницами танков на мостовой площади и у подножия памятника ранним утром 4 июня 1989 года. Дэн и Ян Шанкунь так и не осознали, что на Тяньаньмэни вместе со студентами находился весь мир. Телевизор показал то, что не увидели из своих подземных бункеров ощетинившиеся старцы.

Эти трагические события остаются вне пределов исторической памяти Китая. И это далеко не единственный случай. Никто больше не помнит историю девушки из Чанши во времена «культурной революции». Она, как и ее одноклассники, вступила в ряды хунвэйбинов и свято верила в Мао Цзэдуна. Но отряд хунвэйбинов, в котором она состояла, распался на враждующие группировки. Одна из группировок похитила девушку и зверски ее пытала, требуя выдать «секрет». Ей нечего было выдавать. Тогда хунвэйбины привязали ее к скрещенным доскам, раздели, воткнули куски стекла в грудь, горло и гениталии и таскали по улицам, во все горло распевая песню «Алеет Восток», пока она не умерла от потери крови. Никто не поставил памятника этой Орлеанской деве Китая. Никто из высшего руководства не слышал об этой истории и никто не был наказан.

Никто не был наказан за пытки и издевательства над Дэн Пуфаном, за убийство Лю Шаоци, Хэ Луна, Пэн Дэхуая. Суд над Цзян Цин и другими членами Банды проходил практически при закрытых дверях. Подавляющая часть документов эпохи существует только в видеозаписи, сделанной зарубежными телерепортерами. Не было выпущено ни одной разоблачительной книги, не установлено ни одной мемориальной доски в честь мучеников и жертв Тяньаньмэни, ни одного мемориала в их честь в университетах и уж тем более на самой площади. Ни одна улица в Пекине не названа в память тех, кто погиб под гусеницами танков.

Китайцы с уверенностью утверждают, что вторая «культурная революция»

в Китае невозможна. Однако людская память коротка. Китай сильно отстал от России, обнародовавшей преступления Сталина и Ленина. Китайские же руководители скрыли темные преступления Мао в тайных архивах, так что мало что может помешать возрождению маоизма.

Официальные китайские круги выразили глубокое возмущение тем, что после Тяньаньмэни иностранцы резко сократили инвестирование, а многие страны ввели экономические санкции против Китая. Поток туристов превратился в тоненький ручеек. Жун Ижэнь прилагал все усилия, чтобы привлечь новые инвестиции, но, за исключением Южной Кореи и Тайваня, результаты оставались весьма скромными. Потери валюты были весьма ощутимы: 7—8 миллиардов долларов на туризме и столько же на торговле с Гонконгом. Роскошные отели Пекина и Шанхая опустели и превратились во дворцы уныния. Цена, которую Дэн заплатил за Тяньаньмэнь, оказалась большей, чем он воображал. Одни крестьяне остались равнодушными к произошедшим событиям. Они хорошо жили, у них было много еды и дешевых товаров. Конечно, они боялись перемен в политике, однако вполне довольствовались сегодняшним днем.

Дэн смутно чувствовал, что он упустил свой шанс. Вынужденный пойти на союз с партийными старейшинами, он чувствовал себя неловко. Этих людей он в свое время оттолкнул в сторону, дабы расчистить путь своей революции, и вот теперь они наносят ответный удар. Да, конечно, Дэн не возражал, чтобы войска покончили с Тяньаньмэнью, ведь это были его люди, они возвели его на престол, и совершенно естественно, что он обратился к ним.

Будущее — вот что волновало Дэн Сяопина. Он все еще верил в свою революцию, он верил, что Китаю надо порвать старые путы. Он знал, что командная экономика, унаследованная Китаем от России, не способна превратить страну в процветающее индустриальное государство. Но Дэн — и Китай — оказались перед серьезной дилеммой. Распад коммунистического блока в Европе вселил подлинный ужас в сердца бюрократов и престарелых лидеров. Они не обрадовались, когда в 1989 году рухнула Берлинская стена, они не вдохновились зрелищем толп, приветствовавших падение коммунизма в Чехословакии и Венгрии, но ужасней всего оказалась судьба Николае Чаушеску, их самого верного союзника. Когда по китайскому ТВ показали последние минуты жизни Чаушеску и его жены (24 декабря 1989 года) — как они, кутаясь в пальто, стояли у голой стены, а потом лежали в лужах крови во дворе,— китайское руководство содрогнулось. Если бы не благословенный исход событий на Тяньаньмэни, они бы закончили свой земной путь так же.

Сумерки коммунистических богов наступали и для китайских партийных старейшин. Затем пала Москва, и их ужас перерос в панику. Сможет ли Китай противостоять развалу коммунистического мира? Китай годами развивался в изоляции, но его всегда подпирало мощное плечо Советского Союза. Даже в самые кризисные времена их взаимоотношений Союз по-прежнему воспринимался оплотом. Сможет ли Китай уцелеть как единственная марксистская держава? Никто не знал. Никто также не знал, что произойдет на северной границе, если в России восторжествует фашистская диктатура.

В последние годы жизни Мао Цзэдуна Китай приобрел нового друга — Америку и был очень доволен этим приобретением. Америка, конечно, отнюдь не была союзником, однако сохраняла дружественный нейтралитет. Но затем грянула война в Персидском заливе, или, как ее часто называли в Китае, Девятидневная война. Китайцы прилипли к экранам телевизоров; монитор, настроенный на канал Си-эн-эн, стоял на столе почти каждого чиновника, включая Дэна и Ян Шанкуня. Информация о новых видах ракетной техники, использованной в этой операции, повергла китайское командование в состояние, близкое к отчаянию.

Много лет прошло с тех пор, как Линь Бяо и Мао Цзэдун выдвинули теорию «народной войны» — человеческого моря, побеждающего технологию. Вопреки полной несостоятельности этой теории, китайские вооруженные силы почти не изменились при двух китайских императорах. И вот теперь военные смогли воочию убедиться, что и через сто лет им не удастся достигнуть уровня американцев. Неожиданно доблестные китайские ВС оказались совершенно беззащитными перед лицом вооруженного до зубов мира.

В первые же месяцы после Девятидневной войны в Заливе китайское военное командование развило бешеную деятельность. Оно разработало программу по срочному развитию электроники с упором на создание систем ракетного управления. Впервые за последние 25 лет Китай и Россия закружились в вихре бесконечных военных консультаций на высшем уровне — министры обороны и начальники штабов засновали между Пекином и Москвою. За неделю до реакционного путча в Москве (19 августа 1991 года) один из крупных военных чинов, возглавлявший операцию на Тяньаньмэни, вел долгие переговоры с советскими коллегами, с теми самыми людьми, которые вскоре затеют и бездарно провалят пресловутый переворот. Я почти уверен, что это не простое совпадение.

Провал московского путча и крах советского коммунизма вызвал истерику в Чжуннаньхае. Архиреакционная клика под руководством Чэнь Юня бросила все силы на задраивание люков. Срочно был изобретен новый западный жупел — «мирная эволюция».

Происхождение доктрины «мирной эволюции» связывалось с Джоном Фостером Даллесом. Американцы, утверждали реакционеры, сплели сеть заговора с целью разложить коммунистический мир, и делают они это путем пропаганды, коварного обольщения молодежи (особенно студентов) и культурных «сдвигов». Китай должен превратиться в «цзинчаньшань», в несокрушимую цитадель против заговора. Пропагандистский шквал обрушился на Народно-освободительную армию. Органы безопасности вновь усилили контроль над населением, Соединенные Штаты опять стали символизировать врага. Партийные старейшины стремились внедрить в сознание партийной элиты мысль об угрожающей им смертельной опасности, если-де они последуют примеру России и откажутся от идеала серпа и молота.

Никто в Китае — ни Дэн Сяопин, ни Ян Шанкунь, ни Цзян Цзэминь — не видел выхода из создавшейся ситуации и не мог предложить никакого решения проблем, в том числе и самой опасной: демографического взрыва. Несмотря на жесточайшие вынужденные меры, предпринимаемые государством, проблема рождаемости в Китае вновь вышла из-под контроля. Процветание, дарованное крестьянам Дэном, позволило им вернуться к исконным семейным традициям и беспрепятственно рожать мальчиков и — снова мальчиков. Удастся ли загнать джина плодородия в бутылку или страну захлестнет волна младенцев? Никто не мог дать ответа.

Возможную близкую смерть престарелого Дэн Сяопина стали в последнее время рассматривать как политический фактор, чреватый серьезными последствиями. Сам Сяопин, заботясь о будущем страны, предпринял некоторые шаги, введя в правительство двух новых вице-премьеров, способных «молодых» людей, один из которых был соратником Ли Пэна, другой — сторонником Цзян Цзэминя. Это были Цзоу Цзяхуа, глава Госплана, инженер по образованию, и Чжу Жунцзи, мэр Шанхая. Оба были убежденными прагматиками и не поклонялись ни «Зеркалу», ни «Капиталу».

Их вполне можно занести в список лиц, способных вернуть Китай на путь прогресса и экономических преобразований, начатых Дэн Сяопином. Однако вернуться на эту тропу в период реакционной волны, вызванной событиями в Москве, будет делом весьма рискованным. Только время сможет показать, хватит ли у Китая на это духа, да и вряд ли тот, кто представляет себе, какая временна́я пропасть разделяет Китай и западный мир, начнет, в ожидании этого события, отмечать дни в календаре. Однако тропа пока еще свободна...

Сторожевыми псами последних лет правления Дэна стали осторожность и стабильность. Не надо раскачивать лодку, будоражить городские массы и, упаси боже, дестабилизировать крестьянство. Ян Шанкунь, говоря в 1991 году о будущем страны, напоминал человека, пытающегося на цыпочках проскочить минные поля и войти в XXI век. В первом пятилетнем плане на 90-е годы не прозвучало ни одной новой идеи, не выдвинуто ни одной перспективы на 2000 год. Дерзкие мечты, посещавшие Дэна на заре его революции, рассыпались в прах. Китай, утверждал Ян Шанкунь, все еще «держит верный курс». Возможно — но курс явно свернул в вязкие воды Саргассова моря.

Быть может, после 2000 года в Китае все же зазвучат новые голоса. Не стоит отчаиваться, заверял один жизнерадостный интеллектуал, изменения не заставят себя долго ждать — ну, какую-нибудь сотню лет, а то и меньше.

Публицистика

ВЛАДИМИР ЗОТОВ

УРОКИ «КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ»: ФАНТАЗИИ О ДЭНСЯОПИНИЗАЦИИ РОССИИ

ПОКЛОНЕНИЕ ДАННОСТИ

Весь день хожу я в пожелтевшей роще
и нахожу предел китайской мощи...
И как бы жизни выхожу за грань.
«Поставь в ту вазу с цаплями герань!»

Иосиф Бродский

В начале 1993 года независимые источники сообщили о том, что 88-летний «архитектор» китайских реформ Дэн Сяопин с соблюдением необходимых ритуалов передал генсеку КПК Цзян Цзэминю три (предсмертных, по привычке подумали многие) указания. Во-первых, ни в коем случае не пересматривать официальную оценку событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Во-вторых, не допускать «буржуазной либерализации» страны. В-третьих, не отлучать от политики «леваков». Многоопытный реформатор опять продемонстрировал искусство удерживать власть в «эпохи перемен». Для этого надо одной рукой вершить преобразования, а другой подавлять тех, кто пытается покуситься на вершителя судеб вне зависимости от их политического кредо.

В годы известной своими демократическими лозунгами «культурной революции» весь мир был ошарашен бесхитростным указанием Мао Цзэдуна: «Никого не расстреливать, большинство не арестовывать». Дэн Сяопин за годы реформы развил учение о демократии «с китайской спецификой», созданное его предшественником. Вот некоторые цитаты:

Мы не можем копировать буржуазную демократию... из-за этого внутри страны происходит грызня и возникает излишняя канитель.

Собственное мнение допускается, если не предпринимаются никакие действия против партии, против социализма.

О диктатуре надо не только говорить, но в случае необходимости прибегнуть к ней. Разумеется, применять ее надо со всей осмотрительностью, по возможности меньше арестовывать людей.

За четыре года, прошедшие после студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь, лидеры диссидентского движения, успевшие вовремя покинуть Китай, осели на Западе, читают лекции в университетах и собираются иногда вместе, чтобы обсудить светлые перспективы свержения коммунизма в Поднебесной. Из тюрьмы выпущен студенческий лидер Ван Дань, который теперь в беседах с иностранными корреспондентами не слишком охотно распространяется о своих планах борьбы с тоталитарным режимом, а больше жалуется на разрушенные тюремной диетой зубы. Близится к окончанию срок 15-летнего заключения другого студента — Вэй Цзиншэна, еще в первом пореформенном 1979 году возглавившего движение, которое власти называют «буржуазной либерализацией».

Как сказал когда-то китайский поэт Го Можо:

Вы знаете?
Замерло сердце Китая.

Замерло до очередного катаклизма.

Страх перед новыми проявлениями инакомыслия заставляет власти принимать меры, бессмысленность которых уже сама по себе призвана демонстрировать непоколебимость режима. Китайские таможенники тщательно осматривают ваш багаж, выискивая в нем подрывную литературу — будь то «Российская газета», «Московский комсомолец», «День» или «Файнэншл таймс». Провоз газет через границу запрещен, хотя в любом отеле для иностранцев свежая зарубежная пресса разложена на стендах для бесплатного пользования.

Особое беспокойство в Китае вызывает спутниковое телевидение, передачи которого совершенно бесконтрольно несут «духовное загрязнение». В январе 1993 года официальный орган правительства провинции Гуандун — форпоста радикальных реформ в стране — газета «Янчэн ваньбао» с возмущением писала о подрывных планах Би-би-си расширить вещание на Китай.

«Народ не может не задаться вопросом, почему Би-би-си так ненавидит Китай, почему считает его своим врагом,— негодовала газета.— Решение Би-би-си увеличить вещание на Китай — не что иное, как всенаправленное духовное и идеологическое вторжение в социалистическую страну... Все мы знаем, что «холодная война» еще не закончилась... Надо отличать правду от лжи, прекрасное от безобразного, чтобы не допустить тайного

проникновения в наше сознание всякого рода подделок и фальшивок».

Вот уже несколько лет в Китае действует запрет на установку спутниковых антенн. Английский журнал «Экономист» сообщил недавно о трех случаях — одном в Шанхае и двух в Пекине,— когда за продажу антенн на коммерческие магазины были наложены штрафы. Инициаторами этих действий выступили сразу три бдительных органа — городские управления общественной безопасности, полиция и отдел пропаганды КПК. Но показательные процессы уже мало кого впечатляют. Подпольный бизнес по торговле антеннами не жалуется на недостаток спроса. Достаточно проехаться по Пекину, чтобы увидеть то здесь, то там торчащие на балконах «тарелки». По прикидкам бизнесменов, их в столице Китая насчитывается около двух тысяч. Медленно, но верно «золотой телец» пожирает изнутри преимущества «социалистического планового товарного хозяйства».

А тем временем в России с завистью взирают на высокие темпы роста китайской экономики, ничтожную инфляцию и политическую стабильность. На опыт Китая кивают демократы и консерваторы, радикалы и центристы. Каждый находит в нем что-то близкое своему сердцу: централизованное планирование и свободу частного предпринимательства, успешную борьбу с преступностью и открытость экономики перед западным капиталом. Пожалуй, дальше всех пошли Лига содействия оборонным предприятиям и Гражданский союз, которые выдвинули заимствованную у китайцев концепцию «двухсекторной экономики». Чтобы, видимо, подчеркнуть духовное родство наших обществ, Аркадий Вольский начал говорить китайскими афоризмами: «Наша идеология заключается в четырех словах: радикальные реформы, сильная власть».

Одним из самых радикальных реформаторских жестов китайского руководства после тяньаньмэньских событий стало создание в стране 55 крупнейших синдикатов — монополистов в ключевых отраслях экономики. В стратегически важных сферах (энергетика, транспорт, машиностроение и т. д.) образуются концерны, консорциумы, корпорации, в ведение которых передаются сотни самых крупных предприятий. Им предоставляется статус субъектов, обладающих «хозяйственной самостоятельностью». На практике все это очень напоминает холдинги, создаваемые российским правительством. Государственная собственность остается господствующей, но небольшой ее кусок в том или ином виде передается вниз — либо непосредственно хозяйственно-партийной номенклатуре, либо ей же, но под камуфляжем собственности (распоряжения) «трудового коллектива».

Другая решительная мера — поощрение децентрализованных внешнеэкономических связей. Прекращено государственное дотирование экспорта и импорта. Все участники внешней торговли — а это в большинстве чиновничьи посреднические организации — теперь сами должны рассчитывать рентабельность своих операций. Производителям-экспортерам предоставлены налоговые льготы. За счет создания новых «открытых» зон все больше расширяется сфера проникновения иностранного капитала.

Что же касается частного бизнеса, то на его долю льготы не предусмотрены. Принцип остается прежним: трудись, размножайся, но только на мелководье. Существует восемь ключевых сфер — таких, как оборонная и химическая промышленность, разведка и добыча золота, производство и продажа изделий из него, фармацевтическая и табачная промышленность и т. п.,— в которые частный капитал ни под каким видом не пускают. Торговля, сервис, производство ширпотреба — вот главное поле деятельности более двадцати миллионов частников Китая.

Интересная ситуация складывается на финансовом рынке. В стране открыто несколько фондовых бирж, объявлено о намерении привлечь к их работе иностранные фирмы. Но отечественному частному бизнесу отведена на этом рынке роль прокаженного. Фирмам, не относящимся к государственной собственности, запрещено создавать банки, инвестиционные компании, кредитные общества, страховые и трастовые организации, не говоря уж об эмиссии ценных бумаг.

В конечном итоге организационная структура «радикально реформированной» экономики выглядит следующим образом. Наверху пирамиды восседает сравнительно небольшое число крупных государственных предприятий (в основном оборонной промышленности и стратегически важных отраслей) со стопроцентным государственным капиталом. На следующей ступени — синдикаты или холдинги, которые представляют собой, как правило, бывшие министерские подразделения, сохраняющие неформальные связи с материнскими госструктурами. Находящиеся в их ведении предприятия либо целиком (как в Китае), либо через контрольный пакет акций (как в России) принадлежат государству. Далее следует довольно многочисленная прослойка опять же государственных фирм, кучкующихся в более мелких объединениях либо вообще действующих самостоятельно.

Для всего этого сектора существует план производства, устанавливаемый, правда, не директивно, как раньше, а регулируемый косвенными (индикативными) методами (типа рестрикционных пошлин, акцизов, предельных цен). Под этим монстром располагается второй сектор экономики, «свободный»: кооперативы, частные и лизинговые фирмы, совместные предприятия. Наиболее солидные из них создаются государственными организациями или предприятиями, родственниками высокопоставленных руководителей, а также подставными лицами, за которыми стоят чиновники. Дно предпринимательских кругов формируют мелкие индивидуальные предприятия, учреждаемые, как правило, лицами, отчаявшимися найти работу в госсекторе.

«Двухсекторная модель» удерживается в равновесии с помощью жесткого государственного контроля на всех уровнях, осуществляемого не столько директивными, сколько неформальными методами. Самые, казалось бы, независимые агенты рынка оказываются наиболее бесправными и послушными. Мелкие частники — потому что им надо поддерживать хорошие отношения с местной администрацией, налоговой инспекцией, полицией (чуть что — придерутся к какой-нибудь мелочи, лишат лицензии или просто не защитят от погрома, устроенного любителями социальной справедливости). Рыбы покрупнее — потому что полностью завязаны на родственников из партхозаппарата. Вольготнее всех себя чувствуют директора государственных предприятий: в условиях хозрасчета им легче сбывать товар, получать кредиты, экспортные лицензии.

Наблюдая за работой этой гигантской машины со стороны, порой поражаешься, насколько слаженно действуют ее шестеренки. Особенно отчетливо это проявляется при выходе китайских фирм на российский рынок. Вне зависимости от того, с кем их партнеры из России имеют дело — с государственной организацией или частной фирмой, они сталкиваются с непробиваемой стеной, в которой можно найти лазейки только с помощью взяток. Многие годы, например, китайцы «нагревают» нас с помощью сложившейся системы взаиморасчетов в швейцарских франках. При заключении сделок фирмы КНР руководствуются внутренним, вдвое заниженным клиринговым курсом этой валюты по отношению к юаню. Наши же экспортеры оценивают свой товар в пересчете на биржевой курс рубля к доллару, а через него — к швейцарскому франку. В результате при взаимных зачетах бартерных операций (на которые приходится львиная доля товарооборота) российская сторона, продавая, например, карбамид, получает взамен в несколько раз меньше пуховок или тушенки, чем могла бы при нормальном курсе.

Все попытки изменить эту ситуацию вот уже три года разбиваются о скоординированные действия китайских фирм. Причем они загоняют в угол не только неискушенных бизнесменов или директоров заводов, которые рады продать свою продукцию за любую, самую низкую цену (в других странах не берут или из-за низкого качества, или из-за бешеной конкуренции). Почти три года российские предприятия тщились реализовать принятое на бумаге еще при Горбачеве соглашение о переводе расчетов на доллары. Куда там! С кем бы ни заводили разговор на эту тему, китайцы — будь они с Севера или с Юга, из госсектора или частной фирмы — отвечали одними и теми же словами: «У нас так принято. Не хотите считать во франках — сделки не будет». Визит Бориса Ельцина в Китай в декабре 1992 года поставил точку в этих спорах: протокол о торгово-экономическом сотрудничестве вновь утверждает швейцарский франк главной денежной единицей во взаимных расчетах.

Еще одна интересная особенность «двухсекторной модели», как бы не замечаемая ее сторонниками в России,— призрачность перегородки между, на первый взгляд, автономно существующими административной системой в государственном секторе и рыночной — в альтернативном. На самом деле они слиты воедино теневой экономикой и коррупцией. Поскольку полностью изолировать государственный и частный сектора невозможно, они начинают функционировать в режиме сообщающихся сосудов (перепродажа товаров, производимых госпредприятиями, по свободным ценам; создание директорским корпусом и чиновниками частных подставных фирм; передача за взятки самых прибыльных заказов из госсектора частному бизнесу и т. п.).

Взаимопроникновение секторов выглядит самым глубоким в сфере внешней торговли, где ставки игроков делаются в свободно конвертируемой валюте. Каждый раз, когда под лозунгами ускорения экономической реформы административный контроль за экспортно-импортными операциями ослабевает (а это было в 1979—1981, 1984—1985, 1987—1989, 1992—1993 годах), аппетиты чиновников делают новый скачок. Становясь все искуснее, они создают и находят сотни лазеек в законодательстве, служащих источником доходов.

Организованный гонконгским журналом «Бизнес Чайна» опрос предпринимателей и экспертов, постоянно сотрудничающих с континентальным Китаем, показал, что практически всем им приходится сталкиваться с необычайно быстро растущей коррупцией. «В середине восьмидесятых достаточно было устроить поездку в Гонконг или Соединенные Штаты, потратить небольшую сумму на телевизор или радиоприемник,— поделился впечатлениями один из гонконгских торговцев.— Но за последние годы большинство китайских чиновников, с которыми приходится иметь дело, уже обзавелись всеми этими вещами и требуют, чтобы на их имя в гонконгские банки переводились крупные суммы денег». По оценке этого предпринимателя, за последние три года 60 процентов сделок с китайцами потребовали тех или иных «побочных» расходов, а остальные были оформлены «чисто» лишь благодаря мощным личным связям.

Нередко сделка просто не может состояться, если иностранный партнер не согласен внести для чиновника по «боковому» договору энную сумму на счет в зарубежном банке. В зависимости от размеров контракта доля комиссионных обычно колеблется от 1 до 10 процентов. Возможны и другие варианты. Так, чадолюбивые китайцы порой договариваются с партнерами об оплате учебы их детей за границей.

Особенно сильно распространено взяточничество в таком сегменте рынка, как экспорт

текстильной продукции. Здесь чаще всего пахнет криминалом, поскольку правительства западных государств принимают протекционистские меры против ввоза дешевого и высококачественного китайского текстиля. Значительная часть сделок совершается в обход этих правил, что необычайно выгодно и продавцам (они получают валюту) и покупателям (они берут товар по демпинговым ценам). Особенно интересно здесь то, что контрабанда текстиля из Китая осуществляется не только с ведома, но и благодаря всяческому поощрению правительства. «Теневая» интервенция на мировые рынки, таким образом, служит объединяющим моментом криминальной активности государственного и альтернативного секторов.

Разница в отношении этих двух частей китайской экономики к закону состоит в том, что если государственные предприятия и учреждения примерно половину своей деятельности проводят в теневой сфере, то частный бизнес — почти целиком. Вот, к примеру, одна из схем, по которой действуют на нашем рынке некоторые китайские предприниматели. Они в одиночку приезжают в Россию, зарабатывают на простейших челночных операциях рубли и затем через посредников учреждают на них фирмы со стопроцентным российским капиталом. Взяв себе русский псевдоним, такой предприниматель начинает от имени российского товарищества или акционерного общества вступать в контакт с предприятиями на территории Китая и, обещая достать какой-либо дефицитный товар, договаривается с ними о переводе валюты, которая поступает на счет предусмотрительно зарегистрированной офшорной компании где-нибудь на Виргинских островах. Имея на руках выписку из такого счета, он без особого труда берет в банке кредит под валютную гарантию, покупает на него за безналичные рубли по внутренней цене, скажем, КамАЗы, и перепродает их в Китай — уже по другой, куда более высокой цене. Взамен он получает большую партию ширпотреба или продовольствия, продает ее в России и расплачивается за кредит. На этой операции он зарабатывает кругленькую сумму и вкладывает ее в новые комбинации.

Не случайно китайцы, приезжающие в Россию, оказываются нередко в криминальной среде. За последние полтора года на нашей территории было убито (как правило, своими же) более двух десятков китайцев (в том числе в Москве — шестеро). В большинстве случаев это была рядовая уголовщина, но некоторые факты заставляют относиться к этой проблеме более серьезно. По свидетельству некоторых китайских бизнесменов, в России обосновалась австралийская мафия, представляющая мощную китайскую диаспору. С ее участием уже совершены ритуальные убийства. Профессионалы недаром говорят, что китайская мафия — самая безжалостная в мире.

ЭКСКУРС В СЕКСУАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ

Вот и дождь налетел,
заливая циновки вокруг,
И бушующий ветер
внезапно ударил в борта.
У гетеры из Юэ
намок ее красный наряд,
У гетеры из Янь
вдруг исчезла с лица красота.

Ду Фу

(Перевод Л. Бежина)

Китайская поговорка гласит: «Затянешь пояс — дышать нечем, ослабишь — наступит хаос». «Двухсекторная модель» изумительна тем, что представляет собой единое целое, состоящее из крайностей. На одном конце — тотальный контроль, на другом — экономический беспредел, но легко перепутать, где из них какой. С подобным сталкиваешься и на российской почве. Буквально каждый шаг властей, направленный на «наведение порядка» в экономике, содержит для посвященных весьма прозрачный намек на появление нового способа тайного взимания поборов. Казалось бы, что может быть достойнее благороднейшего порыва пресечь «распродажу Родины» новоявленными коммерсантами, не имеющими опыта ведения внешнеторговых операций? Директора предприятий и частных фирм, получившие возможность прямого выхода на мировой рынок, то и дело ошибаются, заключают невыгодные для государства сделки, норовят спихнуть «за бугор» стратегически важные товары. Выход очевиден: надо довериться профессионалам и сосредоточить в руках одного министерства выдачу всех экспортных лицензий и квот. Но за подобными решениями, помимо высших интересов, стоит и недвусмысленное предложение: несите подарки в нашу «кормушку», и проблем с получением разрешительных документов не будет.

Находящиеся на другом полюсе крутые бизнесмены, встав прочно на ноги, начинают создавать уродливые монстры по образу и подобию государственных учреждений. Увы, многие крупные частные фирмы в России феноменально быстро погрязли в бюрократизме, потеряли способность оперативно и точно принимать решения, страдают от нездорового психологического климата.

Тяжелое наследие коммунистического прошлого накладывает печать на многие стороны жизни наших предпринимателей — начиная от финансирования «патриотических» движений и кончая сексом. Психологами замечено, что в России сейчас — ренессанс патриархальных семейных отношений. Переход к рынку, сопровождаемый резкой сменой этических представлений, заставляет многих цепляться за традиционные и, казалось бы, уже забытые ценности. Интересно, что патриархальность особенно часто встречается в семьях «новых русских» — предпринимательской элиты, представленной в подавляющем большинстве людьми молодыми и неплохо образованными.

Известный «очернитель» России маркиз де Кюстин говорил, что «русские — переодетые китайцы». При всей своей тривиальности это высказывание содержит зерно истины. Действительно, с точки зрения представителя западной культуры и мы и китайцы находимся с «той стороны баррикады». При всех разногласиях большинство исследователей русской культуры сходятся в том, что она построена на крайностях — с одной стороны, святость, духовная раскрепощенность, возвышенность над всем частным, индивидуальным, с другой — преобладание «звериного» начала, патологическая несвобода, нравственная незрелость, безответственность. Нечто схожее существует и в китайской культуре.

На Западе индивидуум воспринимается как система с четко определенными границами, в рамках которых эмоциональный компонент регулируется рациональным и находится на службе у души или личного интереса. В китайской культуре отдельный человек рассматривается просто как физическое тело, которое может быть цельным только при условии, если его сердце обращено к другим людям. Соответственно, цель жизни для человека западного общества — сделать карьеру за счет создания благоприятного имиджа среди окружающих, а для китайца — создать «коллективное тело» (цзити), выйти за рамки собственного интереса и подчинить его единству с другими индивидами. Отсюда в западной философии человеческое сознание проявляется в свободе воли, а в восточной — пробуждается лишь в процессе обмена некими ценностями с другими людьми. Бессознательное, играющее центральную роль в западном понимании личности, не признается китайской культурой, поскольку ввиду своей неподконтрольности извне неприемлемо для коммунального существования.

Все, что связано с личностью, отделенной от коллектива, имеет в китайской культуре низменный смысл. Конфуций считал секс одной из основных человеческих потребностей в одном ряду с приемом пищи или отправлением естественных надобностей. Снимая с любви романтический покров, конфуцианство рассматривает ее как общественно необходимую функцию продолжения рода и способ получения полового удовлетворения. Все, что связано с личными желаниями, порывами, скрывается, ибо априорно расценивается окружающими как низменное. Поэтому западные бизнесмены уже давно обратили внимание, что межкультурное общение с китайцами идет гораздо легче, если не касаться столь неудобных для них сексуальных вопросов.

Не случайно «индивидуальное хозяйство» обозначается в китайском языке тем же словосочетанием, что и физическое тело — «гэти». Тем самым уже на семантическом уровне заложено пренебрежительное отношение к частному сектору экономики. Бизнес априорно рассматривается как низменная форма человеческой деятельности, которая — подобно сексу — признается необходимой частью существования общества, приобретающей полноценность лишь при условии вовлечения в более возвышенную сферу коллективного (государственного) хозяйства.

Гораздо более уважаемым чувством в китайской культуре является платоническая любовь, привязанность, понимаемые как цементирующая основа коллективизма. Американский исследователь китайского происхождения Фрэнсис Су сравнивал любовь у китайцев с ролью, которую играет в экономике золото, золотой стандарт: это неотъемлемая основа жизни, но в развитых экономических системах ее роль ограничена. В то же время чувство привязанности к коллективу — это своего рода бумажные деньги, то есть универсальное средство обмена. Тогда взаимный обмен духовными и материальными ценностями (рециprокность) у китайцев сродни кредиту.

В китайской культуре выход из тяжелого морального состояния принято находить с помощью переосмысления своего «Я», которое заключается в подавлении «эгоизма» и отождествлении себя с коллективом. Результат такой психотерапии — пробуждение чувства благодарности, которое должно находить выход в услужении другим. В экономике этот культурный код применяется для программирования иерархической системы управления, основой которой в «двухсекторной модели» выступают синдикаты, холдинги и прочие центры, объединяющие хозяйствующих субъектов под предлогом принесения максимальной пользы народу и стране.

В отличие от американского героя-одиночки, китайские образцовые персонажи в произведениях массового искусства преодолевают личные желания и посвящают себя коллективным или государственным интересам перед лицом общего внешнего врага. Характерный пример — содержание известного фильма 80-х гг. «Облака у подножия горы». Главный герой картины по протекции, составленной ему благодаря усилиям матери, получает пост политкомиссара в военном округе на юге Китая с перспективой быть переведенным затем в Пекин на тепленькое местечко. Но тут начинается война с Вьетнамом, и герой вместе со своим подразделением попадает на фронт. Во время боя убивают командира и его заместителя, после чего герой вынужден принять командование на себя. Тут-то и происходит его перевоплощение: выполнив боевую задачу, он осознает свой долг перед родиной и отдает ей все свое сердце.

Таким образом, человек в китайской культуре движим служением и жертвенностью по отношению к коллективу на основе чувства долга. Любой человек в долгу перед своими родителями еще до своего рождения только в силу того, что они решили родить ребенка и растить его в будущем. Возвращение долга родителям служит моделью всех акций взаимного обмена в обществе —

возврата добра, полученного человеком, и компенсации зла, которое он принес другим.

Взаимный обмен — это моральная основа любого общества. Разница между Западом и Востоком состоит здесь в том, что для одних это общественная реальность, а для других — формальное обязательство, которое надо выполнять в любом случае. Поэтому на Востоке важнее порой демонстрировать заботу, нежели оказывать реальную помощь. Доведенный до совершенства, такой принцип возводит притворство в перл создания, заставляя человека постоянно играть отведенную ему роль не только перед окружающими, но и перед самим собой.

Любопытную психологическую зарисовку привел в одной из своих статей канадский культуролог китайского происхождения Сунь Лунцзи. Однажды американец женился на тайской проститутке, чтобы она могла выехать в США. Выбравшись из Таиланда, она сбежала с англичанином. Тайский студент китайского происхождения осудил ее действия, сказав, что она «опозорила» свою страну. Он усиленно помогал американцу найти беглянку, с возмущением повторяя: «Если человек помог тебе получить визу, ты должна из благодарности принадлежать ему». Когда автор спросил этого студента: «А что, если она его не любит?» — тот страшно удивился тому, что кто-то обращает внимание на такие «мелочи», как любовь.

Затем этот же китаец женился на тайской девушке, предупредив ту, что в ее обязанности будет входить ухаживание за его матерью. Когда же выяснилось, что женщины не выносят друг друга и постоянно ссорятся, он вернул жену в родительский дом. Весьма откровенно он объяснил, что его жена, получив от него благо в виде женитьбы, должна была не перечить свекрови, а терпеливо выполнять все ее просьбы. А если ей хочется как-то ответить на несправедливости, творимые свекровью, то ей надо подождать, пока ее собственный ребенок вырастет и приведет в дом молодую жену, и уж тогда вымещать все свое раздражение на собственной невестке.

В этом примере проглядывает вторая, «звериная» сторона китайской культуры, которая лучше всего видна в даосской философии. Хорошо известно утверждение одного из ее провозвестников Ян Чжу о том, что он не пожертвовал бы ни одним волосом со своей головы, даже если бы это принесло пользу всей Поднебесной. Средневековое даосистское искусство любви предписывало наиболее эгоистичную форму сексуальности, убеждая мужчину в том, что остановка семяизвержения позволяет ему впитывать энергию испытывающей оргазм женщины, не отдавая ей в то же время свою.

Гипертрофированная с точки зрения западного человека включенность индивида в коллектив приводит к тому, что китаец превыше всего ценит (как величайшую редкость) собственное одиночество и собственные потаенные желания. Кросс-культурные исследования, проводившиеся в многонациональной студенческой среде, однозначно показывают, что представители западной культуры более общительны, более нацелены на повышение статуса в социальном соревновании, чем китайцы. Последние, напротив, среди жизненных ценностей отдают предпочтение тому, что связано с одиночеством. Характерно, что опрос студентов города Шэньяна (Северо-Восточный Китай), проводившийся в 1986—1987 гг., показал, что большинство из них, отвечая на вопрос «Что, по вашему мнению, сделает вашу жизнь счастливой в будущем?», назвали работу, затем учебу и лишь в последнюю очередь — семью. Такие результаты резко контрастируют с мнением американских студентов, единодушно ставящих на первое место то, что они считают личным счастьем,— семью или поиск любимого человека. Таким образом, китайцы отдают предпочтение более интровертным формам существования, поскольку работа и учеба требуют гораздо меньшей эмоциональной близости с другими людьми, чем семейная жизнь.

Эта, казалось бы, парадоксальная особенность китайской психологии — показной коллективизм в сочетании с неведомой для западного человека глубиной эгоцентризма — сказывается на экономическом поведении. За коллективистским хозяйством централизованно-планируемой системы скрывается поразительная частная предприимчивость, нередко даже более изощренная, чем на Западе, но слабо подчиняющаяся цивилизованным нормам.

Одна из особенностей деловой этики китайцев — стремление обмануть партнера или, по крайней мере, разыграть обман перед окружающими. Особенностью национального характера является потребность чувствовать некоторое превосходство над собеседником. Поэтому для китайца очень важно сознание того, что он заключил очень выгодную сделку и сумел перехитрить «иностранного черта». Это не только поднимает его в собственных глазах, но, что еще более важно, позволяет завоевывать одобрение и уважение соотечественников. Опытные западные бизнесмены уже приспособились и научились разыгрывать перед китайцами целые сцены: они изначально ставят излишне жесткие условия, затем играют «в поддавки», как бы невзначай признаваясь, что совершили оплошность, и даже восхищаясь, как ловко их «обставили».

ОБЕЗЬЯНИЙ РЫНОК

Вчерашний мир обрушиться готов,
Сегодняшний же — к хаосу стремится,
А я томлюсь в плену своих оков,
Томлюсь в своей невидимой темнице.

Го Можо

(Перевод А. Гитовича)

Существует несколько стандартных реакций в экономическом поведении субъектов, не зависящих от культурных типов или обще-

ственного устройства. Они скорее имеют биологическую природу, поскольку проявляются даже в экспериментах с животными. Ученые из института Джона Хопкинса совместно с экспертами одного из научно-исследовательских центров армии США провели серию опытов с белыми мышами и резус-макаками с целью выяснить, как меняется их поведение с ростом цены потребляемого продукта. Под ценой в данном случае понималось соотношение между затратами энергии, необходимыми на добывание пищи, и ее ценностью для животных.

Мыши держались в специально оборудованных клетках и не имели иного выбора, кроме подававшихся им в фиксированное время определенных порций питательных пилюль (имитация закрытой экономической системы), добраться до которых можно было лишь нажатием специального рычага. Макаки должны были получать пищу, вскарабкиваясь на панели разной высоты и нажимая специальные кнопки. После выполнения заданных функций животные получали время от времени возможность брать не строго определенное количество пищи, а столько, сколько захотят (открытая система).

Результаты экспериментов позволили сделать любопытные выводы:

— с ростом цены на продукт (затрат труда) потребление до определенной точки почти не уменьшается. Но затем животные практически одновременно отказываются мириться с необходимостью увеличивать затраты для потребления того же количества дорожающего продукта. Тогда и потребление и затраты труда начинают резко падать;

— после того, когда рост цены начинает сопровождаться падением потребления и затрат труда, поведение экономических субъектов (в данном случае — мышей и обезьян) становится все более дифференцированным (одни резко сворачивают потребление, другие — более плавно);

— чем больше у субъекта возможностей заменить дорожающий продукт другими, тем быстрее он теряет к нему интерес. И наоборот — при отсутствии замены субъект проявляет максимальное долготерпение.

Эти эксперименты свидетельствуют, что при переходе к рынку в любом обществе существует довольно значительный запас терпения по отношению к главному его бичу — инфляции. Терпение может быть продлено за счет большего открытия экономики, приносящего более разнообразный выбор. Обязательно возникает резкая дифференциация социальных групп, отличающихся по своим реакциям на рост цен. Наконец, существует некий нижний порог инфляции, до которого рынок «не замечает» ее. В результате создается «социальный коридор», двигаясь по которому можно с разным успехом продвигаться к рынку.

Мировой опыт перехода к рынку демонстрирует две основные модели, характерные для XX столетия. Одна из них — восточноазиатская. Ее основная черта — высокая роль государства, использующего жесткие финансовые методы управления (прежде всего кредитную ставку) и даже командные методы. Идеальное условие для этой модели — независимость правительства от давления основных социальных слоев и лоббистских структур (например, в Гонконге и Сингапуре при переходе к рынку действовали колониальные власти). Очень важной предпосылкой является относительная слабость рабочих и прочих популистских (в том числе националистических) движений, позволяющая проводить жесткую социальную политику без угрозы сильного противодействия со стороны левых или националистических движений. Наконец, стратегия экономического развития оказывается наиболее эффективной, если она ориентирована на производство экспортной продукции, то есть приучает предприятия к конкуренции самой высшей пробы.

Вторую модель лучше всего назвать латиноамериканской (наиболее типичны в этом отношении Бразилия и Мексика). Ее отличает более демократичная политическая система (многопартийность, наличие мощных рабочих движений), острая политическая борьба между сторонниками социально и элитарно ориентированных вариантов экономической политики, а также проведение импортзамещающей экономической стратегии (в модели силен националистический элемент).

Недостатки первой модели — высокий уровень монополизма, отсутствие демократических институтов, сильная внешняя зависимость. Недостатки второй — гиперинфляция, социально-политическая нестабильность (постоянные верхушечные перевороты), высокая преступность. В целом первая модель показала большую жизнеспособность: избравшие ее страны первыми попали в число «вновь индустриализовавшихся», они легче перенесли удары экономического кризиса 70-х годов, обеспечили более высокий уровень развития науки и техники. Местный бизнес в Восточной Азии более конкурентоспособен и гибок на мировом рынке, чем зацикленные на внутренних проблемах латиноамериканские предприниматели.

Обеим моделям присуща мафиозность. Различие существует в уровне социально-экономической пирамиды, на котором она господствует. В восточноазиатской модели мафия — это сплошь коррумпированный государственный аппарат и монополии, в латиноамериканской — сращивание преступных и предпринимательских кругов, подкупающих местных чиновников.

«Китайский вариант» перехода к рынку, как ему и положено, является частным случаем восточноазиатской модели. Его будущее просматривается в сегодняшних Японии и «банде четырех» — Южной Корее, Гонконге, Сингапуре, Тайване. Разные модификации этой модели связаны главным образом с ролью

мелкого предпринимательства. В Корее, например, вся экономика находится под пятой нескольких огромных конгломератов — таких, как «Тэу», «Хендэ», «Лакки-Голдстар», «Самсон», «Тэхан»,— неразрывно связанных с правительственными структурами. Объем продаж этих фирм составляет более половины валового национального продукта страны. Они производят практически всю промышленную продукцию, начиная со стали и станков и кончая бытовой техникой, не оставляя мелкому бизнесу шансов на быстрое развитие. В отличие от США, в Южной Корее практически нет антимонопольного законодательства, которое бы ограничивало господство этих монстров. Наоборот, тесные связи с правительством и право «первой ночи» при получении кредитов помогают им все шире распространять свое влияние, внедряясь на новые и новые рынки. Благодаря интегрированности в мировой рынок эти фирмы не застаиваются и вынуждены постоянно совершенствовать свою продукцию.

Противоположное отношение к частному бизнесу сложилось на Тайване, где сейчас насчитывается более 40 тысяч независимых компаний, большинство из которых организовано по семейному признаку. «Вы можете безошибочно предсказать количество исполнительных директоров тайваньской компании, если будете знать, сколько у ее основателя детей»,— заметил как-то один из представителей американской консалтинговой фирмы в Тайбэе.

Сложнее дело обстоит с определением российского варианта перехода к рынку. Судя по некоторым практическим шагам, российское руководство сразу после августа 1991 года попыталось реализовать восточноазиатскую модель перехода к рынку. Изначально выбор Б. Ельцина при подборе костяка пал на Е. Гайдара и связанную с ним по работе в журнале «Коммунист» группу бывших научных сотрудников (А. Нечаев, А. Шохин, П. Авен, Б. Улюкаев и другие) благодаря их относительной независимости от «китов» государственной экономики России. Стремясь подняться над всеми политическими группировками, дабы играть роль верховного арбитра во внутриполитических распрях и создать базу для введения в перспективе президентской формы правления, Борис Ельцин нуждался в таком составе исполнительной власти, который бы не мог подвергаться прямому давлению извне и, соответственно, не имел бы прочной социально-политической базы в лице каких-либо корпоративных групп. Помимо чисто политических соображений, такое решение было вызвано намерением проводить непопулярные меры, отдавая команду Гайдара «на заклание» взамен на имидж первопроходцев в деле форсированного перехода к рынку (характерно в этом плане признание бывшего министра экономики А. Нечаева о том, что предметом гордости нынешнего правительства являются «невиданные прежде в мире» темпы приватизации).

На практике команда Гайдара, придя к власти, сразу же начала создавать новые и вписываться в старые корпоративные связи. Уже к весне 1992 года отчетливо проявилась ее ориентация на «нефтяное» и «оборонное» лобби, поданная общественному мнению как «сдача» правительством жесткой финансовой политики под внешним давлением.

В результате в российской действительности сформировались отдельные черты обеих моделей — как восточноазиатской, так и латиноамериканской,— но из-за отсутствия целостности мы не имеем возможности испытать на себе преимущества хотя бы одной из них. В то же время страдать приходится от недостатков обеих (монополизм и тяга к диктатуре — в восточноазиатской; гиперинфляция, политическая нестабильность и экономическая изолированность — в латиноамериканской).

Положительным фактом можно считать лишь само по себе движение от прежнего состояния к некоему подобию рыночных отношений (известному в востоковедении под названием «квазирынок»). За полтора года после начала «шоковой терапии» социально-экономическая и политическая ситуация в России претерпела настолько глубокие изменения, что можно уже говорить о возникновении новых закономерностей развития страны.

За бурными событиями политической борьбы последних лет начинает просматриваться принципиально новая тенденция. Раньше в тоталитарной системе политические факторы определяли всю жизнь общества, в том числе и экономику. От борьбы группировок и политических лидеров напрямую зависело положение экономических субъектов. Теперь же стороны поменялись местами. Реальная жизнь протекает уже на совершенно другом уровне. Коэффициент монетизации нашей экономики благодаря инфляции вырос в десятки раз, что вызвало переход реальной власти из рук политиков в руки тех, кто получил возможность либо распоряжаться крупными капиталами, либо просто имеет их. Монопольные экономические структуры стали истинными вершителями судеб России, а политики превратились кто в витрину тех или иных лоббистских структур, а кто — просто в заложников борьбы между ведущими экономическими силами, борющимися за сферы влияния в процессе приватизации. Однако даже это несомненный прогресс. Ведь в конечном итоге это ведет к укреплению стабильности общества: политические катаклизмы день ото дня все меньше влияют на динамику экономического развития и даже на конъюнктуру самых уязвимых сегментов рынка — биржевых товаров, курсов акций и валют.

У книжной витрины

ДЖОН АПДАЙК

Воспоминания о временах Форда

John Updike. Memories of the Ford Administration. «Knopf»

Преподаватель истории в маленьком колледже Альфред Клейтон получает вопросник от Ассоциации американских историков. Журнал Ассоциации намерен опубликовать материалы, связанные с периодом правления администрации Джеральда Форда (1974—1977), и просит Клейтона поделиться своими «воспоминаниями и впечатлениями» о тех годах. Заполняя вопросник, Клейтон так увлекается, что его ответы принимают вид пухлой рукописи, объем которой выходит далеко за рамки журнальной публикации. Поэтому, как поясняет в авторском предисловии Джон Апдайк, записи Клейтона составили отдельную книгу, то бишь пятнадцатый роман Апдайка.

Вспоминая о годах правления Форда, Клейтон подробнейшим образом описывает собственную жизнь. В то время ему пришлось испытать немало потрясений: Клейтон бросил жену и троих детей ради соблазнительной Женевьевы, супруги более молодого коллеги-преподавателя, причем параллельно с этими личными драмами он пытался закончить биографическую книгу о Джеймсе Бьюкенене, пятнадцатом президенте США. (Здесь просматривается перекличка с большой пьесой самого Апдайка «Смерть Бьюкенена», 1974.) Перипетии судьбы этого президента и некоторые черты его характера: нерешительность, миролюбие, склонность к компромиссам — близки Клейтону, и в историческом труде о Бьюкенене появляются лирические и элегические мотивы. Что же касается президента Форда, то его эпоха, середина 70-х, запомнилась Клейтону прежде всего как время торжества плоти, когда в Америке были наконец-то отменены последние запреты и предрассудки и желание заговорило в полный голос. Страх эпидемии еще не отравлял чувственных наслаждений, и страсть Клейтона к Женевьеве омрачалась лишь ощущением вины перед оставленными детьми...

ЛУИС БЛАНКО ВИЛА

Диалог с тенью

Luis Blanco Vila. Diálogo con las sombras. «Bitácora»

В романе испанского писателя Луиса Бланко Вилы «Диалог с тенью» показан широкий спектр социально-политических событий конца 60-х годов, в центре которых — студенческие волнения, охватившие Париж в мае 1968 года. На фоне разлада и потрясений в общественной жизни развертывается полная драматизма история любви. Главный герой, журналист Хуан — добропорядочный семьянин, нашел свой идеал супружеского счастья с женой Мартой. Однако совершенно неожиданно в семейной идиллии появляются трещины: в жизнь супругов вторгается любовь Лелии, подруги Марты. Зная, что обречена на близкую смерть, она одержима одним желанием — добиться хотя бы недолгого, последнего в ее земном существовании счастья. Трагическая любовь женщины, вспыхнувшая на стыке жизни и смерти, оставляет неизгладимый след в душе Хуана, ввергнув его в нескончаемый поток размышлений о загадках и психологических противоречиях человеческой природы, о смысле земного бытия человека, о вечной нерасторжимости жизни и смерти...

За роман «Диалог с тенью», отличающийся, по мнению критики, тонким психологизмом, Луис Бланко Вила был удостоен премии имени Фелипе Триго.

ФИЛИП ЛАБРО

Пятнадцать лет

Philippe Labro. **Quinze ans. «Gallimard»**

Филип Лабро известен во Франции как автор популярных книг, достаточно высоко оцененных критиками и читателями. Все его романы — «Иностранный студент» (премия «Интералье» за 1986 год), «Лето на Западе» (1988) и «Маленький мальчик» (1990), которому пророчили Гонкуровскую премию,— объеди-

няет тема ученичества и стремление главного героя войти в круг людей, поначалу не принимающих его. В этом смысле не стал исключением и новый роман Ф. Лабро.

История застенчивого парижского лицеиста разворачивается в 50-х годах, когда подростки (сейчас даже не верится!) не знали, что такое карманные деньги, телевизор или противозачаточные средства. Юный герой полностью находится во власти своих сомнений, желаний, надежд и тревог. Он томится предчувствиями иной жизни и жаждет встретить удивительного, особенного человека, не похожего ни на родителей, ни на учителей. И такой человек появляется: лицейский товарищ, Александр, денди и сноб, открывает своему новому другу столь плениительные для того «взрослые» занятия и развлечения. В заведении удивительной мадам Ку пятнадцатилетний парнишка приобретает первый опыт страсти, а вскоре его проснувшееся сердце уже принадлежит загадочной Анне, сестре Александра. Помимо любовных, появляются и другие увлечения — музыка и журналистика. Герой не замечает, что детство кончилось и наступила долгожданная взрослая жизнь, в которой будет еще немало сложностей, открытий, горьких разочарований и счастливых дней.

ПОЛ ОСТЕР

Левиафан

Paul Auster. Leviathan. «Faber»

Новый роман американского писателя Пола Остера во многом автобиографичен. Главные герои — писатели Бенджамин Сакс и Питер Аарон — наделены некоторыми чертами характера и особенностями биографии автора. «Действующий» персонаж Сакс (его друг Аарон выступает лишь в роли рассказчика) для реализации своих мировоззренческих установок избирает путь индивидуального политико-эстетического терроризма. На это преуспевающего литератора и благополучного семьянина толкает неудовлетворенность разрывом между декларируемыми американскими идеалами и суровой реальностью жизни. Сакс оставляет семью и творчество и, используя самодельные бомбы, взрывает по всей Америке копии нью-йоркской статуи Свободы. После каждого взрыва террорист подбрасывает прессе свое высокопарно-пророческое сообщение с неизменной подписью «Призрак Свободы». Выбор оружия не случаен: Сакс родился в день бомбардировки Хиросимы и считает себя «атомным первенцем». Он погибает от взрыва очередной собственной бомбы, причем тело его оказывается буквально разорванным на куски. Пока ФБР пытается безуспешно установить личность погибшего, это делает Питер Аарон, попутно рассказывая читателям о судьбе своего давнего друга.

Многопланово в смысловом и символическом отношении название романа: так была озаглавлена последняя, незавершенная книга Бенджамина Сакса; здесь же содержится безусловная ветхозаветная аллюзия; наконец, Левиафан символизирует государство, с которым Сакс находился в конфликте еще в юности, когда он предпочел тюрьму военной службе во Вьетнаме.

ФИЛИП СОЛЛЕРС

Тайна

Philippe Sollers. Le secret. «Gallimard»

Писатель, журналист, литературный критик Филип Соллерс — довольно заметная фигура на художественной и общественно-политической сцене Франции. Его выступления, статьи и книги, как правило, посвящены современности, проблемам дня сегодняшнего или даже завтрашнего. В этом же ключе выдержан и роман «Тайна». Затронутые в нем темы — порождение не просто XX века, а именно последних десятилетий. Искусственное осеменение, «дети из пробирки», пересадка органов, генетические эксперименты, проблемы абортов и эвтаназии — все это, по мнению автора, используется для дезинформации, фальсификации и пропаганды с определенной направленностью. Всюду царит ложь: в речах политиков, в обращениях религиозных деятелей и ученых. А за каждой ложью — большой и маленькой — кроется тайна. И тайна как явление выступает в роли своеобразного центрального персонажа романа Ф. Соллерса.

Впрочем, формально главный герой также существует. Это Жан Клеман, профессиональный секретный агент (чей именно — автор не уточняет). Он живет с женой, болгарской лингвисткой Юдит и десятилетним сыном Джеффом, однако почти не замечает их, ибо занят разгадкой всевозможных заговоров глобального масштаба. Тут и покушение на папу римского, и международная торговля человеческими органами для пересадки, и еще — убийство Дж. Ф. Кеннеди, наркобизнес, ложа П-2, «Ко́за но́стра», оккультные сообщества... Но читателю не всегда суждено узнать, насколько успешны расследования Жана Клемана; подробности (а порой и суть) деятельности этого агента намеренно окутаны тайной.

Италия

МАГИЯ ЧЕТВЕРОК

Известный ученый-семиолог, преподаватель, литературный критик и автор двух международных бестселлеров «Имя розы» и «Маятник Фуко» Умберто Эко остается одним из самых оригинальных европейских литераторов. Недавно он объявил, что намерен приступить к третьему роману, причем книга эта уже полностью «запрограммирована»: последняя точка будет поставлена «в шестнадцать часов 3 февраля 1997 года». Решение писать роман Умберто Эко принял в полдень 30 сентября 1992 года — таким образом, работа над новым произведением займет ровно четыре года, четыре месяца, четыре дня и четыре часа. Ушлые журналисты, однако, сразу же уличили итальянского мистификатора в плутовстве: поскольку 1996 год будет високосным, то набегают лишние сутки. На это У. Эко невозмутимо возразил, что расчеты верны, а сутки вовсе не лишние и специально отведены для того, чтобы восстановить в тексте романа все сентиментальные моменты. «Ведь мой компьютер наверняка сотрет их из памяти — такой уж он у меня»,— полушутя-полусерьезно говорит Умберто Эко.

Куба

ДОЛГОЕ МОЛЧАНИЕ НАРУШЕНО

Знаменательным событием была отмечена Гаванская международная книжная ярмарка 1992 года: на ней состоялась презентация поэтического сборника под названием «Стихи, потерпевшие кораблекрушение». Его автор — живая легенда латиноамериканской литературы, поэтесса Дульсе Мария Лойнас, родившаяся в Гаване в 1903 году. Этой книгой она прервала свое почти тридцатилетнее молчание; кроме того, «Стихи, потерпевшие кораблекрушение» — первая за это время публикация Дульсе Марии Лойнас на Кубе. Составитель нового сборника Педро Симон также подготовил к печати недавно опубликованное «Каса де лас Америкас» исследование «Разнообразные оценки», посвященное произведениям поэтессы.

На презентации Дульсе Мария Лойнас поделилась своими творческими тайнами и прочитала стихи из нового сборника, а затем растроганно сказала: «Вы подарили мне один из незабываемых моментов моей жизни — такого я уже не чаяла дождаться». Однако никто из многочисленной восторженной публики, собравшейся на торжественную церемонию, не предполагал, что через несколько месяцев почти девяностолетняя поэтесса будет удостоена еще более высокой для любого испаноязычного литератора награды — премии имени Сервантеса.

Франция

«ЗЮЛЬМА» СОБИРАЕТ ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ

Молодое издательство «Зюльма» довольно быстро стало известным во Франции благодаря выпускаемым им прекрасным книгам о путешествиях. Воодушевленное этим успехом, «Зюльма» решило обратиться к эротике. Новый тематический раздел «Эротические поля» состоит из двух взаимодополняющих серий: первая — под названием «Безумная девственница» — объединяет произведения современных авторов, как правило, хорошо известных; вторая, озаглавленная «Восемнадцатый» (имеется в виду XVIII век — «столетие любви»), знакомит читателей с жемчужинами классической эротики, в большинстве своем ранее не публиковавшимися. С помощью этого проекта издательство надеется «обозреть существующую на сегодняшний день эротическую литературную панораму», дабы появился свежий взгляд на эротику.

Классическую серию открывают «Дитя борделя» неизвестного автора и «Сплин» Пьера-Виктора де Безанваля. В современном разделе путь торят Жак Абей с романом «Ради умершей памяти» и Хюго Марсан со сборником новелл «Господин Желание». (Хюго Марсан — популярный прозаик, автор книги эссе «Смертельно раненная жизнь», романов «Лабиринт на закате солнца» и «Балкон Анджело».) Произведения наших современников отличны друг от друга по средствам выражения, тональности, стилю; однако в них в равной мере проявляются тонкость и взыскательность при подходе к теме. Писатели стремятся показать, как эротика возникает и из самых сокровенных глубин души, и из непосредственных, каждодневных житейских ситуаций; они как бы спрашивают: разве не Эрос движет всем живым?

Швейцария

СОЮЗ ПЕРА И КИНОКАМЕРЫ

В 1977 году швейцарский режиссер Клод Горетта экранизировал роман французского писателя Паскаля Лэне «Кружевница», удостоенный Гонкуровской премии (перевод см. «ИЛ», 1976, № 9). Затем, в 1980 году, последовала еще одна совместная работа — «Провинциалка». Третьей крупной вехой на пути этого творческого тандема можно считать фильм «Прощальный ужин». В его основу положен одноименный роман П. Лэне, опубликованный в 1991 году. Историю любви в среде состоятельных, благополучных людей автор представляет как испытание на прочность их чувств. Связанные условностями, привыкшие к комфорту богачи не хотят поступиться ни укладом жизни, ни мнимым спокойствием даже ради долгожданной страсти. А в результате возможное счастье оборачивается для них обманом, фарсом и оскорблением...

После «Кружевницы» П. Лэне стали все чаще называть «социальным» романистом. Однако Клод Горетта считает, что его теперь уже постоянный творческий партнер в своих книгах раскрывает прежде всего проблему непонимания, «стены» в любом человеческом общении. «Мне как кинематографисту интересно показать, сколько мыслей и чувств, сколько невидимых мучений и утерянного сострадания таится в этом мире, лишенном общения,— говорит режиссер.— Снимая фильмы, я должен был постоянно размышлять: какими средствами создать образы невысказанного?»

Возможно, «Прощальный ужин» окажется не последним фильмом в этом ряду экранизаций, поскольку Клод Горетта уже заинтересовался новым романом Паскаля Лэне «Диалоги желания», опубликованным в прошлом году. При внешней простоте сюжета (три пожилых художника-француза приезжают на отдых в глухой уголок Польши и в диалогах с местным старым священником вспоминают об увлечениях и желаниях

Клод Горетта и Паскаль Лэне. *(Журнал «Лир»)*

своей юности) книга насыщена идеями, привлекательными для швейцарского режиссера. Главную из них К. Горетта сформулировал так: как и персонажи этого романа, каждый человек хотел бы слиться в единое целое с любимым существом, раствориться в нем. Но именно тогда возникает страх потерять себя, и мы предпочитаем довольствоваться малым, ибо большое, подлинное счастье — это всегда пропасть.

Шри-Ланка

ЦЕННОСТЬ ТЕХ, КТО В МЕНЬШИНСТВЕ

Движение за гражданские права Шри-Ланки совместно с издающимся в Великобритании журналом «Индекс он сензоршип» приступило к осуществлению важного проекта под названием «Ценность инакомыслия». В рамках этой программы подготовлена к печати антология текстов, связанных с темой диссидентства в самом широком смысле слова. По предложению лондонского составителя Марка Томпсона в сборник были включены, среди прочих, произведения У. Шекспира, Г. Ибсена, А. Камю, Э. М. Форстера, И. Кальвино — все они переведены на два основных языка Шри-Ланки. «Нас интересуют тексты, представляющие философские течения, культуры, языки всех частей света,— подчеркивает Сурия Викрамасингхе, участница проекта из Шри-Ланки,— а также история инакомыслия в политике и литературе, в науке и юриспруденции». Особого внимания заслуживают свидетельства преследования ученых и художников за их несогласие с официально утвержденной или преобладающей точкой зрения, добавляет Сурия Викрамасингхе.

Как отмечают организаторы программы, главная ее цель — предоставить ланкийским читателям возможность познакомиться с художественными произведениями и документальными материалами, которые иллюстрируют не только право выражать иные взгляды, но и ценность всякой оппозиции вообще. В своей деятельности Движение за гражданские права опирается на универсальный принцип: прогресс человечества зависит от свободного обмена различными идеями и информацией — именно в этом черпает силы как любая демократическая власть, так и культурное, экономическое и научное развитие самой цивилизации. Свою помощь в подготовке сборника предложили писатели, издатели, журналисты, академики и исследователи из многих стран. Поскольку значение инакомыслия в наши дни возрастает, антологию предполагается распространить, помимо Шри-Ланки, в Великобритании и других странах.

По материалам еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США), журналов «Плюраль» (Мексика), «Лир», «Магазин литтерер» (Франция), «Паблишерс уикли» (США), каталогам издательств и сообщениям наших корреспондентов.

Авторы этого номера

ЛАДИСЛАВ ФУКС (LADISLAV FUKS; род. в 1923 г.) — чешский писатель, заслуженный деятель искусств, доктор философии. Печатается с 1960 г. Автор многих романов, повестей, сборников рассказов, в том числе «Пан Теодор Мундшток» («Pan Theodor Mundstock», 1963), «Мои черноволосые братья» («Mí černovalsí bratří», 1964), «Вариации для темной струны» («Variace pro černou strunu», 1966; рус. пер. 1970), «Мыши Натали Мошгабровой» («Myši Natalie Mosshabroýe», 1970), «Дело советника криминальной полиции» («Příběh kriminálního rady», 1971; рус. пер. 1991), «Герцогиня и кухарка» («Vévodkyňe a kuchařka», 1983).
Повесть «Крематор» вышла в Чехословакии в 1967 году («Spalovaš mrtvol». Praha, Československý spisovatel, 1967).

КАРЛ КРОЛОВ (KARL KROLOW; род. в 1915 г.) — немецкий поэт. Автор сборников стихов «Добрая, благословенная жизнь» («Hochgelobtes, gutes Leben», 1943), «Кара» («Heimsuchung», 1948), «Ветер и время» («Wind und Zeit», 1950—1954), «Инородные тела» («Fremde Körper, 1959) и др.
Публикуемые стихи взяты из этих сборников.

ГАРРИСОН СОЛСБЕРИ (HARRISON E. SALISBURY; род. в 1908 г.) — американский историк и публицист, лауреат Пулицеровской премии и др. премий и наград. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом в нашей стране, с 1949 г. корреспондент «Нью-Йорк таймс» в Советском Союзе, побывал во многих регионах страны. Автор книг и исследований, значительная часть которых посвящена России, среди них наиболее известны «900 дней. Блокада Ленинграда» («The Nine Hundred Days — the Siege of Leningrad», 1969), «Черная ночь, белый снег» («Black Night Snow. Russia's Revolution 1905—1917», 1978), романы «Любовь в Северной Пальмире» («The Northern Palmyra Affair», 1975), «Врата ада» («The Gates of Hell»). Книга «Неизвестная война» («The Unknown War», 1978) легла в основу сценария одноименного советско-американского 20-серийного фильма. Перу Солсбери принадлежит также много работ о Китае и Юго-Восточной Азии.
Книга «Новые императоры» вышла в США в 1992 году («The New Emperors. Mao and Deng: A Dual Biography». New York, Harper Collins Publishers, 1992).

ЗОТОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. в 1957 г.) — политолог и экономист. Автор статей по проблемам современной китайской экономики, опубликованных в научных изданиях. В «ИЛ» в последние годы напечатаны его статьи: «Китай: десять лет по пути обновления» (1988, № 5). «Китай: истоки политического кризиса» (1989, № 11), «Китай: «Дух Лэй Фэна» против «буржуазной либерализации» (1990, № 8), «От коррумпированной культуры к культурной коррупции» (1991, № 10). Лауреат премий «ИЛ» за 1988 и 1989 годы.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

БЕЗРУКОВА ИННА ГЕННАДИЕВНА — филолог-славист, переводчик с чешского и польского языков. В ее переводе издавались: роман Я. Иона «Фокусник Йозеф», пьеса В. Гавела «Праздник в саду» и его книга «Письма к Ольге» (совместно с Е. Вихревой), рассказы Б. Грабала, И. Марека и др.

МОРЕЙНО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1964 г.) — поэт-переводчик с немецкого и польского языков. В его переводе печатались стихи немецких поэтов Пауля Целана, Готфрида Бенна, Гюнтера Айха, с польского — Чеслава Милоша и др.

АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ КАРЕЛЬСКИЙ

Умер Альберт Викторович Карельский. Умер в расцвете творческих сил, на пятьдесят восьмом году жизни. Умер внезапно и, судя по всему, легко, в одночасье, той смертью, которую, по народной молве, Бог дает святым и праведникам. И если не вкладывать в это поверье толкований слишком патетических, а понять его в том простом смысле, что легкой кончины сподобливается человек, проживший жизнь честно и по совести, щедро к другим и требовательно к себе, то что ж, все так и есть. Пусть эта мысль послужит слабым утешением родным и близким, всем, кто его любил.

А любили его многие, любили столь нежно, что по имени-отчеству не величал почти никто, слишком это казалось официально и сухо, даже студенты (правда, только меж собой) звали его, уже доктора наук, профессора, мальчишеским именем Алик, которое так шло ко всему его вдохновенно-юношескому — несмотря на раннюю седину, а потом и морщины — облику, и лишь очень дальние и совсем робкие знакомые не отваживались обратиться к нему так при встрече. Почти непроизвольная эта фамильярность возникала, конечно же, не от недостатка уважения, но от избытка любви, а еще — от ровного дружелюбия и приветливости, которые он излучал, общаясь с любым собеседником без малейшей надменности, как равный с равным. Общение с ним всегда было радостью, и не потому только, что он, говоря штилем прошлого столетия, неизменно пленял умом и деликатностью, тонким юмором и глубокой духовностью, но в первую очередь, пожалуй, потому, что от него веяло ясностью и благотворным спокойствием человека, у которого совесть чиста и который хорошо потрудился.

В трудолюбии его не было ничего натужного, казалось, оно даровано ему от рождения наряду с другими его блистательными талантами. На самом деле все проще: в семье сельского учителя, где он вырос, любовь к труду, равно как и верность высоким нравственным идеалам, эти бесценные традиции истинно русской интеллигентности, передавались из поколения в поколение. Думаю, именно эта — самой высокой пробы — интеллигентность помогала ему смолоду уберечься от соблазнов номенклатурной карьеры, которая ему — при такой-то анкете — сулила в те достопамятные времена сытное и безбедное, но и бездумное житье-бытье.

Он избрал стезю ученого, но и на ней неизменно чурался проторенных дорожек конъюнктурного успеха, сосредоточиваясь на сюжетах трудных и по тем временам идейно сомнительных. Упорно уходя от идеологических оценок, а тем паче ярлыков, опираясь исключительно на редкостное понимание художественной фактуры и тонкий анализ поэтики, он по-новому раскрыл для читателей творчество западногерманских авторов — Бёлля и Грасса, Ленца и Носсака. Сфера его научных интересов разрасталась подобно кроне дерева, неуклонно и органично: от немецких романтиков, которым он посвятил увлекательнейшую книгу и не одну превосходную статью, к романтизму общеевропейскому, а от него — ко всему богатству западной литературы прошлого столетия. Любовь к поэзии Рильке повлекла за собой изучение австрийской словесности, причем само изучение не ограничивалось в его понимании только литературоведческими штудиями, но включало в себя и как бы срастание с творческим миром авторов, вживание в этот мир вплоть до его перевоплощения средствами художественного перевода. Он подарил русской литературе замечательные переводы поэзии Рильке и Бенна, прозы Гофмана, Музиля, Броха, Кафки... Качество его литературной работы всегда было отменным. Он был постоянным и желанным автором «Иностранной литературы». А в последние годы входил в состав редакционного совета журнала. Самые суровые редакторы светлели лицом при упоминании его имени — и не потому, что были пленены его обаянием (это само собой), а потому, что знали: текст, заказанный Карельскому, ляжет на их стол точно в срок, не потребует правки и превзойдет самые взыскательные ожидания.

Он был не только ученым, не только писателем, он был — наверно, по стопам своего отца — учителем. На филологическом факультете МГУ, где прошла почти вся его трудовая жизнь, но и в университете города Кёльна, где он «гостевым профессором» в течение семестра читал не что-нибудь, а курс по немецкому романтизму, студенты валом валили на его лекции. Характерно, что он и тут упорно избегал столь доступных ему путей легкого успеха, а, напротив, как бы сбрасывал с себя весь свой шарм, увлекая слушателей исключительно и только энергией пытливого стремления познающей мысли. Он, казалось, начисто забывал об аудитории — лицо его осеняла глубокая сосредоточенность и строгая отрешенность. В такие минуты он всецело отдавался своему делу и, значит, был ближе всего к самому себе, к своей сокровенной сути. Таким я и запомню Алика Карельского, хотя мысль о том, что присутствие его возможно отныне лишь в нашей памяти, неправдоподобна и нестерпима.

М. РУДНИЦКИЙ

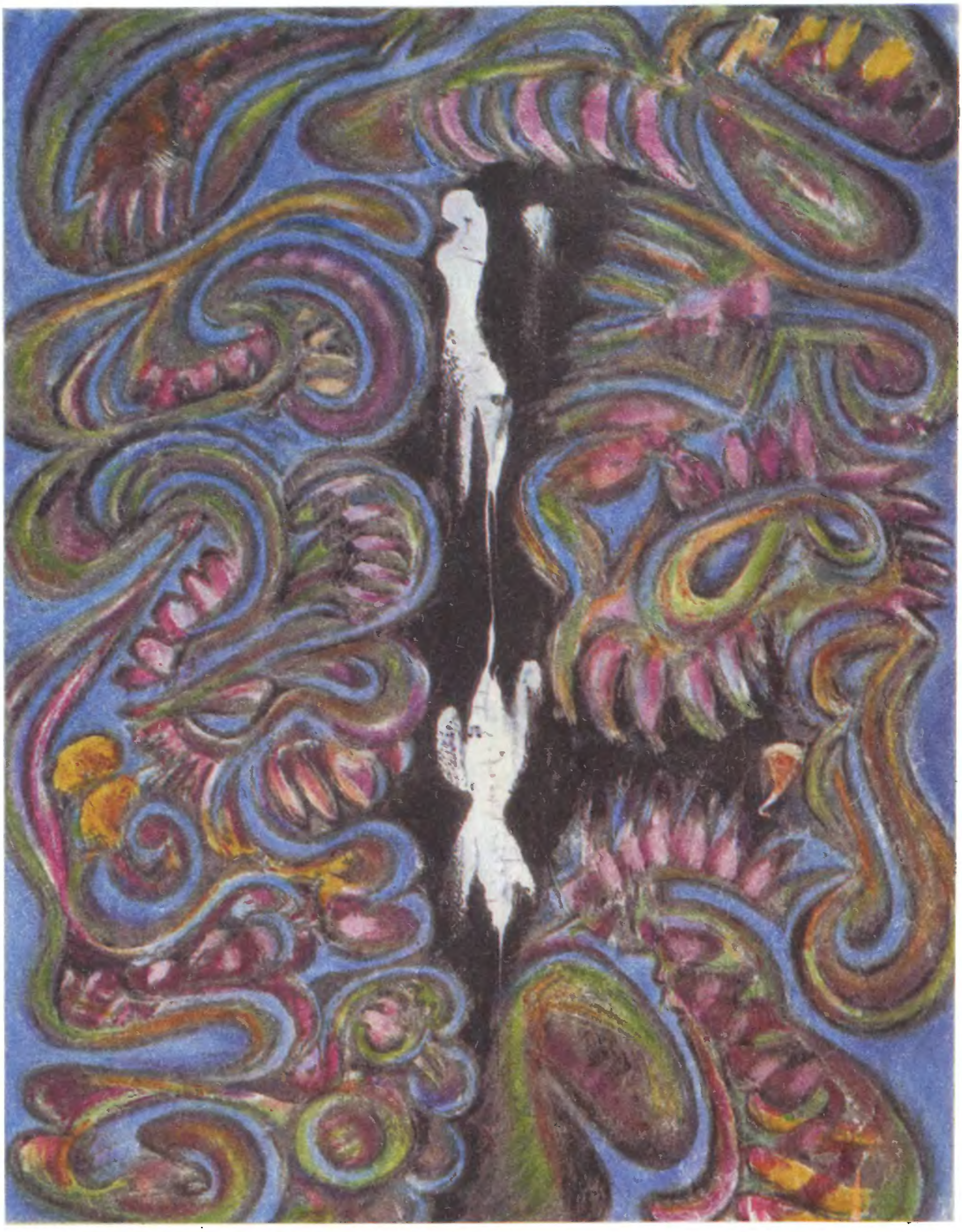
В 1994 ГОДУ В «ИЛ» БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:

романы последних лет **«История мира в 10½ главах»** ДЖУЛИАНА БАРНСА (Великобритания), **«Латунное сердечко, или У правды короткие ноги»** ГЕРБЕРТА РОЗЕНДОРФЕРА (Германия), **«Свидетель преступления»** ДЖОНА БЭНВИЛЛА (Ирландия) — книги, ставшие бестселлерами у себя на родине и быстро завоевывающие международное признание; а также изданные ранее, но прежде не публиковавшиеся у нас романы и повести выдающихся художников слова: **«Книга Мануэля»** ХУЛИО КОРТАСАРА, **«Другие голоса, другие комнаты»** ТРУМЭНА КАПОТЕ, **«Ангел молчал»** ГЕНРИХА БЁЛЛЯ, **«Воздушные змеи»** РОМЕНА ГАРИ, **«Фальшивые гири»** ЙОЗЕФА РОТА, **«Космос»** ВИТОЛЬДА ГОМБРОВИЧА, **«Земля Ульро»** ЧЕСЛАВА МИЛОША.

В поэтическом разделе мы напечатаем стихи ЭМИЛИ ДИКИНСОН, КОНСТАНТИНОСА КАВАФИСА, ОКТАВИО ПАСА, ПАУЛЯ ЦЕЛАНА, ДЕРЕКА УОЛКОТТА, продолжим публикацию текстов знаменитых рок-групп.

Журнал ведет переговоры о приобретении прав на следующие книги: **«Королева и я»** СЬЮ ТАУНСЕНД, **«Бессмертие»** МИЛАНА КУНДЕРЫ, **«Паломар»** ИТАЛО КАЛЬВИНО, **«Голубка»** ПАТРИКА ЗЮСКИНДА.

По разделу документальной прозы предполагаются к публикации новая книга британского политолога и футуролога ПОЛА КЕННЕДИ **«Готовясь к XXI веку»,** *автобиография ГОЛДЫ МЕИР* **«Моя жизнь»,** *биография известного режиссера и актера ВУДИ АЛЛЕНА, написанная американским журналистом ЭРИКОМ ЛАКСОМ.*

Редакция намерена опубликовать следующие тематические выпуски «ЛИТЕРАТУРНОГО ГИДА»: «КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА», «СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИТАЛИИ», «ФЕНОМЕН ИРЛАНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЦЕНА ЖИЗНИ» (тема самоубийства в обществе и лите ФЕН[illegible] БЕСТСЕЛЛЕРА», «НАСЛЕДИЕ 68-го: СУДЬ[illegible]РЫ», «ИРОНИЯ И ИРОНИСТЫ В КУЛЬТУРЕ [illegible]КА».

ИНДЕКС 70394